

**МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВ**

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1977

МИХАИЛ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

МОСКВА. «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 1977

АЛЕКСЕЕВ

ТОМ ПЯТЫЙ

РОССИЯ



СКАЗКИ

БРЯНСКОГО ЛЕСА



ХЛЕБ. ЗЕМЛЯ.

КОСМОС. ЧЕЛОВЕК



ЗА МОРЯМИ,

ЗА ДОЛАМИ



ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ

ПОВЕСТИ

P2
A47

Оформление Л. Чернышева

© Издательство «Молодая гвардия», 1977 г.

А $\frac{70302-019}{078(02)-77}$ Подписное

РОССИЯ



Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Сергей Есенин

РОССИЯ

На Западе, размышляя и говоря о нас, все объединяют одним словом — Россия.

Украинцы и русские, таджики и азербайджанцы, эстонцы и белорусы... мы для них — Россия.

Потому что мы — советские.

Впервые в истории понятие национальное стало социальным, определяющим образ жизни, миропонимание, знамя нации.

Братская ГЭС и подвиг хлопкоробов Средней Азии, сталь Запорожья и открытия рижских ученых, щедрый урожай Грузии и мужество нефтяников Баку — все это Россия.

Это не только страна, нареченная Союзом Советских Социалистических Республик, а на карте обозначенная всего лишь четырьмя буквами: СССР.

Россия — значит советский.

Россия... У этого слова есть и другие синонимы: подвижничество и интернационализм, самоотреченность и мужество. И верность друзьям до конца.

Россия!.. Я счастлив, что причислен к твоим сыновьям.

«МЫ — РОССИЯНЕ!..»

Мы — россияне!

Так, вероятно, подумалось не единожды каждому из нас, родившемуся на земле по имени Россия, земле, давшей не только приют, кров, пищу более чем ста национальностям и народностям, но и горделивое чувство личной причастности к чему-то очень уж значительному и возвышенному, что так или иначе связано с понятием Россия. Мы могли бы указать на многое из того, что дала она миру, что наполнило ее великим содержанием,

что составляет ее своеобразие, неповторимость, и простое перечисление всего этого заняло бы немало страниц.

Конечно же, сперва мы бы вспомнили о ее чисто пространственном, географическом, что ли, величии, дающем ощущение бесконечности, — от одного этого уже захватывает дух. Об этом позаботились в далекие еще времена наши мужественные предки, оставившие нам в наследство безбрежную Русь, на которой мы теперь создали могучую Советскую Россию.

Преображение России началось в октябре 1917 года. Давшая нам Ленина, Россия затем явилась родиной Октября, родиной Советов. Одного этого было бы вполне достаточно, чтобы имя Россия стало священным для всего человечества. Сама-то она меньше всего думала о возвеличивании собственного имени и меньше всего стремилась подчеркнуть свои несомненные и неоспоримые заслуги.

Россия трудилась в поте лица, когда выпадал на ее долю мирный час. Россия мужественно сражалась, обливаясь кровью, когда на нее нападали враги. Принужденная то и дело браться за меч, она тем не менее успела и сумела в невиданно короткий срок сделать то, что решительным и коренным образом изменило ее облик.

Россия — первая среди равных — это понимается как место, которое она занимает меж своих сестер — союзных республик. Если иметь в виду русского человека, то его нередко называют старшим братом. И не только в других союзных республиках, но и в его собственной, ибо в понятие «россияне» входят и представители более ста национальностей и народностей. Многие из них не имели до революции своей письменности. Революция, русские люди помогли им обрести таковую и осознать свое значение и назначение. Теперь все, решительно все народы, населяющие Российскую республику, сообща и каждый в отдельности не только создают материальные, но и великие духовные ценности, делая их достоянием всего мира.

Подумать только: более половины населения республики, где не в такие уж далекие времена целые народы (народы!) были сплошь неграмотными, имеют ныне высшее, среднее или незаконченное среднее образование! И не мудрено, что теперь уж никому не в диковин-

ку, что Россия рождает собственных Невтонов, что ее сыновья выходят на самую высокую грань человеческих познаний, что вслед за русским Юрием Гагариным она смогла послать в космос Андрияна Николаева, чуваша по крови, россиянина по принадлежности, — это самое что ни на есть убедительное свидетельство и истинной дружбы, и истинного братства, предполагающего безусловное равенство как в высоких правах, так и в высоких обязанностях перед страной, перед революцией, перед народом, перед нашим удивительным временем.

Обязанности перед революцией!

Россия может с чувством до конца и честно исполненного долга сказать о себе: да, эти обязанности она понимает, они оказались ей по силам, более того, по душе, ибо служит она великому советскому народу.

Советским людям чужда мысль о превосходстве одних народов над другими. Но они гордятся своей Родиной, гордятся вдохновенным трудом миллионов, построивших под водительством коммунистов новое, свободное общество, создавших нерушимый братский союз братских народов.

Наша гордость — огромное, емкое, богатейшее по своему содержанию чувство, это общенациональная гордость, это гордость людей труда, первыми в мире отбравших власть у эксплуататоров во имя счастья обездоленных и угнетенных.

Невероятно тяжелый, но славный путь от первого советского трактора и автомобиля до полета в космос Юрия Гагарина, от первой «лампочки Ильича» в избах деревни Кашино до крупнейшей в мире Красноярской ГЭС, от эпопеи челюскинцев и папанинцев до кругосветного похода атомных подводных лодок — это тоже наша гордость и наша слава.

Нелегкая, но и славная доля первооткрывателей, первопроходцев, пролагателей новых путей на суше, на море, в воздухе — в пятом океане, а теперь вот уже и того выше — в космосе!

Но какую мерою измерить подвиг народа, открывшего для всех людей труда дорогу в новый, никем до того не изведанный мир! Какою несокрушимой волей, целеустремленностью и верой в историческую праведность намеченного великого дела должна была обладать партия, отважившаяся повести народ на этот эпический подвиг!

Мое поколение, рожденное перед революцией, разумеется, очень гордится, что на протяжении одной нашей еще далеко не прожитой жизни сделано так много, что наш ровесник, появившийся на свет, может быть, где-то под бревенчатым потолком русской избы, при свете лучины или керосиновой лампы, стал одним из творцов космических кораблей.

Все это так. Но мы не Иваны, не помнящие родства. Мы оказались бы плохими сыновьями и дочерьми России, если бы в разгар праздничного веселья забыли о великих предках наших, кому мы обязаны тем, что русская земля раскинулась от моря до моря, «от финских хладных скал... до стен недвижного Китая». Воздвигая сооружения на Иртыше, мы не забываем, что под его студеными волнами нашел свой вечный покой донской казак Ермак Тимофеевич, который пришел на дикие эти берега, чтобы было где развернуться душе русского человека во всю ее ширь и неукротимую силу. И не вина Ермака, что царское самодержавие вскоре превратило эту прекрасную землю в места ссылки, в сплошную каторгу, где томились и умирали лучшие сыны России.

Дмитрий Донской, Александр Невский, нижегородский купец Кузьма Минин и московский князь Пожарский, Александр Суворов и Михаил Кутузов и тысячи тысяч оставшихся безвестными русских ратников, окропивших своею горячей кровью поля России, — разве мы, праправнуки, наследники вашей славы, разве мы вправе забыть о бессмертных подвигах ваших?

И разве не дух великих предков вдохновлял нас, когда мы четыре года вели неслыханную по кровопролитию и жестокости войну с фашистскими полчищами современного Атиллы — Гитлера?! И разве не та же русская богатырская стать и удаль видна была в бессмертных подвигах Александра Матросова и Зои Космодемьянской, Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба, генералов Ватутина и Черняховского, известных и безвестных чудо-богатырей Бреста и Сталинграда?!

Ясный ум, стойкий характер, терпение, неколебимая вера в мудрость партии и правоту своего дела — все эти качества россиян, помноженные на глубокие патриотические чувства, оказались той силой, которая помогла им выстоять, вынести на своих плечах безмерную тя-

жесть войны и затем не пасть духом от ее чудовищных последствий: чуть ли не полстраны лежало в руинах.

Казалось, потребуется столетие, чтобы восстановить разрушенное, залечить глубокие раны на живом теле Родины нашей (на что, впрочем, и рассчитывали ее недруги). Но прошло всего лишь несколько лет, как раны эти были залечены, и не только залечены: выросли совершенно новые города и селения, помолодели, расцвели старые, земля наша залилась океаном электрического света, могучая сила атома понесла людям свет и тепло, а в небо стартуют советские космические корабли. И пришла пора, когда большой писатель, всегда очень сдержанный в своих оценках, шлет из Америки телеграмму: «Удалось колоссальное начинание — построение государства не только в соответствии с требованием момента, но и в соответствии с продуманным планом. Даже противники признают, что Октябрьская революция — это важнейшее событие XX века. Но это не просто событие. Октябрьская революция положила начало третьему тысячелетию, и в будущем историки будут называть 7 ноября 1917 года началом новой эры».

В той же телеграмме говорится: «...Математически верно, что существование Советского Союза обеспечено на сотни лет. На нашей планете нет ни одной державы, которая могла бы сегодня напасть на Советский Союз, не погубив самое себя и цивилизацию всего мира».

Что ж, весьма своевременное предупреждение!

Устой нашего общественного устройства столь прочны, силы ленинских идей так велики и жизнетворящи, патриотизм народа так могуч, что их не могли сломить никакие беды. Стало быть, на всех крутых переломах истории Советского государства, в самые критические ее моменты, по существу, шли испытания на прочность ленинских идей, положенных в фундамент здания, которое мы строим, на прочность ленинизма.

И может быть, наитягчайшим из такого рода испытаний была минувшая война, начатая не нами и не по нашей вине, но именно нами победоносно законченная. И то, что 25-летие со дня нашей великой Победы по времени совпало с ленинским юбилеем, представляется нам исполненным глубочайшего смысла. Это Ленин,

ленинизм, новая Россия торжествовали победу над самими черными и злобными силами мира...

«О, если бы Маркс был теперь рядом со мной, чтобы видеть это собственными глазами!» — так закончил Энгельс предисловие к очередному изданию «Манифеста Коммунистической партии».

Чему же так радовался Энгельс? Какие события начала девятидесятых годов прошлого столетия могли исторгнуть из его сердца это восклицание? К тому времени, как известно, марксизм начал уже свое триумфальное шествие по планете. Энгельс видел, что «европейский и американский пролетариат производит смотр своим боевым силам, впервые мобилизованным в одну армию, под одним знаменем, ради одной ближайшей цели...».

В наши дни, когда марксизм-ленинизм стал не только теоретической программой мирового рабочего движения, но и воплощается в действиях, в делах миллионов, стал духовным знаменем социального прогресса человечества, хочется воскликнуть:

«О, если бы Маркс, Энгельс и Ленин были теперь рядом с нами, чтобы видеть это собственными глазами!»

Радостное удивление перед Советской Россией, рожденной гением Ленина, испытывает ныне любой непредубежденный человек во всех частях света.

У России всегда было немало забот и в делах международных. Век неслыханного технического прогресса, время невиданных скоростей сблизил континенты. Земля как бы во много раз уменьшилась в своем размере, теперь все страны, а стало быть, и народы сделались соседями, но, к несчастью, далеко не все стали близкими друзьями. Пропasti, издавна разделяющие многие страны, исчезли далеко не все, а сохранились и в отдельных случаях даже угрожающе расширились и углубились. Международный империализм алчуще ненасытен и опасно слеп в своих судорожных усилиях повернуть вспять ход человеческой истории. В этих условиях борьба за мир приобретает значение первостепенное и входит в число дел, которые нельзя откладывать ни на час, ни на одну минуту: ослабление усилий здесь чревато последствиями, какие трудно себе представить.

И потому-то нет ничего удивительного в том, что Советская Россия, родившаяся с ленинским Декретом о мире, и сейчас делает все, чтобы отвлечь от наро-

дов кошмар третьей мировой войны и погасить очаги кровопролитий всюду, где они есть.

С гордостью произносятся слова: «Мы — россияне!..»

«Мы — россияне!» — это и ответственность первых, проложивших путь человечеству в новый мир.

«СПЛАВЛЕНО КРОВЬЮ...»

Между Волгой и Доном есть небольшая станция Абганерово. До Великой Отечественной войны немногие знали о ее существовании. Теперь же об этой станции, затерянной в обширных приволжских, а может быть, точнее сказать — придонских степях, знают очень многие: там шла великая битва на ближних подступах к волжской твердыне, там ежедневно, ежечасно совершали подвиги новые русские богатыри с простыми русскими именами.

...В Ленинградском артиллерийском музее хранится 76-миллиметровая пушка. Щит, ствол ее искусаны злыми осколками. Надпись гласит, что из этой пушки в течение 24 часов боя уничтожено двадцать пять фашистских танков. Кто же стоял за этой пушкой? Поищите, и вы найдете очевидцев этой удивительной схватки, а может быть, и самих героев, потому что однополчане видели их в последний раз тяжело раненными, в санитарной части. Вот их имена: Александр Алексанцев, командир орудия, и Александр Чебунин, наводчик. Внешне они едва ли походили на героев, и звали-то друг друга совсем по-домашнему, просто: «Саня». И все-таки это были настоящие герои, хотя меньше всего думали о своем героизме, потому что смертный бой шел «не ради славы — ради жизни на земле».

В музее Советской Армии находится снайперская винтовка КЕ-1729. Она побывала в руках трех героев, как бы олицетворяющих собою великую дружбу разных языковых братских народов нашей Советской Отчизны. Это русский Николай Ильин, украинец Александр Гордиенко и татарин Хусейн Андрухаев.

Из этой винтовки они уничтожили около 100 гитлеровцев. Всем им присвоено звание Героя Советского Союза. Самих же героев нет в живых, все они пали на бранном поле, но благодарные потомки никогда не забудут их простые и гордые имена.

Брестская крепость. Многие годы она молчала. До самых последних лет мы почти не знали о судьбе ее защитников, о подвигах ее бессмертного гарнизона. И вдруг, нарушив долгую немоту, крепость заговорила, заговорила голосом живых героев, голосом смятого и найденного под развалинами листа, когда-то наспех вырванного из полевой книжки, скупым голосом торопливых надписей на стенах, голосом стреляных гильз у навеки умолкшего пулемета на дне обвалившегося окопа, голосом святых останков красноармейцев и командиров, также обнаруженных при скорбных раскопках и теперь захороненных вблизи крепости в братской могиле. Они сражались до последней человеческой возможности — русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы.

Как-то на встрече ветеранов сражения за Брест седой майор, подняв обожженный кирпич, сказал раздумчиво: «Сплавлено кровью...»

«Сплавлено кровью...». Это о братстве, союзе многонациональной семьи нашей.

Семья... Любая семья для того чтобы стать дружной и крепкой, должна неукоснительно соблюдать одно непреложное правило — равенство ее членов и глубокое уважение всех к одному и одного ко всем.

Когда я думаю обо всем этом, то вспоминаю почему-то одного удивительного человека, с которым прошел дорогами войны от Сталинграда до Праги. Удивительного вовсе не потому, что он отличался какими-то редкостными качествами, каковые выделяли бы его из общего ряда других людей. Для меня он удивителен тем, что был как бы живым и конкретным воплощением человека, рожденного советской социалистической новью. Его зовут Ата Ниязов. Он туркмен. К началу величайшего сражения на Курской дуге он был в должности заместителя командира батальона по политчасти в одном из наших полков. Свой батальон Ата называл не иначе, как интернационал. Для этого у него были веские основания. В батальоне горячего этого туркмена были русские, украинцы, грузины, азербайджанцы, два латыша, один эстонец, таджики, казахи, армяне и, конечно же, туркмены, — впрочем, мне труднее было бы назвать народность, которая не имела бы своего полпреда в ниязовском интернационале. Я пришел в блиндаж Аты в полдень 6 июля 1943 года, после того как ба-

тальон отбил очередную — шестую за один только еще не окончившийся день! — вражескую атаку. Подробно об этой встрече я рассказал позже в документальной повести «Дивизионка».

— Ой! Давай сюда. Будем чай пить, наш, туркменский... Товарищи бойцы, посторонитесь мало-мало!

Гвардии капитан Ата Ниязов, широкоплечий, коротконогий, с черными, горячо поблескивавшими глазами, с горбатым носом, под которым пучок аккуратно подстриженных аспидной черни усов, сидел на дне землянки, сложив ноги по-восточному, кренделем, и держал в руке на уровне рта большую пиалу. У его ног стояло ведро, наполненное какой-то темно-зеленой жидкостью, источавшей терпкий, ароматный запах. Вдоль стен точно в таких же позах сидели туркмены, казахи, узбеки, украинцы, русские (когда только Ата этих последних научил сидеть так-то вот?!) и держали в руках большие жестяные кружки. Лица их лоснились и от пота, и от широких улыбок, не успевших сойти после веселой беседы.

— Это мои ежедневные гости, — указал Ниязов на бойцов. — Пулеметчики, стрелки, связисты... Герои! Как они дрались вчера и сегодня! Как дрались!.. Слюшай, расскажу... Вон видишь... Это Иванченко!.. — И Ата принялся рассказывать по очереди обо всех сидящих в блиндаже, и получалось, что тут были одни герои, вот только никак нельзя было из его слов уразуметь, какой же из них самый главный герой.

Наконец Ата скомандовал своим гостям:

— Ну, товарищи, теперь по местам! Пускай другие идут в мою чайхана. Весь батальон буду угощать!

Вскоре землянка наполнилась второй партией солдат, а за второй явилась третья.

Ата сидел на своем месте, как заправский чайханщик. Пот ручьями катился по его лицу, атласно блестя смуглая кожа, сверкали рафинадной белизны зубы, оттененные черной щеткой усов под вислым носом. Бойцы тоже были потные. От их молодых, здоровых, распаренных тел веяло бодрящим духом живой плоти. Они собирались тут и накануне позавчерашней ночи, когда перед немецкими солдатами, в полной боевой выкладке заполнившими окопы и тускло освещающими плоским касками, их офицеры зачитывали приказ Адольфа Гитлера:

— Германская армия переходит к генеральному наступлению на Восточном фронте... Удар, который нанесут немецкие войска, должен быть решающим и послужит поворотным пунктом в ходе войны!.. Это последнее сражение за победу Германии...

А веселые солдаты из интернационала Аты Ниязова были спокойны. В их окопах и нишах было достаточно боеприпасов, а в сердцах — нечто такое, что, пожалуй, посильнее любого оружия...

Мы вышли победителями из самой страшной войны, которая явилась очередным жестоким испытанием не только для Октября 1917 года, но и для декабря года 1922-го, когда образовался прекрасный наш Союз Советских Социалистических Республик.

Он приблизился к микрофону с копной кучерявых, уже обсыпанных инеем седины волос, помолчал, пере листывая книгу своих стихов, очевидно размышляя, с чего бы начать. А потом начал:

Не русский я, но россиянин...

Это сказал башкир Мустай Карим. Но так мог бы сказать о себе и Давид Кугультинов, и Юван Шестаков, и Григорий Ходжер, и Юрий Рытхэу, и Владимир Санги, и Расул Гамзатов, и Алим Кешоков, и Кайсын Кулиев, и Максим Геттуев, и Заки Нури, и поэты многих других автономных республик и областей, объединившихся в Российской Федерации. Чукча Юрий Рытхэу, находясь в Магадане, где-то на самом уж вроде бы краю света, может сказать: «Я у себя дома», а переместившись на крайний запад, в Ленинград, например, повторить с тем же законным правом: «Я и тут у себя дома!»; впрочем, то же самое он может сказать и в Баку, ибо именно вокруг Советской России образовался великий Союз Советских Социалистических Республик, ставший Родиной и для русского, и для чукчи, и для украинца, и для азербайджанца, и для узбека, и для латыша, и для всех народов советских республик.

В моих руках маленькая фотография. Ее я привез из Мардакян — небольшого городка в сорока, кажется, километрах от Баку. На аллее парка стоит в белой сорочке, заправленной в брюки, и широкополой шляпе

стройный и очень красивый молодой человек. Под снимком подпись: «Есенин в Мардакянах, 1924 г.». Впрочем, и без нее любой из нас тотчас бы узнал снявшегося. Сергей Есенин уже тогда, как и мы теперь, мог сказать: «Мои Мардакяны, мой Баку, мой Азербайджан».

И вот что удивительно. Будучи «законченно русским поэтом», не поэтом даже, а органом, созданным природою как бы по заказу русского народа, бесконечно влюбленным в свою страну «березового ситца», Есенин тем не менее, а может быть, именно поэтому оказался вдруг и «законченно интернациональным». В самом деле, трудно теперь отыскать уголок на нашей планете, где бы не знали его дивных творений, где бы не пелись его звонкие «степные» песни. Что же касается Баку, то к этому прекрасному городу Есенин питал особую слабость — да что там слабость! — он был влюблен в Баку, а вместе с ним и в землю по имени Азербайджан. Беспокойный, мятежный, нередко мечущийся, вообще взрывной по горячей своей натуре, здесь он как-то успокаивался, душа его входила в берега, и поэт обретал состояние той сосредоточенности и углубленности, которая так необходима для серьезного творчества. Именно тут, на земле Азербайджана, Есенин создал самые дивные свои и по звуку и по заключенной в них мысли стихи. И мы, русские люди, как и все другие народы, ревностно относящиеся к своим национальным великим певцам, нисколько не ревнуем Есенина в его сыновней любви к азербайджанскому народу. Напротив, радуемся такому обстоятельству, поскольку все это работает на наше духовное единение. Теперь в далеких Мардакянах открыт мемориал Сергея Есенина. Горсть черноземной земли, взятая в Константинове, на Рязанщине, заключенная в шкатулку, привезена сюда, теперь она смешалась с суглинистой землей азербайджанской, и нет сомнения в том, что, соединившись таким образом, она даст плоды бесценнейшие.

Читает свои стихи башкирский поэт Назар Наджми. Читает тихо, чуть слышно. Но еще тише в зале, где сотни азербайджанцев, русских, армян, грузин и его соплеменников — башкир слушают его и понимают его,

а читает он на русском языке, читает с небольшим акцентом. С давних времен люди научились преодолевать препятствия, разделяющие их. По земле проложены рельсы, в небо поднялись самолеты, через реки и овраги перекинута мосты. Но труднее всего было перекинуть мосты меж человеческими сердцами. Октябрьская революция возвела и это сооружение. Русскому слову определено было историей быть в этом сооружении особо важной деталью — оно, это слово, стало как бы посредником меж сердцами разноязыких народов, вошедших на правах равных в великое наше братство.

Я слушаю Назара Наджми, думаю обо всем этом и одновременно ловлю себя на мысли, что когда-то и где-то я вроде бы уже видел и слышал этого человека. Нет, то был не он, а другой. И звали его иначе — Барий Валиев. И это было под Сталинградом, и был он в моей минометной роте наводчиком. Это добрая, белозубая улыбка Назара — она напомнила мне Валиева. Помнится, на мой вопрос, откуда он родом, Барий отвечал с улыбкой: «Из СССР». У него была, конечно, своя деревня, свой уголок, свой кусочек на нашей огромной земле, но Барию Валиеву, видать, доставляло истинное удовольствие отвечать, что он родом из СССР. И когда он говорил так, плечи его как-то приподнимались, грудь становилась просторнее. Может быть, мысль о принадлежности к великой семье не только согревала его, но и давала особые силы, чтобы выстоять в том аду, что был там, на Волге, осенью и зимой 1942/43 года.

Недавно мне прислали из Саратова небольшую газету с поэтическим названием «Заря молодежи». В ней рассказывается о сельском сходе на моей родине, в селе Монастырском. Многие мои земляки выступили на этом сходе. Приведу одну лишь выдержку из выступления секретаря парткома Александры Павловны Тверской, которую все там называют покамест Шурой, поскольку она еще очень молода. Вот что она сказала:

— Засуха в этом году уничтожила и наш урожай. Но чувствует ли кто-либо из вас недостаток в хлебе? И не замечает ведь! И это потому, что труд каждого из нас становится достоянием всех, потому что хлеб к нам идет с Украины, Казахстана и других братских

республик. Братство народов нашей страны, Советская власть навеки избавили нас от голода и других лишений.

Да, Шура, вы правы: никакая засуха не в силах погубить посевы великой революции, зерна, брошенные в сердца людские великим сеятелем Земли Владимиром Ильичем Лениным, дают и будут давать прекрасные всходы.

«ОБОПРИСЬ НА МОЕ ПЛЕЧО...»

...Филипп Иванович Лаенков стоит на берегу реки Мухавец, окруженный пионерами, молодыми солдатами, комсомольцами, молодыми и пожилыми гражданами Бреста. Внешне он спокоен. И только хрипловатый голос да чуть вздрагивающие пальцы рук выдают — нельзя быть спокойным. Ведь вот тут он сражался, был тяжело ранен и взят в плен. Как все это произошло, он и рассказывает сейчас окружившим его мирным людям; об этом же он, сын героя гражданской войны, московский токарь, рассказывал французским партизанам, когда бежал из фашистского плена и стал участником французского движения Сопротивления. Русский человек, он сражался за Францию, потому что был воспитан Коммунистической партией в духе пролетарского интернационализма. Но он вместе с тем сражался и за свою Советскую Родину, хотя было мучительно больно от того, что не знал,

Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?..

Откуда-то, из глубины детства, выплывает песенка. Как и взрослые, грезящие о мировой революции, мы, дети, в ту пору мыслили категориями всего земного шара. Нам было мало того, что стал свободным народ нашей страны. Нам очень хотелось, чтобы свобода и счастье скорее пришли к людям всей земли.

И мы пели:

Я хочу умереть в сраженье
На валу мировых баррикад.

Не беда, что наше представление о мировой революции было упрощенно-наивным. Важно, что с Лени-

ным, ленинизмом явился совершенно новый человек, который желает счастья всем людям. Не этот ли человек проливал кровь свою на полях Европы, не он ли водружал Знамя Победы над Берлином, не он ли принес освобождение миллионам своих братьев по классу? Не этот ли человек сейчас бескорыстно помогает всем, кто нуждается в помощи?

Настоящий человек не может быть вполне счастлив, коли видит рядом несчастье себе подобных. По этой причине, даже за праздничным столом, когда полагается быть веселью, на лица советских людей не раз и не два набежит хмурое облако и с уст сорвутся проклятия в адрес тех, кто по-прежнему сеет на милой нашему сердцу планете не хлеб, а смерть, кто поливает ее не благодатной влагой, а живую, горячую кровью ни в чем не повинных людей.

Советские корабли принимали на себя удары бомб, но в Ханой шли грузы... «Те самые, — как писали газеты, — которые помогли Вьетнаму выстоять».

Россия не могла поступить иначе, когда оказались в беде наши арабские братья: грозный голос советских людей помог остановить танки, рвавшие в Каир.

Мир по-прежнему в тревоге и беспокойстве. Но у него есть основания и для надежд.

Благодаря инициативе Советского правительства, доброй воле советских народов в мире повеяло свежим ветром.

Путь к миру тернист и труден. Но, как бы труден он ни был, он хорош уже тем, что ведет человечество по пути жизни, а не смертельной войны. И мы будем идти этим путем. С нами пойдут все, кому дорого солнце, кому дорога улыбка матери над колыбелью, кому дороги все чудесные запахи на нашей чудесной земле, кому дорога жизнь.

Время развенчало старых богов. Россия дала человечеству главное — Веру.

Еще на заре Советской власти Бернард Шоу писал: «Россия, как раз то, что называем великой страной, и она производит великий эксперимент, к которому мы сами постепенно подошли многими пробными, но в конце концов сходящимися в одной точке путями... Даже тем, кто считает Россию своим врагом, не следует недооценивать ее. Россия обладает не только политической

и экономической силой, она обладает также силой религиозной. Русские создали веру, которую они исповедуют, и эта вера поистине всеобъемлющая. Русского не приучают считать себя русским, его приучают считать себя членом международного сообщества пролетариата».

ВРЕМЯ — ВПЕРЕДИ

Годы России!

Какие все они разные! И схожие в одном — стремительности, с которой мы берем один рубеж за другим.

«Россия — это прежде всего ошеломляющие темпы», — грустно размышляла совсем не симпатизирующая нам заокеанская газета.

«Браво, Россия!» — это голос друзей.

Годы, годы, годы...

От каждого наступающего и уходящего дня мы ждем чего-то нового, чего-то необыкновенного. Всякое утро мы встречаем тем, что затемно бежим к своим почтовым ящикам — там человек, поднявшийся еще раньше нас, оставляет нам свежие газеты. Сначала мы просто перелистываем их, охотясь за главными новостями, потом начинаем читать. И как бы ни велики были и числом и содержанием дела страны и народа за минувший день или минувшую неделю, нам все-таки мало, мы опять чего-то ждем, чего-то требуем, и притом большего от дней и недель грядущих. Так вот и живем день, другой, третий, четвертый... весну и лето, осень и начало зимы — живем весь год с неутоленной жадной жаждой нового.

Советский человек, однако, не довольствуется лишь земными своими делами, как бы значительны и даже многозначщи они ни были. Первым вырвавшись когда-то за пределы земного притяжения, он, конечно же, и дальше рванулся на штурм звездных миров, благо наша партия и наша Советская власть оснастили его упругими и бесстрашными крылами. Вслед за «Луной-16», утолившей наше извечное желание увидеть собственными глазами и пощупать собственными руками кусочек материи с другой планеты, к ближайшей нашей спутнице отправилась «Луна-17», да не одна, а с «Луноходом-1», коий проложил первую борозду на

мертвой и уже во многом не загадочной планете по имени Луна. И когда там, в немыслимой дали, билось механическое сердце этого лунного первопроходца, его экипаж сидел себе на Земле и улыбался нам с экранов телевизоров ослепительной улыбкой молодых, умноглазых, образованных и веселых наших парней.

Ведь это же чудо из чудес! Однако мы смотрели на них спокойно и не ахали от удивления, потому как эти же парни или другие, похожие на них, своими же сверхудивительными делами отучили нас удивляться. Что это, знамение времени или свойство человеческой природы привыкать ко всему, в том числе и к самому невероятному? А может быть, в каждом из нас подспудно, глубоко живет внушенная опытом неколебимая вера в безграничные возможности советского человека в условиях нашего общества? А может быть, и то, и другое, и третье, вместе взятые? Как бы там ни было, а мы уже спокойно, даже как-то обидно-буднично выслушиваем самые сенсационные сообщения ТАСС и как бы говорим про себя: «Ну что ж? Так оно и должно быть!»

Дед мой ушел из жизни, не дождавшись появления трактора на родимом поле, пахал и перепаживал его бесконечное число раз даже не плугом, а сохой. И это было совсем недавно. А сейчас мы, его внуки, смотрим на Луну, видим, как ползают по ней и оставляют за собой колею отправленные туда нами луноходы, и говорим: «Так и должно быть». Рука моего деда, тяжелая, «порепанная» рука старого пахаря, тщательно собирала с обеденного стола черные хлебные крошки, чтоб ни одна из них не упала на пол, а его внуки или жены его внуков приходят в булочную и капризно спрашивают, свежи ли белоснежные калачи, теплы ли они, а коли нет, идут в другую булочную, сердито ворча при этом. И к этому мы привыкли. Да и что тут плохого, если вспомнить, сколько крови и пота пролито нами в стремлении приблизить нынешний день!

«Время — вперед!» — не стал днем вчерашним этот крылатый клич первых наших мужественных пятилеток.

Оно не останавливается даже в дни наших великих праздников, когда так хочется перевести дух, окинуть взором содеянное нами, отпраздновать великие победы наши. И нельзя останавливаться даже на мгновение —

ветер времени отшвырнет тебя назад, а потом попробуй догони!..

Родина наша вся устремлена в будущее, а вместе с нею и все мы. Судьба каждого из нас принадлежит Советской Родине, зато и сама Родина принадлежит каждому из нас.

Это ли не счастье!

ЕДИНСТВО

Родившиеся на Волге, на Оке и Каме, на Енисее и Амуре, на необъятных пространствах великой России, мы, русские люди, до трепета сердечного любим свои родные края, свой язык, свои обычаи, свои песни. Мы горды тем, что русский народ является старшим братом в могучей семье советских народов и что на нас, как на старших, лежит особая ответственность за благополучие и счастье большой семьи.

Но мы с не меньшей силой любим и края, язык, обычаи, песни наших младших братьев — украинцев, белорусов, грузин, азербайджанцев, армян, эстонцев, латышей, литовцев, казахов — всех, кто живет с нами одними целями, одними думами.

Все это — Россия.

И когда я думаю, что является главным в ее неистощимой, могучей силе, то всегда отвечаю для себя — Единство!

Единство всех, кто живет на нашей земле.

Единство — это слово написано на знамени России.

* * *

Россия! Отечество! Милая наша Родина!

Теперь тебя называют берегом Вселенной — и не без основания. А ведь было время, когда даже люди, обладавшие неудержимой фантазией, не могли в дымке времени различить твоего предначертания, не могли поверить в твое великое Возрождение, а человека, который безгранично верил и бесконечно далеко и глубоко видел, называли «кремлевским мечтателем».

Мы идем своим, определенным историей путем. И ежели нас не смогли сбить с этого пути прежде, когда мы шли по нему одни, когда до цели было далеко, то кто же собьет нас сейчас, когда с нами миллио-

ны и миллионы, когда цель явственно видна, когда по нашим делам выверяются и проверяются величайшие достижения человеческого гения!

Мы идем от рубежа к рубежу. Мы оглядываемся на пройденный путь, оцениваем его должным образом; с того же перевала смотрим далеко вперед, намечаем ориентиры и — снова в дорогу!

Россия! Флагманский корабль человечества!..

В далеком Сенегале вышла книга «Иной мир». Я не могу не привести из нее выдержку — голос человека «иногo мира»: «Ленин сумел измерить всю глубину и силу народа к новой жизни, ощутил чудовищное давление огненной лавы, которая кипела под покровом серой обыденности в тогдашней России, ясно представляя себе, как жалко будет выглядеть сама структура позлащенного, но прогнившего общества в беспощадном свете грядущей революции. Он сумел увидеть гибель общества, которое не обладало ни сердцем, ни разумом и верило при этом в свою несокрушимость.

Вооруженный данными исторического материализма, помножив его на людскую боль и страстное стремление к свободе и счастью, Ленин сумел привести людей к Октябрю 1917 года, к тому Октябрю, которому мы — люди планеты Земля — стольким обязаны...

Ленин принадлежит всему страждущему Человечеству. Его идеи и его вера продолжают вести нас вперед, словно маяк. Люди различных стран произносят имя Ленина по-разному, но всюду он верный друг и спутник тех, кому ненавистны убогие лачуги и нищета, грязь и бескультурье, гнет и насилие.

Вот отчего я с такой радостью пришел встретиться с ним на великую и гостеприимную советскую землю. Пришел как человек, раз и навсегда сбросивший оковы рабства, как человек, которого никогда больше не заставят стонать в застенках.

Именно Владимир Ильич Ленин показал мне Человека во весь его рост. Он обнажил передо мной всю безнадёжность судьбы власть имущих. Он наша опора в борьбе за лучшую жизнь, и вместе с ним мы будем выкорчевывать с земли людей корни нищеты и невежества».

Ленин — это сердце России.

1973

СЛОВО О СОВЕТСКОМ СОЛДАТЕ

Где-то на самом краю моей великой земли стоит с автоматом в руках молодой солдат. За его спиной, под его надежной охраной, распростерлась на одну шестую часть света огромная страна — его, моя и твоя Родина.

Советские люди — с великой верой в сердце, каждый на своем посту — заняты общественно полезным делом. Изобретатель склонился над чертежами новой мудрой машины, призванной облегчить труд рабочего и колхозника; токарь — у станка, он и его товарищи по цеху, заводу, фабрике множат число нужных человеку вещей, предметов; сельский труженик борется за большой хлеб. Достижения советских людей велики. Но мы знаем, что наши успехи должны постоянно умножаться. И это потому, что советский человек обязан быть счастливым на родной земле, столь обильно политой им своей кровью и потом своим. У него на это есть великие права и возможности. Он совершит сотни и тысячи трудовых подвигов и украсит свою Отчизну новыми заводами и садами, но для этого он должен быть уверен, что никто не посмеет нарушить его мирный труд, а ежели и посмеет, так получит сокрушающий отпор. И советский народ уверен, что создаваемые его руками сказочные богатства, его труд, завоевания находятся под крепкой, надежной защитой.

Вот почему мне хочется мысленно обратиться к нашему солдату и сказать о нем доброе слово. Ведь и его ратный труд вливается частью общего, всенародного труда в великую нашу стройку, имя которой — коммунизм.

I

Коммунистическая партия, созданная и руководимая гением Ленина, подняла народ на решительный штурм самодержавия и капитализма в нашей стране. А вслед за победой Октября рожденная им Советская Армия раз и навсегда взяла под свою защиту его завоевания и мужественно отстояла их в кровопролитнейших войнах чуть ли не со всем миром капитализма.

«Человек с ружьем»! Когда-то это выражение было символом народного страха. Человек с ружьем, царский солдат, был вооруженным царским слугою.

Подневольный и забитый, он вынужден был по приказу царского правительства стрелять в своих братьев — крестьян и рабочих. Сам раб, он расстреливал себе подобных в Петербурге в день Кровавого воскресенья, в Москве на площадях и улицах Красной Пресни, в Сибири на Ленских золотых приисках. Героических усилий стоило нашей партии раскрыть глаза царскому солдату и привлечь его на сторону революции. В канун Октября этот трудный, подчас мучительный процесс перевоспитания был в основном завершен. Наступило время, когда не надо было бояться человека с ружьем, потому что он встал в один ряд с восставшим народом.

Много с той поры прошло лет, много событий — больших и малых — было на беспокойной нашей земле, много великих и важных дел совершил советский человек, а вот почему-то не забываются, не улетучиваются из памяти слова фронтового, окопного солдата: «Хороший сад лучше и надежнее сторожить с ружьем...» И когда снова и снова думаешь о глубоком смысле и значении существования наших Вооруженных Сил, встревоженная память непременно разбудит это: хороший сад лучше и надежнее сторожить с ружьем!

Земля наша, обильно политая кровью и потом лучших своих сынов и дочерей, на глазах у всего изумленного мира превращается в огромный прекрасный сад. А на земле еще не перевелись люди, мечтающие этот сад превратить в радиоактивную пустыню. И конечно же, добротное, безотказное оружие в этих условиях для нас вовсе нелишнее. Теперь оно, это оружие, предстает в образе грозных ракет, которые могут настигнуть врага в любой миг и в любой точке земного шара. Слов нет, страшное это оружие. Страшное и грозное в руках умелого советского солдата. Однако страшное для тех, кому войны всегда были источником неслыханных барышей, кому кровь людская — водичка. Народы же, которым дорог мир, могут быть спокойны, потому что держит свое оружие советский солдат для их же защиты.

«Теперь не надо бояться человека с ружьем», — сказала крестьянка, и, услышав ее, Ленин тотчас же оценил величайший смысл ее слов, не утративший своего значения и поныне. И время подтвердило эти слова. Советский народ высоко ценит своих защитников, гордится их подвигами.

Что же, однако, случилось? Отчего перестал быть страшным для той женщины-крестьянки человек с ружьем, который еще вчера стоял часовым у царского и княжеских дворцов, расстреливал рабочие демонстрации; будучи сам крестьянином, втиснутым в грубую солдатскую шинель, жестоко подавлял крестьянские бунты и восстания? А случилось вот что: впервые за многие века человек с ружьем в нашей стране перестал стрелять в себе подобных, а твердо и навсегда сделался верным и надежным стражем их интересов — только их, и ничьих больше!

С рождением государства трудящихся родилась армия совершенно нового типа, нового качества. Армии этой уже пятьдесят семь лет. Для человека — немалый возраст. Для истории же — миг, мгновение. Но какой миг! Коммунистическая партия, созданная гением Ленина, расковала, пробудила энергию народа. И свершилось великое из чудес: «страна березового ситца», кондовая Русь, Русь деревянная, земляная, неповоротливая, убогая, бессильная — о, сколько их было, обидных этих эпитетов! — превратилась в могущественнейшую и просвещеннейшую державу мира, вершащую ныне великие дела и на земле, и в небе.

Теперь Советская Родина уверенно идет в коммунистическое завтра. Перевыполняя величественные планы, люди ускоряют бег времени.

И будет ли хотя бы малым преувеличением, ежели мы скажем, что во всех этих делах, делах воистину сказочных, почетное место принадлежит человеку с ружьем. Пусть не он сидел в научных лабораториях над чертежами могучих ракет, искусственных спутников и космических кораблей — это делал ученый, которому, однако, нужны были для этого покой, уверенность в том, что ему никто не помешает. Такой же покой и такая же уверенность нужны и огромному коллективу инженеров, техников, рабочих, творящих, создающих дивное диво нынешнего века. Этот покой, эту уверенность давал и дает всем им человек с ружьем.

II

У Советской Армии великолепная биография. Едва успев родиться, она, подобно сказочному богатырю, росла, мужала и крепла в огне боев, наливаясь сталь-

ной мускулатурой не по дням, а по часам. Одновременно с армией рождались и ее полководцы — сыны народа, те, что не кончили царских академий, но обратили в позорное бегство белогвардейских генералов. Ворошилов, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Щорс, Котовский, Пархоменко, Лазо и многие другие военачальники водили в бой молодые полки совсем еще юной армии. И свершилось непостижимое: это детище народа-великана разгромило внутреннюю контрреволюцию и неисчислимые полчища интервентов. «Чудо! Произошло чудо!» — неслось отовсюду.

Между тем чудес на свете не бывает.

Империалисты до сей поры не могут или скорее всего не желают понять простой и, скажем прямо, неприятной для них истины: нельзя победить народ, взявший власть в свои руки, точно так же, как нельзя повернуть колесо истории вспять. Свергнув самодержавие, наш народ создал свою новую армию, беспредельно преданную великому делу социалистической революции, армию, которая была и есть плоть от плоти народной. Ее взрастила, выпестовала, воспитала и окрылила бессмертными идеями великая партия коммунистов. Ее командирами были отважные и талантливые сыны рабочих и крестьян. Ее подпирал своим могучим плечом весь народ. Своей железной дисциплиной армия была обязана титанической работе, которую проводила в ее рядах наша партия. «И только благодаря тому, — говорил В. И. Ленин, — что партия была на страже, что партия была строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли десятки, сотни, тысячи и в конечном счете миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому чудо, которое произошло, могло произойти. Только поэтому, несмотря на двукратный, трехкратный и четырехкратный поход империалистов Антанты и империалистов всего мира, мы оказались в состоянии победить...»

На Красной площади, против памятника Минину и Пожарскому, остановилась группа молодых офицеров. Должно быть, они совсем недавно окончили училище, получили назначение и перед отъездом совершали прогулку по Москве. Одетые, что называется, с иголочки, лейтенанты — все они были в одном звании —

оживленно переговаривались между собой, как бы произвольно дотрагиваясь то до своих золотых погон, то до блестящих пуговиц, то до кокард с пятиконечной красной звездочкой.

Немного поодаль стоял, слегка опираясь на палку, пожилой, сурового вида человек. Я сразу узнал его. Это был мой старый знакомый, генерал, прошедший славный боевой путь. Не раз довелось мне беседовать с ним, слушать его увлекательные рассказы о подвигах наших советских воинов. Недавно генерал вышел в отставку. Я внимательно всматривался в знакомые черты его крупного лица, иссеченного глубокими морщинами. И вдруг морщины эти разгладились, взгляд его потеплел: ветеран увидел молодых лейтенантов.

Один из них взглянул на кремлевские куранты, сказал что-то товарищам, и они быстро направились в сторону Исторического музея. Ветеран сделал несколько шагов им вслед. Задумчивая улыбка коснулась его губ. Он плотно прикрыл глаза, постоял так с минуту, потом снова открыл их — и глаза молодо и ярко сверкнули.

О чем он подумал, что вспомнил этот человек, почти всю свою жизнь отдавший армии?

Может быть, он вспомнил годы своей далекой и мятежной юности, когда взводным командиром воевал под Нарвой в рядах только что рожденной Красной Армии, защищая молодую Республику Советов, а затем почти четыре года кряду сражался на фронтах гражданской войны, уничтожая белогвардейщину?

А может, и другое, более позднее и также незабываемое — упорные бои под Москвой и под Сталинградом, где закалялось и крепло наше мужество, чеканную поступь наших полков под Берлином и водружение над рейхстагом Знамени Победы.

Или он вспомнил, как победным летом 1945 года шагал по Красной площади и как стучали о камень древки неприятельских штандартов, брошенных кавалерами ордена Славы к подножию Мавзолея?

Да, ему было что вспомнить... В рядах родной армии около четырех десятков лет верой и правдой служил он социалистическому Отечеству. И ему есть чем гордиться: армия, в которой он вырос и возмужал, свершила много добрых и поистине великих дел для всех простых и честных людей на земле. Едва родившись,

она в жестоких сражениях отстояла первое в мире государство трудящихся, дала ему возможность укрепиться, обрести могучие, стальные мускулы, в годы второй мировой войны вступила в смертельную схватку с сильным и коварным врагом — германским фашизмом, уже успевшим подмять под себя и вогнать в панический трепет чуть ли не всю Западную Европу и потом бросившим против нашей Родины свою мощь. И из этой битвы Советская Армия вышла победительницей, спасши свою Отчизну, а также и всю Европу от фашистского порабощения.

Да, было что вспомнить..

Но почему же лицо ветерана стало вдруг таким сумрачным, отчего на нем вновь резко обозначились глубокие морщины? Откуда столь внезапно набежало это облако? Может быть, дали о себе знать старые раны, полученные под Варшавой, Берлином и Прагой? Или тут иная боль?..

Реваншисты всех мастей не перестают изрыгать потоки самой низкой клеветы на Советский Союз и его армию, ту самую армию, которая спасла мир от людоедских устремлений Адольфа Гитлера. Разве не те, кто ныне попустительствует этой дикой антисоветской свистопляске, — разве не они, когда их армии получили оглушительную затрещину в Арденнах, взывали к советским воинам: «Спасите! Погибаем!»?! И погибли бы, не сделай Советская Армия своего исторического рывка из-под Варшавы к Берлину. Да единственный ли это случай! Едва унесший ноги из-под Дюнкерка, основательно ошипанный и утративший прежнюю силу, британский лев смог отсидеться на островах и зализать свои раны лишь благодаря тому, что Советская Армия, по образному выражению тогдашнего премьер-министра Англии Уинстона Черчилля, «выматывала кишки» у фашистского зверя под Москвой, Ленинградом и Сталинградом.

Обидно, конечно, когда обо всем этом так скоро забывают. Однако империалисты есть империалисты. И мы не ждем от них благодарности. Но есть и в Англии, и в Америке, и во Франции — во всех буржуазных странах — настоящие люди, их много, их большинство. Они не могут забыть того, что обязаны своей жизнью бессмертному подвигу советского солдата, солдата, воспитанного великой Коммунистической партией

в духе пролетарского интернационализма, в духе братской любви ко всем, кто честно живет и трудится на нашей планете. Советский Союз и его армия-освободительница, армия, овеянная легендарной и доброй славой, навсегда останутся любимы всеми простыми людьми на земле, всеми, кому дороги идеалы справедливости и человеческого прогресса.

III

Уроки истории, уроки гражданской войны были, как известно, весьма предметны и внушительны. Казалось, они пойдут впрок многим нашим недругам. Однако этого не случилось. Империалисты вновь — в который раз! — попытались раздавить единственное в мире Отечество трудящихся. На этот раз против него была двинута слепая, сатанинская сила германского фашизма. Мир, раздвоившись, ждал. Одни со злобным упованием: «Наконец-то, кажется, рухнет Страна Советов!» Другие — с надеждой: «Может, хоть тут ломает свои хищные, волчьи зубы Гитлер!»

Тяжкие, непередаваемо трудные испытания выпали на долю страны и ее Вооруженных Сил. Враг был беспощаден и жесток. Он не скрывал своих человеконенавистнических целей. Около двухсот отлично отмобилизованных дивизий бросил Гитлер на Восточный фронт. На первых порах Советскую Армию постигли серьезные неудачи. Она вынуждена была отступать, оставляя врагу богатейшие районы страны. Что и говорить, горькое было время! Но и в ту лихую годину воины несли в своем сердце горячую уверенность: «Наше дело правое — мы победим!» Пусть немалой кровью, как думалось когда-то, но победим обязательно!..

Ради этой победы комсомолец Николай Гастелло направил свой пылающий самолет на неприятельскую колонну. «Мы победим!» — шептали воспаленные, окровавленные губы юной Зои. «Мы победим!» — и рядовой Матросов бросился на амбразуру вражеского дзота. А в воздух поднимались десятки, сотни и тысячи Покрышкиных, Кожедубов и Маресьевых; по глубоким тылам противника вел свои неуловимые партизанские отряды Ковпак; в районе скованной холодом Орши стили неподвижно и летели под откос немецкие эшелоны — дело рук скромнейшего инженера Константина Засло-

нова. А на многотысячной изломанной линии фронта Советская Армия вела жесточайшие бои.

Победа под Москвой зимою сорок первого — сорок второго года, и вдруг — поражение на Юге, горькое отступление до самой Волги... И, наконец, Сталинград — величайшая битва и величайший наш триумф! С того дня Советская Армия начала свое трудное, но неудержимое движение к границе, к тем рубежам, с которых началось гитлеровское нашествие. Сталинград — Курская дуга — Днепр — Днестр. И вот уже непобедимые полки Советской Армии пересекают кордоны. Там, за рубежом, впервые выпрямившись во весь рост, обратили прояснившиеся взоры на восток измученные фашистской неволей люди. Да, свет шел к ним с востока. Его нес исстрадавшимся народам, нес, сам нередко истекая кровью, ты, скромный труженик, — советский солдат. Трудная, но счастливая выпала тебе доля, солдат-освободитель!

Ты делал свое дело и едва ли думал в ту страдную пору о его гигантских последствиях. Сотни миллионов людей в мире идут сейчас дорогой, на которую первой стала твоя Родина. И многим, очень многим помог выйти на эту дорогу ты, советский солдат. Этим можно гордиться!

Немало глубоких и, казалось, неизлечимых ран получило наше Отечество в минувшей войне. Однако оно залечило эти раны и сделало новый рывок по пути к своей цели. Но ты, солдат, не должен забывать о тех ранах, ты обязан всегда помнить о них и знать, что за беспечность расплачиваются кровью, что народ, давший тебе оружие, требует от тебя высокой революционной бдительности. У твоей Родины много славных завоеваний, на страже которых стоит Советская Армия, окрепшая в суровых битвах, многоопытная, отлично вооруженная, готовая ко всяким случайностям... И когда я думаю об этом, передо мной неизменно возникает образ молодого солдата. Кто он? О чем он думает?... Чей он ровесник? Верен ли он делу отцов своих?

IV

Это было весной 1945 года, за несколько дней до конца войны, в канун нашей Победы. На завтра — последний штурм. На огневых позициях минометной роты

тихо и тревожно, как всегда в предгрозовую пору. На небе — ни облачка. Только в самой вышине тянет за собой белое широкое полотно вражеский самолет-разведчик. Солдаты провожают незваного небесного гостя удивленным взглядом. Уверены: далеко не улетит.

Минометчики сосредоточены. Один подправляет бруствер, другой в десятый, кажется, уж раз, неведомо зачем, перематывает портянку; третий протирает банником накаленную майским солнцем минометную трубу; четвертый, раскрыв лотки, тщательно осматривает мины. Двое сидят в крохотном прохладном блиндажике и вполголоса разговаривают. У одного из них, который постарше, полная пригоршня осколков от разорвавшейся мины. Он встряхивает их, как бы взвешивая на ладони, и сокрушенно вздыхает:

— В воронке нашел. В самой лунке, на донышке.

— Ну и что? — не понимает его собеседник, молодой, огненно-рыжий солдатик, у которого не только лицо, но и светло-зеленые глаза будто забрызганы золотистыми веснушками.

— Как что? — обиженно восклицает первый. — Мина-то наша там разорвалась!

— Ну так что же? — все еще не понимает рыжий.

— Экий ты болван! Ведь осколки, которые остаются в лунке, не поражают противника. Стало быть, убойная сила нашей мины наполовину меньше, чем могла бы быть... Вот я и соображаю: а что, если удлинить взрыватель? Мина будет разрываться выше — осколки все до единого разлетятся в стороны...

— А-а, вон оно какое дело! — уразумел наконец молодой солдат и все же добавил: — Зря стараешься. Войне скоро конец, и мина твоя никому не понадобится. Плуги и тракторы будем мастерить.

«Изобретатель» поглядел на рыжего с укоризной и снисходительным сожалением — так взрослый смотрит на несмышленное дитя:

— В завтрашний день заглянул — это хорошо. Худо вот только, что не все там разглядел. Плуги и тракторы мы будем делать — это уж точно. И даже очень много понаделаем их — больше, чем до войны было. Но и хорошее ружье нам не помешает...

— А кем ты до войны-то был? — спросил вдруг рыжий, внимательно разглядывая своего старшего това-

рища, как бы что-то узрев в нем новое, доселе не замечаемое.

— Агроном, брат... В Заволжье. Слыхал, может, про такую страну-окраину?.. Ну так вот и я говорю: хороший сад лучше сторожить с ружьем, чем с деревянной колотушкой, — он хитро подмигнул рыжему, высыпал на разостланную у его ног плащ-палатку осколки и, присев на корточки, стал вновь пересчитывать их...

Не знаю, где сейчас тот мудрый солдат, что «кумекал» об увеличении убойной силы нашей мины. Помнится, дошел он с нами аж до самой Праги. Потом сказал:

— Ну, а теперь, ребята, мне пора домой. Сыны подрастают, пошлю их в армию.

Может быть, он теперь возглавляет целинный совхоз в своих родных степях, может быть, в числе других встречал в тех же степях первых небесных братьев — Юрия Гагарина и Германа Титова, которые как раз годились бы ему в сыновья и которых мощное сердце ракеты вознесло в немыслимую высь и благополучно вернуло в объятия пославшей их Родины. Может быть, старый фронтовик посадил большой-пребольшой сад, о котором грезил всю войну, и теперь, прислушиваясь к реву сверхзвуковых самолетов, проносящихся над ним, к грохоту устремившихся в небо ракет, горделиво пощипывает ус: хорошее ружье, надежное для охраны большого сада!

Я вижу добрый прищур его умных глаз, вижу его большие, спокойные руки, держащие крохотный саженец...

А где-то у грозной ракетной установки стоит молодой солдат. Его сын. Человек с ружьем, коему мир обязан своим покоем и завтрашним днем.

▼

...Вот о чем думал мой знакомый, генерал-ветеран, на Красной площади. Лицо его вновь просветлело, и он, по старой военной привычке расправив плечи, зашагал в том же направлении, что и группа молодых офицеров. Теперь на их сильных плечах лежит этот тяжкий, драгоценный груз — защита Отечества! А он, ветеран,

проводит их ласковым, отеческим взглядом и тихо, взволнованно вымолвит: «В добрый путь, дети!» У них, конечно, нет еще такого богатого боевого опыта, как у ветеранов войны, над их головами не были неприятельские снаряды, их лица, румяные, пышущие здоровьем, не опалены пороховой гарью, смерть не витала перед их глазами. Но у них есть главное: нерастраченные силы и горячее сердце, полное любви к своей Родине, к ее великому народу-творцу, к Коммунистической партии, воспитавшей их верными ленинцами с открытыми, устремленными в будущее пламенными сердцами.

А остальное приложится. В полках, батальонах молодых офицеров встретят опытные, умные, умудренные жизнью командиры и политработники. Они попадут там в дружный офицерский коллектив и скоро, очень скоро возмужают сами в этой суровой и мужественной армейской семье. Будут у них, разумеется, и радости и горести, победы и поражения — нелегка их доля. Трудно воспитать ребенка, но во сто крат труднее воспитывать взрослого человека, особенно когда ты почти ровесник тому, кого должен воспитать и обучить, и когда у тебя еще так мало житейского опыта...

Возможно, и об этом думал ветеран, провожая мысленным взором молодых офицеров — своих законных наследников — в их жизненный путь. Вот придут они сейчас на вокзал, оформят документы, попрощаются молчаливым взглядом с родной столицей, и поезд унесет их по стальным струнам рельсов куда-то далеко-далеко... на Крайний Север или на юг, на запад или Дальний Восток — велика наша земля, велики ее богатства, которые надо хорошо беречь, охранять!.. А где-то их уже ждут, ждут своих новых начальников, этих двадцатидвухлетних «отцов-командиров», такие же молодые солдаты, которых они должны сделать настоящими воинами — верными стражами нашей Советской Родины.

Какая-то пожилая женщина остановилась, желает молодым офицерам счастья, и мнится, что это сама Отчизна напутствует своих верных сынов: «В добрый путь!»

Скажем и мы всем, кто стоит на страже наших священных рубежей:

— В добрый час, в добрый путь, смелые люди! Будьте бдительны. Помните, всегда помните об этом. В добрый путь, друзья!

VI

Говоря о нашей армии, о советском солдате, нельзя не сказать с чувством глубочайшей благодарности о тех, кто является ее сердцем, ее совестью: о коммунистах.

Армейские большевики...

Так их называли до войны.

Армейские коммунисты...

Не скрою, мне очень по душе два эти рядом поставленные слова. За ними видятся лица знакомые и незнакомые, но одинаково мужественные и одинаково честные. Это и ты, мой товарищ по сталинградской боевой страде, младший политрук Петя Ахтырко, член партии с сорокового года, о котором нельзя точнее сказать, чем сказано в одном очень памятном для армейских большевиков документе: «принадлежность к коммунистической ячейке не дает солдату никаких особых прав, а лишь налагает на него обязанность быть наиболее самоотверженным и мужественным бойцом»; это и ты, мой однофамилец, политрук второй стрелковой роты, первым поднявшийся в знойной донской степи и поведший за собою своих ровесников навстречу атакующему врагу, — тебя не стало после того боя, но ты вечен в памяти твоих друзей, в памяти сынов, внуков и правнуков этих друзей; это и ты, Коля Сараев, двадцатилетний румяный и очень застенчивый по характеру паренек, бросившийся под неприятельский танк со связкою гранат, а перед тем написавший три слова: «Считайте меня коммунистом»; это и те, которые вдохновили юных молодогвардейцев на бессмертный их подвиг; это и те, которые организовывали большевистское подполье там, где, казалось бы, никак нельзя его организовать, — в гитлеровских тюрьмах и концлагерях...

Все это люди, которые меньше всего думали о своих правах и постоянно помнили о своих обязанностях. Впрочем, для них права и обязанности — понятия одинакового свойства. Люди эти совершали и совершают великие подвиги по праву своего сердца и по обязанности, вытекающей из звания коммуниста. Из всех че-

ловеческих прав они превыше всего ставят право быть впереди, иными словами — право быть там, где опаснее всего, где труднее всего, где не обойтись без пламенного сердца коммуниста.

«Для коммуниста всякая работа на фронте почетна и ответственна, — говорилось в одной из памяток, вкладываемых в те годы в партийный билет. — Завоюй внимание и уважение к себе не должностью, которую ты занимаешь, а своей работой... Коммунист в бой вступает первым, выходит из боя последним, показывая, что коммунист умеет не только благородно жить, но и достойно умереть».

И коммунисты с честью выполняли свой долг в войсках, показывая личный пример храбрости и отваги, несли в массы страстное партийное слово.

Как-то мне привелось услышать разговор двух соседей, судя по всему, рядовых служащих. Толковали они о том о сем, и вдруг один спрашивает:

— Гляжу я на тебя, Иван Дмитриевич, и все думаю: зачем это тебе?..

— Что? — не понял Иван Дмитриевич.

— Вот ты коммунист, а я беспартийный. Ты и я — оба работаем в одной конторе, оба бухгалтеры, получаем одинаковую зарплату, только свою-то я приношу домой почти сполна, а ты сверх налога еще и членские взносы платишь. Я провинюсь — мне один выговор, а тебе сразу два, по административной линии, да еще и по партийной... Да и простят мне мою промашку скорее — что спросишь с беспартийного? А ведь тебе-то солоно, ох как солоно придется!.. И на войне, помнится, как чуть что: «Коммунисты, выходи, коммунисты, вперед!» Вот я и думаю...

— А я думаю о другом, — резко перебил Иван Дмитриевич своего собеседника, — думаю о том, что плохой, значит, я еще коммунист, ежели рядом со мною сидит в конторе такой человек, как ты... И тебе не стыдно говорить такое?..

Я не знаю конца их разговора, потому что соседи тотчас же снялись с лавочки, на которой сидели, и разошлись по своим квартирам. Суть, однако, не в этом. А суть в том, что собеседник Ивана Дмитриевича видел лишь внешнюю и, конечно же, не главную сторону принадлежности к партии и не видел внутренней, то есть основной, главной, решающей: человек, вступивший в

члены Коммунистической партии и таким образом взявший на себя большую долю ответственности перед обществом, такой человек изведает в жизни большее счастье: знать, что твоя жизнь очень нужна другим людям, — может ли быть на земле еще большее счастье!

Вся страна хорошо знает атомную подводную лодку «50 лет СССР», экипаж которой, выступив инициатором замечательного патриотического соревнования, стал правофланговым всех Советских Вооруженных Сил.

Недавно я был на Краснознаменном Северном флоте и встречался с командиром и «комиссаром» (как его здесь зовут) лодки Василием Васильевичем Анохиным и Александром Михайловичем Федотовым.

Они рассказывали мне о невиданных в истории мореплавания походах, о героическом штурме Арктики, а я думал: прекрасно, что наши корабли ведут такие люди. Коммунисты Военно-Морского Флота. Люди высокого долга и чести, неутомимо овладевающие новой боевой техникой и оружием, методами их наиболее эффективного применения, стойко преодолевающие трудности дальних океанских походов, увлекающие за собой всех сослуживцев на успешное выполнение социалистических обязательств в соревновании, разлившемся могучим половодьем по инициативе экипажа атомной подводной лодки «50 лет СССР».

Как здесь не вспомнить наше боевое прошлое: за годы Великой Отечественной войны более трех миллионов членов и кандидатов ленинской партии отдали свои жизни в борьбе с фашистскими захватчиками. А как примечателен тот факт, что более 70 процентов Героев Советского Союза являлись коммунистами!

Я глубоко уверен в том, что герои с атомохода «50 лет СССР» не свершили бы свой ратный подвиг столь блистательно, если бы коммунисты корабля не передали их сердцам то, чем обладали сами, то, что мы называем очень дорогими нам словами: мужество, любовь к Родине, дружба, боевое товарищество, верность воинскому долгу.

Я очень хорошо понимаю командиров и политработников, когда они озабочены тем, чтобы хоть один коммунист, но обязательно был в роте. Трудно в этих случаях обойтись без таких выражений, как «боевое ядро», «костяк» и тому подобных, потому что ком-

мунисты в любом воинском организме — да только ли в воинском! — это действительно ядро, костяк, цементирующее начало. В условиях мирной учебы главной задачей армейских партийных организаций было, есть и будет повышение боевой и политической подготовки воинов, а еще точнее сказать — повышение боевой готовности войск.

Усилия армейских большевиков идут в двух чрезвычайно важных направлениях: с одной стороны — это неутомимая помощь командирам в повышении боевой мощи подразделений; с другой — усиление связей армии со всем советским народом, что наполняет солдат сознанием общности судеб, общности дел, тех великих дел, которые делает вся наша страна, строя коммунизм, а стало быть, и повышает ответственность воина перед народом, перед страной, больше того — перед судьбами мира. В этом глубокая формула «народ и армия у нас едины» получает еще одно совершенно конкретное выражение.

Армейские большевики...

Когда я мысленно произношу два этих слова, передо мною один за другим, чередую, проходят образы. Будь то Дмитрий Фурманов, неотразимую логикой своих слов и убежденностью коммуниста охлаждающий на первых порах не в меру расхोлившегося Чапая; будь то чрезвычайный комиссар Орджоникидзе; будь то член Военного совета, вчерашний крупный партийный работник, по случаю боевой страды ставший генералом; будь то парторг роты или рядовой боец-коммунист, первым вылезавший из обжитого окопа где-нибудь на Курской дуге, чтобы лицом к лицу встретиться с врагом; будь то безвестный взводный или ротный агитатор, который в свободные минуты читает солдатам в ленинской комнате «Как закалялась сталь»; будь то летчик-испытатель, который первым на еще не облетанной чудо-машине молнией взмлет в воздух, потому что летчик этот — коммунист, и самое трудное, по праву и долгу коммуниста, должно принадлежать только ему или тем, которых он воспитал; будь то тихий и спокойный человек в военной форме, который по глазам ли, по поступкам ли или по чему другому первый увидел, что у такого-то солдата не все ладно, не все в порядке дома, на его родине, и, увидев, помог тому солдату; будь то замполит, который вдруг вступился за человека, всем

уже было показавшегося пропащим, не поддающимся воспитанию, разглядел в нем нечто такое, за что можно было еще ухватиться и вытащить человека из засасывающей его трясины, вернуть его в строй...

Все это для меня — армейские большевики. Благодаря им наша армия является такой, какой она есть: грозной по своему боевому могуществу и гуманной по своей внутренней сути, по тем задачам и целям, которые поставлены перед нею историей.

И мне хотелось бы обратиться непосредственно к солдату и, хоть он и сам, наверно, хорошо знает это, но все же лишний раз (что, кстати сказать, никогда не бывает лишним!) напомнить ему, что ежели рядом с тобою служит коммунист, то лучшего товарища не найти, он — твой верный и бескорыстный друг: никогда не толкнет тебя на дурной поступок, а, скорее, удержит от такого поступка; он никогда не присоветует что-либо худое, а, скорее, наставит на путь истинный; а коль попадешь в беду, он постарается выручить тебя из нее; он научит тебя жить, ценить хорошее и презирать плохое, любить то, что достойно любви, и ненавидеть то, что заслуживает ненависти. Проще говоря, тебе с таким человеком всегда будет хорошо, важно только, чтобы сам-то ты, солдат, прислушивался к голосу товарища-коммуниста, ибо это голос самой совести.

Армейский же коммунист, в свою очередь (в первую, стало быть, очередь), помнил бы, как высока и как благородна ответственность его перед солдатами, с которыми он служит, перед народом, которому все мы служим.

Так было и так будет всегда, как сказано в стихотворении А. Межирова:

Повсеместно,
где скрещены трассы
 свинца,
где труда бескорыстного
 невповорот,
или там, где кипенье
 великих работ,
сквозь века,
 на века,
 навсегда,
 до конца:
— Коммунисты, вперед!
 Коммунисты, вперед!

Когда завершилась Великая Отечественная война, его еще не было на свете, сегодняшнего рядового человека с ружьем. И вот теперь вся страна отдала под его охрану самое дорогое, что у нее есть, — судьбу двухсот пятидесяти миллионов своих сынов и дочерей, их настоящее, их будущее. Более того — в его руках охрана мира во всем мире, ибо от того, что он, советский солдат, все время стоит на своем посту, в большой степени убавляется воинственный пыл даже у наиболее оголтелых проповедников новой войны. И это еще не все. Советская Армия накопила богатейшие боевые традиции, завоевала всенародную любовь и всемирную славу своими величайшими подвигами. Это громадное наследие. Оно целиком передано в твои руки, молодой солдат. Ты законный наследник ратных дел Чапаева и Фрунзе, Щорса и Лазо, Буденного и Пархоменко, Жукова и Рокоссовского, Конева и Черняховского, Матросова, Гастелло и Покрышкина, защитников Брестской крепости и Сталинграда, воинов, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом и первыми ворвавшихся в истекающую кровью восставшую Злату Прагу.

Помнишь ли ты обо всем этом, молодой солдат, — наш младший однополчанин и побратим? Ты не должен, ты не имеешь права забывать обо всем этом!

Наследники, как известно, бывают разные. Те, кто, получив наследие, разбазаривает, растраниживает его, — это очень плохие наследники. Только тот достоин великого наследия, кто свято хранит его и приумножает своим неутомимым трудом, своими подвигами. Хочется, чтобы ты, товарищ солдат, всегда помнил об этом.

Чем ты сейчас можешь умножить силу и славу родной армии?

Если ты летчик, то учись летать на своей стальной птице выше, дальше и быстрее всех — только в этом случае ты надежно закроешь небо своей Отчизны от непрошенных гостей. Если ты танкист, то обязан водить свою грозную машину ночью так же уверенно и стремительно, как и днем. Если ты артиллерист, то твой снаряд должен лететь только в цель. Если ты пехотинец, твои ноги должны быть крепки и упруги, как стальная пружина, а сердце — смелым и неукротимым, таким, ко-

торое не дрогнет в рукопашном бою. Другими словами, везде ты должен быть настоящим солдатом!

У нашей Родины много друзей. И это очень, конечно, хорошо. Но есть у нас и враги, лютые и злобные. Этого нельзя забывать, солдат. На все их происки надо ответить лишь одним: укреплением боевой мощи Советской Армии, непрерывным совершенствованием своего боевого мастерства, овладением новыми видами оружия, которыми Родина щедро оснастила свою любимую армию. Все это для того, чтобы народ был всегда уверен, что его завоевания, завоевания Октября — под неусыпной, надежной охраной.

1964—1974

ИСТОКИ ПОБЕДЫ

Вероятно, никому из вас не кажется странным, что, думая о Дне Победы над фашистской Германией, мы заглядываем сначала не в солнечный и радостный 1945-й, а в полынно-горький, принесший нам неисчислимые страдания и утраты год 1941-й.

Июнь — декабрь сорок первого...

Сколько великих потрясений, человеческих драм вместил в себе этот совсем короткий отрезок времени! Советская Армия отходила на глазах непонимающих, удивленных и обливающихся горячими слезами людей.

«Что же это? Как же это?» — спрашивали они друг друга и не находили ответа на эти мучительные, жгучие, испепеляющие вопросы. Теперь-то мы знаем, а тогда?.. Сколько человеческих судеб было направлено сразу же не по тому руслу, по которому им суждено было бы идти в условиях мира, сколько жизней оборвалось либо в самом их начале, либо в полном расцвете, а сколько разбросало по белу свету!

И все-таки в нем, трагически-суровом 1941-м, надлежит искать истоки нашей победы. И не только потому, что это было первое и самое тяжелое испытание, из которого мы в конце концов вышли не побежденными, а победителями. Не только потому, что именно тогда совершился историко-психологический перелом, который по своему значению стоил более, чем десятки и даже сотни выигранных сражений.

Речь идет о кульминационном моменте, до которого потрясенный мир продолжал еще верить в несокрушимость гитлеровской военной машины, а уже после декабря сорок первого года вера эта была решительным образом поколеблена на радость всему пострадавшему человечеству и на погибель фашистского рейха.

Сам по себе этот факт имел последствием то, что гитлеровцы смогли доползти лишь до московских предместьев, а мы, исполненные исторической справедливости, вошли в Берлин и водрузили над рейхстагом свой алый победный стяг.

Но и это еще не все.

Как-то в Чехословакии мне довелось провести несколько часов среди старых коммунистов, возглавлявших в годы гитлеровской оккупации антифашистское подполье. Люди эти честно признавались, что, как бы ни показалось такое обстоятельство парадоксальным, но они скорее обрадовались, нежели огорчились, услышав в июне сорок первого о нападении фашистской Германии на Советский Союз. Обрадовались не по извечной человеческой слабости, что, мол, не нам одним нести сей тяжкий крест, но и другим.

Нет, просто люди эти поняли, что вот теперь-то Гитлер разобьет наконец свою безумную голову, ибо Советский Союз есть Советский Союз и с ним шутики плохи.

И удивительное дело, в тот кошмарный день, когда истекающий кровью советский пограничник готовил к броску последнюю гранату, чтобы убить хотя бы еще одного захватчика, а в следующую минуту встретить свой смертный час, многие незнакомые ему люди на Западе впервые улыбнулись — солнце грядущей победы как бы на миг озарило их лица.

Вот ведь еще что такое год тысяча девятьсот сорок первый!

Пограничник тот погиб на своем страшном рубеже, но капли его крови вобрало в себя багряное полотнище, взвившееся над поверженной фашистской столицей. И в этом смысле победителями оказались не только живые, но и мертвые. Не только те, что бросили штандарты сокрушенных гитлеровских полков к подножию ленинского Мавзолея, но и те, что пали под Москвой в тот тяжелый ноябрь сорок первого года, отправившись с легендарного парада прямо на боевые рубежи.

В героико-трагическом 1941-м нам виделся победный 1945-й.

Иначе бы мы не победили.

Вот что приходит в голову прежде всего, когда думаешь в эти дни об историческом побоище, происходившем под Москвою.

Вот о чем, думается мне, должен прежде всего вспомнить литератор перед тем, как начать свое повествование о тех незабываемых днях.

1973

ГОРДОСТЬ ОТЧИЗНЫ

Три года назад юные следопыты—волгоградские пионеры привезли мне необычную посылку: осколки мин, снарядов и бомб, пролежавшие в земле три десятка лет. В тот засушливый семьдесят второй год страшные суховеи сорвали в волгоградских степях верхний слой почвы и обнажили этот посев минувшей войны: ржавые осколки крупновской и нашей стали, которые и теперь еще обжигают руки. Их-то и собрали дети, внуки и даже правнуки тех, кто сражался у стен Сталинграда и в самом городе, снискав ему славу на веки вечные.

Битву на Волге теперь называют величайшей, но ежели можно было бы придумать эпитет более впечатляющий, мы бы, несомненно, употребили его, потому что тут преувеличения не будет. Каким Ватерлоо, каким Каннам, каким Верденам сравниться, если вспомнить, что только в боях за «Дом Павлова» гитлеровские войска понесли значительно больше потерь, чем при взятии некоторых европейских столиц! Что же касается исторических последствий нашей волжской победы, то и они не имеют себе равных. Лишь после того, как поднял руки последний гитлеровец из трехсоттридцатитысячной окруженной фашистской армии, можно было сказать: «Мир спасен!» — сказать задолго до того, как обогранные кровью миллионов дьявольские руки фюрера потянулись к ампуле с ядом.

Двести дней и двести ночей!

О них вспоминали бойцы, съезжавшиеся к берегам Волги со всех концов огромной нашей страны.

...Поздней ночью отправлялся поезд из одного горо-

да-героя в другой город-герой, на вагонах экспресса надпись: «Москва — Волгоград». Пассажиров этого поезда не обременяла тяжелая ноша — вместо чемоданов все больше портфели да сумки, с какими спортсмены ходят на тренировки. Люди ехали, что называется, налегке. Кто такие? Об этом нетрудно догадаться, потому что все время слышалось: Чуйков! Шумилов! Родимцев! Людников! Павлов!.. Ветераны входили в вагон не сразу: встречались тут, на хорошо освещенном перроне, затем подолгу трясли руки, всматривались в лица, узнавая и не узнавая. И не мудрено: за много лет, прошедших с тех памятных дней, воины не стали моложе. Сейчас лица их были строги и торжественны. О каждом можно было бы написать повесть, поэму, роман. Впрочем, о многих уже написаны и повести, и поэмы, но почему-то не веришь этому, до того скромны эти главные герои написанных и ненаписанных книг.

Из школьных учебников географии мы знаем, что островом называется часть суши, окруженная со всех сторон водой. Вот только не знаем, как бы в тех учебниках называли клочок волжской земли, окруженной со всех сторон не водой, а вооруженным до зубов врагом и поливаемой денно и ночно опять же не водой, а ливнем осколков и пуль. И она была обитаемой, эта часть суши, на ней были люди во главе с полковником Людниковым. «Люди теплые, живые», как сказал о них большой советский поэт. На протяжении многих дней и ночей они сражались изолированные, отторгнутые от основных сил легендарной 62-й армии. Для фронтовика нет более тяжелой минуты, чем та, когда он не чувствует плеча товарища. А тут была не минута, а много тысяч таких минут! Помянутая нами дивизия занимала позиции среди развалин завода «Баррикады», и баррикады эти оказались для врага неодолимыми.

Темноволосого низкорослого крепыша по-прежнему зовут сержант Павлов, хотя он уже давно не в армии и занимается сугубо гражданскими делами. Странное чувство испытываешь, когда сидишь рядом с этим не шибко разговорчивым человеком, скажем, перед телевизором, в чудесной волгоградской гостинице «Интурист», поднявшейся по соседству с универмагом, из которого был выведен когда-то пленный фельдмаршал Паулюс. Сидишь и слушаешь, как молоденькая девушка-теледиктор, родившаяся, наверное, лет десять спустя после Ста-

линградской битвы, бойко и уверенно рассказывает своим невидимым слушателям о подвиге бессмертного гарнизона Дома сержанта Якова Павлова. Как бы она смутилась, как сорвался бы ее звонкий голосок, если бы вдруг увидела, что прямо перед ней сидит и смотрит из сумрака чуть затененного фойе живой, всамделишный, натуральный Яков Павлов!.. Она ведет передачу и не знает о том, что на нее смотрит какой-то дедушка с тяжелыми усищами и что это вовсе не дедушка, а гвардии ефрейтор Василий Сергеевич Глушенко, сподвижник Якова Павлова. Рядом с ним — пулеметчик Дорохов. Может быть, в Доме Павлова этому человеку досталось больше всех солдатского лиха.

Из Амвросиевки, что на Донбассе, приехал Николай Петрович Макаренко — бывший наводчик артиллерийского истребительного противотанкового полка 62-й армии. Он опоздал к главным торжествам. Выручила, однако, солдатская находчивость. Николай вышел на площадь Павших борцов, встал у памятника, перед Вечным огнем, встал рядом с часовыми, по-артиллерийски точно рассчитав, что где-где, а здесь-то он встретит однополчанина. И вот они обнимаются с Сашей Цыганковым, впрочем, уже не Сашей, а Александром Васильевичем, доктором технических наук, начальником лаборатории по газу и нефти. Вот тебе и гвардии рядовой Саша Цыганков!...

На Мамаев курган я приехал раньше, чем туда приехали генералы, офицеры и солдаты бывших 62-й и 64-й армий. И все же раньше всех там оказался Алексей Егорович Лялин — бывший солдат-пулеметчик, сражавшийся на Мамаевом кургане, а затем в числе других рабочих Волгограда соорудивший здесь памятник. Памятник самому себе и своим товарищам, подумалось мне. На руке у Лялина не хватает двух пальцев — здесь где-то, на горькой земле древнего кургана, потерял он их, сохранив, однако, добрую хватку настоящего строителя-умельца в оставшихся восьми...

А там, на площади Павших борцов, мерцает колеблемый ветерком Вечный огонь. Его зажег Герой Социалистического Труда Иосиф Петрович Стриженов, и надо назвать очень счастливой мысль зажечь этот огонь от искры Волжской ГЭС. Тут четкая символика: не было бы ни красивейшего города Волгограда, куда, точно в Мекку, стремятся паломники со всего бела све-

та, не было бы и этого великолепного гидротехнического сооружения, если бы не пролили свою кровь они, павшие, если бы не выстояли пришедшие им на смену герои. Ничего не было бы. Черная ночь фашистского рабства нависла бы над нашей землей. Кто знает, сколько длилась бы эта страшная тьма!..

Здесь особенно остро понимаешь живущее в каждом ветеране войны властное и горячее желание вновь побывать в тех местах, по которым провели его однажды фронтовые пути-дороги. Побывал и я тридцать лет спустя возле чуть приметной ямки на месте бывшего своего блиндажа. Отыскал его по яблоне-дичку, чудом уцелевшей и даже раздобревшей на том же самом месте, где стояла она в памятных сорок втором и сорок третьем годах. Стоит, родимая! И в отличие от меня, кажется, нисколько не постарела. Сучья новые, молодые, просторно разбросаны в разные стороны. Только внизу, у самого комля, видны зарубцевавшиеся раны, тугими узлами вспухли они на грубой коре.

Потом мы поехали к Волге. Далеко внизу, вытянувшись вдоль великой реки чуть ли не на сотню километров, виднелся город. Отсюда, с горы Лысой, была хорошо видна вся его величественная панорама.

Возродившись из руин, город имел все основания называть улицы и переулки именами живых и павших своих героических защитников. Но хотя улиц, переулков в Волгограде превеликое множество, героев, сражавшихся за город в годы обороны Царицына и в Великую Отечественную войну, куда больше.

И сами улицы и переулки, где прямо, как луч, где изгибами, но обязательно берут свои начала или вытекают — лучше так скажем — из главного проспекта, нареченного именем Ленина. Есть, впрочем, проспект, двинувшийся по городу параллельно главному, — это проспект Мира. Он катится об руку с проспектом Ленина, как бы напоминая этим, что одним из первых ленинских декретов был Декрет о мире. Город, испытавший в войнах такое неисчислимое множество страданий, пожалуй, лучше других знает, что значит для человечества Мир.

Не каждый ветеран Сталинградской битвы сразу отыщет в центре города историческое здание, из подвала которого советские солдаты вывели пленных фашистских генералов. Когда-то одно из самых крупных и

примечательных, оно теперь скромно укрылось за целым ансамблем общественных и жилых домов. Они выросли вокруг площади Павших борцов, на проспекте Ленина, по Комсомольской и Советской улицам. Это и нынешний медицинский институт, и гостиницы «Волгоград», «Интурист», это и Дом связи, и Драматический театр имени А. М. Горького, и Госбанк, и Дом союзов, и Дом гидростроителей, — да мало ли еще тут домов на загляденье! Ближе к Волге весь ансамбль венчает аллея Героев. Жители города не скрывают своей гордости — и их можно понять! — когда выходят на Центральную набережную с ее каскадами гранитных лестниц, мраморных колонн, с ее фонтаном, окруженным скульптурной группой «Дружба», парком «Победа», театром оперетты, цветниками, бульварами.

Почти все люди земли любят по-своему то место, где они нашли кров и пищу, где живут, где родятся их дети. Но любовь волгоградцев к своему городу — особенная. Люди возродили из рыжего кирпичного праха город, они построили, буквально вынырчили город во сто крат лучший и красивейший, как же им не любить его, не гордиться им, а заодно и самими собой, когда это творение их рук, разума и сердца. Любовь и гордость эта переливаются от отцов и матерей к детям, которые сейчас несут почетный караул у Вечного огня перед памятниками на площади Павших борцов и на Мамаевом кургане. Легкий ветерок пошевеливает пламень огня и пламень пионерских галстуков — строгие и торжественные, юные волгоградцы слышат мелодию, которая, как голос погибших воинов, доносится до них откуда-то из самых, кажется, глубин земли. Может, это голос Героя Советского Союза Р. Р. Ибаррури, майора В. Г. Каменщикова или капитана Х. Ф. Фаттахутдинова... Испанец, русский, татарин, они здесь погибли и теперь покоятся в сквере недалеко от памятника. Сталинградская битва явила миру несокрушимое единство советских народов и одновременно их крепкую дружбу со всеми другими народами, жаждущими мира.

Волгоград — это не застывший в мраморе, граните и камне памятник. Его жители отлично понимают, что слава боевая должна быть подкреплена славой трудовой. Поперек широкой реки легла Волжская гидроэлектростанция мощностью в два с половиной миллиона ки-

ловатт. Со дня своего рождения она успела пропустить по горячим жилам проводов высокого напряжения миллиарды киловатт-часов электроэнергии.

Трудно перечислить все предприятия, возникшие в городе и его окрестностях после войны. Но что случилось с заводами-ветеранами, например, со знаменитым Сталинградским тракторным? Разве он тот, что был? Начав много лет назад с колесных, малосильных машин, он в годы послевоенных пятилеток подошел к дизельным ДТ-54, ДТ-54А с гидронавесной системой (это когда не нужно прицепщиков) и, наконец, к мощному ДТ-75. А прославленный «Красный Октябрь»? Сейчас начинается его второе рождение. На смену прослужившим долгие годы старикам мартенам приходят ультрасовременные электросталеплавильные печи. «Сталь из нашего цеха, — говорит один из руководителей предприятия — В. М. Катаев, — самой высокой пробы. Это наш ответ на призыв Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева превратить десятую пятилетку в пятилетку качества».

Город не выглядел бы столь гармонично, если бы его развитие шло лишь по одной линии — промышленной, народнохозяйственной, если бы одновременно не шло интенсивное накопление в нем непреходящих духовных ценностей. Ныне всем ведомо, что Волгоград стал одним из крупнейших учебных, научных и культурных центров Поволжья. Город, знамена которого овеяны боевой славой в двух войнах, из восьми высших и девятнадцати средних учебных заведений особое место в своем сердце сберег для Качинского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознаменного училища летчиков имени А. Ф. Мясникова. И не только потому, что оно старейшее из всех — ему уже более шестидесяти лет, — но и потому, что свыше двухсот сорока его выпускников стали Героями Советского Союза, а один — А. И. Покрышкин — трижды.

Глядя с возвышенного места на Волгоград, мы бы могли долго еще рассказывать о нем. Но, пожалуй, правильнее пригласить людей в гости. Человек на то и человек, что ему хочется все увидеть собственными глазами. Пятидесятиметровая статуя на Мамаевом кургане, олицетворяющая собою Родину-мать, как бы предупреждает, что с мечом пришедшие к нам от меча и погибнут. Но вместе с тем она говорит каждому из нас:

«Приезжайте, посмотрите, что сделано руками моих сыновей и дочерей. Посмотрите и берегите этот удивительный город и мир во всем этом мире!»

1975

СПАСИБО ТЕБЕ, ПАМЯТЬ!

Читаю этими ясными майскими днями, насыщенными, однако, грозой давних событий, которую донесла до нас, приблизила вплотную удивительная сила человеческой памяти, взбудораженной великою для всех нас датой, — читаю:

«Перед тем был плацдарм. Наш тяжелый предвесенний плацдарм за рекой, за Гроном. Из всех форсированных рек Грон для нас — это самая грозная, губительная река. По утрам накатывались туманы, сплошной тучей заволакивали еще не совсем замерзшие поля вокруг Барта и Камендина — так назывались населенные пункты, которые нам надо было удерживать. Туманом съедало снег. Его становилось все меньше, талые воды, подступая, заливали блиндажи, огневые, затапливали наши окопы. Положение ничем нельзя было изменить: солдатам приходилось днем и ночью стоять в этой ледяной воде, среди подступающего потопа держать оборону».

Да простится мне эта длинная цитата: дело в том, что там, среди талых вод, среди этих туманов, на плацдарме за почти безвестной, но «грозной и губительной» для нас речушкой по имени Грон, был и я, гвардии капитан Алексеев, и старшина минометной роты, гвардии старший сержант Гончар едва ли знал в ту пору, что служит в подразделении, которое я когда-то сформировал и вступил с ним в бой в жарких степях Сталинграда, в бой с наступающими фашистскими полчищами.

В данном же случае меня поразило другое: уж больше тридцати лет прошло с того времени, когда наша 72-я гвардейская стрелковая дивизия бесценно (подумайте хорошенько — бесценно!) прошла от Волги до Грона, то есть до Карпат, прозванная в шутку ее солдатами «непромокаемой и непросыхаемой», — больше тридцати лет прошло от тех дней, когда она вела кровопролитные бои на том плацдарме, а человеческая па-

мять сохранила во всех подробностях те «тяжкие, предвесенние» дни «за рекой, за Гроном». Казалось, человек, создавший литературный триптих о тех же временах под названием «Знаменосцы», не отыщет уже в своем сердце новых, точных, первозданно свежих, незатертых слов, чтобы обозначить ими то, что было с ним, нами, его однополчанами, тридцать лет назад, — однако ж отыскиались такие слова, ибо запасник потревоженной души велик, он воистину неисчерпаем.

Я сказал «кровопролитные» не потому, что так говорят и пишут почти о всех боях. Во всех боях проливается кровь. Но там, за Гроном, ее пролилось уж очень много, в таком пекле мы не бывали, пожалуй, со времен Сталинграда и Курской дуги, и потери наши были особенно тяжки и горьки, потому что все это происходило совсем недалеко от рубежей, на которых нас ждала Победа.

Может быть, Олесь Гончар и побранит меня за то, что я кое-что добавлю к тому, что им сказано и в воспоминаниях и в трилогии. Один из любимых его героев, Воронцов, в жизни майор Петр Воронцов, замполит нашего полка, погиб там же, за Гроном, погиб вместе с командиром полка подполковником Ходжаевым, введенным Гончаром в романе под именем Самиева. Воронцов, помнится, по роману остался живой — не поднялась рука писателя, чтобы последовать за роковым часом, ожидавшим его славного героя за этой для нас «самой грозной, гибельной рекой».

Есть в Словакии один крохотный городок, на площади которого покоятся наши с тобой, Олесь, боевые побратимы. Десять лет назад я был там. Побывал и за Гроном, в Каменине (в прошлом — Камендин), посидел на правом крутом берегу реки, среди виноградников, возле бункеров, источавших сладостно дурманивший дух густо-красных, как человеческая кровь, и таких же вязких вин, и в какую-то минуту вздрогнул, услышав за спиной:

Три танкиста, три веселых друга...

За моей спиной стоял и улыбался человек, маленький, чернявый.

— Зыдырастуй, кичи капитан! — вскричал он и повис у меня на шее.

Теперь я вспомнил: да это же наш толмач, наш пе-

реводчик, тот самый, который в ту далекую пору не убоился ни немецких танков, ни бомб, ни снарядов и который помогал отыскивать на реке брод, где смогли отойти остатки нашей славной «непромокаемой, непросыхаемой». Он уже тогда напевал бодрую песенку о советских танкистах, неизвестно когда и где им подхваченную.

Какое-то время стояли молча, глядели друг на друга. И я мог бы тоже, подобно Олесю, сказать тогда:

«Стоим, смотрим сквозь верхушки деревьев на небесный звездный плацдарм».

Память моя работала с удвоенною силой. Тут ей в помощь пришла другая память, другого человека, и, соединившись, они уже трудились вместе.

«А помнишь? А помнишь?» — перебивчиво звучало над Гроном.

Помним, все помним!

Спасибо тебе, память! Как бы мы обеднели без тебя, скольких бы обидели, таких, которые достойны того, чтобы о них никогда не забывали.

1975

ГОДЫ ИДУТ

Годы идут и делают свое дело. Родившиеся после войны дети стали отцами, а их отцы, участники былых походов, стали дедами. Военные лета остались где-то далеко позади, но сама война не отстает, могучею силой человеческой памяти и глубокими следами, оставленными ею на челе земли, крепко держит нас, не отпускает, обжигая горячим своим дыханием. Колокола Хатыни бьют прямо по сердцу и через каждые тридцать секунд набатно зывают: «Не забудь! Не забудь! Не забудь!» Ряды ветеранов редеют, а участников давно минувшей войны становится как бы все больше и больше: по местам былых сражений идут ныне бесчисленные отряды юных красных следопытов и, производя свои поиски и скорбные раскопки, сами не только прикасаются к героическому нашему прошлому, но и причащаются от него, мужая и взрослея.

Есть цифра, которая потрясает: 20 миллионов. Однако мы не боимся ее назвать даже в самые торжествен-

ные дни нашей жизни, потому что мы сильные и мужественные люди и понимаем, во имя чего заплачена столь дорогая цена. Впрочем, некоторые деятели на Западе привыкли все переводить в кредитки, в банковские знаки, в деньги. Ими точно подсчитано, во сколько миллиардов обошлась человечеству мировая война. Не подсчитано лишь, сколько материнских и вдовьих слез выплакано, сколько незарубцевавшихся ран осталось на сердцах тех же матерей и солдатских вдов, сколько человеческих теплых гнезд порушено, сколько не сыграно свадеб, не спето песен, не досказано сказок, сколько тугих узлов завязано в самих человеческих судьбах, тех самых узлов, и по сей день еще не развязанных, не распутанных до конца.

Сердце же и разум художника обязаны все это помнить, всему этому вести счет. Сердце, разум и совесть творца.

Война была для нашей страны тяжчайшим испытанием. Испытанием на прочность для советского общества, испытанием на прочность прежде всего для Советской власти. И она, наша родная Советская власть, с честью вышла из этого испытания и явила миру свою несокрушимую жизнеустойчивость, убедительно доказав, что она власть народная.

Нельзя, однако, думать, что более легким испытанием были для всех нас годы послевоенные. Едва начавшись, война подчинила себе безраздельно все ресурсы страны — материальные и духовные. Как бы ни было тяжело, но каждый говорил себе: «Ничего. Потерплю. Потерплю, идет война». И после войны мы говорили: «Ничего, потерпим, восстановим свое хозяйство, вызволим из пепла наши города и села, сделаем их еще прекраснее». Советский человек терпел, неся на своих плечах тяжести, которых хватило бы в иных условиях на десятерых. Но у каждого члена нашего общества была своя судьба, она вливалась в общую судьбу Родины, а потому-то и не могла быть безразличной для всего общества. Судьбы же эти по большей части были нарушены войной, расстроены, многие привычные человеческие связи оборваны. Потребовались годы и гигантские усилия нашей партии, чтобы провести страну и через эти испытания и вывести с честью из них. Военная победа над врагом, одержанная нами в мае 1945 года, стала нашей Победой в самом широком и

глубоком смысле: в политическом, экономическом и, что не менее важно, нравственном. Над осмыслением всего этого, над художественным отображением столь важных явлений, связанных с минувшей войной, будет основательно работать не одно поколение советских писателей.

Нельзя забывать, что сорок пятый, победный, органически включает в себя и сорок первый, и сорок второй, и сорок третий, и сорок четвертый, и все предшествующие годы, начиная с Октября 1917 года, то есть все годы Советской власти, когда партия наша готовила народ к величайшему и неотвратимому испытанию.

Без такого взгляда на историю войны трудно рассчитывать на творческие победы. Именно такой взгляд на суровые события сороковых годов предопределил появление таких шедевров, как «Василий Теркин» А. Твардовского, «Судьба человека» М. Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева. Этим же обстоятельством, думаю мне, следует объяснить большой читательский успех последних произведений К. Симонова, А. Чаковского, В. Кожевникова, Ю. Бондарева, И. Мележа, И. Стаднюка, В. Богомолова, Г. Коновалова, А. Иванова, П. Проскурина, А. Ананьева.

Годы бегут, сорок пятый все дальше и дальше отодвигается в прошлое. А жгучий интерес к теме войны не остывает. Мы еще не все о ней рассказали. Мы еще не рассказали в полную силу о бессмертном подвиге советской женщины — невесты, матери, труженицы и воительницы, хоть и обещали написать о ней сочинения, полные любви и удивления. Не все сказано и о солдате, хотя о нем и создана новейшая Илиада, нареченная ее великим творцом «книгой про бойца».

Мы не рассказали по-настоящему о законной наследнице нашей боевой славы — о современной армии, надежно охраняющей ныне нас и все, что дорого нам и нашим друзьям.

О многом и многое еще не поведано нами.

Подвиг народный. Он всегда, отныне и навеки, будет вдохновлять художников. Павшие герои бессмертны. Над ними не властна смерть. Это о них думал поэт, когда писал:

Весь под ногами шар земной,
Живу. Дышу. Пою.

Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?..
Чем им обязан — знаю я,
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.

1975

МЫ ВЫШЛИ ИЗ ВОЙНЫ ¹

— Прежде чем говорить о литературе, Михаил Николаевич, хотелось бы поговорить о жизни. Ведь общеизвестно, что писателя рождает жизнь, виденная им, прожитая им, выстраданная им. Другое дело, что не каждый человек способен передать сознаваемое и прожитое им на бумаге: для этого нужен талант, дарование и еще многое другое, составляющее, так сказать, фундамент писательской личности. И все-таки писатель начинается с жизни, с овладения ее опытом. Писателя рождает, выдвигает жизнь — можно сформулировать и так, не правда ли?

— Невозможно представить литератора, не знающего жизни. Ведь сами понятия — литература и жизнь — сопряжены между собой. Знание жизни — это первое условие создания художественного произведения. И я согласен: да, писателя выдвигает жизнь, выдвигает из массы человеческих индивидуальностей.

Меня как писателя родила война. Мои книги «Солдаты», «Дивизионка», более поздняя «Биография моего блокнота» и ряд других вещей вынесены из войны. Сейчас, в год тридцатилетия великой нашей Победы, не могу не сказать о вечной и благодарной памяти нашего народа, о стойкости тех, кто на своих плечах вынес тяжесть войны, кто освободил мир от фашизма. Не зря в нашей советской литературе столь сильно звучит так называемая военная тема. Литература о войне — это часть великого явления, называемого народной памятью.

¹ Из беседы с журналистом.

— Нынешний год, год предыдущий, Михаил Николаевич, были отмечены многими юбилеями. Имеются в виду юбилеи личные. Люди, которым в сорок первом едва стукнуло семнадцать лет и кто в тот же час надел солдатскую шинель, отмечают теперь уже свое пятидесятилетие. Среди людей этих — людей разных профессий — есть и писатели. Юрий Бондарев, Виктор Астафьев... Этот ряд можно продолжить. Если говорить об этом поколении, то, надеюсь, не будет большой передержкой сказать, что с войны началась их, так сказать, личная судьба.

— Война с точки зрения временного исчисления действительно отходит в прошлое. За три десятилетия, прошедших со Дня Победы, родились многие и многие поколения людей, не знавших войны. И это уже не только молодежь. Вряд ли назовешь молодым тридцатилетнего человека... Идет время, уходят ветераны, и на плечи тех, кто остается, — а особенно писателей! — ложится, если хотите, двойная, тройная нагрузка. Писатели, посвятившие свое творчество войне, вновь и вновь берутся за неиссякаемую тему народного подвига, чтобы дать новым поколениям пищу для ума и сердца, чтобы сделать в сердцах тех, кто не ведал войны, бессмертные заметы.

Что касается судьбы, то это верно: люди, шагнувшие в войну совсем мальчишками, взяли на себя ответственность за свободу Родины. Многие их сверстники не дошли до Победы. Надо ли удивляться той страсти, той приверженности, с которой многие писатели верно служат одной, избранной ими теме — теме войны. Война и подвиг народный всегда будут привлекать внимание литераторов. И не только тех, кто знает войну по собственному, личному опыту. Думаю, войну и победу нашу забудут писатели грядущих десятилетий, те, кто войны не знал.

— Среди Ваших книг, Михаил Николаевич, много вещей, посвященных совсем другой, «деревенской» теме. «Хлеб — имя существительное», и «Вишневый омут», и «Карюха», и «Ивушка неплакучая». Не вызывает сомнения, что эти произведения — отражение другой, невоенной части Вашего жизненного опыта. Расскажите об этом...

— Родился я в крестьянской семье в Поволжье, конкретнее — в селе Монастырском нынешнего Кали-

нинского района Саратовской области. Тридцатые годы памятны тем, кто знает их, страшным голодом в Поволжье. Отец и мать у меня померли, братья и сестры разъехались, я остался один. Доил корову, пек хлеб да и в школе учился. Потом кончил техникум... «Карюха», скажем, очень автобиографична. Да и во многих других повестях элемент автобиографии значителен... Я сказал, что на войне я родился как писатель. Это не значит — писатель только военной темы. Человек пишет о том, что прожил и знает. Я против деления на «военных» писателей, на «деревенщиков». Писатель рассказывает о человеке. Кто такой солдат на войне? Профессиональными военными — да и то не всегда — были офицеры. А солдатами — вчерашние рабочие, крестьяне... Кончилась война, и те, кто победил, вновь вернулись к своей работе... Так что, возвращаясь к моим книгам, могу сказать: «Вишневый омут» или «Ивушку неплакучую» можно полагать своеобразным продолжением «Солдат» или «Дивизионки», и наоборот. Для меня все мои повести, все мои «дети» не только равно дороги, они равны в главном — в человеческой судьбе героев...

— Вы прошли «школу» Сталинграда, Михаил Николаевич, а для многих читателей «Смены», да и для всех, пожалуй, участников очередного, VI Всесоюзного совещания молодых писателей, максимальный возраст которых тридцать лет, «возраст» нашей Победы, слова эти — Сталинград, Сталинградская битва — звучат, можно сказать без преувеличения, легендарно.

— Я был участником сражения под Сталинградом от первого до последнего дня. Командовал минометной ротой, был секретарем комсомольского бюро полка.

Что значило тогда быть комсоргом? Тогда оргработа одна: ни шагу назад, чуть позже — только вперед! Речей комсорги не говорили, поднимались в атаку первыми. Комсорг был обязан быть впереди, на передовой.

Позже я назвал свой первый роман «Солдаты». Мне хотелось, чтобы моим главным героем был солдат, который на своих плечах вынес всю тяжесть войны. Хочу заметить, правда, что солдат в нашем представлении сейчас трактуется широко: разве не был солдатом маршал, на которого ложилась тяжесть ответственных решений?.. Солдата нашего узнал я хорошо именно под Сталинградом. Сколько судеб, сколько героев родило

это сражение! Сколько мужества проявил наш человек в этой решающей схватке прошедшей войны!

У человека не может быть двух дней рождения. У меня же, как и у многих «сталинградцев», два таких дня. Первый раз я родился, как все люди рождаются, второй раз — под Сталинградом.

Мои минометы стояли на Лысой горе. Это юго-западная окраина города. Можно бесконечно говорить о той поре. Скажу лучше о сегодняшнем свидетельстве прошлого. Года два назад, кажется, была в тех местах засуха, суховея выдул верхний слой почвы, и обнажились страшные посева войны — земля ошетибилась осколками, которые в ее теле хранились.

Еще одна деталь. Рядом с моим блиндажом на той Лысой горе росла яблонька, и чудом она уцелела. В позапрошлом году приехал я на Лысую гору, подошел к яблоньке, присмотрелся к ней и вытащил из-под ее коры осколок. Завернул его в платок, привез дочерям в Москву. «Смотрите, — говорю, — вот этот осколок целился в вас». — «Как в нас?» — опешили. «Подумайте». Подумали. Поняли.

А сколько будущих людей скосили в ту пору осколки и пули! Сколько молодых людей не родилось, не живет, никогда не смогло на свет появиться... Вот бы о чем надо помнить тем, кого война не коснулась, да и не могла коснуться уже по одному только сроку их рождения...

— Вам, фронтовику, должно быть особенно близко все, что связывает поколения людей, прошедших войну, с теми, кто этой войны не знал, с нынешней молодежью... Что Вы можете сказать, к примеру, о Все-союзных походах молодежи по местам боевой славы отцов, о нравственных уроках таких походов, о преемственности духовных подвигов в сердцах молодых людей — ведь подвиги фронтовые нельзя не рассматривать как проявление высочайшей духовности...

— Никакой урок — как бы ни был он хорош и как бы ни был великолепен учитель — не оставит того следа, который, как я думаю, оставил в сердцах волгоградских школьников день, когда они пришли на Лысую гору и увидели торчащие из земли осколки.

Поход по местам боевой славы отцов — это великолепная школа духовного воспитания молодежи: комсомол делает тут чрезвычайной важности дело. Увиден-

ное дороже услышанного. Достоверный рассказ солдата для молодых поколений, как мне кажется, может быть не только рассказом, но документом, а сама встреча с солдатом — фактом жизни молодого человека, строкой в его духовной биографии.

Художественная литература, мне кажется, играет в процессе преемственности поколений особую роль. Художественное произведение вызывает эмоции, пробуждает сопереживание, взывает к чувствам. Не зря же «Как закалялась сталь» Николая Островского, к примеру, до сих пор волнует и, убежден, всегда будет волновать сердца новых поколений молодежи, хотя речь в книге идет о временах, по отношению к нашим дням теперь отдаленных. То же надо сказать о книгах, посвященных войне. Подвиг советского человека, решимость его отдать свою жизнь, если потребуется, не могут не волновать, и лучшие, талантливые книги о войне будут читаться и перечитываться, вызывая волнение юных, их сопереживание. Так что художественная литература является одной из серьезных связей между поколениями.

— Биография писателя, Михаил Николаевич, всегда небезынтересна. И не только в плане литературоведческом, если можно так выразиться. Приход человека к мысли взяться за перо — это одно. Приход пишущего человека в литературу — это другое.

— Моя литературная судьба сложилась так. После командной службы меня направили в военную газету. Я очень этому противился, считал, что должен воевать, а работать в газете, даже фронтовой, во время войны — занятие не вполне серьезное. Пришлось, однако, подчиниться. Потом втянулся. Когда закончилась война, в газете наступило некое смятение: раньше писали о боях, а теперь требовалось нечто иное. Едва ли не в приказном порядке я стал сочинять приключенческую повесть — для чтения, однако с военным оттенком — о недобитых диверсантах... Это была литература сочиненная, не от жизни. Позже попробовал написать то, что сам знал и видел. Получился роман «Солдаты». Отправил его в Москву, стал участником совещания молодых писателей.

На совещании этом с главным докладом должен был выступать Александр Александрович Фадеев. Он много читал рукописей, одобрительно отзывался о моей. Но он

заболел и с докладом не выступил. Позже уже я узнал: позвонил он как-то ночью Савве Кожевникову, тогда редактору «Сибирских огней», и вскоре после совещания повесть опубликовали. По его же инициативе меня приняли сразу в члены Союза писателей (тогда был кандидатский стаж).

Любопытная подробность. Когда на президиуме Союза писателей обсуждался вопрос о моем приеме в члены союза, Лидия Сейфуллина зачитала какое-то место из моей рукописи — слабостей-то хватало, все-таки первая вещь. Фадеев расхохотался. «Лидочка, — говорит, — а вспомни-ка, что мы с тобой в первых вещах писали?» Словом, убедил он Сейфуллину, голосовала она за прием меня в члены союза. Я же на всю жизнь благодарен Александру Фадееву за этот своеобразный «аванс», за веру в начинающего писателя и его возможности.

О совещаниях молодых. Вообще писателей рожают не совещания. Но роль повивальной бабки, полагаю, они все-таки исполняют, пусть никто не обидится на меня за такое сравнение. Дело в том, что талантливые люди, как правило, народ очень совестливый, непробивной. А вот люди бездарные свою бесталанность компенсируют неумной энергией. Совещание молодых талантливого делает предметом огласки, помогает одаренным людям войти в литературу.

Публиковать первую вещь всегда рискованно, ответственно. На совещании же вырабатывается коллективное мнение о рукописи, тут уж нет субъективизма в оценке: совещание поможет талантливому человеку укрепиться в своем призвании, помогает издательству.

— Между совещанием, участником которого были Вы, Михаил Николаевич, и VI совещанием — четверть века с гаком. Другое поколение молодежи, с другим жизненным опытом. Эти люди не прошли войны, не перенесли, может быть, многих тяжелых испытаний, но они столь же серьезны в своих намерениях. Время проходит, однако в литературе есть свои непреходящие ценности: партийность, идейность, высокое мастерство. Благодаря именно этим ценностям наша литература прирастает новыми творческими завоеваниями, новыми талантливыми именами. Что бы хотели сказать Вы, мастер старшего поколения, поколению молодых писа-

телей, которое представляет и новое поколение молодежи, что пожелать, посоветовать?

— Литературная дорога очень тяжелая, ухабистая и капризная. Здесь нужна не только светлая голова, но и мужественное сердце. Очень мужественное сердце.

Литература требует от человека отдачи целиком, без остатка. Говорю это не ради красного словца — так оно должно быть на самом деле.

Еще один совет — ответственность.

Вот детям мы с пеленок внушаем: с огнем играть опасно. С этих же лет нужно приучать человека к мысли, что не менее опасно играть со словом. Потому что слово может и возвысить душу человеческую, и оскорбить. Словом можно и убить, как пулей. Словом можно заставить улыбнуться самого мрачного человека. Словом можно повергнуть в уныние самого неисправимого оптимиста.

Как известно, из слов люди научились создавать памятники, неповторимые по своей красоте и долговечности. Из слов, к несчастью, составляются пасквили на самые дорогие для нас ценности. И все это — слово. Оно вручается человеку с двухлетнего возраста в вечное и безвозмездное пользование. И писатель в мире слов становится учителем людей. А учить — это не профессия, это — право.

Один человек сравнил хорошую книгу с выигранным сражением.

Пойдем от противного. С чем же сравнить плохую книгу? С проигранным сражением?

Об этом должны помнить вступающие на литературную стезю.

Ответственность за свое слово — это краеугольный камень литературного творчества.

1975

ВЛАДЫКА МИРА

Народная мудрость, проверенная вековым опытом, в предельно отточенной форме часто доходит до нас, подобно кусочку янтаря на взморье, — доходит в виде пословицы, присказки, поговорки, побасенки, лукавой прибаутки. Их великое множество, этих словесных ян-

тариков, созданных едва ли не на все случаи жизни. Одним из главных их героев — и притом героев наиположительнейших — с незапамятных времен был и поныне остается Труд.

Только ты родился на свет, только стал на ноги и начал свое «открытие мира», а на тебя уже со всех сторон, отовсюду так и сыплется: «Без труда не вытащить и рыбки из пруда», «Под лежащий камень вода не течет», «Глаза страшатся, а руки делают», «Поздняя птичка глазки продирает, а ранняя — клювик прочищает», «Терпенье и труд все перетрут».

Это ты слышишь, а руки твои как бы сами собой тянутся то к маленькой лопатке, загодя для тебя приготовленной, то к такому же малому, как раз по твоим силам, молотку, то к ведерку, чтобы зачерпнуть из ближней речки водицы и напоить капустные грядки; затем — к нарядному карандашу, чтобы нарисовать тот же молоток.

Потом ты начинаешь примечать еще нечто более важное: люди говорят о других людях с глубоким уважением только в том случае, ежели эти последние умеют хорошо трудиться. О таком человеке непременно скажут со значительностью: «работящий», — вкладывая в одно это слово глубокий смысл. Ленивец и краснобай, что в представлении человека-работника почти одно и то же, — наиболее презираемая часть людского общества.

Лишь труд, нареченный в революционной песне Владыкой Мира, наделен чудодейственной способностью бесконеч о продлить жизнь человеческую, ограниченную в силу физических законов обидно коротким отрезком времени, — продлить и во времени, и в пространстве. Листая книгу или дивясь на «музыку из камня» — дворцы и храмы, пережившие на многие столетия своих творцов, вслушиваясь в мелодию, которая впервые прозвучала столетия назад и продолжает звучать и теперь, я всем своим существом, духом своим, нервами своими, ухом прикасаюсь к трепетному и живому дыханию давно минувших эпох и какое-то время сам живу жизнью людей той далекой-предалекой поры. Пройдут века, и не мы — другие люди будут в благоговейном молчании смотреть на дело рук наших, жить в тех самых дивногорских и ангарских краях, нами освоенных, прикасаться украдкой от экскурсовода к «Востоку-1», впервые

вынесшему за пределы земного притяжения Человека, — добавим не без гордости — Советского Человека, солнечное имя которого — Юрий Гагарин — светлой теплинкой останется в людских сердцах на многие-многие лета. Те же далекие потомки, листая книги, рожденные нашим, нынешним временем, пройдут вместе с Левинсоном и Павкой Корчагиным, Семеном Давыдовым и Макаром Нагульниковым, а затем и с Василием Теркиным через все тяжкие, нечеловечески тяжкие испытания, выпавшие на долю людей, первыми рискнувших построить свою жизнь на разумных, человеческих началах.

Я пишу эти строки, а рядом на столе лежит фотография Михаила Александровича Шолохова, снятого в его рабочем (рабочем!) кабинете в середине октября нынешнего года. Правая рука от долгой работы вся в тугих, четко обозначенных жилах; то же напряжение труда и мысли на высоком лбу и в чуть прищуренных глазах. Передо мной портрет мыслителя и работника одновременно. Александр Пушкин сказал, что он «памятник воздвиг себе «нерукотворный». Думаю, что в известном смысле он все же рукотворен, тот памятник, ибо потребовал от гения титанического труда творения. Великие художники всех времен и всех народов были и великими тружениками; могучую силу, мощь своего разума и сердца они должны были сообщить своим рукам, ибо только такое союзничество способно создавать памятники дивной красоты и долговечности, оставить ценности, о коих говорят: «Им цены нет!»

Совсем недавно познакомился я с голубоглазым великаном Василием Постниковым, сталеваром с завода «Электросталь», давшего имя и городу. По возрасту он не мог быть участником Великой Отечественной войны. Но Постников часто повторяет известные поэтические строки:

Из одного металла льют
Медаль за бой, медаль за труд.

Как и былинные богатыри, Василий Постников простодушен, улыбчив, не гневается от колкой шутки, пущенной в него кем-нибудь из рабочих, от души хохочет от веселого ли, лукавого ли словца. Порою, однако, лицо его делается неожиданно суровым, синие глаза — задумчивыми.

В такую-то минуту я и услышал от него:

— Знаете, у меня есть хорошая семья, жена, дети, добрая квартира в новом доме... Все вроде бы есть, а вот отними у меня мой завод — я круглый сирота... Нет, нет, не думайте, что рисуюсь. Я бы возненавидел себя за такое... Не выношу никакой позы, поверьте, я честно говорю. Я только и чувствую себя настоящим человеком, когда при деле... Честное слово!

Он несколько раз кряду сказал «честное слово», хотя слушавшие его и не нуждались в таком заверении. Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, человек, уже известный всей стране, любимец своего завода, он, оказывается, больше всего на свете боится оказаться за его пределами. И видим, хорошо видим и чувствуем: не потому боится, что знает и помнит — именно завод, его коллектив вознесли современного Василия Буслаева, то бишь Постникова, на такую высоту, подняли его так, что он стал отовсюду и далеко видимым. Просто без завода, которому безраздельно отданы руки умелые и сердце горячее, Постников уже не мыслит себе жизни. Вроде бы и рановато ему задумываться о старости, однако ж вот нет-нет да и встревожится. Теперь он в своем цехе наставник, а это уже надолго. И Василий светло улыбается: быть ему при деле!

«Человек при деле» — это произносится с неизменно уважительной интонацией, ибо в наше время это всеми понимается как постоянный человеческий взнос в общую копилку национальных, государственных ценностей. Человек строит дом чаще всего не для себя, строит для других, и мы говорим: человек при деле; человек пишет книгу, сочиняет музыку, и он тоже при деле, поскольку его творения нужны всем людям; человек сеет и убирает хлеб, и он не просто при деле, а на великом поприще, ибо кормит всех работников и творцов на свете.

В прошлом, 1973 году, считавшемся в нашей стране урожайным, о первом миллиарде Советской Украины было сообщено в тонах возвышенно-торжественных — это и понятно: впервые одержана столь внушительная победа! В нынешнем году украинский миллиард повторился, и, думаю, дался он не легче, чем в году минувшем, а может быть, с еще большим напряжением, но сообщено о нем в тонах уже умеренных. Не как о чем-

то само собою разумеющемся, но все-таки не столь громко, как прежде. Не исключено, что пройдет год-другой, и о миллиарде этом будут говорить как о событии обычном, рядовом. Будут так говорить, хотя, признаюсь, немножко обидно, коли будет именно так. Нарращивать из года в год производство зерна — дело величайшей сложности: хлебопашец всегда под открытым небом, которое то и дело вмешивается в его дела, иногда помогая, а иногда угрожающе мешая ему; над цехом земледельца не воздвигнешь крыши, материала не хватит!

К концу хлебной страды на газетных полосах замелькали слова в набранных крупным шрифтом заголовках: «Осеннее золото». Опять золото! Как будто хлеб нуждается в таком сравнении. Да он подороже золота любой пробы! Миллионы людей и в руках-то не держали золота — и ничего, живут. А попробуй поживи хоть недельку без хлеба!.. Говорю это, конечно, не для противопоставления одного работника другому, сталевара, скажем, или золотодобытчика — хлеборобу. Просто хотелось лишний раз напомнить и себе, и другим о великом деле, которое делается скромным и часто малозаметным человеком, имя которому — сеятель. О нем думал Ленин в огневые дни и ночи Октября, когда выводил строки своего бессмертного Декрета о земле, о нем думалось и говорилось в самых уважительных и высоких тонах нынешней весной в Алма-Ате, когда чествовались герои хлебной целины по случаю двадцатилетия ее освоения.

Мудрено, не правда ли, по одной зернинке собрать столько, чтобы из них составилась целый миллиард пудов. Но зернинка все ж зернинка. Она и одна, положенная на ладонь, укажет хоть на малый, чуть уловимый, но все-таки вес. А возьми на ту же ладонь один волосок от хлопковой коробочки — не только веса его ты не ощутишь, но едва ли и глазом заметишь. А нам сообщают о миллионах тонн (тонн!) хлопкового волокна, собранного земледельцами Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Киргизии. Мыслимо ли это: из невесо-мости — и такой вес?! Мыслимо, когда за дело принимаются руки человеческие. Вспомним пословицу: «Глаза страшатся, а руки делают».

К тому же и глаза у советских людей давно стали бесстрашными. Перед ними усилиями ленинской партии

открылась правда жизни, и сами эти глаза широко открылись навстречу этой правде. И людям все стало по плечу! И встречают они очередной свой Октябрь с гордо поднятой головой и с ощущением великого своего назначения на земле. Правда нынешнего века в их руках! Важно, чтобы руки эти всегда были при деле, чтобы они были руками творцов.

1974

**(ИЗ ПОВЕСТИ
«О МОИХ ДРУЗЬЯХ-
НЕПОСЕДАХ»)**

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

Дорога... Ну, здравствуй, дорога,
И встречи с вином или без,
И лес, что, как лось, черногого
Бредет по разливу небес.

И высветы лунной латуни,
И серой реки плексиглас,
И ворох надежд, и не втуне
Пытливых исканий запас

Нет, это не чувств наважденье,
А вправду порою такой
Всю землю берешь во владенье
С восторгом ее и тоской

Н. Грибачев

Тут ни звона телефона,
Тут ни стука почтальона,
Тут не нужно заседать —
Эх, какая благодать!

С. Смирнов

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

Несколько общих соображений

Для начала признаюсь, что книга эта навеяна очерком Николая Грибачева, опубликованным в 1964 году под любопытным названием «Бегство на Усух». Поскольку я был одним из участников и этого и многих других аналогичных побегов, то мне и самому захотелось внести хотя бы малую лепту в их описание. Это тем более необходимо, что автор «Усуха», по естественному соображению скромности, больше рассказывал о своих друзьях, для себя же оставил в книжке слишком крохотную роль, явно не соответствующую ни его заслугам, ни его положению в отряде беглецов. Да и о причине бегства поведано им не все. Там говорится о бесконечных собраниях и заседаниях, о читательских конференциях, о телефонных звонках, отрывающих литератора от письменного стола и с бесцеремонностью подвыпившего друга отпугивающих нахлынувшее было вдохновение. От этого, мол, наш брат писатель принужден часто оставлять уютное житье в московской квартире и менять его на беспризорное мытарство где-нибудь в Брянских лесах, в том же Усухе. Двадцать пять дворов — и ни тебе приличной дороги до райцентра, ни тебе телефона, ни тебе радио, ни тебе электричества. Увози сюда твоё вдохновение, и никто уж не спугнет его, капризнейшая из пернатых — жар-птица надолго останется в твоих руках. Все это верно. Но спросить бы любого из нас, совершил бы он свое бегство, окажись Усух не на берегу, а в стороне от прелестнейшей речушки по имени Сев, богатой и щукой, и окунем, и плотвой, и лешом, и даже линем, а по весне, майскою порою, утопающей в черемуховой душистой пене? Следовательно, на подобный подвиг способен лишь литератор, подверженный рыбачьей или охотничьей страсти. Иначе бегство будет, но только уж в обратную сторону — из Усуха, скажем, в Москву.

Отсюда вывод: формирование отряда — дело ответственное, и подходить к нему надобно с великой осторожностью. Не приведи господи, ежели в него попадет личность, притворившаяся рыбаком или охотником. На пятый, а может, уж на второй день по приезде на место начнется нытье, аханье и оханье, и всем станет неведомо, боевой дух будет решительным образом поколеблен, а настроение необратимо испорчено. Так случилось с авторами книги «Десна-красавица» — Николаем Грибачевым, Сергеем Смирновым и Александром Кривицким, поверившим на слово Тихону Семушкину и включившим его в свою команду на арендованный для путешествия по реке катерок. Сославшись и на «Чукотку» и на «Алитета», Тихон Захарович выдал себя за матерого следопыта, усыпил таким образом бдительность товарищей, о чем им пришлось тремя днями позже горько пожалеть. Коротко говоря, поэтическая завеса быстро упала с трезвых очей исследователя далекой Чукотки. Частые дожди, по-осеннему холодные и нудные, слякоть по берегам, сырость в палатке, еда всухомятку остудили распаленное воображение; остуженное, оно живо нарисовало другую картину: теплая, светлая квартира в высотном доме у Красных ворот, чай по утрам, тихий шелест свежих газет, теплый запах булочной, вторгающийся в открытую форточку. И «усталый раб» натурально «замыслил побег» — и не в обитель тихую, а в стольный град. Надо знать Грибачева: если вы уж избрали его в свои предводители (а именно он-то и был тогда предводителем), то будьте уверены — он заставит вас вспомнить, что на свете существует такая в общем-то неприятная, но необходимейшая вещь, каковую зовут дисциплиной. Подумай Тихон Захарович об этом несколько раньше, он, верно, не поспешил бы сдать свой кошелек на хранение капитану, который по совместительству был и главный казначей. Когда изменнический замысел Семушкина был замечен, его для острастки сначала «припугнули», пригрозили лишить денежного и прочего довольствия; на решительное требование вернуть кошелек последовал столь же решительный отказ. Но что может быть сильнее жажды обрести сызнова некогда утраченную свободу?! Дождливой ночью, в кромешной темноте, в дебрях Брянских лесов Тихон Захарович без единой копейки в кармане и без куска хлеба выбрался из па-

латки, и след его простыл. А днем позже он уже весело разговаривал из своей московской квартиры по телефону с другими своими дружками — московскими сиднями, и в красках, выгодных для себя и невыгодных для покинутых товарищей, рисовал историю своего побега. А покинутые, пробудившись ото сна и обнаружив в своих рядах измену, в свою очередь, награждали славное имя Тихона Захаровича эпитетами далеко не поэтического свойства. Дожди вскоре кончились, деньки подрумянились, повеселели, но не вернулось доброе расположение духа у наших путешественников. Дорого же они заплатили за свое легкомыслие!

Особенно осторожным надо быть в отношении литераторов-горожан, законченных урбанистов. За редчайшим исключением, они почему-то из всех сил стараются уверить тебя, что им давно наскучила московская сутолока, что они спят и видят какую-нибудь глухую деревушку с тихой речкой и с грустно-плаксивой ветлою на ее берегу, с пением петуха, блеянием овцы и мычанием коровы; что запах навоза и парного молока готовы поменять на все прочие запахи; что песни подвыпивших мужиков им во сто раз милее хора Свешникова; что в деревне только еще и можно встретить подлинно народные характеры, подлинные типы, а как же ему, литератору, без этих самых характеров, без этих самых типов!.. И ты дрогнешь, не устоишь, включишь горячего поклонника «сельской обители» в компанию, а потом горестно вздохнешь: «Черт меня дернул!» Столкнувшись с реальной действительностью, которая почему-то всегда грубее, чем она нам представляется, наш мечтатель быстро утрачивает свою любовь к запаху навоза и парного молока и под разными предлогами удирает в город. Виною тому чаще всего оказываются литераторы — певцы деревенской жизни; своим вдохновением они иной раз воспламеняют городского человека; склонный к сентиментальности, он непременно захочет побродить и по зеленым лугам, и по берегу речушки, и по лесным тропам, и по степным просторам.

Потребовались годы, прежде чем у нас образовался и хорошо отстоялся круг беглецов, готовых в любое время и при любой погоде покинуть Белокаменную и отправиться хоть на край света, хоть к черту на кулички, лишь бы на том краю, лишь бы на тех куличках была хотя бы одна поклевка на день. Мы будем жить впро-

голодь, сочинять стихи и романы, закутавшись в шубу, спать на голом полу, стойчески терпеть всякие другие лишения, но для этого мы должны знать, что глаз наш увидит судорожное подпрыгивание поплавок, а рука пускай на секунду, но ощутит ни с чем не сравнимый толчок повиснувшей на крючке рыбины.

Не следует включать в свой отряд литераторов-охотников. Мы, рыбаки, их пойдем, но они нас никогда не поймут. Попробуйте убедить их, что сидеть с удочкой на берегу реки и часами созерцать неподвижный поплавок интересней, чем стоять на тяге или подкарауливать глухариную свадьбу. Ничего из этого не получится. В ответ вы будете видеть снисходительную улыбку, способную лишить вас того душевного равновесия, без которого невозможно писать и удить рыбу. Так что лучше без охотников, лучше пусть будут одни рыбаки, рыбаки настоящие, а не прикинувшиеся таковыми.

Теперь мне хотелось бы представить бойцов нашего отряда, имена которых так или иначе будут упомянуты в настоящей книге. О Николае Матвеевиче Грибачеве уже говорилось. Добавлю только, что он у нас — главный теоретик, доведший техническое свое оснащение до такой степени совершенства, что (как убедимся несколько позднее) из удобства оно уже начинает переходить в неудобство, то есть в свою противоположность, ибо пересекает грань, за которой кончается целесообразность.

Сергей Васильевич Смирнов, поэт по душевному своему складу, поэт по профессии, поэт и на рыбалке. Ему враждебна угрюмая сосредоточенность рыбачка-кулачка — а такие есть, и о них тоже будет сказано в свое время и в своем месте, — рядом с ним непременно должны быть еще рыболовы, чтобы он мог обмолвиться с товарищами словом-другим, а главное, продемонстрировать свой улов, шумно пригласить их разделить с ним удачу, подивиться величине вытащенной только что рыбищи, чего уж никогда не сделает рыбачок-кулачок, предпочитающий уединение и более всего избегающий чужого глаза.

Брянский поэт Илья Швец — главный нарушитель графика, всякий раз составляемого для нас Николаем Матвеевичем Грибачевым. По графику этому первую половину дня мы должны проводить за рукописями и только уж потом, отчитавшись перед командиром, могли

отправляться на реку или там на озеро. У Швеца же рыболовная страсть оказалась сильнее поэтической, и потому он не выдерживал распорядка дня, начинал маячить с удочками перед нашими окнами задолго до определенного расписанием часа. Случалось, что кто-нибудь из нас — чаще всего это был Сергей Смирнов — не мог устоять перед искушением, и тогда Грибачев собирал нас всех у себя и устраивал Швецу словесную головомойку. Тот клялся-божился, что больше не будет, что вышел раньше времени только погону, что не нашлось подходящей рифмы, а портить хорошее стихотворение не захотелось, но Николаю Матвеевичу было этого мало. Он приберегал для Ильи более изощренную пытку — требовал сейчас же прочесть это незаконченное стихотворение. Помнится, одно стихотворение было очень длинным, в нем насчитывалось что-то около двадцати строф. Грибачев оставил одну, последнюю. Вот она, эта строфа:

В полоске алого рассвета
Всегда мне видится одно
Идет сражение тьмы и света,
И не бескровное оно

Илья шумел, всячески сопротивлялся бесцеремонной резекции, однако позже во всех его сборниках из того стихотворения я видел только эту строфу, ибо она-то и была стихотворением.

И наконец, еще об одном беглеце. Иван Стаднюк, прозаик и киносценарист. Он только недавно был помилован Николаем Матвеевичем, ибо для него пример Семушкина оказался соблазнительным: удрал однажды из Усуха раньше времени, за что и был наказан двухлетним отлучением от нашего отряда. Но Иван пришел с повинной, и все поняли, что он еще не совсем потерянный для нас. Так-то и произошло возвращение блудного сына.

Будет названо немало и других лиц, но это уже по ходу действия, по ходу повествования. Ведь нам предстоит совершить путешествие не только на Брянщину, но и на Волгу, на Дон и во многие другие места нашего обширного Отечества. По пути отряд будет непрерывно пополняться. В него вольются свежие силы. Из Ленинграда снимется прозаик Сергей Воронин, из Москвы — кинорежиссер Леонид Гайдай, поведавший накануне

удивительную историю про пса Барбоса и про необычайный кросс браконьеров, а позднее — про самогонщиков и про спекулянтов, осуществляющих свою «Операцию «Ы»». Владимира Солоухина позовут вместе с нами и другие проселки. Из Москвы же отправятся в дорогу прозаик Семен Шуртаков и поэт, лишь недавно переквалифицировавшийся в прозаика, Михаил Годенко — оба в прошлом моряки и птенцы Литературного института имени Горького. С появлением Шуртакова пополнятся наши теоретические силы, ибо в искусстве основательного разбора всех наших дел Семен нисколько не уступит Николаю Матвеевичу, не уступит он ему и в другом — в приготовлении ухи. На Волге и на Дону объявятся новые лица. Тут и Виталий Закруткин, и Анатолий Калинин, и многие, как говорится, другие. Не отстанет от нас и Михаил Александрович Шолохов. Мы встретимся и с ним на страницах этой повести.

К друзьям же моим одна нижайшая просьба: по прочтении книги не гневаться на ее автора и не писать сердитых опровержений.

I

Каждый кулик свое болото хвалит. Это уже известно. Нахваливали и мы свои родные края. Грибачев — Брянщину, я — Саратовщину, Стаднюк — Винничину, Смирнов — Ярославщину, Солоухин — Владимирщину.

И не просто Брянщину, а главным образом тот кусочек земли по правому берегу Десны, где стоит Лопушь, родное село Грибачева.

И не просто Саратовщину, а реченьку Баланду, а на той реченьке село Монастырское, где появился на свет божий автор этих строчек.

И не просто Винничину, а село Кордишивку, которое хоть и отстоит от Южного Буга на добрую сотню верст, но зато, по преданиям, под этой самой Кордишивкой пролегает подземный ход, по которому — помните? — непутевый сын Тараса Андрий пробирался тайно к своей прекрасной полячке. Вы будете возражать, указывая на то обстоятельство, что это как-то не совсем согласуется с историей и географией, но сейчас же последует напоминание, что историю и географию составляют тоже люди, а людям свойственно ошибаться; мог, между прочим,

запомнить и сам Николай Васильевич, где происходили описываемые им события.

И не просто Ярославщину, а тот холм над Волгой, где — это уж точно установлено — подолгу засиживался Николай Алексеевич Некрасов, шепча про себя: «О, Волга!.. Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?»

И не просто, наконец, Владимирщину, а маленькое селенце из тридцати двух дворов, по имени Оленино, на реке Ворше. Воды в той реке кот наплакал, а перешагнуть ее может, не прибегая к помощи крыл, и воробей, но зато красы она неопиcуемой, а если вам еще и повезет, вы можете выхватить из ее полуметровых глубин пару, а то даже и тройку пескарей. Водится в Ворше и уклейка — прекраснейшая из рыб.

Решая, какому из этих славных мест отдать предпочтение, мы — сначала по отдельности, а потом все разом — заговорили о том, что у каждого литератора помимо той огромной земли, которая зовется Родиной, должен быть какой-то один уголок, особенно дорогой и милый сердцу. Уголок этот — внутреннее зрение, каким литератор смотрит на большой мир. Мы же часто говорим, и говорим правильно: в малом нередко видится огромное. Надо еще иметь в виду и другое: в селе, где ты родился, где, стало быть, знают тебя с малых лет, относительно тебя не существует табели о рангах. Для односельчан ты остаешься Петькой, Мишкой либо Алешкой, и перед этим самым Петькой они не станут разыгрывать комедию, не укроют ни своих радостей, ни своих печалей. А что еще литератору нужно?

Но в данном случае ты не один и должен подчинить свои личные интересы пускай и небольшому, но все-таки коллективу.

Остановились на Брянщине. Авторитет старшего товарища плюс очарование Десны-красавицы, ставшей к тому времени уже литературным фактом, сделали свое дело.

О поездке этой я знал, по крайней мере, за полгода, и все же она настигла меня, как всегда, врасплох. Николай Матвеевич — в тот раз мы отправлялись с ним вдвоем — был опять же, как всегда, во всеоружии. До этого он успел постранствовать и по Европе, и по Америке, Северной и Южной, и по Скандинавии и привез из этого странствия великое множество рыбацких принадлежностей, от одного взгляда на которые начинает

кружиться голова, а в глазах пестрить. Он, конечно, щедро поделится своим богатством, но не прежде того, как ты выслушаешь в свой адрес бездну всяческих упреков, из которых впервые узнаешь, что ты стоишь на этом свете. Ты поймешь, наконец, что еще страшно сырой и неорганизованный, что тебя надобно еще долго и тщательно чистить от разных сучков и задорин, но и твое счастье, что ты попал в руки такого опытного и неутомимого фрезеровщика: он сделает из тебя нечто полезное для общества. Взглянув раз и два в холодноватые глаза мастера, ты вдруг и сам отчетливо почувствуешь: а что, этот сделает.

В Брянске к нам присоединились еще три человека — поэт Илья Швец, драматург Алексей Козин и директор сельскохозяйственного техникума Петр Дмитриевич Рылько, один из главных героев «Десны-красавицы», в прошлом учитель Николая Грибачева, а нынче его чуть ли не единственный на Брянщине оппонент. Спор их касается самых разнообразных и самых широких областей человеческого бытия. Спор прекращался тотчас же, как только речь заходила о крючках, о наживке, о поплавках, об удилищах, о мормышках. Петр Дмитриевич подымал руки — тут он полный профан, в рыбной ловле ценит лишь ее конечный результат. Впрочем, были случаи, когда Грибачев брал верх и там, где бы следовало быть победителем Петру Дмитриевичу. На другой день после нашего приезда, по дороге из Брянска на Лопушь, сердитый глаз Грибачева заметил распаханное поле бороздою не по-над оврагом, а перпендикулярно к нему «И это под самым твоим носом, сельскохозяйственный бог! — торжествующе закричал Николай Матвеевич. — Через год к одному оврагу прибавятся еще сто!» На этот раз «богу» нечего было сказать: его уличили в бесхозяйственности.

Остановились в новой гостинице. Поскольку остановились всего на одни сутки, Илья Швец не поехал к себе домой, в Бежицу, а поселился в моем номере, чему я был только рад. (Ему же и вовсе не о чем было тревожиться: холостяк.) С ним были все его снасти; одна с толстым и длинным удилищем предназначена исключительно для щук и почему-то называлась ее владельцем не иначе как «бандура». «Бандуру» пришлось расчленить на составные части, ибо она не помещалась в номере. У меня удочек не было. Я уповал на благосклон-

ность нашего предводителя: тот обещал отыскать что-то из своих запасов, ожидающих на чердаке в Лопуше. Пока размещались, пока я мылся и брился, Илья успел куда-то позвонить и через некоторое время, будто вспомнив, вдруг заявил, что еще должен встретить внизу, в вестибюле гостиницы, свою знакомую и сходить с ней в новый кинотеатр, который, к слову сказать, недель позже обвалился.

Он подошел к вешалке, чтобы снять пальто, — на дворе конец октября, холодно. Но тут приключилось такое, что приключается нечасто. Мой новый друг внезапно вскрикнул и, скрючившись, повалился на диван: давно притаившийся радикулит словно бы и ждал только этой минуты.

Всякая болезнь — штука неприятная. Но не всякая вызывает чувство сострадания. Ежели люди добрые увидят на кончике твоего носа прыщ или же распухшую от пчелиного укуса губу, они самым откровенным образом улыбнутся; ежели ты не можешь сесть по той простой причине, что на месте, которым полагается сидеть, у тебя ненароком вскочил чирей, то лучше сделай вид, что ты вообще любитель большую часть времени проводить стоя, а не сидя, — иначе тебя засмеют все те же добрые люди.

Радикулит, к несчастью, принадлежит к категории именно таких недугов. И, когда бедный Илья взывал о помощи, я самым нахальным образом ухмылялся. А он просил меня вот о чем:

— Придет сейчас... скажи, что меня вызвали... В общем, придумай что-нибудь... Не могу же я...

Он замолчал. А я все понял и поспешил вниз по широкой лестнице, провожаемый укоризненным взглядом знаменитых брянских партизан с огромных полотен по обеим сторонам лестницы.

Через минуту пришла она. Хоть Илья и не назвал особых ее примет, но по нетерпеливому, беспокойному взгляду, брошенному ею и туда и сюда, я заключил, что это, конечно, она. И сейчас же преградил ей путь, ошарашив вопросом:

— Вы, случаем, не к Илье Андреевичу?

Она вздрогнула, сконфузилась, но все же сказала правду:

— Да, к нему, а почему, собственно, вас это интересует?

— Он просил передать вам, что его срочно вызвали в Москву.

— Да?

— Да.

— Благодарю вас.

Она повернулась и, цокая высокими каблуками, узкоплечая, быстро пошла к дверям. Потом сквозь стекло я видел, как она направилась к скверу, вышла на пустынную аллею, остановилась, шевеля сухие кленовые листья тонким и длинным носиком туфли. Мне было жаль ее, но другого выхода у нас не было.

Надо было брать на себя роль сиделки. Илья от времени до времени глубоко постанывал, поскуливал. Бедняга стонал, в моей же голове сами собой слагались стихи. К утру они были готовы. Видя, что болезнь Ильи пошла на убыль, я решился прочесть их. Выжал-таки улыбку на его страдальческом челе! Вдохновленный, решил прочесть и Николаю Матвеевичу Грибачеву, заглянувшему в наш номер — так, для порядку. Волнуясь, будто школьник на экзаменах, я тем не менее прочел, и, как мне самому казалось, достаточно выразительно:

Не спит,
томим любовью новой.
Но от греха
его хранит
ревнивый,
 бдительный,
 суровый,
 недремлющий
радикулит!

Николай Матвеевич выслушал внимательно и без единой улыбки, потом пробежал глазами по строчкам сам и сказал совершенно серьезно:

— Ничего. Но почистить надо. Сыроваты.

Я немедленно согласился с ним, хотя и по сю пору не знаю, не ведаю, что же в тех строчках надобно почистить.

Впрочем, поэту виднее.

В полдень на «газике»-вездеходе отправились в Лопушь, на Десну — это совсем недалеко от Брянска, километрах в тридцати. Там-то и совершили свой первый рыбацкий набег.

Прелесть Десны начинается с ее имени. Какой изначальный смысл заключало это слово, теперь уж знают немногие, как немногие знают, почему Волга — Волга, Днепр — Днепр, ракета — ракета, а тополь — тополь. Не знаем мы всего этого, но при всем том отлично чувствуем пленительную красоту таких названий. Мы много строим городов, поселков, сел, деревень и просто маленьких хуторков. И, к несчастью нашему и великому огорчению наших потомков, мало думаем, а иногда и вовсе не думаем над именами. Отсюда эти уныло постные Бумажные проезды, Строительные переулки — Первый, Второй, Третий... и так до бесконечности. Эстетика звуко сочетаний, о ней, может, и слыхом не слыхивали люди, которые нарекли свой хуторок Веселой Зорькой, или те, что дали название своему селу — Вишенка, а юные покорители несметных сибирских богатств и несметных же ее красот отыскивали в своем сердце такое слово: Дивногорск — и присвоили его столь же юному и прекрасному городу, извлеченному ими из небытия.

Десна. Притягательная сила этого слова — в его звучании, мягком, каком-то поистине солнечном. Воображению же нашему надобен лишь толчок, а потом оно дорисует всю картину: и тихие омуты на заводах этой вообще-то не очень тихой реки; гибкий, по-женски волнуемый ее стан; и песчаные отмели, на которые выкатывается хоть немножечко погреться волна за волною; и полоскающие свои длинные зеленые косы красавицы ивы, которые на Десне вовсе не плакучие, а скорее кокетливо-игривые, как те девчата, что спустились по крутизне противоположного, правого, берега и, подоткнув подолы, по колено зашли в воду и пригоршнями пьют ее; вон те дубы — их не назовешь вековыми, ибо стоят они тут, батюшки мои, не одну сотню лет и, верно, думают простоять еще столько же, и простоят, если на них и нашу беду не отыщется кто-нибудь и не распорядится спилить древнюю дубраву, а на ее месте посадить фруктовый сад, который никогда тут не вырастет; и, наконец, заливные луга, без них Десна не Десна, где по весне — море морем, а летом — травы по грудь, а осенью — десятки, сотни дремлющих и горящихся под назойливым дождешком, тихо и безропотно, груст-

но ждущих чего-то стожков. И все это Десна. Это о ней, конечно, писал Грибачев в своем «Рассказе о первой любви»: «Река пылала от лунного света. Не то что на стрежне, а даже в тени кустов от всплеска рыбы кружились и бежали серебряные кольца, спирали и серпы медленно угасающих волн. В низинах белым заревом дрожал пар, светились мокрые ивы у протоки, светились огоньками росы верхушки осоки, словно там курили охотники».

Мы приехали на берег Десны в конце октября. Главные краски ее — разлив цветов по левую сторону и буйство садов по правую — уже погасли, умерли. Голые ивы под порывами резких и сырых ветров мечутся, как в лихорадке, хлещут нагими макушками по серым, холодным волнам; ближе к правому берегу они не седые, а желтые от вливающихся из глинистых оврагов ручьев; сады тоже голые — и ропшут и стенают, знобко вздрагивая и маня кого-то на помощь жутко вытянутыми, без единого листочка сучьями, странно напоминающими изломанные тяжкой работой руки.

Лопушь — в сущности, одна, километра на три по правому берегу Десны, улица, от нее, наклоню к реке, убегают проулки, и графически село напоминало бы опрокинутую на бок большую сороконожку. Вдоль главной улицы, через каждые пять-шесть изб, водоразборные колонки. Мы не вдруг поняли, почему Николай Матвеевич указал на них прежде всего, как на главную достопримечательность Лопуши. Поняли потом, когда хорошенько осмотрелись, когда увидели, что село взбежало от реки на крутую гору высотой в сто-две-сти метров, что на эту-то верхотуру людям веками приходилось таскать из реки воду, потому что колодцев не было и вырыть их ручным способом было невыносимо — глубина страшная.

Остановились у Ефросиньи Дорофеевны, матери Николая Грибачева. Встретила она нас более чем сдержанно; это меня несколько смутило. Но вскоре я узнал, что старый этот человек вообще не склонен проявлять свои чувства, хотя душевной теплоты ей не занимать. Понял я с первой же минуты, откуда у нашего друга эти светлые, холодноватые глаза. Мне пришлось приехать в Лопушь во второй, и в третий, и в четвертый раз — только уж после этого мы подружились с Дорофеевной по-настоящему, и только тогда она впервые по-

ведала мне свою нелегкую бабью долю. Короткую ее исповедь я впоследствии слово в слово перенес в повесть «Хлеб — имя существительное»: «Не знаю уж отчего, только не полюбила я свекору да свекрови. Пока муж был дома, они ничего, помалкивали, и жить еще можно было. А как забрали моего Матвея в солдаты, тут и началось... Так уж измывались, что не приведи господь! Сядут, бывало, за стол, а мне и местечка на лавке не оставят. Стою за спиной свекора, свекрови и других снох, потянусь через головы ложкой к борщу, а он, свекор, швырь ее в сторону. Хочу хлеба ломоть взять — он по руке ложкой. Так и уйду, умоюсь слезами...»

Написав это, я вдруг подумал о том, почему мы, авторы, не рассказываем биографии своих книг — ведь это могло бы быть не менее интересно, чем сама книга, попутно мы бы назвали имена людей, которые послужили прототипами героев романов, повестей, поэмы и пьес. Как правило, мы оставляем этих людей за обложками томов, а читатель догадывается и неизменно с редкостной настойчивостью и последовательностью прямо-таки требует от нас указать прототипы: знает, уминая, что нет дыма без огня, не все же нафантазировал сочинитель, что живут или жили когда-то те, которые пробудили фантазию, зажгли священный огонь в груди поэта.

Помню, мне долго не давалась глава, где моя героиня Фрося, по прозвищу Вишенка, многодетная молодая женщина, изменяет мужу с его товарищем и, грешная, гордая, виноватая и чистая вместе с тем, должна вернуться домой и что-то сказать в ответ на укоризненные взгляды свекрови и деверя. Я поведал судьбу моей Вишенки Дорофеевне, а та сумрачно задумалась и вдруг выдохнула, как бы что-то давно пережитое, выстраданное: «Была Вишенка, да птица склевала...» Я вздрогнул и, боясь, что разревусь прямо на глазах этой мудрой старухи, убежал в свою комнатушку, а ночью написал всю главу заново, и кончалась она у меня этими трагическими словами: «Какая я вам Вишенка? Была Вишенка, да птица склевала. Фроська, Фросинья — вот теперь кто я!» Дорофеевна увезла меня как-то в глубь Брянских лесов, к своему брату, на праздник. Там, в застолье, ели соленые грибы, пили вонючий самогон, закусывая его теми грибами и студнем, делали все это

главным образом мужички, а женщины, молодые и старые, пели песни, больше старинные, пели вместе и порознь. Одну, щемяще-пронзительно-горькую, я записал в свой блокнот, теперь она полностью воспроизведена в повести «Хлеб — имя существительное».

С той поры, не читавший ни единой рукописной строки даже самым близким моим друзьям-литераторам, я прочитывал Дорофеевне все, что написалось в ее доме. Как известно, писание книг — дело крайне и необходимо индивидуальное. Когда же оно приобретает характер массового производства, это, по-моему, ужасно. Даже столяр ищет уединения, даже ему сторонний глаз нетерпим. Другое дело — Дорофеевна. Перед нею я открывался — она человек, который правильно поймет меня, не осквернит холодно-презрительным словом мою святая святых.

А засим прошу прощения: глава началась, а обещанной рыбалки пока нет. Должен, однако, предупредить, что такого рода отступления будут попадаться на многих страницах этой книги. Если говорить всерьез, то главная цель нашего побега не рыбалка, а работа. И отпущены мы из своих московских служебных кабинетов не для праздных путешествий. И командировка наша называется не просто командировкой, а с обязательным добавлением «творческая». Другое дело — Илья Швец: он свободен, как птица небесная. Это на нашем языке называется: целиком ушел на творческую работу.

Николай Матвеевич уже составил график наших занятий, отвел каждому свой угол и, показывая пример, первым застрекотал на своей «колибри» — портативной машинке, с которой никогда не расставался. Уединился и я в комнатухе, отгороженной от остальных голландкой и фанерной стенкой. Но не писалось — тянуло на Десну, на ее притоки и старицу. Завидовал Илье, который под предлогом помощи Дорофеевне в приготовлении обеда незаметно от нас налаживал свою «бандуру», отбирал из общего ведерка лучших червей, выращенных хозяйкой специально к нашему приезду. Выглянув вскорости во двор, я обнаружил удочки Ильи в состоянии готовности номер один и с трудом удержался, чтобы не сообщить об этом командору, делавшему одну закладку за другой и бросавшему себе под ноги, под стол неудавшиеся варианты начатого стихо-

творения. Петр Дмитриевич Рылько вел тихую беседу с Дорофеевной. Он не рыбак и не писатель. Ему просто нужна компания, и теперь он косит глазом на своего ученика и давнишнего друга, скоро ли тот кончит истязать себя и подойдет к столу, уже заставленному и московскими, и брянскими, и местными, погребными закусками. Драматург Алексей Козин, не подозревая, что будет главным героем этого дня, покойно похрапывал на хозяйской кровати, будучи уверенным, что его разбудят, когда дело дойдет до трапезы.

Козина разбудили. Десятью минутами позже мы спускались с высокого косогора, все еще зеленого, усыпанного белыми, серыми и черно-белыми пятнами гусиных и утиных семейств. Десна, сильно суженная к осени, лихо выскакивала из-за поворота и свинцово-дымчатая, вырвавшись на прямую, устремлялась еще быстрее. Вода в ней достигла той степени прозрачности, при которой ужение рыбы делается бессмысленным — можешь просидеть сутки и ни разу не увидеть клева. Ищи рыбу в омутах, а еще лучше — где-нибудь в старице или в речном заливе. Мы взяли курс на старицу. Для этого требовалось форсировать Десну на небольшом челноке, который ждал нас на приколе. Погрузились на него сперва все, но Грибачев, напомнив нам, что на фронте был дивизионным инженером и лучше нашего знает, какой груз по силам такому суденышку, оставил Петра Дмитриевича и Швеца до второго рейса, а нас с Козиным увез «на тот бок», как в таких случаях говорят жители прибрежных селений. До старицы версты две-три. Николай Матвеевич воспользовался этим обстоятельством и опять стал рассказывать мне о мироне.

Мирон — это вовсе не Мирон, а неслыханной красоты рыба. Вот как рисуется мне этот мирон со слов Грибачева — говорю «со слов», ибо собственными глазами никогда его не видел, полагаю, что вообще никогда не увижу. Но рисуется мне эта рыба с человеческим именем так: вес ее (рыбак прежде всего говорит о размерах рыбы) колеблется от одного до девяти килограммов; она цвета хорошо начищенного церковного подноса, того самого, с которым ктитор собирает медяки у прихожан; длинные, как у сома, усы; голова сазанья, только с еще более мощными губами; плавники кроваво-красные, длинные; хвост оканчивается красным же ве-

ром, тело удлиненное, торпедовидной формы; чешуя мелкая, серебристая. От сазана мирон взял не только некоторые его внешние признаки, но и хитрость, куда, впрочем, большую. Последнее качество, хоть и похвально, однако для рыбака не столь искусного, не такого, скажем, как Николай Матвеевич, качество это — скорее зло, чем благо. Другой рыбой, о которой Николай Матвеевич говорит также с большим уважением, только уж без многозначительных пауз, является подуст. Поймать подуста тоже нелегко, но все же можно, мне и самому раза два удалось выловить его из Десны. Подуст и по цвету чешуи, и по форме своего продолговатого тела похож на молодого голавля или жереха, только рот его устроен как-то странно: он у него внизу, отсюда — подуст.

Теперь о нашем вооружении. Илья шагал, держа на плече, точно grenadier екатерининских времен винтовку, свою возлюбленную «бандуру», а в правой руке — две небольшие удочки, ими он собирается добывать рыбешку для «бандуры». У Грибачева аккуратно связанные в пучок несколько удочек с удилищами разных цветов, и временами казалось, что он снял с небес радугу и теперь несет ее в своих руках; в сумке у него лежали таких же ярких расцветок поплавки, изготовленные собственноручно или приобретенные из-под полы в Москве на птичьем рынке. Драматургу Алексею Козину была выдана единственная удочка с кривым самодельным удилищем и толстой леской. Мы же, я и Рылько, шли в качестве наблюдателей — на чердаке лежали удочки поломанные, к ним нужно было еще приложить руку, но времени на то у нас не было. Надо сказать, роль эта оказалась не самой плохой: дул холодный ветер, наживлять крючок голыми руками было несладко, к тому же и клев оказался бледным.

Вода поближе к берегу схвачена тонким ледком. Пришлось закидывать лесу подальше, за кромку льда. Это был еще не подледный лов, но уже не летний. Первым, конечно, приступил к ужению Козин. Он быстро размотал леску, надел преогромного червяка на большой и ржавый крючок, закинул и, будучи совершенно уверенным, что ни одна дура у него не клюнет, повернулся к нам лицом и включился в тихую бездельническую беседу. Грибачеву потребовалось полчаса, прежде чем его радуга — теперь уже из поплавков и уди-

лиц — вспыхнула над водой. Довольный выбранным местом, он погрузился в философское созерцание поплавков. Илья Швец — он-то как раз и является ярчайшим представителем рыбака-кулачка — ушел прочь от нас, и до самого вечера мы его не видели.

Петр Дмитриевич Рылько, зайдя за ракитовый куст, в затишье, заговорщически подмигнул нам. Только было мы присели, как с поплавком козинским, сделанным из большой пробки из-под шампанского, стало сотворяться что-то странное: она скакнула по-лягушачьи раз и два, а потом начала нырять, как жук-плавунец. Драматурга метнуло к удилищу, со страшной силой и быстротой оно взвилось над его головой, и мы не успели ахнуть, как прямо у нашего лежбища плюхнулась полукилограммовая щука. Она, видать, и сама еще не могла сообразить, что же такое содеялось с нею за какой-нибудь один роковой миг, и потому некоторое время лежала неподвижно, полукоткрыв свою зубастую пасть. Не успели мы издать торжествующего клика, как послышался топот.

— Кто же так ловит щуку?! — кричал разъяренный Николай Матвеевич, подскочив к совершенно потерявшему и от неожиданно обрушившегося на него рыбацкого счастья, и от этой непонятной для него брани Козину. — Ты знаешь, как щука клюет? — продолжал Грибачев, малость успокоившись. — Она сначала берет кончиками губ наживку, потихоньку ведет, потягивает, потом минуты две-три держит во рту и только уж потом заглатывает. Вот тогда-то ее и надо подсекать!..

— Да. Но щука у меня на берегу, — резонно заметил Козин, тоже приходя в себя.

Николая Матвеевича это нимало не смугило.

— Простая случайность! — решительно заключил он и гордо удалился к своей радуге, ярко горевшей на водной поверхности.

Я и Петр Дмитриевич Рылько с этой минуты по-настоящему начали «болеть» за Козина, как часто «болеют» москвичи за какую-нибудь незнакомую, периферийную футбольную команду, неожиданно показавшую спортивный задор в борьбе с опытной, матерой командой. Не прошло и двух минут, как мы были вознаграждены за свою преданность: пробка опять задрогала, затряслась и вновь принялась нырять. Козин, напроць

забывший про напутствия теоретика, отчаянно дернул. Кривое удище со свистом разрезало воздух, что-то молнией сверкнуло перед нашими радостными взорами и шлепнулось в сизоватую от инея траву. Петр Дмитриевич, тучный и немолодой, страдающий одышкой, сделал вдруг львиный прыжок и накрыл рыбину. Ею сызнава оказалась щука точно такого же размера, как и первая. Грибачев не подбежал, но ругань его все же донеслась до нашего уха. А потом, когда таким же манером Козиным были вытащены два большущих окуня и четыре красноперки, Николай Матвеевич и вовсе не показывал признаков жизни. Я подошел к нему и голосом, полным сочувствия и уважения к мастеру, участливо спросил:

— Ну как, Николай Матвеевич, клюет?

В ответ услышал:

— Да я сегодня в общем-то и не ловлю. На разведку пришел.

Еще минута, и я рассмеялся бы. Но я поспешил уйти к «своим». К вечеру, когда собрались в обратный путь, на кукане Козина, сделанном из ракиевой ветки, оказались две щуки, пять окуней и шесть красноперок, а в сумке Грибачева — две плотвицы. Всю дорогу он молчал, дома был сумрачен. Зато на следующий день взял блестящий реванш — обловил нас вчистую. На радостях был предупредителен с нами до чрезвычайности; ночью два раза подымался и поправлял на моих ногах сползающее одеяло, а утром прочитал стихи, навеянные бог знает чем: неудачей ли первого дня, тоскливым ли видом осенней воды или еще чем? Я почему-то сразу их запомнил.

Кто знал печаль воды стоячей?
Ее обычно темен цвет,
В ней от природы настоящей
Чего-то как бы вовсе нет.

И под грозой, летящей в лето,
За желтой кромкой камыша
Она вздыхает безответно,
Как отлюбившая душа.

Что же касается удачи Козина в первый день, то ее надо признать все-таки случайной: позже он таким же манером — рывком — попытался было вытащить леща, но лишился и лески, и крючка...

Вся моя биография в моих стихах, сказал про себя Есенин, и многие поверили. Но вот что удивительно: поэт, воспевавший свою Рязанщину с редкостной географической и этнографической точностью, в самых малых и милых его сердцу подробностях, вдруг как бы забыл, что родное его село Константиново стоит на крутом берегу Оки, что сотни раз, выскочив из своей избы, он скидывал на ходу рубашонку и портки, бросался с высокого берега вниз головою и плыл туда, где среди лугов «выткался на озере алый свет зари», где уже стонали, плакали травы под острыми косами мужиков, тех самых, которых впоследствии вопрошал встревоженный поэт: «Я ли вам не свойский?» Любопытный сочинитель, выросший в деревне, прежде всего напишет стихи о реке, речушке, ручейке, возле которого примостилось родимое гнездовье. Слово «Ока» не отыщете вы ни в одном поэтическом творении Сергея Есенина, хотя одно имя этой реки — уже поэзия. «О Волга!.. Колыбель моя! Любил ли кто тебя, как я?» — с глубочайшим волнением восклицал Некрасов, посвятивший великой русской реке десятки стихов. Младшая сестра Волги — красавица Ока не прозвучала ни в одной песне звонкоголосого парня, которого она так часто баюкала на своей широкой груди. Хотелось бы знать, что думают по этому поводу есениноведы. Для меня лично это загадка. Может быть, прав Грибачев, указавший на тот общеизвестный и неоспоримый факт, что противоестественно и странно объясняться в любви своей матери, уверять ее, что любишь, что предан до гробовой доски и т. д. Не была ли Ока для Есенина чем-то более значительным, чем просто «река быстрая», не была ли она в самом деле для него матерью, когда слово «люблю» действительно излишне? Так или иначе, но Ока не вписалась в мозаику удивительных есенинских строк и строф.

Мы думаем и говорим об этом, готовясь по перволедку выйти на зимнюю рыбалку, на ту же старицу, двумя неделями позже. Теперь мы остались вдвоем — Грибачев и я. Весь вечер и полночи накануне ушли на подготовку снаряжений. Для подледного лова снасть более утонченна, и приготовление мормышки — это уж ювелирная работа. На этот раз Николай Матвеевич с

подобострастием образцового ученика осматривает мою удочку: рукоятку из твердого пенопласта, леску, строжок и в особенности мормышку. Я отлично помню, при каких обстоятельствах пришел ко мне авторитет мастера подледного лова.

Было это в Конакове, у Григоровых островов, где разлившаяся Волга образует огромные плесы, а стало быть, и отличные рыбные пастбища. Володя Солоухин, приобщивший меня к зимней рыбалке и прибавивший таким образом к немалым моим порокам еще один, разведаль эти места и показал их нам. В одно холодное солнечное утро мы побрели от острова, где перед этим переночевали в избе егеря, по бескрайнему заснеженному простору. Надо знать рыбака-подледника. Он почему-то думает, что чем дальше уйдет от жилья по речке ли, по озеру ли, тем больше преуспеет в деле. Чаше всего он уходит от рыбы, а не приходит к ней. Тем не менее горький этот опыт, проверенный десятки раз, ничему не научил подледника, ибо это уже сложившийся характер, а характер, как известно, мало поддается перековке. Увязая по колено в рыхлом снегу, мы, значит, бредем, а куда — и сами толком не знаем, лишь бы подальше от нахохлившихся там и сям рыбацков, застывших в одинаковой и характерной позе над дымящимися лунками. К одному рыбацку не примкнут, но стоит где-то сгруппироваться двум-трем, как к ним потянутся десятки. Вот на такую плотную кучку, чернеющую вдаль, и потянулась наша цепочка. Я шел-шел, устал, плюнул на все, остановился и начал разгребать валенком снег, чтобы пробуравить лунку тут, где меня попрдержала усталость. Ребята побрели прежним курсом. Они еще не дошли до заветного рубежа, а впереди меня, в полуметре от лунки, уже ворочались, облепляясь снегом, точно мукою, три окуня. Место оказалось таким удачливым, что я за какой-нибудь час выловил добрую сотню ровненьких рыбин и запятнал ими весь снег вокруг меня. Будь я поопытней, я бы попрятал улов в ящик, а для отвода глаз оставил бы у лунки одного-двух ледащенских окуньков, как и делает рыбацок-кулачок. Но мне не терпелось хоть кого-нибудь заманить к себе, чтобы похвастаться добычей. Ведь ни один мой восторженный вскрик никем не был услышан, и одно это лишало меня половины всех удовольствий. Дружки мои, видать, обмишулились. Вижу, цепочка

двинулась в обратный путь. Возглавлял ее Грибачев. По пришествии он поведал мне следующее: «Навертели лунок, сидим минуту-другую, час сидим, и хоть одна бы поклевка. Подыдемся, глянем на тебя, а ты все на одном месте. Думаем, неспроста. Ну, вот и подались к тебе». В минуту я был взят в плотное кольцо подледников, как своих друзей, так и вовсе незнакомых. Всяк норовил подобраться к моей лунке как можно ближе. Однако жизнь подледного царства так же неисповедима, как неисповедимы пути господни. Я продолжаю вытаскивать окуня за окунем, а товарищи и все прочие пребывают в вынужденном безделье: не клюет, хоть ты тресни. Один умудрился продырявить лед в полувершке от моей лунки, но и это не помогло — не клюет. Был произведен тщательный осмотр моей удочки, было задано множество вопросов удачливому рыбаку: у самого ли дна берет, или на полводы, под кромкой ли льда? Я отвечал, что и у дна, и на полводы, и у кромки — всяко было. Вот тогда-то за мною неожиданно-негаданно и утвердилось слава отменного рыбака, о которой помнили многие, в том числе и Грибачев.

Теперь мы с ним готовимся попытать счастья по перволедку.

Перволедок! У какого рыбака не встрепенется сердце от одного этого слова. Но его надо не проморгать, захватить, этот перволедок. А тут нужна определенная доля отваги и риска. Лед еще тонок, в одном месте он может держать тебя, а в другом треснет. Вода замерзает неравномерно на поверхности реки. Где потише, там ледяной пласт будет потолще, а где ветерок рябит, взлохмачивает водяную гладь, там потоньше. А тут еще полыньи да невидимое глазу подледное течение, выливающее ледяное полотно из-под низу. Через Десну мы перешли на лыжах — менее опасно. А по старице, в направлении ее устья, пошагали так, без лыж. И вскоре поплатились. Ледок, молодой, прозрачный, потрескивал, а по краям и вовсе отстал от берегов, там вода под тяжестью наших тел выливалась прямо на лед и струйками бежала к середине реки. Из предосторожности мы шли порознь, на почтительном расстоянии друг от друга. Я по правую, Грибачев по левую сторону. Думается, затасканное слово «коварный» впервые было употреблено именно в отношении молодого льда. Другого такого эпитета для него не сыщешь. Коварство

Его проявлялось, верно, на протяжении веков. Проявилось оно и сейчас. К несчастью, объектом его оказался в этот раз я. Вес ли мой был чуть большим, или нарочито небрежный, размашистый шаг, но лед рухнул именно подо мной. В тяжелых валенках и полушубке я по самую шею оказался в воде, но холода ее не почувствовал — наверное, от страха. Страх этот, однако, не лишил меня некой толики рассудка. Я все же успел растопырить руки и опереться локтями о края свежей проруби. Грибачев, испуганный за меня больше, чем я сам, пока еще соображал, что же ему предпринять во спасение утопающего. И сообразил-таки: быстро снял поясной ремень, лег на пузо, подал мне один конец, а за другой медленно потянул. Тело мое подалось вперед, но вместе с ним подался и ломающийся лед — прорубь угрожающе расширялась, приближаясь к спасителю. Тот пытался, полз назад, но за ремень держался крепко. И когда услышал, что ноги уперлись в берег, понял, что самое неприятное — позади. Ухватился за свесившийся сучок ветлы и с его помощью выволок меня на сушу. Отправив на обогрев к Дорофеевне, сам — только уже по берегу — двинулся дальше. Дорофеевна моему появлению не удивилась, верно, такое случалось тут и прежде. Поворчала, подала сухое, а еще прежде того — граненый стакан водки, потом загнала на печь, закутала в стеганое одеяло, вкусно и душно пахнущее горячей кирпичной пылью и еще какими-то запахами, которые водятся только на русской печке. Однако мерещившийся моему взору подрагивающий, подмигивающий строжок не давал покоя, властно манил на реку, к черной лунке, к маячившей одинокой фигурке товарища. Не могла одолеть и обычная в подобных случаях дрема. Потихоньку сполз с печки, оделся и украдкой от Дорофеевны убежал из дому. Через час я был уже возле Грибачева, радостно удивившегося моему появлению. Теперь в его глазах мой рыбацкий авторитет вырос невероятно. Но в самом начале с моей снастью произошло несчастье: оборвалась мормышка. Задела за подводную корягу и оборвалась. Беды — замечено это давно и не мною одним — не любят ходить поодиночке. Пришла одна, за нею жди другую. Но вторая беда — невелика. Мормышку я привязал новую. Ужение продолжалось. Клев был, только почему-то рыба у меня не подсекалась. В конце концов,

отчаявшись, я попросил Грибачева, чтобы он помог мне отыскать причину. Глянув на мою мормышку, он глазам своим не поверил: привязал я ее крючком вниз. И тут я признался, что выхожу на лед третий раз в жизни. Там, на Григоровых островах, у Конакова, был второй мой опыт. И снасть не моя, а подарил мне ее Саша Косицын, земляк и приятель Солоухина, страстный рыбак-коллективист. Подарить-то подарил, а не объяснил, как привязывается мормышка. Объясни он тогда, не было бы моего сегодняшнего позора и разоблачения, не дался бы так легко в руки моего соперника случай поиздеваться надо мною, в тот день и еще много дней и даже зим спустя, при каждом удобном моменте. «Нечаянно пригретый славой», я так же легко ее и лишился. Помнится, Грибачев зло просиял. Холодноватые глаза его осветились крайним торжеством:

— А я-то, дуралей, принял его за важного рыбака!

Весь тот неудачливый для меня день он говорил обо мне не иначе как в третьем лице.

Забегая вперед, скажу, что со старицей связаны у нас и другие, не менее печальные эпизоды. Об одном из них теперь мы вспоминаем с улыбкой, а в ту пору нам было не до смеха. Должно заметить, что для рыбака перволедок означает примерно то же, что первопуток для охотника. Но у перволедка есть еще обратная сторона медали, не хранившая, правда, отрицательного смысла. Обратная сторона — это конец апреля, когда реки уже вскрылись и несут на себе глыбищи льдин, а тихие озера, старицы и плесы все еще покрыты толстым покровом льда, к тому времени ноздристого, как сыр рокфор, и податливого для коловороты. Клев на эту пору так же богат, как и в перволедок, с той лишь разницей, что горячо припекает солнышко, сидишь ты целый день, точно на пляже, и загораешь. Рыба не замерзает у лунки, а трепыхается на подтаявшем снежку, и домой ты ее привозишь живую — тут уж никто не станет подтрунивать над тобой, что купил, мол, по дороге в какой-то лавке. А что еще важнее — вода в лунке не замерзает и не надо через каждую минуту снимать наледь и с поверхности воды и с лески. Подледная рыбалка по весне, что может сравниться с нею!

Убежденные, что ничто не идет с нею в сравнение, мы однажды вновь отправились на Брянщину. Мы — это Грибачев, Иван Стаднюк и я. По дороге к нам, как всегда, присоединился Илья Швец, который и зимою остается верен себе: ловит рыбу не на мормышку, а на обыкновенный крючок, наживленный не мотылем, а опять же червяком. Чтобы обловить Грибачева, он делает для себя сразу дюжину лунок, опускает в каждую по крючку, а потом ходит от одной к другой и стрижет купоны. Это бесит Грибачева, состоящего с Ильей в вечном споре и вечном же состязании. Грибачев резонно указывает Шведу на то обстоятельство, что соревнуются они не на равных, что Илья явно нарушает условия, однако ничто не помогает: рыбачок-кулачок занимается промыслом, хотя знает отлично, что и его улов пойдет в общий котел. Я слышал много раз, вероятно, столько же услышу и в будущем, как Николай Матвеевич грозил Илье, что отрешит его от своей артели, но никогда не приводил своего грозного приговора в исполнение. И не приведет, потому как без Ильи рыбалка не рыбалка, она утратила бы какую-то часть своей прелести: рыбачок-кулачок тоже индивидуальность, причем индивидуальность яркая, и без него было бы скучно. В общем, Илья нам был нужен так же, как были нужны мы ему. Потому-то и оказались вновь вместе.

В полдень два здоровенных лопушинских парня, ловко лавируя меж льдин, перевезли нас на левый берег Десны. Возле одного ручья, вытекающего из старицы и устремляющегося к Десне, Грибачев вдруг остановился. Оказалось, что он увидел там вентери, поставленные браконьерами. Из дальнейшего описания вы увидите, какую яростную битву, невзирая на малые результаты, ведет Грибачев с превредным и, увы, неистребимым племенем, которое зовется «браконьеры». И в тот раз, исполненный благородного гнева, словно рыцарь Ламанчский, он тотчас же ринулся в бой. Выдернул вентери и во многих местах порезал их перочинным ножом. Мы, в свою очередь, одобрили его, несомненно, справедливое действие и тоже пырнули раз и два своими ножиками в ненавистные снасти. Мы не знали, что этими браконьерами окажутся те самые ребята, которые так охотно согласились нас перевезти через Десну. Шедшие по нашему следу, они быстро сообразили,

кто покалечил их вентери, и в отместку разрушили наспех сооруженные мостики через многочисленные в этих краях и уже наполненные водою канавы и овражки.

Возвращение наше было трагикомическим. Топора при нас не было, пилы тоже. Возвести мосты-временки мы, стало быть, не могли. Пришлось форсировать глубокие рвы и канавы вброд, а перед Десною, куда вышли уже в сумерки, и вовсе остановиться: вброд ее не перейдешь, а лодки не было видно даже на том берегу.

Промокшие до нитки в ледяной воде, мы оказались перед угрозой остаться на ночлег прямо на берегу реки. Поняв это, принялись орать, взывать о помощи, но долго глас наш оставался вопиющим в пустыне. К счастью, Дорофеевна, обеспокоясь нашей задержкой, вышла к берегу и услышала крики. Мы были спасены. Что же касается тех парней, то они починили свои вентери и поставили их в другом месте, лишив нас окончательно своих услуг.

IV

Вторую половину апреля почти не рыбачили. Стаднюк и Швец уехали: один — в Москву, другой — в Бежицу. В избе Дорофеевны остались я да Грибачев. Занимались писанием. И только когда Десна освободилась ото льда окончательно и воды ее малость посветлели, изредка выходили на левый берег. Ловили главным образом бирюков. Бирюк — это рыба-гибрид. Вот только никак не могли решить, из скрещивания каких пород явилось на свет это плавающее и ныряющее существо. Удлиненной формой и очертанием головы, а также зубами оно напоминает судака; четкими поперечными полосами — окуня. Грибачев родился на Десне и потому оставил за собою право решать, кто из рыб участвовал в сотворении бирюка. По Грибачеву, это были судак и ерш. Бирюк явно от ерша унаследовал колючесть и противную липкость. Вкусен, однако, чрезвычайно. Годится равным образом и на сковороду и на уху. Мясо его без прокосточек, рассыпчато, легко отделяется от ребер, и этим он напоминает всех трех своих прародителей. Размером значительно меньше судака, но чуть больше среднего окуня и совсем больше самого

крупного ерша. Клюет любо-дорого, только мгновенно заглатывает крючок до самых кишок, и всякий раз бирюка приходится потрошить. Это неудобно.

Когда бирюки нам порядком поднадоели, Грибачев вновь вспомнил о мироне. И я услышал несколько захватывающих сюжетов, связанных с охотой на этого хитреца.

Излюбленным местом мирона, по свидетельству рыбаков, был глубокий омут под взорванным брянскими партизанами железнодорожным мостом. Затонувшие и торчавшие так и сяк фермы не позволяли применить сети, вентери и бредень. Мирон это хорошо учел. Короче говоря, он мог жить тут припеваючи, жить, нагуливаться, справлять теплою майскою порой свои мироньи горячие свадьбы, и ему сам черт не брат. Одно-го только не учел мирон, не учел того, что среди рыбаков отыщется, наконец, такой, который окажется хитрее его, мирона. Несколько дней и ночей провел рыбак, готовя хитроумную удочку. И когда снасть была готова и когда Десна, просыпаясь, тихо и изнеженно вздыхала, кутаясь в белесом тумане, рыбак неслышно подошел к омуту. Длинный, серебристый, с маленькими бычьими глазками, мирон медленно шевелил усами и кроваво-красным оперением, обнюхивал обомшелые, облепленные мельчайшими ракушками фермы, потом круто, почти вертикально, под прямым углом пошел вниз. У самого дна ткнулся губами в раскисшие и разбухшие зерна пшеницы, выбрал какое покрупнее и подтверже, тихо всосал его, несколько раз пытался отшвырнуть в сторону что-то круглое, мешающее ему лакомиться, разозлился, резко вместе с водой вобрал в рот это круглое, плоское и выбросил его за жабры. И тут же в ужасе почувствовал рывок, что-то невидимое неумолимо потянуло его кверху, вот уже стало светлее, вода из темно-зеленой сделалась прозрачно-золотистой. И это пахло смертью. Теперь уже мирон рванулся, шарахнулся сперва в одну сторону, потом в другую, потом вниз, к смутно черневшей железной балке. Там — он понимал это — спасение. Только бы добраться до балки, крутануться возле нее, запутаться, а потом пускай тот дергает сколько угодно. Но рыбак не допустил мирона до балки.

Бой продолжался долго, но силы были неравные. Победил рыбак.

— Послезавтра поедем на Габью.

Сердце сладко екнуло. О Габье говаривалось так же много, как и о мироне. Говаривалось и Николаем Матвеевичем, и Ильей Швецом, и Иваном Ивановичем Мартыновым — особенно последним. Бывший партизанский подрывник, а на ту пору секретарь райкома в Дубровке, потому так много и все в превосходной степени рассказывал о Габье, что малая речушка эта протекала по территории его района. А я еще подозреваю, что он родился где-нибудь на ее берегу. Босоногим мальчишкой бегал там с удочкой. Голыми пятками своими прошупал каждую тропинку; каждый куст — брат ему и друг, каждая поляна — родная сестра. Скажи ему, уже взрослому человеку, давно покинувшему тот уголок земли, скажи ему, что дорога туда для него заказана. Вы увидите, как померкнет свет в его глазах, как будет маяться он душою. И все это потому, что сначала для человека родина — это та речушка, тот кустик, под которым много раз сидел в детстве, та полянка и та тропинка. Потом, с возрастом, понятие родины расширяется, углубляется в его сознании, и тогда-то является то, что мы зовем патриотизмом. Родник же этого чувства, его источник следует искать там, в том неизвестном для многих, бесконечно малом уголке, который велик уже одним тем, что для кого-то из нас является отчим краем.

Помните, у Твардовского:

Я покинул дом когда-то,
Позвала дорога вдаль,
Не мала была утрата,
Но светла была печаль.

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.

А главное:

Да и не было помехи
Взять и вспомнить наугад
Старый лес, куда в орехи
Я ходил с толпой ребят.

Но идет война. Родимый уголок — «за той чертой».
А из самого сердца рвутся слова:

Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край недавних детских лет,
Отчий край, ты есть иль нет?
Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.
Вспомнить разом что придется —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стезжку до колодца,
Где песочек золотой,
Книгу, читанную в поле,
Кнут, свисающий с плеча,
Лед на речке, глобус в школе
У Ивана Ильича ..

Отчего же в тяжкую годину для всей страны поэт вдруг вспоминает про крохотный уголок в лесном краю Смоленщины? Не оттого ли, что Советская Родина, Россия, в грозный тот час увиделась ему в образе родимого селения, захваченного общей для всех болью и общим страданием? Может быть, прав Симонов, который приблизительно в то же время писал:

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил

С горечью приходится наблюдать, как из школьных учебников для чтения постепенно исчезают так называемые пейзажные стихотворения и рассказы. Если еще Пушкин, Лермонтов и Некрасов остаются, если не всяк рискует посягнуть на тютчевскую «грозу в начале мая», то Фета, Никитина и Плещеева вытеснили или почти вытеснили. Я не слышу, чтобы дети, захлебываясь от восторга, декламировали: «У лесной опушки домик небольшой, в нем давно когда-то жил лесник седой. Знал он, где какая птичка гнезда вьет, просеки, тропинки знал наперечет. А какой охотник был до соловьев, всю-то ночь, казалось, слушать их готов». Может, стих устарел? Может, нету на нашей земле лесов с просеками и тропинками? Может, нету седых лесников, а все

только молодые и черноволосые? Может, перевелись охотники до соловьиного пенья? А уж не из соображения ли борьбы с браконьерством преданы забвению строчки, которые мы, бывало, читывали нараспев: «Тянут, тянут! — закричали ребятишки вдруг. — Вдоволь, чай, теперь поймали и линей и щук». А что худого нашли составители детских букварей в мудрой и лукавой стихотворной зарисовке, которую я помню с шести лет и нарочно привожу ее здесь от слова до слова! Если что и перепутаю, беда невелика: ученые люди отыщут ее и все поставят на место. Но найдутся ли охотники для такого поиска? Хотелось, чтобы нашлись. Послушайте же:

Лесом раз лиса бежала,
Видит: тетерев сидит.
Хвостик лисонька поджала
И умильно говорит:
«Здравствуй, батюшка Терентий,
Я ведь в городе была».
«Бу-бу-бу, — бормочет птица. —
Ну была так и была».
«Слушай, батюшка Терентий,
Я приказ там добыла».
«Бу-бу-бу, — бормочет птица. —
Добыла так добыла».
«Чтобы вам, тетеревам,
Не летать по деревьям,
А гулять кто где захочет
По зеленым по лугам».
«Бу-бу-бу, — бормочет птица. —
Ну, гулять так и гулять».
«Кто там едет по дороге?
Ведь мужик — ни дать ни взять?»
«Да, мужик, и скачет сзади
Жеребенок молодой».
«Ты скажи мне, бога ради,
Как он держит хвостик свой?»
«Бу-бу-бу, крючком он держит», —
Забубнила птица вдруг.
«Ну, прощай же, друг Терентий,
Побегу, мне недосуг».

До сих пор так и вижу: старое, сучкастое дерево, а на нем большую пеструю птицу, под деревом — оранжевую белогрудую лису, разметающую по земле пламя хвоста и задравшую кверху хитрый свой лисий нос, а вдали — лошадку, мужичка на телеге, сзади, почти у самых колес, собаку, скрутившую бубликом пра-

вило. Какой благодатный материал для живописца! Я уже не говорю о том, что подобные картинки будят у ребенка пытливую мысль, наблюдательность, а что еще важнее — любовь к родной природе, которая часто означает и любовь к Родине.

Однако я опять отвлекся. Пора уж возвратиться к нашему путешествию на Габью.



Накануне приехал Швец. Грибачев — в порядке профилактики, что ли, поворчал на него за какую-то малую промашку (кажется, Илья обещал прибыть днем раньше), но, в общем, был доволен. Я уже успел заметить, что командор наш без Ильи скучает, хоть и старается не показывать виду. С Ильей, как уже говорилось выше, они в вечном, неразрешимом споре: кто искуснее в рыбацьем деле? Кажется, Николай Матвеевич готов был примириться с тем несомненным фактом, что в ужении окуня и щуки Илья не имеет себе равных, но это ведь рыбы-хищники, «они вон железяку любую хватают, их и дурак поймает, а ты попробуй мирона или леща!» (последние слова я взял в кавычки потому, что принадлежат они не мне, а одной из спорящих сторон). Сторона эта вновь повторила их — и не без задней мысли, — когда мы погрузились в «газик»-вездеход и выехали со двора Дорофеевны, чтобы совершить двадцатикилометровый пробег от Лопуши до Дубровки. Илья немножко побаивался Грибачева и спорить не стал, но в глазах и в углах губ затаил недвусмысленную ухмылку.

Было тепло, солнечно. На душе — ни единого облачка, как и на небе. Думалось, что на Габье всех нас ждет исключительно удача, наших сердец еще не коснулась сумрачная гримаса бесклевыя, с которой, увы, рыбаку приходится встречаться гораздо чаще, чем бы хотелось.

Мы всю дорогу резвились, как дети. Что есть молченьки орали одну и ту же песенку, орал громче, но далеко не мелодичнее других и Швец, хотя, казалось бы, мог и промолчать — песенка сочинена нами против него:

Поезжай хоть на Габью,
Я и там тебя побью.

Побить Швеца не удалось, но песенка прижилась, и мы теперь напеваем ее, когда направляемся на Габью.

Первого мая полдня оставались в Дубровке, на стадионе был митинг, парад физкультурников, секретарь райкома должен был произнести речь. Но как только празднество закончилось, мы выехали в степь. Применительно к Брянщине слово «степь» звучит несколько странно, однако дорога наша бежала через степь, ни единого кустика не попадалось, и только у самой Габьи, на пригорке, зеленела и краснела небольшая сосновая роща. Зеленела макушками деревьев и краснела их стволами. Иван Иванович Мартынов — самый молодой среди нас и самый толстый — по характеру был прямая нам противоположность. И я, и Грибачев, и Швец — все мы малость суетливы и уже не малость горячи, а Мартынов спокоен, медлителен в речах и движениях своих. На широком лице, по-крестьянски обветренном, светились зеленовато-серые глаза. В них временами вспыхивали лукавые огоньки — это тогда, когда кто-нибудь из нас начинал «заливать», то есть явно завышать размеры некогда выловленной рыбины. В не прекращающихся ни на минуту спорах Швеца и Грибачева Мартынов чаще брал сторону Ильи. Ивану Ивановичу явно нравилось, как его старый друг, Матвеевич, заводится. Грибачев в тот раз начал с того, что произнес гневную обличительную речь по адресу снастей Мартынова, назвав их «типичным орудием браконьера», хотя причина его гнева была сокрыта в другом: удочки Мартынова не обещали нам победы в предстоящем соревновании. Условия соревнования были следующие: первая премия, приравненная к золотой медали, присуждается тому, кто выловит самую крупную рыбу; вторая — за качество, то есть за редкий экземпляр; третья — просто за большее количество рыбин. Выслушав эти условия, Илья сейчас же установил для себя предел: количество!

— Ни золотая, ни серебряная медали мне не нужны. Согласен на бронзовую.

Грибачев, конечно, мечтал о золотой. А она-то как раз ему и не улыбалась. Мартынов прихватил дюжину жерлиц. Жерлица же — снасть, незаменимая в охоте на шук. Устройство ее чрезвычайно простое: толстая леска наматывается на рогульку, по форме напоминающую ребячью рогатку; один конец лески привязы-

вается к длинной палке, а другой — с крючком и мальком — опускается в воду. Заостренной стороной палка втыкается в берег, а другой ее конец как бы висит над рекою. Наживка — чаще всего ею бывает средней величины плотва или таких же размеров окунь — гуляет, приманивает щуку. Та, соблазнившись легкой добычей, захватывает ее, тянет на себя и, видя, что добыча легко поддается, решительно заглатывает вместе с крючком. Тут-то ей, зубастой, и конец. Николай Матвеевич мог противопоставить этому примитивному, но высоко-результативному орудию разве что спиннинг; утонченные, я бы даже сказал, эстетские, рафинированные его удочки тут не годились. Оттого-то он и гневался. Иван Иванович между тем был невозмутим и только твердил простодушно:

— Цель оправдывает средства.

Поначалу Габья меня разочаровала. В сущности, это был большой ручей, самозванно или с легкой руки местного патриота присвоивший себе звание реки. Хороший спортсмен, разбежавшись, может перемахнуть Габью без шеста. И водица в ней была еще мутнехонька и не обещала щедрого клева. Катилась она ни шатко ни валко меж крутых, почти сплошь заросших талами бережков, капризно изгибаясь и ворча на каменистых порогах. По правую же и левую стороны реки была благодать — луга. По правде сказать, я давно не видел таких лугов. Огромные по размеру, они, оказывается, были заливные, и заливала их — кто бы выдумали? — эта самая крохотуля Габья. Вот, оказывается, какой она бывает в пору весеннего разлива! После этого ты уже посмотришь на Габью с большим уважением и поймешь, что она имеет некоторое право и на свое кокетство, и на свои небольшие капризы, и на свою ворчливость.

Улов в первый день был архиневажный. Я выловил несколько пескарей и ссудил их Илье для его «бандуры». Грибачев где-то «прижучил» спиннингом одного шурка; Иван Иванович, расставив жерлицы, почел свою роль исполненной и еще в полдень удалился к нашему стойбищу, где и дал доброго храпака. При таких обстоятельствах Илья мог торжествовать: в его сумке оказалось десятка полтора приличных окуней. Однако ни один из них не был крупнее грибачевского шурка, и Николай Матвеевич мог еще уповать на «зо-

лото». Помянутая нами прежде «гримаса бесклевыя» довольно явственно обозначилась на моем лице. Ленивое безразличие подкрадывалось к сердцу — плохой признак. Бессонно проведенная ночь — майская свежесть доходила до заморозков, а палатки у нас не было — не способствовала бодрости духа. Непрерывно полыхавший костер согревал нам лица и животы, а спине и затылку было холодно. Станешь греть спину и затылок, сейчас же начинают коченеть коленки. Грибачев, правда, согревался тем, что беспрерывно «пилил» Илью за его отшельничество. По правде сказать, я был также недоволен Ильей: забрав весь мой пескариный улов, он мог бы покликать и нас к своему удачливому месту. Хранил спокойствие один лишь Иван Иванович. Партизану костер был впрок, а в улове он был уверен.

Чуть забрезжило, а мы уже на Габье. Замерзать в безделье надоело. Выкатившееся из-за недалекого пригорка красное солнце улыбнулось нам во всех смыслах. Начался клев. Илья в первые же десять минут подцепил такого голавля, что мы все ахнули. Почти все. Грибачев не ахнул, а насупился: качество, то есть второй приз, можно уже заранее сказать, был в руках Швеца. О первой премии и говорить не приходилось: Иван Иванович не спеша осмотрел свои жерлицы и вскоре явился пред наши удивленные очи с четырьмя преогромными щуками. «Бронза», кажется, клонилась ко мне: две небольшие щучки и три окуня были на моем кукане к концу первого часа ловли. К тому же Грибачев прихворнул малость, улегся под машиной и, таким образом, на какое-то время вышел из игры, шансы мои, следовательно, повышались. Я готов был уже торжествовать — пусть не самую большую, но все-таки победу.

Торжество мое, однако, могло оказаться преждевременным. Плюнув на свои недомогания, Грибачев вылез из-под «газика», наладил спиннинг и, взяв его наперевес, как солдат, идущий с винтовкой врукопашную, быстро пошагал куда-то вверх по течению. Вернулся в лагерь в сумерки и молча бросил к нашим ногам несколько щук и одного килограммового окуня. Третья премия плакала для меня. Она досталась Грибачеву, который в добавление ко всему тотчас же сослался на болезнь, которая помешала ему завоевать все призы.

Дело шло к ночи, и мы покинули Габью.

Открытие Усуха принадлежит Илье Швецу. Усух надо было открывать, как мореплаватели и землепроходцы открывают новые острова и островки, новые земли, новых обитателей нашей планеты. Подгоняемый нетерпеливым желанием отыскать хотя бы единственную речушку, где бы не ступало, а точнее, куда бы не погружало своих снастей стремительно размножающееся и все более совершенствующее свое опустошительное оружие племя рыбаков-любителей, Илья все дальше и дальше уходил в глубь Брянских лесов, пока не вышел к Усуху. Надо полагать, что его встретили там, как аборигены Миклухо-Маклая, ибо, как уже сказано нами, Усух было место, забытое и людьми и богом. Двадцать пять изб окнами на единственную улицу, а задами один порядок — к речке, другой — к лесу, стеною нависшему над маленьким хуторком. Усух не колхоз и, кажется, даже не бригада, а какая-то часть ее. Пахотной земли у этой бригады ежели наберется гектаров сто — и то хорошо. Зато кругом луга и большие поляны, сплошь заливаемые по весне водою, а летом покрытые высоченной травой, — идешь, бывало, по таким лугам, и оторопь тебя берет: пырей и разнотравье по грудь, под ноги не глянешь, а тут, рассказывают, видимо-невидимо ядовитых змей, да и кабаны шныряют всюду. Ядовитыми змеями всегда припугивают новичков, мы это знали и потому не шибко боялись. Что же до кабанов, то следы их попадались нам часто, особенно возле подсыхающих болот — там так наворочено, словно трудились десятки бульдозеров. Но вскоре и о змеях пришлось подумать всерьез: я собственными глазами увидел их на одной старой лесной дорожке, на которую сквозь макушки прореженных немецкими снарядами и минами деревьев падало солнышко, — змеи (их было три) свернулись колечками и грелись на припеке. Я чуть было не наступил на эти серые зловещие крендельки. Но все это было позже.

Первым, напоминая, заявился сюда с «бандурой» на плече Илья. Река Сев еще не разведана другими рыбаками. Жители Усуха — это на девяносто процентов женщины, очень старые и старые не очень, средних лет, молодые и совсем еще молоденькие. Мужья их, отцы, деды, сыновья и братья сложили головы либо в ряхах

армии, либо — таких больше — в партизанских походах. Илья, а позже и мы, бродя по лесам, видели на глухих лесных дорогах и полянах небольшие поросшие холмики с подгнившими крестами или деревянными пирамидками. И сколько же их рассеяно в бескрайних дебрях! Ни надписи, никакого другого знака на тех крестах да пирамидках — кто лежит под ними, чьи отцы, чьи сыны, чьи деды, поди теперь узнай... Грустно и долго простаивали мы у этих холмов, молчаливые, уходили дальше.

Не сразу, не вдруг Илья стал скликать нас в те места. Сначала, как и полагалось, он произвел тщательную рекогносцировку. Прежде всего, разумеется, проверил клев в Севе. Он оказался превосходным, в письмах к нам это уже был не клев, а жёр. Спускаясь вниз по реке, он вскоре натолкнулся на другую, быстротечную, пока еще мутную, но, судя по многим признакам, тоже рыбную. Река эта, по имени Нерусса, соединившись с Севом, поглотив вместе с его водами и его название, делает крутой изгиб и устремляется дальше, к Десне. И пока что, помимо сухских ребятишек, Илья не встретил ни одного пришлого рыболова. Это обнадеживало.

Теперь надо было возложить на себя обязанности квартирера: письма товарищам уже посланы, и со дня на день они могут нагрянуть. Перво-наперво познакомился с чуть ли не единственным в хуторе и весьма бойким старичком. На вопрос Илья, отыщутся ли в Усухе две-три избы, в которых могли бы расположиться московские литераторы, старик, не тратя на обдумывание ни секунды, ответил:

— Мильен!

Получив столь оптимистическое заявление, Илья, похоже, счел вопрос этот решенным. Сам поселился в избе сестер-доярок. Старшую зовут Римма, а младшую — Лена. Это неподалеку от Мильена (так теперь я буду именовать старика и потому, что слово «мильен» — его любимое слово, и главным образом потому, что не хочу до поры до времени называть его настоящей фамилией). Сестры — живая, черноглазая, общительная Римма, ей было тогда под сорок, и угрюмоватая тридцатилетняя Лена — в тот же день, подоив коров, угостили поэта парным молоком, а к полудню, пока он рыбалил, притащили с лугов целый мешок черем-

ши — дикого не то лука, не то чеснока (по форме листа — щавель, по вкусу — ближе к чесноку), который оказался способным возбуждать зверский аппетит. Илья и без черемши не страдал отсутствием онго, с помощью же этого подножного подспорья сделался просто жаден: сестры успевали только поворачиваться. Правда, и он не оставался в долгу: в изобилии снабжал их окунями и щукой. К нашему приезду поэт успел раздобыть, под неизменной клетчатой его рубашкой очень явственно обозначился жирок; две тугие складки на загорелой шее подпирали крутой затылок крупной его головы; даже оспинки на лице стало меньше, часть их, должно, заплыла, затянулась благоприобретенным жировым отложением; и вообще на челе Ильи надолго поселилось отражение некоего внутреннего довольства. Коротая время между писанием стихов и ловлей окуней, он начал, будто вернувшийся с войны хозяин, кое-что починять на обветшалом сестрином подворье. Сперва врыл глубоко в землю две новые веревы, поднял с земли, приладил к ним ворота; поднял также плетни и поставил к ним с обеих сторон подпорки; напил и нарубил побольше дров; вычистил хлев, сделал там из горбылей настил; на задах, за глухой стенкой избы, воздвигнул еще одно крайне необходимое сооружение, которое в Усухе — и не только в нем — отродясь не возводят. К моему приезду Илья обжился настолько, что чувствовал себя и вправду хозяином, чему подлинные владелицы избы были только рады.

Получилось так, что в тот 1959 год я приехал в Усух из Москвы один. Начав годом раньше работу над романом «Вишневый омут», я принужден был оставить службу и занимался только этой книгой. Поэтому мне ничто не мешало покинуть столицу когда угодно и в каком угодно направлении. Если бы проставил в конце «Омута» имена селений, где он писался, то там бы значилось: село Монастырское на Саратовщине, поселок на Нижней Волге — Никольское, Лопушь и Усух — на Брянщине. В одном только месте не написано ни одной главы — в собственной квартире в Москве, в квартире, кстати сказать, со всеми современными удобствами. Одного, правда, удобства не было: тишины. Усух, лишенный всех прочих удобств, обладал одним, вот этим последним, что для нас имело решающее значение. Не подумайте, пожалуйста, что я возвожу хулу на го-

род, который давно уже стал для меня и моих товарищей милым, родным и близким — родным хотя бы уж потому, что в нем родились наши дети, что он приютил нас, что мы — его граждане, мы живем в нем. Просто всякий выбирает для своих литературных занятий тот уголок, который более всего подходит к его душевному складу. Роман «Солдаты», повесть «Наследники» и многие другие вещи писались мною в городе. «Вишневый омут» и «Хлеб — имя существительное» я мог писать только в деревне — и нигде больше. Современные впечатления будоражили память, вызывали к жизни, воскрешали видения далеких лет, перемешивались в голове и сердце и создавали атмосферу той взволнованности, той неслышной и невидимой вибрации душевных струн, при которой только и возможно творчество. Петух ли взлетит на плетень и, огромный, лохматый в сумеречной полутьме, заголосит во всю ночь; взмыкнет ли испуганный теленок на лужайке у своего прикола; пробежит ли с удочкой мальчонка и оставит на поседевшей от росы траве зеленые отпечатки босых ног; клейкая ли капелька молозива на подойнике; раздастся ли в утренней свежести вязкий хряск одинокого топора; запах ли деготька долетит до ноздрей от телеги; бодрый ли рокот трактора на далекой, пресно пахнущей меже коснется твоего слуха — и ты весь уже напряжился, все поет в тебе, манит, зовет куда-то, рождая множество самых разнообразных и, казалось бы, немыслимых ассоциаций. В одном всякий раз испытывалась мучительная неловкость: как ты, явившийся в село бог весть откуда с удочками в руках и рюкзаком за плечами, — как ты докажешь людям, которые от зари до зари заняты совершенно определенным и всем понятным, и всем видимым делом, что ты тоже не бездельник, что твое занятие также нужно, также необходимо? Когда сидит писарь в сельском Совете и пишет, это понятно, это его работа; когда же сидишь и ты и что-то там сочиняешь, это странно, это вызывает хорошо если улыбку удивления, а чаще — снисхождения: взрослый, здоровый мужичище, а занимается черт знает чем. Сельский житель любит книжки, но он несокрушимо убежден, что пишутся книжки в городе, а в деревне должно пахать землю, сеять хлеб, доить корову и рубить дрова. Требовалось какое-то время, чтобы растаял ледок этой подозрительно-удивленной на-

стороженности со стороны крестьян, чтобы они поняли наконец, что книжки пишут обыкновенные люди, а не апостолы Павлы. В родном селе это легче — там тебя знают с детства. Иное дело — Усух.

Впрочем, значительную часть дела уже сделал Илья. Он снял загодя с моего появления определенную долю неизбежной при таких обстоятельствах неловкости. Об одном лишь позабыл наш верный друг Илья: из обещанного «мильена» он подобрал квартиру пока что только для себя, мне же ничего не оставалось, как воспользоваться гостеприимством доброго и словоохотливого старичка. Поселившись у него и проживши день-другой, осмотревшись малость, я понял, что выбрал далеко не лучшее место. Жил Мильен со своей женой в большой избе, добрая половина которой отведена сениям, доверху загруженным разной разностью. Чего только не было в тех сениях! Кадушки всевозможнейших размеров и всевозможнейших возрастов — совершенно новенькие, полуразвалившиеся и развалившиеся; около десятка пахтанок; обглоданные дровосеки; множество топоров с топорщиками и без таковых — эти, последние, понатыканы у истоков крыши вперемежку с ржавыми, иззубренными лопатами; вдоль стен — мешки; на мешках — доски и ящики, всклень насыпанные гвоздями и лошадиными подковами. Все это добро опутано, точно тенетниками, старыми разными сетями и вентерями; натуральный же тенетник густо и душно висел под самым коньком высокой соломенной крыши без потолка, слышалось, как в смертной тоске бились там жирные, изумрудные навозные мухи. Вторая, жилая, половина избы, в свою очередь, поделена была надвое, потому как там разместилась во всем своем царственном дородстве российская деревенская печь. За печью, задернутая занавеской, узкая железная кровать — она то и была предложена мне. В правом углу, под образами, стол, покрытый толстой и липкой клеенкой. В одном месте клеенка как бы вспухла, и вскоре я понял поему. Мильен, припадая на левую ногу и непрерывно говоря что-то, сразу же направился к тому столу и вытащил из-под клеенки желтый газетный сверток. Долго разматывал его, извлек почти черную, до смерти измученную бумажку и попросил меня прочитать вслух. Поняв, что бумажка эта не простая, а золотая для старика, я прочел со всей возможной выразительностью:

«Сие удостоверение выдано имярек в том, что он действительно помогал нашему отряду дважды переправляться через Сев и Неруссу, а также и по продовольственной части.

Командир партизанского отряда».

Фамилии командира разобрать не удалось.

Старик, счастливо помаргивая маленькими синеватыми глазами, полуоткрыв беззубый рот, ждал, как яотреагирую. Я, конечно, поглядел на него с восхищением. А через минуту мое уважение к хозяину возросло еще больше. Я увидел, что все стены его избы залеплены плакатами, исключительно направленными на борьбу с браконьерами. Старик не преминул тотчас же подтвердить, что он злейший враг браконьерства, что он в здешних краях вроде егеря, что о нем знает вся округа, а с суземским — районным, значит, — начальством он на короткую ногу. Созерцая в сенях его богатство, я поначалу не обратил внимания на странный предмет — длинный шест, на одном конце которого приделана цилиндрической формы железяка. Не обратил внимания и на другую штуку, похожую на четырехрогие вилы — острия рогов их почему-то загнуты крючком. Немного насторожил меня огромный запас пороху и дрови, которым старик похвастался в первый же час моего квартирантства. Недобрый смысл этих вещей стал для меня очевиден несколько позднее. Сейчас же я был занят другим: мне было ясно, что избранное мною жилье на жилье только и сгодится, работать в нем невозможно. Я отправился на поиски. Напротив увидал избушку, которая показалась мне пустующей. Поскольку была середина мая, я мог бы, не думая об отоплении, приспособить ее под свой личный кабинет. Избушка и вправду пустовала. С помощью Мильена я нашел опекуншу из родственниц уехавших и быстро договорился с нею относительно уплаты за «амортизацию» брошенной хаты. Илья мобилизовал сестер, и те быстро привели ее в относительный порядок. Старик отыскал среди сенной своей рухляди старенький стол, закрепил в нем ножки и втащил в мой «кабинет». Так что с завтрашнего утра можно было приступать к занятиям. По правде говоря, такое, двойное, мое расположение оказалось лучшим из всех возможных. Спал и харчился у Мильена, а писал в избе, где никто не мог мне помешать. Отдыхая, я рассматривал семейные фотогра-

фии, почему-то оставленные хозяевами, портреты кинозвезд и разные картинки из иллюстрированных журналов, которыми были оклеены все стены. По картинкам и по портретам известных артистов кино я мог заключить, что у незнакомого мне хозяина была дочь, а может быть, и несколько взрослых дочерей. По приезде в Усух в хижину мою стал часто наведываться Сергей Смирнов. Двумя годами позже в его сборнике «Веселый характер» я прочел стихотворение под названием «Изба». Вот строчки из него:

Под стеклом пестреют фотоснимки,
Женихи, невесты в полный рост,
Бабка со внучатами в обнимку
И набор
 советских кинозвезд.
Как сюда попали кинозвезды,
Ведь вокруг столетний Брянский лес?
Вероятно, родниковый воздух
Пробуждает к звездам интерес.

Чтобы, очевидно, не было кривотолков относительно того, чья хата оказалась прототипом его «Избы», Сергей посвятил это стихотворение мне. Прочтя, я грустно улыбнулся. Увлечшись эффектным образом, поэт, верно, запамätовал, что «родниковый воздух», пробудивши интерес к звездам, почему-то не задержал хозяев избы в Усухе, что, забыв обо всех благостях сельской жизни, они, лишенные, похоже, поэтического воображения, подались в город... В первый «творческий» день удалось посидеть над рукописью не более трех часов: Илье не терпелось показать мне новые владения, и он уже несколько раз прошел мимо моего окна со своею «бандурой». В конце концов не выдержал и вошел в избу.

— На сегодня хватит. Ребятишки червяков нарыли.

Оказывается, предприимчивый Илья успел наладить с усухскими мальчишками прочные деловые отношения. На целое лето снабдил их крючками и лесками, и они обязались обеспечивать нас червяками — основной насадкой для удочек. Надо сказать, что ребята выполняли свои договорные обязательства в высшей степени добросовестно.

Два часа ушло на осмотр Сева. Сначала мы поднялись километра на три вверх, а потом спустились вниз,

до впадения Сева в Неруссу. Признаюсь, более красивых берегов я нигде еще не видывал. Казалось, поблизости жили одни поэты, и они-то засадили побережья тихой и действительно задумчивой речушки наполовину черемухой, наполовину раkitой и черной смородиной. Черемуха цвела во всю мочь. Казалось, река закуталась в горностаеву шубку. Соловьиные хоры не затихали ни на минуту. Ракиты были старые и высокие. Многие из них, подпиленные бобрами, лежали поперек реки, и от стволов, гонимые тайной, невидимой силой жизни, стремительно рвались вверх, к солнцу, прямые, как стрела, отростки, для которых пока что хватало живого соку в толстой коре родимого дерева. По берегу надо ступать осторожно: всякую минуту можешь провалиться в бобровую нору и сломать ногу. У бобровой норы два выхода: верхний выводил зверя на сушу, в лес, в луга; нижний — прямо под воду. Бобриная работа видна была всюду. В одном месте начисто срезаны талы, в другом — повалено огромное дерево, в третьем — такое же дерево, только уж обработанное, то есть распиленное на бревна и освобожденное от ветвей; самих ветвей не видно, пошли, видать, на кормежку.

Наслушавшись досыта соловьев и насмотревшись всего этого, Сергей Смирнов впоследствии воспыал чувством горячей признательности к открывателю Усуха, первому исследователю здешних краев — Илье Швецу, и посвятил ему такие строчки:

Я живу в деревне соловьиной,
Где обрел рабочий кабинет.
Рядом Русь граничит с Украиной,
А границы, собственно, и нет.

Есть поля да белый цвет черемух,
Есть леса да реченьки свои,
Где в сплошных раkitовых хорах
Набирают силу соловьи.

Как займутся посвистом бедовым,
Поведут — замри и не дыши!
Соловьи седым солдатским вдовам
Возвращают молодость души.

И бегут от сердца к сердцу нити,
Что-то сокровенное тая.
Соловьи-кудесники, взгляните:
Не у вас ли молодость моя?

Не она ли в старой плащ-палатке,
В рядовой пилотке набекрень
От меня шагает без оглядки
По одной из этих деревень?

Соловьи неистовствуют пуще,
Всех невест хотят свести с ума,
От реки, в бессмертие текущей,
Словно гром, врываются в дома.

А бобры, нарезав прутьев грубых,
Стелют их у влажных нор и ям,
И сидят в своих боярских шубах,
И всюю внимают соловьям.

Соловьи — в лирической разведке,
Соловьи — у каждой колен,
Соловьи — почти на каждой ветке,
И на сердце — тоже соловьи.

Соловьи способны пробраться в сердце не только поэта, но и прозаика. Одно лишь смутно тревожило меня и не позволяло целиком отдаться во власть соловьиных чар. Я все искал свежих бобровых следов, а их-то как раз и не было. Вспомнил про шкурку, которою Мильен покрывал кадушку с дробью. Вспомнил и о загадочных словах самого Мильена, твердившего невнятно про какую-то дыру, которая могла бы его выручать, которой, однако, не было в его распоряжении. Вырываясь вперед, скажу, что вскоре я понял, о какой дыре идет речь. Мильену нужно было место, куда бы он мог сплавлять мех. Это на его своеобразном языке и называлось «дырою». Не искал ли он во мне своего посредника? Очевидно, да. Хитрый и сметливый старик, однако, очень скоро понял, что тут номер его не пройдет, и затаился. Но не настолько, чтобы я не мог видеть его проделок. Вечером, возвращаясь из похода, я застал старика за новым занятием. Напилив из соснового бревна несколько колесиков, он раскалывал их на мелкие чурки. Я думал — для самовара. Но чурки имели совсем иное назначение. Облитые предварительно смолою, они были унесены в лодку, аккуратно сложены на корме в специальный противень и, как только смерклось, все на хуторе умолкло, угомонилось, вспыхнули факелом. Ночью, выйдя на зады, я видел, как факел этот медленно двигался, рассеивая крошечную тьму, вдоль противоположного берега, и оттуда время от времени раздавались бульканье и всплески. Под утро, сквозь сон, я

слышал возню в сениях, потом хромое громоухание обу-
тых в высоченные яловые сапоги ног в самой избе,
кряхтенье, укладыванье на широкой лавке, где спал
хозяин не более двух часов в сутки. Подымался он
раньше меня, когда бы ни заснул. И в тот раз со-
скользнул с лавки с третьими петухами, проковылял в
сени, собрал там что-то и исчез до двенадцати часов
дня. Утром, направляясь в свою хижину, я увидел все
те же странные вилы. Они стояли теперь в другом ме-
сте. На загнутых концах — крупная рыба чешуя пер-
ламутрово переливается под лучом, пробившимся в сте-
не между неплотно лежащих друг на дружке бревен.
Острога. Так зовут это чудовищное оружие. Оно на-
стигает леща, жерева, крупную плотву, карася, линя,
щуку спящими на полводе, поближе к берегу, и, пу-
щенное удачливо, пронзает насквозь, нанизывает жерт-
ву на все четыре хищных зуба, при промахе, что бывает
чаще, смертельно ранит или наносит такие увечья, ко-
торые обрекают рыбу на медленную смерть. Неделей
позже открыл, наконец, себя и длинный шест с боль-
шим цилиндрическим наконечником. Среди бела дня,
сидя в своей избушке, я вдруг услышал глухие удары
об воду, похожие на отдаленные взрывы бомб. Быстро
выскочил из избы и пошел в направлении взрывов.
В километре от Усуха, на верхнем течении Сева, там,
где река рассекается надвое Бобриным островком, уви-
дал лодку, а в лодке Мильена с тем шестом. Малень-
кий, сухонький, поджарый, с удлинненным лицом, старик
изгибался, со страшною силою ударяя цилиндрическим
концом по воде. Вода со стоном ухала, из-под цилинд-
ра взрывалась фонтаном. Все живое под водою ошале-
ло шарахалось подальше от чудовища, то есть туда, где
были расставлены сети. Я не выдержал и прекратил это
злодейство. Мильен долго не мог понять моего гнева.
Твердил:

— Нешто ее усю выловишь? Ее издесь мильен.

— И бобров мильен?

— И бобров мильен! — живо и радостно подтвер-
дил старик.

Владельцы огромнейшей и богатейшей земли, не по-
тому ли мы часто бываем бедны, что привыкли все счи-
тать не на штуки, а на «мильен»? Ну что из того, что
мы загрязним ядовитыми заводскими отходами какую-
нибудь там малую речушку и обезрыбим ее, когда у

нас таких речушек мильен? Что из того, что вырубим какую-то небольшую рощу, когда полстраны у нас сплошь покрыто лесами, когда у нас таких рощиц мильен? Что из того, что мы истребим зверя и птицу на какой-то части страны, скажем в Центральной России, когда и зверя и птицы у нас более чем предостаточно в Сибири и на Крайнем Севере, когда их там мильен? Что из того?.. И вот читаешь бодрые, брызжащие оптимизмом строки бойкого репортера: «В тайгу пришел человек. Застучали топоры, завизжали, запели пилы. Зверь бежит». Зверь бежит, разумеется. А вместе со зверем убегает куда-то и тайга. На новом месте вырастает город — и вот он голыхонек, ни деревца, ни кустика вокруг. Спешно собирается актив. Городской голова мобилизует комсомольцев, пионеров. Начинается шумная кампания по лесонасаждению. Наспех, как попало, втыкаются прутьики, в бумагах ставятся галочки — и все довольны. Плачет лишь горючими слезами природа, глядячи на безумство разумнейшего из всех живых существ — на человека. Казалось, незамутненный разум должен был бы подсказать ему элементарнейшую вещь: ты затеял город среди вековой тайги, среди красы, доставшейся тебе даром; огороди же хотя бы самую малую ее часть высоким прочным забором и не пускай туда никого до поры до времени. А когда вырастет город, когда на его окраинах задымят заводы, когда улицы заполнятся усталыми рабочими людьми, поставь у забора арку, напиши на ней два слова: «Городской парк», и пусти туда людей, пускай они отдохнут, подышат упоительно-сладким и чистым воздухом, а дети и внуки их пусть порезвятся. Это будет парк, какой и за сотню лет не вырастишь. Мы говорим «мильен» в Центральной России, но такое же говорят и во всех других частях огромнейшей страны, стало быть, истребление природы идет повсюду. Картина станет еще тревожней, если мы вспомним, что мой усухский Мильен — особь отнюдь не единичная, что либеральные наши законы о защите родной природы везде и всюду нарушаются самым бессовестным образом, что к не поддающейся учету армаде браконьеров присовокупляется сонмище охотников и рыбаков-любителей, которых сам закон, как бы само правосудие благословили, чтобы они денно и нощно истребляли все живое на земле; причем средства

истребления усовершенствуются с невероятной быстротой: теперь уж на каждую рыбешку, верно, приходится по одному рыболову-спортсмену, на каждого зайца, на каждую дикую утку — по пять-шесть охотников. После всего сказанного надо удивляться не тому, что у нас меньше стало зверя, птицы и рыбы, а тому, что они еще кое-где попадаются. Со страниц то одной, то другой газеты раздается набат, умные, проникательные люди подают сигналы бедствия, но кто их слышит, те сигналы? Как-то, будучи в гостях у Леонида Максимовича Леонова, я сказал, обращаясь к этому ратоборцу в защиту зеленого нашего друга:

— Кровь стынет в жилах от чтения ваших статей. А велик ли результат? Вы же продолжаете и продолжаете бить тревогу...

— А что делать? — глухо и грустно ответил он. — Когда на ваших глазах три гориллоподобных существа собираются или уже насилуют двенадцатилетнюю девочку, неужели вы не вступитесь за нее? Вы знаете, что в лучшем случае вам побьют физиономию, что вы с ними не сладите, и все-таки, если вы человек, вы не останетесь в стороне, не можете не выступить на защиту беззащитного!..

Зеленый друг для Леонова — существо беззащитное, равным образом как и зверье, и птица, и рыба — они бессловесны.

И еще.

Отчего получается так, что одно мы возводим и рядом с вновь воздвигнутым непременно теряем нечто такое же ценное и нужное нам? Почему, построив электростанцию на реке, мы сейчас же делаем эту реку бесплодной, хотя вчера еще она кишмя кишела рыбой? Отчего Волга, озарившись светом гигантских станций, перестала существовать для рыбного промысла чуть ли не на всем ее протяжении? Отчего рядом с большими стройками обязательно должны исчезнуть такие же большие леса, даденные природой не одному, а множеству поколений?

Утром следующего дня, отказавшись от завтрака, я ушел в свою избушку и не покидал ее до сумерек. Написалась глава о варварском нашествии парней на взращенный человеком сад на берегу мрачного Вишневого оута, глава, которой не было в первоначальном плане романа...

Назавтра, в полдень, украдкой от Ильи, ушел не на речку, а в лес. Долго и бездумно бродил по узким дорогам и тропам. По косым, сделанным под елочку, надрезам на коре многих сосновых стволов медленно стекала растопленная солнцем янтарная, горячая смола, постепенно наполняя прикрепленные под надрезами железные, треугольной формы кружечки-туески. Сосны были редкие и толстые. Стволы их светло-желтые, сучастые. Временами над головою со скоростью пулеметной строчки и с таким же опасным жужжанием проносились отроившиеся пчелы. На вершине одной сосны я увидел улей, а у подножия — Мильена, только что спустившегося с дерева. Я и теперь не знаю, как он, холченогий, клешнятый, семидесятипятилетний, взобрался на такую верхотуру, да не один, а вместе с огромным ульем. Оказалось, за утро старик успел расставить шесть ульев-уловителей. Так он каждую весну охотится на отроившиеся пчелиные семьи и потом продаст их либо таким же, как он, любителям, либо на колхозную пасеку.

— Тут их мильен, — сказал он мне, тыча заскорузлым пальцем в висевший на ветке орешника ворочавшийся клубок медоносных насекомых. Потом нам попался свежий след кабанов, их, по свидетельству вездесущего моего хозяина, в здешних краях также мильен. Чтобы я убедился собственными глазами, повел меня сначала в глубь леса, где становилось все сырее и прохладнее, вывел на поляну, к озеру, сам полез на дерево и приказал мне лезть вслед за ним. Угнездившись там на прочных, толстых сучьях, мы огляделись. Внизу, ближе и дальше, там и сям, бушевала черемуховая кипень, ноздри расширялись, надувались парусом от густой смеси разнообразнейших лесных запахов, по всему телу разливалась какая-то благодать, грустно думалось, что придет твой час — и все это останется, а тебя уже не будет... Старик между тем что-то высмотрел и подтолкнул меня своим острым локотком:

— Чуешь? Чавкають...

Я прислушался. Звонкое, сочное чавканье явственно долетало до нас.

— А зараз гляди в оба. Выйдуть на поляну.

Вышел один хряк. Сначала из-за зеленой плотной стены камыша высунулось его предлинное красноваторыжее рыло с черным, облепленным сырою землей пя-

тачком на конце и верхними губами, окровавленными подпиравшими их клыками. Затем появилась огромная голова, а потом и все его сильно суженное к зад у рыжее туловище. Я невольно покрепче обнял ствол сосны, а старик тихо хохотнул. Зверь почуял что-то, фыркнул, не спеша повернулся и вскоре скрылся в камышах, утащил туда заляпанный маслянистой грязью сплюснутый с боков зад.

— Зараз нельзя спущаться. Не ровен час вынырнет обратно. Тогда беды не миновать. Обождем маленько

Пока ждали, когда кабанье стадо удалится, старик доверительно сообщил мне о беспокоившем его в последнее время деле. У него была дочь. Полгода как вышла замуж, теперь на сносях, а мужа ее, Ивана, должны вот-вот призвать в армию. И как же она теперь будет без Ивана? Я не раз видел румянощекого, общительного юношу на Мильеновом подворье, но не знал, что это зять моих хозяев. Не знал и того, что между Иваном и его тестем идет отчаянная и невидимая война. Мильен, чтобы как-то оставить Ивана в Усухе, чуть ли не каждое утро отправлялся в Суземку, в военкомат, и в дар какому-то там начальнику относил свежую рыбу. Тем же самым занимался и Иван, только цель у него была совсем иная: он приносил рыбу прямо военному и упрашивал, чтоб тот поскорее призвал его в армию. Рассказывая потом нам эту историю, военком хохотал от души. Рыбу он брал и от тестя, и от зятя, а в выигрыше от этой операции оказывался детский сад.

Не проиграл и зять. Его вскорости призвали в армию. Старик нахмурился и с того дня резко сократил свой рыбный промысел. Упрятал куда-то подальше и сети, и острогу, и шест с окаяннным его наконечником, а сам на определенное время целиком переключился на пчелиную охоту. Вскоре и без того маленькие его глазки заплыли окончательно от пчелиных жал, и «зрил на свет божий» он сквозь узкие щелочки.

Но вернемся к кабанам. Годом позже Николай Грибачев написал стихотворение «Кабан». Привожу его полностью:

Орбиты жизни... Все расчислить кто б их
Мог, одолев различий океан!
Я видел, как свою орбиту в топях
Прокладывал в рассветный час кабан.
Под лобной костью недоносок-разум.

Сапожной щеткой — острая спина,
 И круглый мир над раскаленным глазом,
 Багровый и оранжевый сполна.
 Багровая осина и ракита,
 Разваленная стенка камыша.
 И хлюпали и хлюпали копыта,
 И замирали птицы, не дыша.
 Мужавший на болоте год от году,
 Он мог бы дерево порушить с ходу,
 Свалить, рванувшись напролом, быка.
 Но что ему все тайны небосвода!
 И старые и новые века!
 Что Рафаэль и скрипка Паганини,
 Желанье Землю на плечах держать?
 Поспавший и понежившийся в тине,
 Он жаждал только двигаться и жрать.
 Сопящей глыбой вламывался в чащи,
 В размывы ивняка и дубняка
 С раскрытой пастью, со слюной кипящей
 На желтоватом вымахе клыка.
 Я не желал и не искал с ним встречи,
 Убийцам по корысти не родня,
 Когда из-под рассвета в междуречье
 Он ринулся торпедой на меня.
 Пускай судьба моя грядущим скрыта
 Во всем ее хорошем и плохом,
 Я не желал, чтобы моя орбита
 С его клыков стекла в могильный холм.
 И поднял я винтовку в два жакана.
 И, разрешая безысходный спор,
 По двум свеченьям желтого тумана
 Ударил раз, затем второй — в упор.
 Прошла волна последняя по коже,
 Растаял дым, зеленым ветром сбит...
 Есть жизнь за жизнь,
 Но смерть за смерть есть гоже
 В пересечениях мировых орбит!

Сергей Васильевич Смирнов не поднялся до таких обобщений. Его аллегория более проста. Стихотворение «Медвежий угол» появилось почти одновременно с грибачевским «Кабаном». Привожу его также полностью:

Глухомань.
 Седой медвежий угол,
 Если можно
 лес
 назвать углом.
 На манер немых музейных пугал
 Растопырил корни бурелом.
 У меня свирепые соседи,
 Смотрят косо, дышат тяжело:
 Рыси, волки, бурые медведи,
 Кабаны с клыками наголо.

Не люблю общаться втихомолку
И, кивком приветствуя зарю,
Обращаюсь персонально к волку,
Кабану и рыси говорю:

— Собирайтесь, милые создания,
Во дворце без окон и дверей,
Мы устроим с вами заседание
На предмет
 содружества зверей.

Будет рысь под нашим наблюденьем,
Будет волк работать над собой.
Мы на них намордники наденем,
Изничтожим
 зверство и разбой.

Пусть лиса не трогает тетери,
Пусть медведь не зарится на мед.
Пусть пчела
 за прежние потери
Все, что полагается, возьмет.

И тогда...
Но все мои старанья
Стали вроде призрачного сна —
Звери не явились на собрание:
Видно, им
 повестка не ясна.

Только ель протягивает лапу,
А за ней — лесной глубокий тыл.
Я снимаю фетровую шляпу,
Говорю:
— Простите... пошутил...

Говорю, что сам писатель Сытин
Мне внушал всеобщую любовь...
А кабан —
 клекаст и ненасытен —
Подрывает корни у дубов,
И, не тяготая к новым модам,
Рыщет волк,
 старается пчела,
И медведь охотится за медом
В тайниках медвежьего угла.

VII

Наше месячное пребывание в Усухе в общем-то было разведывательным. Ровно через год, уже в мае 1960-го, на Усук была снаряжена новая экспедиция.

Слово «снаряжена» тут более чем к месту. На Сев отправлялись рыбаки-виртуозы, а именно: Николай Грибачев и Иван Стаднюк, к ним опять в Брянске присоединился Шве́ц. Сергей Смирнов и я приехали спустя неделю. Снасти мои с прошлого лета оставались у Мильена, так что я мог бы ехать налегке. Однако груз мой оказался самый тяжелый. Дня за два до отъезда из Москвы получил от Стаднюка открытку, в которой тот сообщал о «грандиозном клеве», о том еще, что можно было бы приступить к вялению и копчению рыбы, да вот беда: в местной кооперации не осталось ни солинки. Я, разумеется, тотчас же поверил: ведь речь шла об Усухе. Туда и в путную-то пору не всегда проберется машина либо подвода, а по весне и подавно. Взяв все это в соображение, я полный рюкзак набил пакетами с солью, так что носильщики на вокзале подымали его сначала на тележку, а потом в вагон не иначе, как вдвоем, при этом поглядывали на нас с Сергеем подозрительно и перешептывались. И я бы не удивился, если б вдруг на каком-то перегоне нам предложили сойти и предъявить документы. Но все обошлось хорошо. В Суземке нас встречали. Стаднюк, вскочив в вагон, чтобы помочь нам выгрузиться, перво-наперво спросил, изобразив на своей физиономии крайнюю озабоченность:

— Соли привезли?

— Была бы рыба, соли хватит! — ответил я не без самодогольства.

— Очень хорошо, — заключил Стаднюк.

Писал он тогда роман «Люди не ангелы», и в справедливости такого изречения я смог лишний раз убедиться через каких-нибудь два-три часа. ГАЗ-69 — а только он мог отважиться совершить путешествие на Усук, — доблестно преодолев все дорожные тернии, полудни с веселым фырчанием вкатился на единственную улицу хутора. Под предлогом того, что надобно угостить нас при встрече, поехали сначала не на квартиру, а к лавке. Она разместилась в стареньком амбаре, который каким-то образом умудрился сохранить при двадцатиградусном тепле снаружи январскую стужу внутри. Закутавшуюся в шубу продавщицу мы застали за трапезой: прямо на прилавке она освобождала от скорлупы одно яйцо за другим, в том же порядке отправляла их в рот, запивая молоком прямо из бутыл-

ки. Видать, мы были первыми в тот день посетителями, потому что начальница торговой точки с удивлением подняла на нас свои ясные, не замутненные никакими земными печальми очи и спросила:

— Вы за чем?

Вопрос был резонным. За прилавком было негусто. Зато посреди магазина, от пола до потолка, висел террикон соли, завезенный сюда, по-видимому, сразу на всю семилетку. Хотелось сейчас же обрушиться на Стаднюка с бранью, но розыгрыш был столь остроумным, что мы — я и Сергей — расхохотались вместе со всеми. Несколькими годами позже мною был взят у Стаднюка блестящий реванш, но, поскольку дело касалось литературной репутации, я сохранил содержание розыгрыша в тайне. Тогда, в Усухе, мне не удалось отплатить Ивану: его куда-то срочно вызвали, кажется в Киев, по делам кинематографа; в тот же день, вечером, мы его проводили.

Сергей Смирнов занял освободившуюся койку в резиденции Грибачева, то есть в пустовавшей избе, не в моей, прошлогодней, а во вновь опустевшей. Мне ничего не оставалось, как опять поселиться у старика: он уже давно караулил меня во дворе. Чемодан соли я сбыл ему, за что получил благодарность.

— Мне надо ее мильен, — сказал он, волоча по земле страшный груз.

Сказал правду, ибо на выделку бобриных шкур, а также на засолку рыбы соли уходит много. Ко мне старик проникся еще большим уважением. В знак особого расположения тут же накачал блюдо золотистого молодого меду и поставил передо мною. Я отказался от угощения до ужина, ибо обед — и не какой-нибудь, а праздничный — меня ждал у Швеца, там всю хлопотали Римма и Лена.

За обедом Грибачев произнес программную речь. Смысл ее сводился к тому, что всем нам отныне надлежит жить в рамках строго установленного графика. Подъем — в 6.00, физзарядка — 6.15, утренний туалет — от 6.15 до 6.30, затем кофе, первый завтрак, потом два часа работы над рукописями, потом второй завтрак, потом, до 15 часов, снова занятия, затем обед и рыбная ловля. Не было в этом распорядке дня только утренней и вечерней поверки, в остальном же режим был почти казарменный. Не мудрено поэтому, что уже

на следующий день объявился нарушитель. Им оказался Илья Шве́ц. После первого завтрака надо было бы усесться за письменный стол, а он два часа тайно просидел с удочкой на берегу Сева, в добавление ко всему присоединил утренний улов к своему вечернему и выдал себя за победителя. Будучи уличенным — не без помощи Риммы, — он долго отпирался, лгал самым отчаянным образом, указывая все время на машинку, где торчал листок с незаконченным стихотворением, как на свидетельство его усердного утреннего творческого бдения, — не помогло. Командор был неумолим. Шве́цу объявили наряд вне очереди: весь вечер он помогал сестрам чистить картошку. После этого должен был еще по наряду наколоть дров, но за Илью сделал это я, ибо понимал, что при такой строгости вскоре и сам провинюсь и тогда могу рассчитывать если не на помощь, то хотя бы на сочувствие Ильи.

Как-то в послеобеденную пору мы вышли с удочками к Бобриному острову и оказались свидетелями незабываемого зрелища. Нерестился лещ. Для свадебной оргии он избрал небольшой, неглубокий заливчик, насквозь пронизанный солнцем, им же насквозь и прогретый, шелковисто затравеневший со дна. Что-то непонятное, загадочно-древнее представилось взорам нашим. Лещи величиною с печную заслонку скопились тут в таком множестве, что вода кипела. Плоские, серебристо-оранжевые, они завели странный хоровод, кружились, кувыркались в воде, вспенивали ее, выскакивали вверх и опять звонко плашмя шлепались, брызги летели во все стороны, тысячи прозрачных пузырьков лопались мгновенно и мгновенно же рождались сызнова на поверхности заливчика. Мы стояли на виду у этих вообще-то очень осторожных рыб, но им теперь, видно, было не до нас, не до наших червяков, которые мы подсовывали к их носам в тщетной надежде на клев. Крючки вместе с наживкою то и дело выбрасывались рыбьими хвостами наверх. В слепом пиршестве этом, подвластном лишь извечным законам природы, распаленные страстью, в кровь изодранные друг об друга, потерявшие по бокам чешую, некоторые рыбы попадали на наши крючки. Мы причисляли себя к немногочисленной рззшовидности рыбаков-гуманистов и оставили только по одному лещу, а остальных выпустили. Ребята взяли с меня клятву, что я ни под каким предлогом не пока-

жу этого места моему хозяину, ибо тот немедленно перегородит залив сетью и выловит всех лещей, а потом скажет, что в реке их мильен. Ребята оказались людьми предусмотрительными. Увидев на моем кукане леща, старик долго допытывался, где я его добыл. Я врал, как только мог, полагая, что в данном случае ложь моя — дело святое. Дед отлично знал, что по времени лещ должен уже нереститься, или «биться», как говорят местные рыбаки, а вот в каком месте, не ведал. Будто птица, которая, чтобы отвлечь хищника от своего гнезда, вьется и кричит совсем в противоположной от него стороне, так и мы, видя, что старик следит за нами, уходили подальше от Бобриного острова. В конце концов нам удалось оставить Мильена с носом. Лещ справил свою свадьбу и благополучно ушел в глыбь Сева. Мы по-ребячьи радовались маленькой нашей победе над матерым браконьером.

Было воскресенье. Хоть в графике нашем и не значилось выходных, мы все-таки один выходной устроили. Мы — это Сергей Смирнов, я и Швец, но только не Грибачев. Видя, что ему не справиться с коллективной самоволкой, он сразу же после завтрака удалился в свою избу и с подчеркнутой яростью затарактел на машинке. Мы собрали удочки, захватили кастрюлю, распихали по карманам картошку, соль, черемшу, спустились к реке и на каком-то утлом суденышке переправились на левый берег. Удалились еще километра на полтора вниз по течению, облюбовали лужок, взятый в полон цветущей черемухой, сложили в тени свои припасы и приступили к ужину. Все предвещало благополучное течение праздника. Рыба, как бы понимая наше настроение, не заставила долго себя ждать. Минут через двадцать каждый из нас нес в общую кастрюлю свой улов. Илья, помнится, выловил «бандурой» двух щучек и одного большого окуня, Сергей — трех окуней и столько же плотвиц, я — подлещика и одного небольшого линька. В большом окуне и моем линьке оказалась икра. Сергей обрадовался. Он затеял сварить нам уху «с оттяжкой». Картошка для такой ухи не шла. Она так и осталась под тем черемуховым кустом. В настоящей ухе вода должна быть прозрачной, как слеза младенца. Прозрачности же можно добиться лишь посредством живой икры. Брошенная в котел или кастрюлю вовремя, то есть в самом конце варения ухи, икра

принимает на себя всю муть, и вода делается похожей на дистиллированную, с той лишь существенной разницей, что, очищаясь, она не утрачивает вкусовых своих качеств, а, напротив, делается еще ароматнее, делается в общем такую, что могла бы потрафить любому гастроному, самому придирчивому гурману. Пока Сергей священнодействовал над дымящейся кастрюлей, другой поэт, спустившись к реке, мыл единственное блюдо, а я резал на расстеленном его плаще хлеб, приготавливал соль и черемшу. Кастрюля скоро была поставлена в центре импровизированного стола, солнышко ласково светило с небес, где-то близко щелкал и свистал соловей — пир наш начался. Нахваливая уху и больше всего повара, в чем он и сам не отставал от нас, быстро опорожнили первую кастрюлю и сейчас же занялись ловлей рыбы для второй. Скоро уха была готова — только без «оттяжки», икрыные нам не попадались. Насытившись, мы с Ильей решили было вздремнуть и не видели, как ушел куда-то Сергей Смирнов. Затем мне показалось, что кто-то бултыхнулся в воду. Подбежав к берегу, я увидел поэта барахтающимся в студеной волне Сева. Пришлось кинуться в реку и помочь товарищу выкарабкаться на берег. А дальше все было так, как написано Грибачевым в его очерке «Бегство на Усух». Сергей попытался было пойти своими ногами, но одна из них как бы вдруг подвернулась, и поэт рухнул на землю. Я решил, что у него вывих, и, помня, что беда эта не столь уж велика, принялся с усердием, которое было бы к месту в другом случае, дергать за ногу. Сергей начал кричать: «Ой-ой-ой, ребята, больше не буду!» В крике этом еще чувствовалась доля юмора, она-то и подбодрила меня: я стал дергать еще сильнее. Знахарские опыты мои не удались: Сергею стало совсем худо. Тогда-то, подставив ему свои плечи, мы поплелись к Усуху. Видя такое дело, пошел туда и Николай Матвеевич (он удил рыбу напротив). К удивлению нашему, встретя, он даже не изругал нас. Помог уложить пострадавшего на его койку, расспросил весьма участливо, как все это произошло, сам вышел на улицу, сам привел молодую и озорную женщину. Она плюнула-дунула на распухшую щиколотку, пощупала ногу и там и сям, еще плюнула и еще дунула, а потом объявила, что до свадьбы заживет. Поскольку товарищ наш давно уж был женат, слова ее прозвучали весьма

оптимистически. Лишь через две недели в Москве, в поликлинике, определили, что у Сергея не вывих, а перелом ноги: падая в воду, он ударился о дерево, поваленное когда-то бобрами. А еще храбрился, на врученных ему в Суземке костылях выходил на сцену во время одного литературного вечера и читал стихи, в том числе «Бабку-шепотуху», посвященную молодой воровке из Усуха.

Выше была рассказана вся правда о наших приключениях и о том, при каких обстоятельствах получено Сергеем увечье. Теперь посмотрим, как все это преобразилось в поэтическом варианте:

Не смогрел, как надо было, в оба,
И меня ужалила змея.
Сразу жар — и приступы озноба,
Сразу пот по телу в три ручья.

Проклинаю ноющую ногу,
Пью настой из меда и вина.
И ко мне приходит на подмогу
Шепотуха местная одна.

Села, зашептала шепотуха,
Помогает жестами себе,
Словеса, неясные для слуха,
Словно дым, пускает по избе.

Мне смешно подобное лечение,
Но, лишь только мысленно ворча,
Я лечусь в порядке развлечения
И ввиду отсутствия врача.

И вот тут — о милостивый боже! —
Вижу, несмотря на слабый свет,
Бабка-то на бабушку непохожа.
Ей примерно три десятка лет.

Белозуба да русоволоса,
На лице лукавинки ума.
Я не удержался от вопроса:
— Веришь ли ты в шепоты сама?

А она с достоинством примерным
Отвечает мне, как школяру:
— Это успокаивает нервы
И снимает всякую хандру...

Я лежу без признаков движения,
Для эффекта охаю слегка,
А она с лукавым выраженьем
Шепчет и глядит из-под платка.

Отшептала полную программу,
Прописала молоко и мед.
— А вина, — промолвила, — ни грамма! —
Кто не ангел, тот меня поймет.

Я вздыхал, распластанный верзила,
Я кивал с покорностью немой,
А она мне пальцем погрозила
И ушла, красивая, домой.

Как видим, тут все правда: и то, что, лечась, поэт пил настойку из меда и вина; и то, что в Усухе никогда не было и сейчас нет врача; и то, что страдалец наш охал и ахал слегка (полагаю, вовсе не для эффекта); и то, что красавица колдунья прописала ему молоко и мед. А вот на змею возведена напраслина: ни Сергей, ни кто-нибудь из нас ни разу не был укушен ею.

VIII

На улице, перед домом моего хозяина, у палисадника лежало бревно — лежало, видно, с незапамятных времен, потому что было все как бы седое, а книзу покрывлось лишаями и зеленым мохом. Не знаю отчего, но именно это бревно облюбовала парочка для своих ночных любовных бдений. Он, как я успел понять, сын лесника, с сумерками приезжает на велосипеде откуда-то из глубин брянских дебрей, она — из Усуха, но по соседству мы ее никогда не видели, стало быть, с другого конца хутора. От вечерней до утренней зари просиживали влюбленные и говорили (нам в открытое окно была слышна вся их сбивчивая воркотня, перемежаемая поначалу редкими, а затем все учащающимися поцелуями, очень звонкими среди ночной тиши), говорили без конца и о чем угодно, только не о предмете, который болсe всего занимал их в те минуты. Не говорили о любви. Где то за полночь парочку вспугивал Мильен, возвращающийся из своих тайных походов. Парочка снималась, куда-то уходила, но ненадолго, пятью минутами позже опять усаживалась на бревне. Старик тем временем, не раздеваясь и не разуваясь, укладывался на широкой лавке, кряхтел, не забывая время от времени прокомментировать то, что слышалось ему от палисадника:

— Ишь ты... скажи на милость. И не стыдятся!

— А ты, когда был молодой, стыдился? — спрашивал я из-за своей занавески.

— Како там! Бывало, мильен раз поцелуешь. Я ить какой был...

Он не договаривал, а я должен был понимать так, что был старик в молодости своей первым парнем на деревне. С третьими кочетами парочка испарялась, точно утренний туман ее проглатывал. Хозяйка шла доить корову, старик тоже подымался и уходил куда-то. Я продолжал спать до восьми, а иной раз и до девяти часов — благо командор с его строгим графиком находился далско. Иногда меня еще до свету будил главный нарушитель грибачевского «катехизиса» Илья Швец, которому страсть как не хотелось пропускать утреннюю поклевку, всегда щедрую. На миру и смерть красна. Нарушать дисциплину в компании тоже, видать, легче. Редко случалось, чтобы я устоял перед искушением. Крадучись, через двор и затем через зады мы выходили к речке и отдавались тому редкостному блаженству, познать которое способен лишь рыболов, нетерпеливою рукой насаживающий червяка и глаз не спускающий с просыпающейся, курящейся теплым парком реки. Тут каждый миг дорог, ибо он есть поклевка — так, во всяком случае, кажется рыбаку. Мы разматываем удочки, а в груди просыпается знакомый мотив песенки, сочиненной Сергеем Смирновым и композитором Виктором Шориным и находящейся в вопиющем противоречии с графиком:

Не пристало рыбаку
Здесь валяться на боку.
Ближе к удочкам, товарищ,
Все вниманье — поплавку!
Окуни да щуки
Лезут прямо в руки.

Нельзя сказать, чтобы они так уж и лезли прямо в руки. Хорошо, если часа за два выудишь с десятка окуньков, но что стоит рыболову выдать этот десяток за сотню. Не думайте только, что в данном случае он подвержен понапрасну приписываемой ему известной слабости, именуемой враньем, — рыбак никогда не врет. Дело в том, что, назвав дюжину сотней, минутою позже он уже и сам беспредельно верит, что выловил сотню, и несколько не меньше. Такое чудесное превраще-

ние происходит как в отношении количества, так и в отношении размера рыбы. Каждый из нас вооружен индивидуальным карманным безменчиком и, стало быть, хорошо знает, к какой весовой категории следует по справедливости отнести невзрачную щучку. Ан нет же: виновата, оказывается, не щука, потянувшая всего лишь полкило, а виноват безмен: засорился, мерзавец, и бессовестно врет.

К концу нашего пребывания в Усухе направили Илью в Суземку, с тем чтобы он договорился с райкомом о литературном вечере. К тому времени наша бригада пополнилась еще одной творческой единицей: из Москвы приехал приятель Сергея Смирнова композитор Виктор Шорин, который клев любит с такою же неистовостью, что и музыку. Сергей Смирнов и Виктор Шорин оказались гвоздем нашей программы: в их распоряжении были не только стихи, но и песни. И выступили мы их последними. Сергей лихо вышел на середину сцены на костылях, с которыми уже пообвыкся. Еще более похудевший, подпираемый с двух сторон палками, он поначалу мог вызвать лишь жалость к себе. Но стоило ему прочесть одну-две знаменитые свои короткие басенки, как зал восторженно зарукоплескал и захохотал. Басенка же про кота-валерьянца, который «опять сидит под мухой» и пьет валерьянку, пьет и поет «шумел камыш», не замечая, что ему «усы отгрызла мышь», — басенка эта вызвала прямо-таки бурю восторга. Потом шли стихи всякие — грустные и веселые, легкомысленные и серьезные. И все принималось удивительно хорошо. Сергей понравился суземцам. То, что он вышел на сцену с костылями, прибавило к личному его всегда неотразимому обаянию еще нечто героическое. А когда они с Шориным спели про солдатский котелок, мы могли с уверенностью сказать: вечер удался на славу.

Однако я рассказал о заключительной и, несомненно, самой яркой его части. Было же и мое выступление, и Ильи, и Грибачева. Я прозаик и отделался коротким, почти протокольным сообщением: над чем сейчас тружусь, какая судьба занесла меня в эти глухие места. Отвечая на мое выступление, какой-то старик (до сих пор жалею, что не записал его имени) стал довольно толково советовать нам, показав поразительную осведомленность относительно нашего ремесла. В конце

речи своей он вдруг вымолвил слова, от которых я вздрогнул, — так точны, сильны и глубоки они были:

О чем не подумал — про то не расскажешь;
О чем не заплакал — про то не споешь.

За выступления друзей волнуешься так же, как и за свое собственное. Если можно еще более или менее быть спокойным за Грибачева, то за Илью — теперь могу признаться в этом — я тревожился, и немало. В отличие от первого Ильи не приучил себя подолгу корпеть над строкою, копаться в грудe словесной руды «единого слова ради». Какое подвернулось, он тому и рад. В благодарность ли за такую доброту или еще за что, но слова нередко ложились ладно и более чем к месту, а какое и выпирало, то его самоотверженно поддерживало, из чувства солидарности, что ли, слово соседнее, подвернувшееся как нельзя более кстати. Стихи Грибачева были хороши, и читал он хорошо. И все-таки на его долю выпало хлопков столько же, сколько и на долю Швеца. Если бы качество и значительность стихотворения оценивались только по его эстраднему успеху, то Грибачеву следовало бы огорчиться, а Швецу — торжествовать победу: на сцене он неожиданно оказался вровень со своим многоопытным и придирчивым к себе и другим собратом.

В чем же дело?

Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский, оказавшись на эстраде вместе с Александром Твардовским, несомненно, положили бы последнего на обе лопатки, а Борис Ласкин поверг бы в уныние поклонников Леонида Леонова, если б этим двум авторам вздумалось выступать с чтением своих произведений на одном и том же литературном вечере. Что это, неподготовленность аудитории? Бывает, что и так. Чаше же всего объяснить этот парадокс можно лишь законами эстрады. В стихах Ильи Швеца, пускай местами корявых, пускай сырых в большей части строк и строф, — пускай, но в них есть улыбка, в них есть легонький юмор, и, что особенно ценится слушателями, в них есть усмешка в собственный адрес. Известное дело: если ты хочешь расположить к себе публику, посмейся сначала немного над собой. Илья, судя по всему, хорошо знает это.

Теперь приспела пора рассказать об истории, на которую был лишь намек в предыдущей главе. Похожая на сказку, даже на легенду, история эта тем не менее есть сущая правда.

Разнообразия ради порешили мы как-то с Ильей Швецом не идти на рыбалку, а побродить по лесам, с трех сторон надвинувшимся на Усуху. Мы не определяли загодя своего маршрута, а действовали по принципу: куда кривая выведет. Кривая — в данном случае это была узкая, укатанная шиной велосипедного колеса дорожка, — петляя, завела сначала в глубь соснового бора, обдавшего нас теплым запахом смолы и разогретого йода, а двумя часами позже, через поляны и лесные овражки, где избегая на пригорок, где скатываясь с него, — к усадьбе лесника. По пути, сладостно ахая, расстегнувши рубахи, чтобы вольготнее дышалось, мы принимали разные душистые ванны: то хвойную, когда дорожка бежала среди сосен или елей; то настоящую на крепком, молодом еще дубовом листу, когда на пути вставала дубрава; то черемуховую, когда мы сходили в низину и когда нас вместе с внезапным похолоданием окутывало белое пахучее облако;пряно-горьковатую, совсем-совсем горячую, когда стежка-дорожка наша выскакивала на обласканную солнцем полянку, где смешались запахи дягиля, чернобыла, свирельника, зацветающей земляники и чего-то еще такого, что бывает только на поляне.

Но вот все чаще и чаще ко всем прочим запахам стал незаметно примешиваться еще какой-то, неизъяснимо тонкий и нежный, слышимый не столько обонянием, сколько сердцем, ибо оно первым почуяло близкую, скорую встречу с кем-то или чем-то очень желанным. Мы притихли, словно бы боялись спугнуть это еще не видимое глазу, но несомненно милое, несомненно дорогое. Нахсясь во власти ожидания, мы не заметили, что дорожка давно уже и плавно шла под изволок, что навстречу тугим волной надвигалась болотная сырость, неспособная, к счастью, заглушить, погасить, растворить непередаваемо нежного запаха, который теперь становился более вятным и отчетливым. Первая белая головка показалась из-под широкого и островерного жилистого лопушка прямо посреди дороги, вело-

сипедный свежий след, к счастью, пришелся рядом с ним и не сделал ни единого повреждения. Мы, не сговариваясь, наклонились над ландышем — и не сорвали, а, упершись друг в друга лбами, начали долго и пристально рассматривать это земное и вместе с тем как бы уж и неземное чудо. Что дало ему такую вечную и несравненную красу? Запах ли? Изысканная ли форма и белизна колокольчика, похожего на крохотный шлычок, в какой заботливая и опрятная мать кладет головку младенца-первенца? Сочетание ли этих, в сущности, самых простых и самых распространенных цветов — зеленого, светло-зеленого, желтого и белого, которые незаметно, в редчайшем соответствии с гармонией переходят один в другой, — сравнение с радугой также нам не прибавило бы решительно ничего, там эта смена проходит грубее? Длинный ли и упругий стебелек, на котором могли удержаться цветки и потяжелее? Сейчас он держал всего лишь одиннадцать малюсеньких колокольчиков, на радость всему сущему и чувствующему распускающихся не вдруг, не все сразу, а в строгой очередности: сперва самые нижние, потом те, что повыше, потом все выше и выше. Рядом с нежными и хрупким цветком и стебель и лист ландыша кажутся немного чужими, грубовато-жесткими. Но не потому ли они такие, что им поручено защитить нечто очень беззащитное и вместе с тем драгоценное? Не так ли дитя, выйдя на улицу вместе с отцом и матерью, инстинктивно ищет руку отца, хотя в избе больше льнуло к матери?..

Потом ландыша стало попадаться все больше и больше. Теперь мы решились набрать по маленькому букету. Впрочем, «букет» не то слово. Ландыш такой цветок, к которому не хочется присоединять никаких других. Он сам по себе так хорош и так чист, что лучше уж ничего не придумаешь, никакое сочетание красок и запахов не способно дать ничего такого, что могло бы заменить ландыш.

Пошли дальше, разговаривали тихо, не замечая, что нарочно приглушили голос, что стали осторожны в выборе слов, что как бы и сами уж сделались нежнее друг к другу. После Ильи попробовал сочинять стихи про ландыш, но на полпути бросил, поняв, видно, что сам ландыш — это уже стихи, что в самом этом слове — высокая поэзия, что лучше просто сказать «лан-

дыш» и ничегошеньки не прибавлять к этому, ибо если сочетание красок и запахов других цветков не может заменить этого единственного в своем роде цветка, то и сочетание слов не способно заменить этого единственного слова — л а н д ы ш.

Мысли эти могли прийти в голову гораздо позже. Тогда же мы шли и говорили о чем угодно, только не о нем, о ландыше, — так влюбленные не говорят о любви... А ландышево царство осталось позади, мы подымались на гору, где сквозь редкие высокие сосны белела лесникова усадьба. Велосипедный след все чаще выписывал восьмерки, видать, ездки к тому моменту приустал и неровно нажимал на педали.

Перед усадьбой, прямо у накатанной одним лишь велосипедом дорожки, была небольшая ограда, недавно покрашенная, а за оградой — холмик с пирамидкой деревянной, увенчанной почему-то не звездой, а маленьким белым крестиком. В пирамидку врезана рама, под чистым стеклом — портрет юноши, светлоглазого, улыбчивого, с зачесанными набок русыми волосами. Рассматривая могилу, мы не слышали, как к нам подошел человек. Подняли глаза и опешили на какое-то время: перед нами стоял тот, который был изображен на фотографии. Он с удивлением рассматривал пришельцев, но лицо его светилось добродушием и приветливостью. Все еще недоумевая, не избавившись до конца от наваждения, поспешили сообщить парню, кто мы и как оказались в его краях. Теперь он улыбнулся, лицо осветилось еще больше, но тут же погасло, он сказал:

— Отец мой. — И кивнул на оградку.

Мы молчали.

— Пойдемте в избу. Мама квасу достанет из погребицы.

Ближе к дому была еще чья-то могила, но уже без ограды и неухоженная. Заросла крапивой, горькими лопухами, у подножия — дерном.

— А тут троих фрицев закопали, — сказал парень.

Пока пили квас, пока знакомились с хозяевами и хозяйством, пока то да се, подкатились сумерки. Парень заторопился, попрощался, сел на свой велосипед и уехал по дорожке, по которой мы вышли к усадьбе. Засобирались было и мы, но хозяйка — ей на ту пору

было что-то около пятидесяти — уговорила остаться переночевать в ее доме, «а то не ровен час заблудитесь, комары до смерти сожрут, их, окаянных, вон какая пропасть!». Комары и днем нас покусывали, а теперь видно было, как несметное их количество билось у окна, за марлевой занавеской, пытаюсь проникнуть в избу. Посреди двора стояла корова, отчаянно махала хвостом, била ногами, пырляла себя же рогом — то в один выпуклый бок, то в другой. Набухшее вымя ее было лиловым от облепивших и напившихся крови комаров. «Подойти не дадут, придется у сени загнать», — сказала хозяйка с тем русско-украинским говорком, с каким говорят жители южных районов Брянской, Курской и Орловской областей. Пока она доила в сенях и все уговаривала свою Зорьку, чтоб та стояла поспокойнее, мы разглядывали фотографии, развешанные по всем стенам большой, срубленной из толстых ровных бревен избы. Почти на всех можно было увидеть человека, который одновременно был похож и на того, что за оградой, и на того, что только что укатил на велосипеде по заветной дорожке. Была разница в одежде. Отец в нескольких местах изображен в форме красноармейца, в одном — в чине отдельного командира; сын — то в белой майке-безрукавке, то — это уж в последние годы — в пестрой длинной рубашке навывпуск, с расстегнутыми до самого пупка пуговицами, в узких, в трубочку, черных брючках и узконосых черных туфлях: последний крик моды достиг самых глухих мест брянского урочища.

Хозяйка сотворила яичницу с салом, принесла кувшинчик ядреного, бьющего по ноздрям кваску, и мы весело поужинали. Улеглись с Ильей на полу, на высохшей, дивно пахнувшей траве. Спать, однако, не пришлось. Как-то незаметно лесничиха начала, а потом повела и повела горькую и героическую вместе с тем повесть о судьбе малой своей семьи.

Просватали ее за Егор Семеныча, когда этому Егор Семенычу не было и двадцати лет, а ей — восемнадцать. Увез в темные свои леса — ни дорог путных и ни единой человеческой души вокруг. «Куды ни глянь — одни, да и только». Хорошо, что любили «дюже» друг дружку, целовались да миловались «всю-то длинну-предлинную ночушку», а днем все по лесу да лесу, и все вдвоем...

Мы молчим. Полагая, что мы засыпаем, рассказчица несколько раз справлялась, не взял ли нас «угомон, не притомились ли, не зря ли потчует своими бабьими сказками». Мы постарались уверить, что не зря. И тогда она продолжала уже до тех пор, пока не закончила совсем:

— Усе, значить, у лесу да у лесу. И скажи, не тосковала я с Егор Семенычем, не рвалась до хутора, где мать, батька, сестры. Чуть притуманюсь, а вин зараз: «Шо з тобою, голубынька моя?» — «Ничего», — кажу. И опять все так-то хорошо, так-то светло на душе. А тут вот он, Алешка, объявился. Где уж скучать да горевать. Вылитый батька. Егор Семеныч мало не с ума сошел от радости. Да недолго пришлось ему, моему любому, порадоваться на сына своего. Пришли те злыдни, нечистая их принесла до наших краев. У Егор Семеныча — к тому времени он уж отслужил срочную-то, без него три годка я у матери с отцом прожила и, посчитай, ни единого разочка на вулицу не выходила, не мила она мне без Егор Семеныча, — у Егор Семеныча выписанная была бронь, как он лесник хороший. В первый-то месяц не взяли его на войну, а она, проклятая, сама к нам прикатила. Живем в своей избе, вот в этой самой, я-то ничего не знаю, а Егор Семеныч уже с партизанами снюхался. Один из них ночами пробирался к нам, вызывал Егор Семеныча, и о чем-то долго там шушукались. А потим пришли вони — немцы. Трое их було. «Матка, будемо у вас жить», — говорит один по-нашему, по-русскому, а сам черный, как цыган, на немца и непохожий. А те двое были волосатые, рукава засучены по локоть: давай им яйко, давай млеко, и ржут, как жеребцы. На самой высокой сосне наблюдательный пункт устроили — партизанов высматривать. Цельными днями сидят там, как черногузы, и все таращат, таращат зенки в разные стороны. Егор Семеныча не трогали, мужик он был головатый, прикинулся дружкойом этих трех нечистых. Сам, бывало, готовит им обед-ужин, гонит самогон, угощает. Они болтают, а он на ус наматывает. И усе как есть передает тому, какой по ночам ходит и кукушкиным криком выманивает Егор Семеныча в лес. А потом пришла беда. Сидять те черногузы на сосне, глядят в большие очки-бинокли окрест себя. И вдруг, откель ни возьмись, мина, як вона ахнется прямо над самой вер-

шиной сосны, воны и посыпались, як горох. А тем часом — мотоцикл за мотоциклом, понаехало немцев полный двор, горгочат шось. Двое ворвались у хату, схватили Егор Семеныча, поволокли на вулицу, я — за ними с Алешкой. Егор Семеныч крикнул, шоб вернулась до хаты. А потим начали его биты, и вин мовчить. Когда стало неможоту, гукнул, шоб я услышала: «Беги с Лешкою у лес!» Прижала сыночка до сердца, выскочила через другу дверь на зады, побежала вниз, к болоту, в камышах укрылась, сидю, дрожу вся, как лист осиновый, во рту сухо, а вода рыжая, ржавая в болоте. Бачу, ктось иде прямо на мене. Внутрах так и оборвалось все. Конец, думаю. Вот он, наш с тобою, сыночка, смертный час. Хвать — баба какая-то, и тоже с ребеночком грудным. Увидела, кинулась до мене, дрожит вся, плачет без крика и слез. «Бежим в болото, — каже, — а то немец вот-вот приде». Зашли с нею по шейку в воду. Детей держим в пригоршнях над головою, шоб не захлебнулись в той воде и не простудились. Изголодались вони — цельный день просидели мы в болоте, сиську не дашь, в воде вона. Зачали кричать наши детины, затыкаем им рты, да разве заткнешь? Услыхали немцы, начали стрелять из автоматов по камышам. Стреляли до самой ночи, а потом замолчали. Угомонились наши дети, не кричать. Ночью вышли мы из болота, пробрались в Усух...

Лесничиха замолчала. Долго еще молчали и мы. Потом Илья спросил:

— Кто же была та женщина?

— Мать Алешкиной невесты, — сказала лесничиха тихо.

— Невеста?

— Так это он к ней... по вечерам?

— К ней.

Теперь я вспомнил про бревно перед домом Мильена и про парочку на том бревне.

На следующий день рассказали обо всем Грибачеву и Смирнову. А еще через день Сергей прочел нам новое стихотворение, в котором есть такие строчки:

В лиственном и хвойном облаченье
Встали, подпирают небеса
И полны особого значенья —
Явь и сказка —

Брянские леса.

Грибачев писал в те дни:

Куском зари накрыты пашни,
Подсвечен плес, возжжен лесок.
В сгволы над стылостью вчерашней
Восходит сок.

Как будто в первый раз страдаю
На переломах зим и лет
О той девчонке, чей за далью
Размылся след.

И в пору эту
Хочу, чтоб каждому свои
Во весь простор по белу свету
Сегодня пели соловьи,

Чтоб, одолением заключая
Свой к миру путь в огне и мгле,
Ввела любовь хоть миг молчанья
По всей земле.

Но смолкла птица,
И, сбив с черемухи росу,
Ягненка к логову волчица
Несет в лесу.

И дальше где-то,
Где под волной звенит песок,
Стоит, нацелена, ракета,
Сечет зарю наискосок

В тот раз, как, впрочем, и раньше и позже, я удивлялся и таким его стихам и таким рассказам, — удивлялся потому, что уж очень они не вязались ни с внешним, сурово-холодноватым обликом автора, ни с его колючим, бескомпромиссным характером, ни с его педантизмом в делах даже самых пустяковых. Как мог он написать такие, скажем, строчки:

«Она ничего не сказала, выпрямилась, как человек, бросающийся в воду, на одно мгновение всем телом прижалась к нему, затем отстранилась и быстро пошла по тропинке — по той, куда бросала когда-то платочек, — пошла вниз, наискосок, к темневшему вдалеке садику, где, видимо, ждал ее Никита. Алешка коротко всхлипнул, наклонился к обрыву:

— Соня!

Ответа не было. Слышны были торопливые шаги и

шум падающих камешков. И снова прозвучал жалобный оклик Алеши:

— Со-ня!..

Прошла минута, две, может быть, пять. Шаги удалялись, затем стихли. Далеко внизу, на повороте, мелькнуло светлое, как лунный блик, пятно и растаяло, растворилось в сумеречности настороженного сада. Тогда в третий раз прозвучал жалобный, хватающий за душу крик Алеши:

— Со-о-о-оня-я-я!..

Холодное, равнодушное эхо отозвалось в прибрежных лозах на противоположном берегу Десны, потом, чуть потише, еще раз в раковой роще у протоки и уже совсем тихо, как звон пролетевшей пчелы, у самого леса — и смолкло. Полная луна стояла над головой, внизу, по реке и озерам катились еще семьдесят лун, а над всем этим, у мелового обрыва, сидел и плакал Алеша, который ни перед какой угрозой и опасностью никогда не опускал своих серых, как бы вечно о чем-то спрашивающих глаз».

Я знаю, где мог стоять или сидеть автор, когда в сердце его вскипала эта повесть о первой и неразделенной любви. Я и сам подолгу простаивал и просиживал на крутом берегу Десны и с печалью, которой не вдруг найдешь объяснение, глядел и на ту протоку, и на раковую рощу и думал, что я это и есть тот несчастный Алеша. Такова сила образа. Теперь-то я знаю и другое. В иные минуты Грибачев бывает трогательно-нежен. Однако этих-то минут и не знают за ним очень многие люди, которые внешнюю его колючесть и суровость принимают исключительно за признаки его несокрушимо железного характера. Такое впечатление, впрочем, могли подкрепить и некоторые его собственные стихи, вроде этого:

Что, драчлив? Признаю, не споря.
А откуда и быть мне, кстати,
Усыпляющим ветром с поля,
Новомодным пальто на вате?

Не в тепле, как спинку для стула,
А под солнцем, пылавшим шало,
Жизнь ломала меня и гнула,
На семи кострах обжигала.

И влекла не паркетным лоском,
Не покоем белопростынным,

А по ливням русоволосым
И по зимам, до скрипа стылым.

Я работал в лесу и в поле
Так, что тестом ползла рубаха,
Я расписывался после боя
На горячей стене рейхстага,

Я веселым и в тон одетым,
Зная, где и чьи интересы,
На приемы шел к президентам
И к бандитам из «желтой прессы».

Что ж, мне травкой стлаться под ноги,
«Рад стараться!» — бубнить кому-то!
Я как вечный солдат в дороге,
В полной форме встречаю утро.

И, пока душа не остыла,
Не сплыла на покой по мраку,
Ради жизни — на силу сила! —
Поднимаюсь
рывком
в атаку!

Может быть, тут есть немного от бравады, скорее же всего — от желания объясниться начистоту с теми, кому не нравится, кому не по душе этот неуступчивый человек. Но он бывает очень разный, Николай Матвеевич Грибачев.

х

Почему-то считается, что удовольствие рыбака-любителя определяется количеством и качеством выловленной им рыбы. Слов нет, бесклевье действует на нашего брата угнетающе, но в том лишь случае, когда оно сопровождается другими безотрадными компонентами, как-то: не предусмотренным даже грибачевским графиком долгим и холодным дождиком; порывистым и опять же холодным ветром с посвистом в ропшущих и пригибающихся до самой воды талах; свинцово-тяжким, неприветливым поблескиванием студеной волны, на которой одиноко и бесприютно покачивается, ныряя, поплавок, — его то гонит прочь от берега, то прибывает к самым твоим ногам, а ты уж начинаешь чувствовать, что они у тебя мокрые и что вот-вот на твоём пригнупившемся, покрасневшем носу повиснет так же неприютно и одиноко некая капелька; карканьем старой

карги-вороны, которая обязательно прилетит откуда-то и сядет у тебя на виду непременно на каком-нибудь высохшем дереве, ветер будет задирать ее неопрятные перья, ворона будет, вытягивая шею и кланяясь, голосить над тобой, как над покойником. Тут только клев способен еще час-другой удержать рыбака на берегу реки. Но если и клева нету, рыбак с видом несчастнейшего из всех смертных начнет сматывать свои удочки, прежде чем успеет размотать последнюю. Но если денек хорош, если речушка новая, неразведанная еще, если по соседству с тобой дружок хороший, не обремененный к тому же чрезмерной щепетильностью относительно распорядка дня, если, наконец, ты перед выходом на рыбалку успел поработать недурно над рукописью и совесть твоя чиста перед тобою же, бесклеве не сможет лишить тебя доброго расположения духа.

Если бы речь шла только о рыбе, мы б оставались на Севе неопределенно длинное число дней. Сев не обижал нас клевом. И все-таки с каких-то пор мы стали все чаще и все с большей энергией говорить о Неруссе. Раза два выходили к ней, но река была тогда мутной, и об ужении не могло быть и речи. Мы, конечно, пробовали закидывать донки, поскольку течение было сильным, но знали заранее, что это мартышкин труд. Теперь, по нашим расчетам, Нерусса должна была посветлеть: шла первая неделя июня.

Проснулись ранним утром, даже Грибачев не остался дома, двинулся со всеми вместе. По дороге вновь и вновь возвращались к странному имени реки. Нерусса. Что бы могло значить это название? Я однажды обратился с этим вопросом к хозяину и принужден был выслушать длиннейшую повесть, из которой можно заключить только то, что на Неруссе партизовал самый храбрый, самый находчивый и самый исполнительный боец, коим оказался рассказчик. И когда я напомнил старику, что спрашиваю его совсем о другом, он опять же долго не раздумывал.

— Нерусса — известное дело. Нерусь ото всех концов свету сюда приходила. И татарье, и немчура, и все прочие. Их тут миллион перебивало!

Это походило на правду, но мне почему-то хотелось отыскать другой, может быть, более романтический повод для названия реки. «Нерусса — Руса — Нерусса», — бормотал я чуть внятно, шагая след в след, по-

волчьи, за Ильей. «Руса коса до пояса...». Нерусса очень похожа на длинную девичью косу. От самых своих истоков до встречи с Севом она извивается круто, местами свивается в жгуты-водовороты, блеснит, отсвечивает на солнце, но коса эта не русая, воды в реке темным-темны даже при ясном дне, — не отсюда ли Нерусса? Как бы там ни было, но Нерусса уже тем хороша для нас, что была пускай небольшой, но все же загадкой. Мы можем перечислить всех представителей рыбного царства, основавшегося в Севе. Какие рыбы водятся в Неруссе, мы не знали. Спрашивать об этом старика бесполезно, но я все-таки не удержался, спросил:

— Шуки в Неруссе есть?

— Мильен!

— А лещи?

— Мильен!

— А сомы?

— Мильен!

Далее я уже не спрашивал, потому что был уверен: спроси я о китах, последовал бы тот же ответ.

Вышли к реке на восходе солнца. Однако Нерусса показала нам нелюдимой. По берегам ее словно бы прошелся какой-то безжалостный великан косарь, все талы были подрезаны у корня и теперь, желтые, пожухлые, в немыслимом беспорядке лежали у самой воды, делая невозможными подступы к ней. По надрезам нетрудно было определить работу бобров, только неясно было, отчего это такой разумный зверь оказался таким незначительным, — не научился ли он у людей?.. Из-под нависших сухих веток, из холодной тьмы то и дело слышались неправдоподобно шумные всплески. Щука ли, никем не пуганная, откровенно разбойничала там, бобер ли, или сом. Подогретые этими всплесками, мы продирались к воде, с грехом пополам настраивали снасти, но результат был неизменно один и тот же: никакого результата. Нерусса ни за что не хотела открывать своих секретов. С шести утра и до семи вечера мы трудились как старатели, успели дважды и трижды переругаться между собою, я лично поминал не самыми лучшими словами своего Мильена — и это не помогло. Усталые, злые как черти, мы спустились вниз по злой-вредной реке и вышли на Сев. Поймали по несколько рыб и тихо поплыли домой, то есть в Усух. При этом тихо же напевали:

Окуни да шуки лезут прямо в руки,
Не зевай, скорей тащи!
В крашеном ведрке
Бродят красноперки
И хвостами бьют лещи.
Не пристало рыбаку
Здесь валяться на боку.
Ближе к удочкам, товарищ,
Все вниманье — поплавку!

На следующий день покинули хуторок: я, Грибачев,
Смирнов и Шорин уехали в Москву, Илья — в Бежицу.
С Усухом прощались собственным гимном, сочиненным
специально в его честь:

Тут ни звона телефона,
Тут ни стука почтальона,
Тут не нужно заседать —
Эх какая благодать!

...С той поры прошло около пяти лет. Но я знаю, что
когда-нибудь вновь совершу бегство на Усук и вновь
попытаю счастья на Неруссе. Ведь тайна на то и тай-
на, чтобы заманивать к себе людей.

До скорой встречи, Нерусса!

Пока же мы двинемся в другие места. Впереди нас
ждут Волга и Дон. И зовет дорога, та, о которой толь-
ко что написал стихи Грибачев:

Дорога Ну, здравствуй, дорога,
И встречи с вином или без,
И лес, что как лось, черногого
Бредет по разливу небес.

И высветы: луной латуни,
И серой реки плексиглас,
И ворох надежд, и не втуне
Пытливых исканий запас.

Нет, это не чувств наважденье,
А вправду порою такой
Всю землю берешь во владенье
С восторгом ее и тоской,

С мельканьем разлук и свиданий,
Где рядом весна и зима,
Со всей ее мудростью давней
И новой работой ума.

Но, жизнь посадив на колеса,
Ты все-таки ищешь резон —

Куда она рвется
Под все нарастающий звон,

И есть ли на то заверенья,
Что, версты пуская в расход,
Услышишь в минуту прозренья
Призывы безвестных высот.

А то ведь порой и задаром
Изводится странствий азарт,
Кончаясь едой, да загаром,
Да старой дорогой назад...

Всякий раз мы возвращаемся из своего путешествия тоже загоревшими, но сами этого не замечаем, не хвастаемся смуглостью лиц перед бледными москвичами, как это делают присяжные курортники и «дикари» с черноморских берегов. Цель наших странствий иная. И богатство, приобретенное нами, иное.

1965

ОПЯТЬ — ДОРОГА

Маленькое путешествие в страну поэзии

I

Родившийся на Волге, я не видел Волги до восемнадцати примерно лет. Это может показаться странным — как не видел? — если не знать одного весьма примечательного обстоятельства. Дело в том, что ты мог родиться и на самом берегу великой русской реки, и в десяти, и даже в ста километрах от нее, все равно ты скажешь: родился на Волге, подобно тому, как все мы, граждане Советского Союза, оказавшись однажды вдали от «родных пенатов», то есть за рубежом, выдаем себя за москвичей. Нам приятно услышать удивленно-восторженное: «О, Москву!» С оттенком такой же невольной восторженности иностранец воскликнет: «О, Вольга!»

На гигантских просторах России — там и сям, туда и сюда, с севера на юг и с юга на север — течет неисчислимое множество рек, малых и больших, иногда просто великих, таких, скажем, как Енисей и Лена, но почему-то эпитетом «великая» мы награждаем прежде всего Волгу и ей одной присвоили высокое звание «русская река» с неизменным присовокуплением слова

«мать» или — чаще того — «матушка». Не от нее ли, величаво-спокойной в добрую, тихую погоду и вздымающей грозные, под стать океанским, гребни волн в лютую непогоду, взял россиянин основные черты своего характера, всегда малость загадочного и, как все загадочное, немного пугающего и манящего к себе в одно и то же время?

Пускай не в таких уж вот выражениях, но именно это самое я пытался внушить Владимиру Алексеевичу Солоухину, склоняя его к поездке на Саратовщину, а точнее — в село Монастырское, которое убежало и от Саратова и от Волги на добрую сотню верст, в глухие, не по-волжски лесные и болотные места. Я, конечно, не нажимал на то, что оно «убежало», помалкивал также на всякий случай и о том, что речка Баланда, приютившая родимое мое гнездовье, устремляется не к Волге, а к Медведице — к тихому Дону, стало быть. При этом я помнил, что мои земляки зовут себя не иначе как волжане, вкладывая в это слово особый, непременно горделивый, может быть, даже с оттенком легкой заносчивости смысл.

Солоухин к той поре только что опубликовал свои «Владимирские проселки», из которых нетрудно было заключить, что человек этот навсегда заразился одной, чрезвычайно распространенной на Руси болезнью по имени бродяжничество. Со временем он утратит всякий вкус к пешим походам и предпочтет им автомобильные; к записным книжкам и рюкзаку в его «творческой лаборатории» присоединится ГАЗ-69, достаточно быстходный и вызванный к жизни исключительно нашими своенравными проселками, — все это будет, однако вкус к странствиям не покинет его никогда. Недаром говорят: привычка — вторая натура. У иных она развивается настолько, что становится уже не второй, а первой.

В конце двадцатых годов в нашем селе была женщина-нищенка. Жила тем, что ходила по миру. Хороша собой и совсем еще молодая, она в конце концов приглянулась одному богатенькому мужичку, и тот взял ее в жены. И что бы вы думали? При полном достатке в доме, она украдкой от грозного мужа и от детей, которые появились у нее вскорости, уходила в соседние села и побиралась там — просто так, по привычке, или, как бы мы теперь сказали, — от любви к искусству.

Совершивши некогда путешествие по своей Владимирщине, пройдя ее вдоль и поперек, Солоухин захочет непременно побывать и в других краях — на это в первую очередь я и рассчитывал. И расчет оказался точным. Владимир Алексеевич согласился.

Начались сборы, о которых, к сожалению, не скажешь, что они «были недолги». То ему что-то помешает, то — мне, то обоим вместе — и отъезд откладывался. Тогда у Солоухина еще не было своей машины, а ехать поездом или лететь на самолете не хотелось. Теперь по обеим сторонам почти всех железных дорог тянутся посадки — они, может быть, очень нужны железнодорожникам: задерживают снег зимнею порой, укрепляют насыпи, отбрасывают тень в знойный денек и прочее, но пассажиру, кроме огорчения, эти милые деревца ничего не приносят: они закрывают весь белый свет, не дают полюбоваться незнакомыми местами, увидеть села и деревни: крестьянские избы с приветливо улыбающимися окошками, плетни с горланившими во всю мочь петухами, теленка на лужайке против дома, старух, тихо сидевших на лавочке у калитки, кувыркающихся мальчишек, собачонку, вцепившуюся в штанину и с приторно-грозым рычанием треплющую эту штанину, и женщин у колодца с поднятыми на коромыслах полными ведрами, тех, что давно уже должны были бы разойтись по домам, где их ждут с этими самыми ведрами, но они никак не могут разойтись, ибо это уже выше их сил, — так вот и стоят, так вот и судачат, пока не иссякнет окончательно запас нехитрых сельских новостей.

Как объяснить заботливым железнодорожным лесоводам, что все это я должен видеть из окна моего вагона, что без этого от моего путешествия остается один какой-то голый, обнаженный смысл: поскорее добратся от города М до города С — и все, а для меня этого мало: я должен все время глядеть в окно и непременно видеть, видеть, видеть!

Короче говоря, нам до зарезу нужна была машина. Ее можно было бы взять на службе — работали мы тогда в «Литературной газете», — но для этого надобно было склонить как-то на свою сторону директора издательства Василия Семеновича Медведева, человека далеко не уступчивого. Проведена была, как бы сказали дипломаты, серия встреч и переговоров, которые долго

не давали положительного результата. Все наши доводы наталкивались на серьезные экономические соображения, каковые в конечном счете оказываются всегда самыми вескими. Сокрушены мы были лимитом. Он, по словам Василия Семеновича, был исчерпан по всем статьям: и по бензину, и по маслу, и по резине, и по километражу. Чтобы, очевидно, единым разом покончить с этим делом и показать, сколь безумен и легкомыслен наш план, Медведев сообщил, что скоро вообще придется не выпускать машины из гаража, если мы не хотим, чтобы директивные органы — он поднажал на слово «директивные» — не отняли их у нас совсем.

И тут я решился сделать свою последнюю ставку. По иерархическому статуту, существовавшему в «Литературной газете», я имел право вызова машины по разным служебным поездкам в пределах города Москвы и в радиусе тридцати километров за его пределами. И я дал заверение, причем в самой клятвенной, самой торжественной форме, что на целый год отказываюсь от услуг нашего гаража, буде мне разрешена девятидневная поездка в Саратовскую область.

По инерции Василий Семенович отверг было и это предложение, но в глазах его что-то мелькнуло, зажглись какие-то огоньки, он что-то соображал, прикидывал в уме. Прикидка, видать, пришлась к его выгоде: нам было разрешено взять «Победу».

Главное препятствие перед задуманным путешествием таким образом было снято. Оставалось еще одно — последнее: водителем нашей «Победы» должен быть только Иван Федотович Кравченко — и никто другой. Во-первых, потому, что в самом начале он участвовал в разработке замысла; во-вторых же, — и это основное, — Иван — заядлейший рыболов и охотник, следовательно, будет возить нас не по необходимости, а как равный, деля все радости и невзгоды, — последних на долю путешественников всегда приходится больше. К тому ж был он водитель первого класса, фронтовик, по самые ноздри хлебнувший шоферского лиха и вообще обладающий как хозяйственной хваткой, так и сметкой. Еще прежде мы слышали из его уст две истории, которые не могли не расположить нас к этому человеку.

Лет двенадцать или тринадцать тому назад в Под-

московных хозяйствах была объявлена очередная кампания — поход на ворон, расплодившихся к тому времени во множестве. Какой-то экономист-статистик несколько дней и ночей простучал костяшками и подсчитал, что наибольший урон колхозно-совхозному птицеводству наносят вороны, ибо похищают цыплят и утят в количествах прямо-таки кемыслимых. Это урон, так сказать, экономический. Но есть и другой — моральный, который также, надо думать, был принят во внимание. Своим хриплым карканьем мрачные вещуньи способны надолго испортить настроение самому веселому гражданину. Отсюда вывод: истребить воронье поголовье начисто. Мобилизовали пионеров. Однако, вооруженные по большей части рогатками и пугачами, мальчишки не смогли справиться с заданием. Пришлось обратиться к охотникам, посулив им незначительное материальное вознаграждение. Живший тогда в пригороде Москвы в собственном доме Иван Кравченко одним из первых откликнулся на призыв. Сделать это ему было нетрудно, поскольку истреблением ворон он занимался задолго до объявленной кампании. За одну осень и за первую половину зимы Иван успевал выкормить двух восьмипудовых кабанов. И позднее, когда на его дворе нагрянули дружинники, подосланные солидной московской газетой, чтобы уличить Ивана в «варварском скормлении» хлебных кирпичей и батонов «личному скоту», дружинникам этим пришлось уйти не солоно хлебавши: ни единого кирпичика, ни единого батона в хлевах и прочих местах обнаружено не было, зато на задах и возле хлевов было много вороньих перьев, но на них никто не обратил внимания. Не знали бдительные товарищи, что кабанчиков своих Иван Федотович откармливал вороньим мясом. Причем не только мясом в чистом, натуральном, так сказать, виде, но чаще всего приготавливал в специальном котле, вытасенном некогда из каменки старой бани, вороний бульон, до которого свиньи были большими охотницами. И все-таки кабанчиков приказано было прирезать и впредь не заводить. Вороны могли теперь вздохнуть спокойно, чего нельзя было сказать о домашней хозяйке, выходящей поутру на городской рынок.

Это первая история, каковую поведал нам, и не без грустной усмешки, Иван Кравченко. Вторая оказалась не такой безобидной. Родом с Украины, Иван Фе-

дотович изредка проводил свой отпуск у матери в родных краях, в селе. Рыбаку там было не шибко хорошо: поблизости не протекало ни одной сколь-нибудь стоящей речушки. Между тем очень хотелось выйти на зорьке к берегу и закинуть удочку. Кто-то посоветовал ему попытаться рыбацкого счастья в колхозном пруду, там-де нагуливается зеркальный карп; подсказали и наживку — обыкновенный хлебный мякиш. И вот Иван угнезвился у самой плотины, под старой, обшарпанной ракистой, по древности изогнувшейся в три погибели, так что редкие ее косы-ветви купались в мутноватой воде. Клева не было. Терпение рыбака истощалось. Он собирался сматываться, когда что-то там внизу приключилось. Воткнутое одним концом в берег удилище испуганно задрыгало и, точно селезень, принялось нырять в воду другим, дальним, своим концом. Поплавка же и вовсе не было видно. Иван, разумеется, дернул что было мочи, удилище хрястнуло, но рыбак успел-таки ухватить за леску, оказавшуюся, к счастью, миллиметровой. Ясно, что подцелилась рыбина небывало великих размеров. Через полчаса она была на берегу — карп весом килограммов на десять. Весьма приметный карп — у него почему-то не оказалось одного глаза.

— Ели мы его с матерью целую неделю, — повествовал Иван. — А потом председатель колхоза решил выловить карпов на продажу. Выпустил из пруда почти всю воду. Гляжу: чем-то встревожены мои рыболовы. Один вдруг спрашивает: «Де ж одноглазый производитель? Давайте, хлопцы, добре пошукаемо!» Не знаю, долго ли они там шукалы, только я потихоньку утек от пруда. Доси, мабуть, шукають того одноглазого...

Иные, может быть, и не поверили бы Ивану — сказки, мол, рассказывает. Мы поверили: кто-кто, а мы-то знаем отлично, что рыбак никогда не врет. Впрочем, об этом будет еще сказано впереди.

Теперь же нужно отвоевать Ивана Кравченко для нашей поездки. Сделать это было опять же нелегко: Василий Семенович Медведев предпочитал оставлять опытного водителя при собственной персоне. Мы повесили уже носы, когда Кравченко сам вызвался уладить дело. Его переговоры с директором остались для нас тайной, да это и не так важно. Главное — Кравченко едет с нами, и день отъезда окончательно определен.

Мне бы в самом начале следовало назвать год, когда все это затевалось. 1958-й. Месяц — июнь. Самый что ни на есть распрекрасный для рыбака месяц. Это не может оспорить даже М. Семенов, блестяще доказавший совсем недавно, что о достоинствах и недостатках четырех времен года вернее всего судить по рыбному клеву. Клеует — значит, лучшего времени и желать нечего. Холод там, жарыща, слякоть, метель, дождь, грязь непролазная, снежные сугробы — какое это все может иметь значение?! Не клеует — значит, худо, брат. И тут ни ясное солнышко, ни благоухание цветов, ни веселый нрав соседа-удильщика — тут ничто не поможет. Стало быть, все определяется клевом и бесклевьем.

Не совсем понятно только, почему рыбачок редко утрачивает доброе расположение духа. Непонятно — потому, что клев и бесклевье — практика неоспоримо доказала это — соотносятся друг к другу как единица к десяти. На клев выпадает один лишь шанс против десяти — и то по самым оптимальным подсчетам. Думается, всегдашняя уверенность тут поддерживается известным обманом, перед сладкими чарами которого не может, да и не хочет устоять ни один рыбак. Суть в следующем: ты выходишь на реку, о которой вчера еще слышался бог знает чего, из которой, по всем данным, ты должен вытаскивать одного — «полукилограммового»! — окуня за другим; но вот сидишь час, другой — и хоть бы одна поклевка. Тот, кто тебя заманил на эту реку, начинает вздыхать и охать, ругаться, удивляться — ведь еще вчера он тут прямо-таки обловился! — потом, как бы поняв наконец, в чем тут дело, объявит для твоего и своего утешения: ветер-то северный, черт его побери, чего же мы хотим, худшего ветра для рыбалки и придумать нельзя, рыба не выносит северного ветра, она — не дура, любит клевать, когда южный или западный, от восточного тоже толку мало. И тебе вроде бы легче от такого нерадостного открытия, потому как у тебя остается возможность прийти на злополучную речушку во второй раз, тогда, когда будет южный или, на худой конец, западный ветерок. Когда же и при западном вас постигнет неудача, напарник-философ и ей найдет правильное объяс-

нение: месяц, видите ли, на ущербе, а мы, болваны, не догадались накануне, ночью, выйти на улицу и глянуть на небо.

Чтобы не допускать таких промахов, Иван Стаднюк раздобыл фундаментальный труд какого-то западного рыбацкого теоретика, составившего нечто вроде таблицы Менделеева, только в каждой клетке периодической таблицы у него значились не химические элементы, а указание на то, будет в такой-то день года клев или не будет клева. Из трехсот шестидесяти дней примерно половина — с положительной отметкой. Гениальность такого открытия подчеркивалась тем обстоятельством, что оно, открытие, носило глобальный характер — им мог руководствоваться рыбак юга и севера, востока и запада, удильщик Печоры и Нила, Лены и Амазонки. Разность климатических условий, как заверял меня Стаднюк, не может изменить закона, которому безраздельно подчиняются рыбы всех рек, всех морей и океанов. Открыв этот закон, автор мудрой книги и составил свою непререкаемую таблицу. Поскольку труд этот отпечатан и снабжен солидным предисловием и стоил невероятно дорого, мы не могли сомневаться в праведности основных его теоретических посылок и практических указаний. Приняли не столько к сведению, сколько к руководству. С тех пор не было случая, чтобы, отправляясь на рыбалку, мы не заглянули предварительно в «труд». Все свои удачи неизменно приписывали таблице, неудачи — простой случайности либо дымящему неподалеку от реки какому-нибудь заводишке, кой — надо полагать — потравил всю рыбу...

В канун отъезда Солоухин ночевал у меня. Отъезд был назначен на пять утра, не хотелось терять ни одной минуты на сборы. Спутник мой заснул быстро. Приказал себе заснуть и заснул. Так бывает у спокойных, уверенных в себе людей. Володя спал любо-дорого. Мне же не спалось. И не потому, что я очень уж нервный человек. Просто совесть моя не могла быть вполне спокойной. Боясь, как бы мой друг не передумал в последнюю минуту, я все в более ярких и щедрых красках рисовал для него саратовские наши края, и, конечно же, пересолил. Во-первых, я заверил — не столько, правда, Солоухина, сколько Медведева и шофера Кравченко, — что до самого моего дома, то есть всю тысячу километров, мы будем катить по асфальту;

во-вторых, — и это уже больше для Солоухина — я расписал свою речку Баланду так, что рыба из нее разве что не выпрыгивает сама на берег, — так-то много ее там. По совести же, добрая половина пути — это наши российские проселки со всеми вытекающими из этого названия последствиями; что же до рыбных запасов Баланды, то нельзя сказать, чтобы они были очень уж богатыми. Они были действительно богатыми, но это было давно, когда арендатор Кауфман построил мельницу и с помощью плотины высоко поднял уровень воды, — тогда в реке объявились и сом, и лещ, и сазан, и даже судак. В тридцатом мельницу порушили, плотину снесло внешними водами. С годами русло реки заросло талыми и осокой, омута затянуло тиной, возникший во время Отечественной войны завод изгнал начисто из Баланды и судака, и леща, и сазана, — остались только щука да окунь, в омутах можно увидеть голавля. И все. Но и об этом я не решился сказать моим спутникам. И это теперь меня немного смущало.

Ночь между тем близилась к рассвету — очень раннему в июне. Пора подыматься. Возле дома, на тихой еще и пустынной Смоленской набережной, уже стояла «Победа». Ее водитель нетерпеливо прохаживался по тротуару, то и дело подымая голову и взглядывая в наше окно. Увидев в нем свет, Кравченко вновь вернулся к машине, обошел — в какой уж раз! — вокруг нее, пнул раз-другой носком сапога в тугие скаты, зачем-то поднял капот, потрогал что-то в моторе, громко захлопнул и опять глянул в окно — лампа погасла. Мы, навьюченные поклажей, спускались вниз.

Итак, путешествие началось. Выбравшись из Москвы — ранним утром это нетрудно, — мы взяли курс на Рязань, оттуда повернем на Козьмодемьянск, на Пензу, на Саратов, на монастырск. Скоро, где-то между Рязанью и Козьмодемьянском, Володе Солоухину вспомнятся есенинские строки:

Затерялась Русь
В Мордве и Чуде...

Пока же он продолжал заниматься тем, чем занимался ночью, то есть спал. Забегая вперед, скажу, занятие это, видать, понравилось Солоухину очень, потому что он отдавался ему почти всю дорогу. Пока это

было на рязанской, мордовской, пензенской земле, я терпел: пускай дрыхнет, черт с ним. Когда же собрат мой вознамерился продолжать в том же духе и на земле саратовской, не выдержал, взбунтовался: это было уж слишком! Я его везу в родные места, а ему, выходит, наплевать на них. Разбудил, растолкал, изругал и заставил любоваться.

А до этого, где-то в полдень, у нас случился неожиданный праздник. На взгорье, покрытом пахучей степной травкой, мы расположились пообедать. Внизу, в полукилометре, протекала Цна — довольно широкая река. Отсюда, с бугра, было хорошо видно, как она изгибается по большим лугам — сначала мы видели ее всю, от берега до берега, потом — по сизовой дымке, которая вилась над нею, повторяя убегающий капризный ее след. Было странно, что парок этот не рассеивался и среди дня — похоже, там, в глубокой зеленой долине, очень долго держалась рожденная росной ночью прокладка.

Солоухин, залюбовавшийся рекой, вдруг вспомнил что-то, просиял весь, белесые ресницы его сладко сомкнулись, улыбнулся он во весь свой великолепный рот и объявил:

— А ведь у меня сегодня день рождения.

— Так чего ж ты не отпраздновал его дома? Могли бы задержаться на один-то день.

— А я забыл про него.

По такому делу пришлось обед наш малость взбодрить, приукрасить и запасами из рюкзаков, и речами.

Затерялась Русь
В Мордве и Чуде...

Нет, все-таки здорово, что мы в пути, что хоть на короткое время — птицы вольные. Не будет летучек, не будет притворной драки отделов за место в газете, не будет вечных напоминаний газетных старожилов о том, что в какие-то их, счастливые, времена газета была интересней, была объективней, была читабельней, была интеллектуальней, была... словом, была куда лучше, чем при тебе. В ответ на «затерялась Русь» я столь же меланхолически и в лад Солоухину бормотал:

Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель тихую трудов и чистых нег.

Да, в ту пору я действительно замышлял о побеге. Для начала выхлопотал трехмесячный отпуск, в который надеялся начать новый роман, совершенно не похожий на прежние мои книги. Кто-то мне сказал, приписывая эти слова Шолохову, что ребята, прошедшие войну и сочинившие о войне две-три вещи, так и не смогут вырваться к другим темам, поднять другие пласты жизни. Если б не было помянуто имени Шолохова, то едва ли такие слова могли произвести на меня какое-нибудь действие. Но тогда я не на шутку встревожился: а вдруг это правда? Я ведь и сам чувствовал, как крепко война вошла в каждый нерв людям моего поколения, как цепко держит она нашего брата-фронтовика. Может быть, так будет до самой могилы, до конца дней наших?.. Теперь мы могли либо опровергнуть такие выводы, либо — своей неудачей — подтвердить их. Короче говоря, я готовил себя к работе над книгой сугубо невоенной. Еще не было написано ни сдиной строки для нового романа, но имя у него уже было — «Вишневый омут», — и я понимал, что название книги не будет изменено.

Давно, усталый раб, замыслил я побег..

Солоухин вновь уже подремывал на заднем сиденье, Иван вертел баранку, а я, хоть и сидел рядом с Кравченко, был же очень далеко от него в ту минуту.

III

Особенных приключений в дороге не было, если не считать одного небольшого эпизода в Пензе, где мы решили дожидаться следующего дня. Гостиничные номера раздобыли неожиданно быстро: помогли корреспондентские удостоверения. С устройством машины оказалось куда сложнее. Гаража при гостинице, конечно, не было. Пришлось просить у администрации разрешения, чтобы поставить «Победу» во дворе, а сторожа — приглядывать за ней. Последний поначалу наотрез отказался, замотал головой, замахал руками, заахал и заохал. «Вы что же, хотите, чтобы я из-за вас в тюрьму сел?» — спросил патетически и, видя, что мы этого вовсе не хотим и решительно не понимаем, зачем же ему из-за нас садиться в кутузку, пустился в пространные

объяснения. Говорил долго и невнятно, то возвышая голос, то приглушая его до трагического шепота, при этом то и дело озираясь, точно боясь, что его могут подслушать. Из его междометий мы поняли одно: Пенза прямо-таки наводнена ворами, по большей части промышлявшими чужими автомобилями: не успеешь и глазом моргнуть, как — оп! и готова! — и нету твоей машины. Так что...

Так что нам стало совершенно ясно: минимум три червонца должны будут немедленно переключать из наших кошельков в карман гостиничного стража, дабы он рискнул взять на себя великую ответственность по охране наших колес. Получив задаток, он не вдруг упрятал кредитки, какое-то время раздумывал и, только поняв по просительному выражению наших лиц и заискивающе устремленных на него глаз, что мы не поскупимся при окончательной расплате с ним, вздохнул глубоко для порядку, погрузил не спеша деньги в карман, молвил: «Что с вами поделаешь? Погляжу, хоть могу и беды накликать на свою дурную голову. Но ничего, спите спокойно. Бог милостив».

Спать спокойно мы не могли. Уже часа через два Иван Кравченко отправился проведать «Победу». Нашел он ее там, где поставил с вечера. А вот сторожа обнаружил не сразу. Заглянул во все углы прежде, чем наткнулся на него в высоченной траве, у старой кирпичной стены. Выдал он себя своим молодецким храпом. Возле лежала опорожненная пол-литровая посуда, бесстыдно нагая в скупых лучах ущербного месяца.

Будить сторожа не было никакого смысла. Тревожиться за машину — также. Иван вернулся, рассказал нам об увиденном, после чего мы тотчас же заснули. Разбудил нас сторож, вбежал, растолкал и, выкатывая глаза, сообщил:

— Трижды лезли, сволочи!.. Пришлось пульнуть в воздух из двустовки, хорошо, что оказалась под рукой, а то бы!.. Один все-таки запустил в меня камнем, едва увернулся — а то бы крышка!

Мы молча выслушали, молча оделись, молча сошли вниз, выбрались по узкой и старой, пахнувшей плесенью лестнице во двор, молча погрузились в свою «Победу», даже не подозревавшую, какую битву пришлось выиграть гостиничному сторожу во спасение ее, молча помахали такому же молчаливому и, кажется, что-то по-

нявшему хитрющему мужичку и торжественно выкатились на улицу. И только там, переглянувшись, впервые расхохотались. Пенза, не зная, какую хулу возвел на нее один из ее жителей, провожала нас веселым и приветливым поблескиванием окон, в которые уже ударили первые лучи восходящего солнышка.

От выглянувшего ли солнца, оттого ли, что мы снова в пути и, стало быть, все ближе к цели, — не знаю отчего, но экипаж «Победы» вдруг снова обрел самое доброе расположение духа. Теперь Солоухин не спал. С заднего сиденья, где он примостился среди рюкзаков и чемоданов, до нас долетало соблазнительное потрескивание. Володя истреблял воблу. Он не жалел ее. Да и что ее жалеть, коль на Волге такой невзрачной сухой рыбешкой пруд пруди. Может быть, перед его взором до сих пор стоит картина, нарисованная мною в ту пору, когда нужно было во что бы то ни стало уговорить товарища, склонить его на это путешествие. Представьте себе товарную станцию в Саратове. Перед длинным составом красных «телячьих» вагонов, по эту и ту стороны, тянутся две гряды крапивных мешков, до отказа набитых воблой. Многие мешки порваны, и прохожий может брать из них рыбу, обстукивать ее об каблук сапога, шелушить и лакомиться. Ешь сколько твоей душе угодно, только не захвати по нечаянности мешок, — никто тебе и слова не скажет. Железнодорожная администрация и милиция смотрят на это сквозь пальцы: ну возьмут десяток, сотню вобл — велика ль потеря, когда тут высятся терриконы, да и цена-то ей копейка, астраханской воблешке. Не очень-то доверчивый по натуре, Володя тем не менее не скрывал от меня радостного удивления. В уме, про себя, он мог убрать кое-какие краски с моего фламандского полотна, но не поверить совершенно было бы выше его сил: для многих москвичей Волга и теперь еще нередко ассоциируется с воблой, ставшей с неких пор деликатесом, успешно соперничающим с красной икрой. К тому же нарисованная мною картина — не вымысел, а сущая правда. Только наблюдать ее можно было не в 1958-м, а в году этак 1927-м. Но об этой незначительной детали я не сообщил моему другу. И это была с моей стороны явная оплошность, за которую теперь расплачивался весь экипаж: вобла, с величайшим трудом купленная в московском магазине, могла скоро исчезнуть из наших до-

рожных запасов. С величайшим трудом — не преувеличение. Москвичи знают, что в году вобла появляется один лишь раз, продают ее со двора, с черного хода магазина, дабы упрятать в этих дворах жаждущих обладать такой драгоценностью, — а таковых оказывается великое множество, способное организовать вавилонское столпотворение. И если не получается вселенской свалки, то, верно, уж потому, что далеко не каждый житель столицы помнит про этот новейший юрьев день, когда «выбрасывается» вобла.

Несколькими днями позже, когда станет ясно, что мои саратовские «терриконы из крапивных мешков с воблою» есть не что иное, как свет давно померкшей звезды, один из нас меланхолически скажет:

— Я еще не знаю, что лучше: жить во дворцах с электрическим светом, но без рыбы, или — в пещерах, но с рыбой.

Очевидный намек на то, что вырастающие одна за другой на Волге и других реках гидросооружения роковым образом сопровождаются полным или почти полным исчезновением рыбных запасов.

Пришли, однако, к общему заключению:

— Лучше жить во дворцах и с электричеством, и с рыбой. Для этого нужно только, чтобы хозяйственные люди наши помнили: азарт вреден даже в картежной игре, в делах государственных он просто пагубен. И все.

Но слова эти еще не были сказаны, пока что подымаемся на гору, за которой — один я знаю об этом — кончается асфальт и начинается булыжная мостовая — до Петровска, а от Петровска до Саратова, от Саратова до Баланды и Монастырска не будет и булыжника — пойдет грейдер, размытый и разбитый в пору благодатных майских и июньских дождей, суливших обильный урожай на земле Поволжья, но ничего хорошего — нашей «Победе» на оставшемся отрезке пути. Спутники мои, однако, покамест пребывают в счастливом неведении и, стало быть, в отличном расположении духа. Солюхину вобла вскорости надоела, и он вновь стал подремывать. Иван Федотович Кравченко занялся вычислением, за сколько часов мы преодолеем оставшуюся часть нашего пути. Он и мне предложил: «Давайте посчитаем». Я промолчал, ибо вспомнил, что эту именно фразу теперь можно часто слышать на селе — и не

только от колхозного бухгалтера или счетовода. Ее сейчас произносят все — от рядового колхозника до председателя артели, кроме разве тех немногих, кому эта фраза явно не по душе. Впервые я услышал ее в пятьдесят седьмом году от райкомовского шофера Андрея Васильевича, когда после долгого перерыва вновь подъезжал к родным краям.

Есть, пожалуй, смысл, пока булыжная мостовая не разбудила автора «Владимирских проселков» и пока Иван Федотович занят своей бухгалтерией, вспомнить про тот прошлогодний приезд.

IV

ГАЗ-69 торопко катился по совсем не прямой дороге — леса, перелески да многочисленные озера в здешних местах мешали ему бежать прямо. Вот сейчас должна показаться Ново-Ивановка — первое селение на нашем пути из районного центра. Всматриваюсь в знакомые с детства очертания села, в ее «главную» улицу, по которой когда-то приходилось частенько хаживать. Ну, так и есть: домики все те же — немудрящие, с небольшими окнами, крыши соломенные, но почти все новые, словно бы покрыты в один день. Что же это за столбы? Раньше их не было...

— Свою электростанцию построили, — как бы догадавшись о моих мыслях, сообщает Андрей Васильевич. — Года три тому назад. И, знаете, люди сразу свет увидели!..

Он говорит еще что-то, а в моих ушах застряли вот эти два слова — свет увидели! У Андрея Васильевича это прозвучало в буквальном и переносном смысле. Известно, что, когда больной человек почувствует вдруг резкое облегчение, он говорит: «Свет увидел!»

Итак, в 57-м Ново-Ивановка увидела свет, та самая Ново-Ивановка, которая, помнится, для соседних селений была притчей во языцех как безнадежно убогая...

— А почему она встала на ноги? — продолжает Андрей Васильевич, и в прищурах его быстрых с очевидной хитрецей глаз скрыты хозяйская расчетливость, сметка. — Вот давайте с вами посчитаем. Колхозом руководил один и тот же председатель. Людей он знал — дай бог каждому так знать! И они его тоже. И дело

шло. Появилась прибыль, построили хорошие конюшни, можно даже сказать — образцовые конюшни. Рысаков орловской породы стали разводить. Машин в ту пору было еще мало. Спрос на рысаков был большой. Ну, и потекли рубли. А председатель мужик прижимистый, умел считать и беречь деньги. Зря не разбрасывался. Завели в колхозе свиноферму, молочную, овцеводческую, опять же птицеферму. Глядим — дело у них пошло на лад. Построили электростанцию: тепло, светло, и радио играет «во всю Ивановскую», — сострил шофер и захохотал, довольный. Насмеявшись, закончил с грустинкой в голосе: — Колхозники души не чаяли в своем председателе, а вот району он пришелся не по нутру. В чем дело, спрашиваете? А очень даже все просто: не хотел брать в МТС лишние тракторы и автомашины, за них потом натурой, то есть хлебом, надо было расплачиваться, так что эта милая техника забирала хлебушко под метелку. Ивановский председатель отказывался от нее, управлялся своей тягловой силой, то есть лошадьми, — у него их, как я уж говорил вам, было много. А вот теперь ушел на пенсию. Сказали, что состарился, пора, мол, на покой...

Пока Андрей Васильевич говорил, машина въехала в Салтыково — селение с беспорядочно разбросанными по-над речкой Баландой домиками. В глаза сразу же бросились новые постройки — большая школа (давно мечтали о ней жители этого села!), гараж на семь-восемь машин, фермы. Все эти строения покрыты светлым шифером. Еще два года тому назад ничего этого не было.

— Это Михаил Максимович Семин, тридцатитысячник, память о себе оставил...

— А что с ним случилось? — спросил я.

— Ничего страшного. Опять к себе в Саратов... Год проработал тут и подался.

— Отчего же?

Андрей Васильевич долго молчит, вздыхает:

— Не знаю точно. По болезни, говорят, перевели...

По голосу шофера, а еще больше по выражению его умных, с лукавинкой глаз догадываюсь, что он и сам не очень-то верит в свои слова...

Помолчав, добавляет:

— Как будто воздух у нас хуже, чем в Саратове...

Дубовый лес, вплотную подступивший к селу Мона-

стырское, отделен от него неглубоким оврагом, по которому устремляются к реке горные потоки в половодье или при обильных дождях. В лес можно попасть по трем дорогам, или, как их тут называют, переездам. Дальний, Средний и Ближний переезды — это как раз те стежки-дорожки, по которым бегали босые ребячьи ножонки, усыпанные цыпками, в неповторимую пору детства. И вот эти дороги опять промелькнули перед глазами: машина на полном ходу влетела в Монастырское.

«Угол отчий, мир мой прежний», что же ты подкачал? Отчего числишься ты отсталым вот уже много-много лет подряд? Со стесненным дыханием оглядываю селение. Ага, и тут видны приметы времени: вон, вдали, там, где когда-то были гумна крестьян-единоличников, четко вырисовываясь на синем горизонте, высятся новые фермы — три года тому назад здесь был пустырь. А в центре села виднеется большой и тоже новый гараж, рядом с ним — плотничья мастерская, там же, на месте кулацкой «дранки» — просорушки, хлопотливо стучит движок, работает своя мельница — не ахти какая, но все же своя. А повыше, на взгорье, где начинаются колхозные поля, вытянулось новое зернохранилище (пятью годами позже, при загадочных обстоятельствах — шло разукрупнение колхоза — оно сгорит начисто и принесет артели десять тысяч чистого убытку). Мимо нас, лениво обходя остановившуюся машину, бредет на водопой стадо колхозных коров. И это тоже радует глаз. И все-таки отстающий... Почему?

Хочется спросить об этом односельчан, вышедших из правления колхоза, из сельсовета. Но не годится так вот сразу об этом. Лучше потом. Сначала надо оглядеться, подумать. Не выдержал, однако, спросил, едва вошел в первую же избу:

— Кто у вас сейчас председателем? Слышал, что новенький.

— Виктор Иванович Лазарев. Двадцать девятый по счету. Парень неплохой, землю знает, старается, но ведь двадцать девятый!

И как бы боясь, что я не пойму, зачем они так старательно подчеркивают эту цифру, поясняют:

— Ежели у семи нянек дитя осталось без глаз, то у двадцати девяти оно может и без ног остаться, полным калекой, инвалидом... Давайте-ка посчитаем! Два-

дцать девять хозяев — и всяк норовит на свой аршин мерить, свою, значит, линию вести. И получалось: линий много, а порядку нету... Забывали о главной линии — чтоб человек за свой труд получал, что ему полагается. Дело дошло до того, что колхозники перестали было считать в своем хозяйстве — сколько стоит то, сколько другое. Считай не считай, все едино твой трудень равен нулю...

— А сейчас считают?

— Стали считать.

И мне рассказали об одном общем колхозном собрании, которое проходило зимой.

Это было необычное собрание. Оно длилось, вопреки ожиданиям его организаторов, три дня, а точнее — три дня и три ночи напролет и, кажется, так и не завершило своей работы. Люди показали удивительные познания в арифметике, их не мог бы сбить с толку ни один грамотей-бухгалтер, если б в его умную головушку пришла такая недобрая мысль. Собрание было шумным, может быть, слишком шумным, но это грех небольшой. Главное, колхозники разговорились. Подали свой голос даже те, что годами молчали, равнодушно взирая на артельные дела.

Предварительные наметки об оплате труда подготовила специальная комиссия во главе с председателем Лазаревым. В ее составе были бухгалтер Карпухин и два его помощника — Гришин и Иванов (позже эти двое послужили для меня прототипами Егора Грушина и Ивана Михайлова из повести «Хлеб — имя существительное»); а также секретарь партийной организации и он же бригадир первой полеводческой бригады Горохов. Когда-то было так: комиссия объявляет свои наметки, члены артели проголосуют, — и конец делу. Сейчас же все пошло иначе. Около часу продолжался яростный спор, какую оплату установить заместителю председателя колхоза. По два раза выступили председатель, бухгалтер, его помощники, убеждая колхозников в том, что мы-де понизим оплату заместителю, он откажется работать.

Члены артели были, однако, непреклонны. Отовсюду слышалось:

— Хватит нам разбазаривать трудодни!

— Они денег стоят!

— А денежки любят счет!

Собрание «урезало» «ставки» и остальным членам правленческого аппарата. Люди не спешили домой, не делали перерыва, сидели, окутанные плотной завесой махорочного дыма, сидели до вторых петухов — они считали, считали терпеливо и вдумчиво, как и положено хозяевам считать свое добро. В 56-м они получили на трудодень полтора килограмма хлеба и полтора рубля. Это, разумеется, немного. Но в каждом доме вам скажут:

— Без хлеба никто не сидит. Деньжонок, правда, маловато.

Деньжонок маловато... А ведь могли бы быть и деньжонки, если бы в колхозе научились хорошенько считать их, копить, беречь каждый рубль, каждую копейку.

...Длинный сарай с соломенной крышей стоит на юру, обдуваемый всеми ветрами. Зимними ночами вокруг него по-волчьи воет, беснуясь, вьюга, да и сами волки тоже часто воют, спускаясь сюда с полей; тявкают лисы, готовясь к своим разбойным нападениям — терпкий, кисловатый запах куриного помета влечет хищников к длинному сараю.

Я подхожу к птицеферме ранним утром. Иду туда, чтобы с помощью тети Паши Шлыковой решить один сложный ребус, заключенный в трех цифрах: на птицеферме, по словам руководителей артели, 2000 несушек. На полученную от них продукцию колхоз выручил 3193 рубля, израсходовав на содержание фермы 16 644 рубля!..

Небольшая гусиная семья, расположившаяся возле сарая и подремывавшая под косыми лучами восходящего солнышка, при виде приближающегося человека вдруг всполошилась и подняла невероятный галдеж. Я невольно умерил шаг; в эту минуту готов был поверить в легенду о том, что гуси в самом деле спасли Рим. (Должен сказать, что теперь крикливой этой птицы в селе Монастырском развели — не колхоз, а колхозники — столько, что их количество стало граничить прямо-таки со стихийным бедствием. Гуси совершают нашествия на огороды, атакуют во время уборочной колхозные вороха, так что правление постановило изымать из заработка колхозников-владельцев этой прожорливой и крикливой птицы по два центнера зерна. От раннего утра до позднего вечера гортанный гусиный клекот царствует надо всей округой. Даже лягушки — а им не

откажешь в усердии — не могут перекричать, одолеть гусиной капеллы.)

На крик гусей из сарая вышла тетя Паша. Вместе с нею идем на ферму.

— Значит, у вас их тут две тысячи, тетя Паша?

— Миленький, а кто ж их считал?

— Неужели нельзя посчитать?

— Как их сочтешь? Бегают, мельтешат под ногами, окаянный бы их забрал совсем!..

— Ну, если так, можно каждый день по парочке уносить домой, для лапши, — смеюсь я.

— Да у меня, чай, свои есть, — обиженно поджимает губы тетя Паша.

— Хорошо Ну а как же вы учитываете яйца?

— Обыкновенно. К вечеру соберу — и на склад.

— А вот сказывают, что куры из вашей фермы несутся и в колхозных конюшнях и вообще на улице... где-нибудь под лопушком, на радость сельским ребятишкам. Это правда?

— А то разве нет! Бывает, миленький, и так. Нешто за ними уследишь, — мужественно признается птичница.

— Охрана-то хоть есть у вас какая или нет? — спрашиваю я, не приметив нигде вокруг ни будки, ни сторожки, ни вообще какого-нибудь помещения для людей.

— Какая там охрана? Запру на ночь — и домой. Сторожа нету, сынок. Прошлой зимой лисы замучили. Снегу-то было вровень с крышей. Так вот они проруют ее и разбойничают всю ночь. Сколько кур истребили — не счесть! Да и так погибает их много, — то кормов не хватает, то от холода, то во время паводка водой зальет. С гор-то как хлынут ручьи и прямо на нашу ферму. А куры, известное дело, плавать не обучены... Сколько прошу председателей (она назвала их во множественном числе), чтоб приказали канаву прорыть вокруг сарая, — обещают, да все откладывают...

«Цыплят по осени считают», — гласит народная поговорка. Здесь же, как видим, их не считали ни летом, ни осенью, ни зимой. По плану от каждой несушки в год должно быть получено восемьдесят яиц, а фактически здесь получают только шесть. И сетуют: вот, мол, какие несознательные куры, не выполняют плана! Мне же думалось — особенно после разговора с тетей Па-

шей, — что это попросту клевета на бедную бессловесную пеструшку-несушку. Ну а как же гуси? Может быть, они приносят прибыль? Нет! Спасши в свое время Рим, гордые эти птицы никак не могли спасти бюджета в артели имени Мичурина. И все по той же причине, что и куры. Вот и получается, что яичко тут не простое и даже не золотое, а прямо-таки жемчужное!

— Зачем же вы держите птицеферму, когда от нее одни убытки?

— Положено, вот и держим. Так велят.

«Положено — и держим», — мысленно повторяю я год спустя, снова приближаясь к саратовским местам. Ни тогда, ни годом раньше я и не знал, что многое из того, что было увидено и услышано, как-то оживет в будущей повести о деревне, а для тетеньки Глафиры, далеко не самой положительной моей героини, кое-что перепало из печального опыта моей землячки, тетки Паши, ныне здравствующей.

А тогда... Тогда нашу «Победу» уже энергично подбрасывало на булыжном шоссе, дремать никому уже не хотелось. Сказка про асфальт кончилась. Началась суровая действительность...

**ХЛЕБ. ЗЕМЛЯ.
КОСМОС. ЧЕЛОВЕК.**

Завидуем внукам и правнукам нашим,
которым суждено видеть Россию... стоя-
щею во главе образованного мира, дающею
законы и науке и искусству и принимающею
благотворительную дань уважения от всего
просвещенного человечества

В. Г. Белинский

ХЛЕБ

Сперва — вот о чем.

Мне кажется, что у каждого из нас, пишущих, помимо огромной земли, являющейся для всех общей родиной, где-то на ее просторах должен быть, пускай небольшой, пускай не обозначенный ни на каких картах, кусочек или краешек, который был бы тебе и ближе, и роднее, и понятнее других, то есть тот милый, возлюбленный уголок, к которому ты прирос пуповиной, прикипел сердцем, душой своей. Как в крохотной капельке утренней росы на травяном листочке при определенном освещении могут отразиться и земля, и небо, и солнце, и все, что на этой земле и на этом небе, так в жизни какого-нибудь селеньица, ничем с виду не примечательного, можно увидеть большую, сложную и напряженную жизнь всей страны. Но чтобы увидеть, надо очень сильно любить и селеньице, и людей, нашедших в нем кров, пищу, все свои великие, малые ли радости и страдания. Только в таком случае у этих людей не будет от тебя секретов — душа их распахнется перед тобою, что называется, настежь, и ты, согретый ее теплом, вдруг как бы обретешь второе, самое острое, внутреннее прозрение и увидишь многое из того, что до того было сокрыто от тебя, притом нередко как раз самое важное.

Для меня, например, таким кусочком, таким уголком на великой нашей земле является село Монастырское на Саратовщине, где я родился, где рос, где с шести лет сошелся на «ты» с древним и вечно молодым делом землепашца-сеятеля. До 1938 года жил в родном селе почти безвыездно, затем — служба в армии, потом — четыре года войны, давшей мне, как и многим моим сверстникам, не только круто посоленный черный ломоть житейского опыта, но совсем иное, казалось бы,

далекое от землепашеского, жизненное направление. Однако начиная годом 1947-м и кончая нынешним, не было и единого из них, когда бы я не побывал в Монастырском, мало сказать — не побывал, я жил там и работал часто по несколько месяцев подряд. Не удивительно после сказанного выше, что в каждой — не почти, а именно в каждой! — моей «деревенской» книге, будет на то желание, вы без труда отыщете героя или героиню, у которых есть в реальной жизни своего рода дублеры, или, как принято их именовать, прототипы. И обнаружить их можно лишь в Монастырском или в соседних деревнях. Родничок вроде бы мал — всего-навсего 150 домов, — а поди-ка вычерпай его!

СЕЯТЕЛЬ

В середине двадцатых годов, в пору детства, мне нередко приходилось наведываться — с отцом, а чаще с дедом — в соседние деревни и села, что разбросаны на приволжских степных просторах. По названиям их было уже видно, что некогда селения эти принадлежали помещикам — графам да князьям Шереметеву, Нарышкину, Чаадаеву, Чекмазову и другим, а в трех верстах от нас было село, входившее во владения самой Салтычихи. Помнится, по дороге я то и дело приставал к деду с одним и тем же вопросом: видел ли он собственными глазами барина такого-то или такого-то, видал ли он лютую бабу Салтычиху?

Дед хмыкал, усмешливо поглядывал на меня. «Глупый ты, Мишуха, — говорил как бы между прочим, а потом все-таки пояснял: — Как же я увижу того барина или барыню, если они ни в кои веки не приезжали в наши края?»

Для меня это был не ответ. Он лишь побуждал меня спрашивать снова и снова. И я спрашивал:

— А где же они жили?

— Кто?

— Да помещики!

— Мало ли где. В Петербурге, в Москве, а иной, глядишь, в какие ни то заморские края укатит.

Совершенно сбитый с толку, я вновь теребил деда:

— А кто же пахал землю, сеял, убирал, молотил?

— Как кто? — в свою очередь, как бы удивлялся старик. — А вот такие, как твой дед, то есть такие,

как я. Земли-то своей у меня, Мишуха, не было вовсе. Вот и приходилось ургучить на барина.

Но и эти слова ничего не могли объяснить мне. И перед дедом сейчас же ставился новый вопрос:

— Как же так, дедушка, ты эту землю пашешь, а она не твоя? Такого же не может быть!

— Вот могло, Мишуха. Кто богат, у того и земля.

— Разве землю покупают на деньги?

— Покупают, внучек. За деньги все покупают, — говорил дед и тяжело вздыхал, и только тут я догадывался, что надобно умолкать, не лезть больше в дедушкину потревоженную душу.

Но идти молча я мог не больше одной минуты. А потом на старика вновь сыпались мои вопросы:

— А где ты взял деньги? У нас же теперь своя земля.

— Есть, Мишуха, у нас теперь своя земля. И дали нам ее бесплатно. — Дед говорил тихо, но торжественно.

— Кто же ее дал нам, деда?

После минутного раздумья дед говорил еще тише и еще взволнованнее:

— Ленин.

Нагнувшись, он подхватывал меня огромными ручищами и легко подбрасывал на плечо себе.

Я ни о чем уже более не спрашивал его. Шел он быстро, и обоим нам было хорошо в тот день.

Однако дома я продолжал долго еще думать о том, почему до Ленина никому не пришла в голову такая простая, ясная, более чем естественная и справедливая мысль — отдать землю тем, кто на ней трудится?

В то время я ничего не знал о крестьянских бунтах, волнениях и восстаниях, раз за разом прокатывавшихся по нашей земле и порою до самого основания потрясавших устои российского самодержавия. Не знал того, что за одну мысль, каковая представлялась мне, мальчишке, столь ясной, простой, естественной и справедливой, многим, очень многим людям пришлось сложить свои головы. Что потребовалась не одна, а несколько революций, и среди них главная, Октябрьская социалистическая революция, чтобы справедливость восторжествовала наконец: на земле стал твердою, державною

пятою ее истинный хозяин — простой крестьянин, которого по великим его заслугам нарекли сеятелем и хранителем земли.

Я мог бы извиниться перед читателем за экскурс то в отдаленное, то в близкое прошлое, но, право же, он необходим.

Да, крестьянин мечтал, чтобы он, а не барин, был полным хозяином на земле. Однако дорого обходилась ему эта мечта! Тотчас же появлялись на своих сытых конях блюстители порядка. Нагайка урядника вволюшку ходила по тощей спине пахаря. Хорошо, коли этим делом и ограничивалось. А то ведь могли назвать бунтарем, посягнувшим на священную собственность помещика, и надолго упрятать в тюрьму.

Доведенный до крайности, русский крестьянин нередко действительно бунтовал, — это тогда, когда чаша терпения переполнялась и выплескивалась через край в форме крестьянских волнений и восстаний, когда выдвигались и крестьянские предводители — Иван Болотников, Степан Разин, Емельян Пугачев...

Кончалось же одним и тем же: жесточайшим подавлением крестьянских волнений. И слово «земля» опять сокращалось до размеров той делянки, на которой крестьянин трудился от зари и до зари в самом буквальном смысле этих слов и которая все-таки не могла прокормить его семью. Подумать только: хлеба хватало лишь до рождества для подавляющего большинства крестьянских дворов! А засухи, а нашествия саранчи, а другие бедствия, которые были частыми гостями крестьянских полей! А он, сеятель, был одинок перед этим грозным нашествием. И удивительное дело: земля тем не менее была для него «матерью», «кормилицей» — так, по крайней мере, он называл ее, хотя мог бы назвать и мачехой, и это было бы только справедливо. Но крестьянин не может сказать худого слова о земле: в ней, и только в ней видит он смысл всей своей жизни. Может, в глубине-то души своей он, сеятель и хранитель, прятал и берег до поры заветную думку и святую веру в то, что придет же такое время, когда вся земля будет принадлежать тем, кто на ней трудится испокон веку, то есть ему? Может, эта думка и эта вера были источником его почти сказочного мужества и героизма в делах ратных и безмерного терпения в делах трудовых? Кто знает...

Подавив самым свирепым образом крестьянские выступления, царь, очевидно, полагал, что исполнил долг, начертанный для него самим господом богом. В судьбе же русского крестьянина мало что изменилось и после отмены крепостного права. Достаточно вспомнить, что к началу XX века 30 тысяч помещичьих семей (около 150 тысяч населения) владели 70 миллионами десятин земли, а на 10,5 миллиона крестьянских дворов (около 50 миллионов населения) оставалось 75 миллионов десятин, а ежели прибавить, что из этого числа большая часть земли скорехонько оказалась в цепких, ухватистых руках кулака, то картина для основной массы крестьянства Российской империи выглядела совсем уж безотрадной, если не сказать жуткой.

Между тем русский крестьянин долго, многие-многие годы верил. Верил всем: царю, богу, черту, местному попу, краснобайствующему, медоточивому либералу, наконец, эсеровскому оратору, взявшему на себя позорную роль горьковского Луки-утешителя, претендовавшему к тому же на право быть единственным выразителем дум и чаяний крестьянства. Стены Государственной думы сотрясались от звучного глагола этих господ, а помещик и сельский богатей и в ус не дули: речи крестьянских «заботников» могли обмануть разве бедолаг, а уж никак не их, владельцев большей части земли. Крестьянин, находясь в окопах, оглушенный разрывами гранат и бризантных снарядов, сквозь грохот войны напряженно прислушивался к доносившейся до него из столицы этой словесной перепалке: как-никак ведь там обсуждался вопрос о земле — что может быть для него, мужика в солдатской шинели, дороже этого? Не скоро дошел до него трезвый голос, из которого крестьянин понял истинное: землю можно получить в свои руки только из рук единственного надежного союзника — рабочего человека, иными словами говоря — через революцию, которая будет называться рабоче-крестьянской, социалистической. Иных возможностей получения священных и вечных прав на землю у крестьянина нет и быть не может! Это было исторически неизбежно для массы крестьянства многонациональной России. Опыт же русского сеятеля в равной степени полезен любому крестьянину, который хотел бы стать хозяином на земле, на которой он трудится.

Простая, ясная, как безоблачный полдень, мысль,

что землю тебе отдаст рабочий класс, самый бескорыстный из всех классов, какие только бывают в людском мире, — мысль эта, едва достигнув сердца простого пахаря, где б он ни находился на ту пору, сейчас же сделала его верным союзником пролетариев. Революционная смычка (употребим это привычное для тех дней слово), таким образом, окончательно оформилась, грозная ситуация для Октября созрела. Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась!

Свыкшиеся с повседневностью мои современники, особенно юные, принимают все как само собой разумеющееся, их не удивляет тот в высшей степени многозначный, а в смысле социальном великий факт, что на земле, где не в такие уж далекие времена корка черствого хлеба считалась едва ли не единственным продуктом, где полчища нищих осаждали города и веи от зари и до зари, где каждый неурожайный год уносил миллионы человеческих жизней, где деревянная соха считалась чуть ли не вершиной технического оснащения землепашца, что на земле этой о хлебе насущном говорят ныне уже в ином, более глобальном, что ли, смысле. Даже засуха в одном либо в нескольких районах страны не воспринимается теперь как роковое, страшное бедствие, ибо на помощь этим районам немедленно придут другие.

Молодые наши люди теперь уж не знают, что в прежние времена на поле выходило все село от мала до велика буквально: от шести до восьмидесяти лет, и трудились по восемнадцати, а то и двадцати часов в сутки. Сейчас же какой-нибудь десяток механизаторов и вспашет, и засеет, и уберет урожай. Когда я думаю об этом, я часто вспоминаю один совсем незначительный эпизод, коему я оказался случайным свидетелем.

Как-то по весне подымался я из своего села Монастырского в поля. Недалеко от пашни встретил знакомого тракториста, бывшего фронтовика Ивана Коротина.

— Куда ты, Иван? — спрашиваю его.

— Домой. Прикорну малость.

— Что, сменился?

— Нет, — говорит, — трактор поломался.

— Какой у тебя трактор?

— ДТ-54, — отвечает как-то даже весело.

— Ну, и как же теперь ты?

— А что? — не понял Иван.

— Что же будешь делать?

— А что мне делать? Завтра привезут запчасти, отремонтируют или новый трактор дадут. Только и делов. Ну, бывай! — и, насвистывая беспечно, мой приятель бойко пошагал в сторону села.

Он ушел, а я еще долго стоял на прежнем месте. И вот что думалось мне. Я представил себе в общем-то возможную, но трагическую сцену, которая могла бы быть в нашей доколхозной деревне. Что бы, скажем, случилось с нею, если бы вдруг, в один, что называется, час, в разгар посевной пали пятьдесят четыре лошади? Стон и рев стояли бы на всю Саратовскую губернию, потому что полсотни дворов после такой беды пошли бы по миру, разорились бы вчистую. А тут никто, пожалуй, даже и не узнает, что вышли из строя сразу пятьдесят четыре лошадиные силы, потому что никто на себе даже в малой степени не ощутит урона, который понесло коллективное хозяйство от этой поломки. Привезут новые запасные части или заменят старый трактор новым, и посевная закончится в срок — подумаешь, какая беда?!

Я привел пример негативный, но он, тем не менее, своею предельной обнаженностью, что ли, общедоступной наглядностью самым что ни на есть решительным образом голосует за коллективную форму хозяйствования на земле, которая принадлежит народу. Сколько бы мы ни писали, сколько бы ни говорили о перегибах, каковые действительно имели место при коллективизации, как бы ни огорчали и ни удручали нас различного рода промахи при неудачном экспериментировании, мы знаем: без колхозов мы бы не построили своей индустрии и не выдержали бы тяжкого испытания, какое выпало на долю нашего народа и нашей страны в годы Великой Отечественной войны, и не смогли бы в немыслимо короткий срок восстановить порушенное войной и накормить досыта не только свой, но и многие другие народы из братских или дружественных нам стран.

Сеятелем и хранителем земли назвал крестьянина русского великий его певец и доброхот Николай Алексеевич Некрасов, раскрыв, таким образом, основу национально-патриотической героики своего народа.

«Хлебороб», — говорим мы и теперь, и голос наш неизменно обретает глубоко уважительную интонацию. Мне лично кажется, что о хлебе давно надо было говорить во всю силу легких, в полный, что называется,

голос и производство зерна приравнять по значимости к производству высококачественной стали.

История показывает, что хоть и не хлебом единым жив человек, но все-таки именно хлебом, повторяю, раньше всего мы определяем меру человеческого благополучия. Замечу еще раз: хлеб — он большой политик. Вспомним 1963 год. Плохой урожай в ряде важнейших районов нашей страны, и в первую очередь, конечно, в России, понудил нас закупить большое количество пшеницы за границей. Недруги наши постарались немедленно извлечь из этого факта елико возможно больше политической выгоды для себя — какой торжествующий вой поднялся в их стане по этому в общем-то ничего особого не представляющему поводу!

В самом деле, что тут особенного: неурожай может постигнуть любую страну, и если мы сумели купить недостающее нам количество пудов, значит мы — люди состоятельные. Только и всего.

И все-таки предпочтительнее выращивать хлеб на родимой ниве, а не привозить его оттуда, где, как говорили в старину, «телушка — полушка, да перевоз дорог». К тому же бушель американской или канадской пшеницы за полушку не купишь... Помимо того, существует настоятельная необходимость в том, чтобы выбить наконец из нечистых рук наших противников их главный до последнего времени козырь, суть которого состоит в настойчивом до назойливости утверждении: социалистический-де строй, может, и привился в промышленности, но оказался несостоятельным в области сельского хозяйства.

Мы можем и должны выбить этот козырь и сделать это в обозримо короткие сроки. Ведь, глянув на любовно ухоженную, приносящую великие дары свои землю передовых наших колхозов и совхозов на Кубани ли, на Дону, на Волге, на сибирских ли просторах, разве только отъявленный негодяй отважится повторить свою зыбкую иезуитскую формулу относительно нашей «несостоятельности».

Нам, однако, надобно, чтобы такими же золотыми нивами покрылись все поля громадной Советской России. Надо, чтобы каждый россиянин, так или иначе причастный к святому делу хлеборобскому, ежедневно, ежедневно приносил свою толику, свою зеринку в государственные сусеки.

В одном из очерков, посвященных селу, я прочитал: «Велик сеятель. Никогда не забывал о нем мир и никогда не позабудет — ни в радости, ни в беде. И никакая глыба золота не перевесит крошку хлеба!»

Отлично сказано! На золотых приисках случается найти самородок весом в столько-то и столько-то килограммов, но нет в природе хлеба-самородка. Хлеб сам не родится. Его выращивают золотые руки сеятеля, и, выращенный таким образом, хлеб сам становится золотом редчайшего достоинства, без которого немислима жизнь миллионов человеческих существ на планете по имени Земля. Вот что такое хлеб!

Больше полстолетия прошло от исторических дней великих ленинских декретов о мире, о земле. Далеко позади остались времена, когда забота о хлебе лежала на одном лишь мужичке-землепашце, когда под стать была и пословица: «один с сошкой, а семеро с ложкой», когда хрестоматийной картинкой виделся на фоне ранней зари согбенный крестьянин, медленно бредущий по неглубокой борозде за своей Сивкой.

ЗЕМЛЯ

Прозаик Александр Рекемчук как-то на страницах «Литературной газеты» рассказал своим читателям относительно того, как рождались заголовки его произведений. Вероятно, рассказанная им история представляет известный интерес, но скорее, пожалуй, для литературоведов. И если я решил сделать то же самое в связи с одной моей книгой, то потому лишь, что это непосредственно касается предмета, о котором я — в какой уж раз! — буду говорить...

Где-то в самом начале шестидесятых годов, то есть сразу же по выходе в свет первого моего невоенного произведения — романа «Вишневый омут», я ехал в саратовские края с намерением приступить к работе над новой книгой, побуждаемый не только собственным желанием, но и явно общей необходимостью рассказать о современной деревне. В основных чертах вещь уже сложилась в голове, был готов и заголовок — «Журавушка», по ласковому прозвищу будущей главной героини. И вдруг, в одну, можно сказать, минуту все переменялось — и сюжет, и имя задуманного произведения, и еще многое из того, что сопутствует традицион-

ной повести. И виною всему этому был мой земляк Петр Борисович Коротин, оказавшийся по чистой случайности не только в одном со мной вагоне, но и в купе. Я тотчас же узнал его, хотя и не видел очень давно, с детских еще лет. Петр Борисович ходил у моего отца в приятелих и по этой причине бывал частым гостем нашей семьи. В тридцатых годах, как и многие селяне, потомственный этот крестьянин перебрался в Саратов, стал рабочим на заводе.

— Полжизни, почитай, являюсь городским жителем, а в село наведываюсь чуть ли не каждое лето, — повествовал он с легкой грустью. — Хочется родную землю пощупать руками, услышать запах созревающей пшенички... Хлеб!.. Слышь, Михаил, хлеб! Что может быть на свете важнее хлеба? Да ничего! — И тут у него вырвались слова, каковым суждено решительно все перевернуть и перевероршить в замысле нового моего произведения. Он воскликнул патетически: — Хлеб — имя существительное, а все остальное — прилагательное!.. — Петр Борисович и в селе, помнится, был философом, таковы, видно, остались и по сию пору.

Как бы там, однако, ни было, а через полтора года журнал «Звезда» опубликовал повесть с несколько странноватым названием: «Хлеб — имя существительное».

Есть в нашем лексиконе два слова, ближе, пожалуй, всех иных стоящие друг к другу: «земля» и «хлеб»; их родственные узы можно сравнить разве лишь с материнскими и сыновними. Земля, впрочем, родит не только хлеб, но почему-то именно хлеб, слово это — «хлеб» — мы непременно ставим рядом с великим словом «земля». Мне не однажды приходилось размышлять и про себя, и публично о том, найдет ли человечество в своем языке другое какое-нибудь еще слово, как это — «земля»? Когда мы пишем его с большой буквы, то разумеем целую планету, ставшую обителью великого множества живых существ и, может быть, единственную в своем роде среди иных миров, составляющих Вселенную.

Как бы сужаясь, слово это — «земля» — заключает в себе и большое поле, и крохотный крестьянский надел на нем, и просто горсть того загадочного праха, не имеющего для нас какого-либо определенного запаха и вкуса, из которого, однако, в конечном счете рождаются все

запах, все вкусы, все виды жизни в немыслимом сочетании и разнообразии. Постоянно преображаясь, слово «земля», как, впрочем, и слово «хлеб», становится то метафорой, то основанием мудрой народной присказки или поговорки, то символом, обозначающим и крайнюю бедность — «безземельный», и неслыханное богатство — «землевладелец». Неизменно неся на себе огромную социальную нагрузку, слова эти часто ставятся в заголовки политических, философских, экономических трактатов, художественных произведений, революционных лозунгов, воззваний и, наконец, декретов.

Как литератору мне, например, всегда хочется возможно живее представить себе Ильича, торопливою рукой, своим стремительным, летящим почерком набрасывавшего взрывные, огненные строки Декрета о земле. В первом пункте я слышу даже его голос, думается, что он сам себе продиктовал вслух и написал, как бы занеся карающий меч революции над всем спесивым словом, принесшим столько бед и несчастий сельскому труженнику: «I) Помещичья собственность на землю отменяется...» Быть может, после этого слова поначалу была поставлена точка, но Ленин решительно прибавляет «...немедленно без всякого выкупа». Если ты крестьянин, если знаешь, что значит для пахаря клочок земли, то тебе нетрудно представить, что творилось в душе мужика, когда он услышал такое! В один час эти крестьяне получили от только что родившегося рабоче-крестьянского государства более 150 миллионов десятин земель сверх тех, что принадлежали им раньше.

Нередко слово «земля» употребляется и для обозначения страны. В этом случае люди говорят: «моя земля», что для нас, советских народов, ассоциируется с понятием Родины, дорогой нам до слез, до сладкого сердцебиения. Досталась нам родная земля воистину дорогой ценой. Трудно сказать, чем больше поливал ее наш народ — потом или кровью своей. Того и другого было пролито так много, что сравнение с морем и даже океаном не было бы гиперболой. И проливал эту кровь и этот пот по большей части человек, которому, по логике вещей, земля должна была бы принадлежать, ибо он и сеятель ее, и ее хранитель. Однако злою волею социальной несправедливости в течение веков он либо вовсе не имел своей земли, либо располагал самой малой ее долей. Попеременно становясь то пахарем, то воином,

сельский труженик всякий раз спасал землю, на которой в общем-то никогда не был счастлив, ибо всегда был обкрадываем самым бессовестным образом. Его похваливали, с ним заигрывали, когда над страной сгущались тучи, его называли чудо-богатырем, ибо понимали, что это единственно реальная сила, которая одна только и может отвлечь от родимой земли иноземные нашествия. Но едва опасность отворачивалась — и о «чудо-богатыре» начисто забывали. Он возвращался к сохе. Он опять становился мужиком — без всяких уж льстительных прибавлений к этому слову. И вновь: «Ну, тащися, Сивка...»

Истосковавшиеся по земле руки с наслаждением, о котором знает лишь землепашец, ложились на поручни сохи. Случалось, что вчерашний герой — нередко полный георгиевский кавалер — как бы забывался, полагая, что теперь-то уж он должен быть и полным хозяином на земле, а не барин, — дорого же обходилась ему эта забывчивость!

Однако наступил час, когда Ленин мог наконец вывести слово «земля» в заголовок одного из первых декретов Советской власти. Отныне в нашей стране извечный сеятель земли — трудовой народ — стал единственным и полноправным ее хозяином.

люди

Речь теперь могла идти лишь о том, чтобы уберечь эту землю от нерадивости, от незначительности, от равнодушия, от мелкого и вредоносного эгоизма людей с незрячим умом и холодным сердцем, тех, кто рассуждает примерно так: живем на земле один раз и потому возьмем от нее все, что можем. Один, уже старый человек, сажает сад, зная заведомо, что самому-то ему не вкусить плодов от этого сада, однако же сажает — сажает для потомков; другой, со слепым, эгоистическим сердцем, сбивает эти плоды вместе с ветками, чтобы усладить лишь свое чрево, а то, что дерево, покалеченное им, помрет, его не касается.

В 1971 году на страницах журнала «Коммунист» я рассказал о двух таких, противостоящих друг другу, человеческих типах.

Два человека, два гражданина одной Советской страны. А разница — поразительная. Первый — добрый и

мудрый союзник земли, второй — ее враг, губитель. Между тем оба дети одной матери — земли. Один — рачительный и умный множитель ее богатств, другой — расточитель, мот. Первый хорошо знает, а второму вроде бы это и невдомек, что на землю имеем права не только мы, ныне здравствующие, но и те, кто еще не родился. Для меня, например, отношение человека к земле и хлебу — категория нравственная. Хороший человек не может плохо относиться к породившей его природе.

Мне думается, эту мысль надобно внушать людям с детства, равно как и то, что, поскольку земля в нашей Советской стране является общенародным достоянием, за нее несет личную ответственность каждый член нашего общества, а не только государство, на плечи которого мы нередко склонны взвалить решительно все. Лишь при таком условии, воздвигая грандиозные промышленные и другие объекты, жизненно важные для всех нас и властно диктуемые стремительным процессом технического перевооружения, научного прогресса, мы не будем терять по пути и рядом нечто такое же ценное и жизненно необходимое, дарованное нам и нашим наследникам природою на вечное пользование. Надо же помнить всегда, что богатства, полученные нами безвозмездно от матушки-земли, являются неделимым фондом для всех сменяющихся поколений людей.

Не скрою, я, делегат XXIV съезда нашей партии, был глубоко взволнован, когда услышал в Отчетном докладе то, что так сильно тревожило меня все последние годы.

«Принимая меры для ускорения научно-технического прогресса, необходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским отношением к природным ресурсам, не служил источником опасного загрязнения воздуха и воды, истощения земли. Партия повышает требовательность к плановым, хозяйственным органам и проектным организациям, ко всем нашим кадрам за дело проектирования и строительства новых и улучшения работы действующих предприятий под углом зрения охраны природы. Не только мы, но и последующие поколения должны иметь возможность пользоваться всеми благами, которые дает прекрасная природа нашей Родины».

Так, и только так, могла и может ставить вопрос партия, явившаяся на свет с самыми гуманнейшими целями: все для человека, все во имя человека! Причем в емкую эту формулу со дня Октября мы заключаем да-

леко не только наши, национальные цели. Земля — мать всех народов, населяющих ее. На ее и народов несчастье, появляются на ней особи похлеще и поопаснее моего Мильена. И вооружены они не рыбоглушителем и не острогой, а напалмом и другими сверхразрушительными средствами, обращенными к тому же против людей, чаще всего невинных и нередко беззащитных. Не считаются они с тем, что, кромсая живое тело земли, совершают неслыханное преступление не только перед народами, скажем, Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, но и перед всем человечеством. Скоро ли обретет материнскую силу плодоношения земля там, где прошла американская военщина с оружием, все сжигающим, с химическими средствами, все отравляющими, с потоками мазута, хлынувшего из порванных железных утроб их танков?! Скоро ли?! И вообще: сможет ли отравленная мертвым материалом земля рождать то, без чего невозможно, немыслимо биологическое существование на ней? Для нас же, людей, важнее важного знать: может ли на такой земле родиться хлеб?..

ЛЮБОВЬ

Заголовок этих раздумий — «хлеб», скажут мне, а вы почему-то все говорите о земле. Да, говорю и полагаю, что поступаю правильно. Согласитесь, земля ведь имеет кое-какое отношение к хлебу... Говоря о земле, я ни на минуту не забываю, что партия наша, как и прежде, одной из главных задач в сельском хозяйстве считает увеличение производства зерна. Полагаю, далее, что тут имеются в виду не только одни наши, национальные интересы. Известно, что сотни миллионов человеческих существ на планете голодают в буквальном смысле или живут впроголодь. И чаще всего не хватает как раз хлеба, который рождается только на земле, и нигде больше. Хлеб — это рука друга, протянутая голодающему или пострадавшему от стихийных бедствий соседу. Хлеб — это солдат в дни войны, притом очень хороший солдат; он и искусный политик, и дипломат в дни мира. Исстари не только по золотому запасу, но и по хлебному судят люди, насколько велик удельный вес той или иной страны среди других государств.

И как тут не согласиться с моим старым земляком, бывшим хлебобобом, каковой воскликнул: «Хлеб —

имя существительное, а все остальное — прилагательное!» Сказано весьма энергично, пожалуй, даже с какой-то излишней удалью, и все-таки слова эти не лишены глубокого смысла.

В самом деле: в семье, в государстве, в целом ли мире, коли есть на столе хлеб, другое как-то легче прикладывается. Больше того, даже для сытого хлеб — едва ли не единственный продукт, который никогда не приедается. «Хлеб — усеу голова!» — говсрят на Украине. И не потому ли, кроме всех прочих войн, больших и малых, длительных и коротких, которые, к несчастью, и теперь потрясают нашу исстрадавшуюся планету, есть еще одна война, или, точнее сказать, еще одна битва, которую люди ведут постоянно, из века в век, ведут тысячелетиями, — это битва за хлеб, ибо она означает в конечном счете битву за жизнь на земле. И все-таки битва эта по сей день в глобальном смысле остается невыигранной.

Во многих русских селениях в прежние времена часто можно было слышать, как малыш, простирая к матери худенькие ручонки, канючил: «Мам, папы хочу-у-у, дай папы-ы-ы!» Когда, кому впервые пришла счастливейшая и справедливейшая мысль назвать хлеб именем кормильца семьи, именем отца?! Не потому ли считалось великим грехом, святотатством бросить на пол хотя бы черствую корку, хотя бы крошку хлебную — и это во всех семьях, в том числе и в тех, где не испытывалось недостатка в хлебе?!

Я помню себя примерно с трех лет. Я мог бы, вероятно, свой отсчет сознательного приобщения к земному бытию начать и чуть раньше, и чуть позже, но для этого должно было произойти что-то очень важное, очень яркое в окружавшем меня мире. Произошло же это именно в двадцать первом. Землей уже распоряжались не помещики, а крестьяне. Но не был еще свергнут, да и не свергнут он и в наши дни другой страшный и беспощадный враг земледельца — засуха. В степном краю, в Поволжье, этот враг свирепствовал особенно часто (наведался он туда, в одну из наших основных житниц, и в 1972 году). Бывают времена, когда землепашца перестают радовать ясные зори, когда с тщетной надеждой отыскивает он на раскаленном, побелевшем ог зноя небосводе хотя бы малое облачко, когда самое солнце, воспетое всеми поэтами мира, становится про-

клятием. В пору дружной весны снег исчезает в течение нескольких дней. Обнажившаяся земля высыхает, едва в нее успеют бросить семя. А затем наступают дни томительного ожидания. Май на исходе, вот уже июнь подоспел, а дождя все нет и нет. Состарившиеся прежде времени растения жухнут, листья заостряются, на них уже явственно проступает зловещая желтизна. И тогда-то верующий и неверующий невольно обращали свой взор к небу, тогда отчаявшиеся люди звали священника, чтобы тот попросил всевышнего о ниспослании на землю спасительной влаги, подкрепляли его мольбу общим хором: «Дай дождь земле жаждущей, спасе!..» Нет, пожалуй, более печального и трагического шествия, чем эти молебственные походы на умирающие поля! Бог, однако, оставался равнодушным к горячей молитве хлебороба, к подворью которого уже приближался голод.

Черный этот гость навещал крестьянина так часто, что уже казался неотвратимым, как судьба. Явился он и в том, 1921 году. Страшный этот пришелец постучался в крестьянские хижины в пору, когда страна и без того была истощена тяжкими годами первой мировой и гражданской войн.

Помню, я сидел на печи совершенно голый, как неоперившийся птенец в гнезде, и совершенно голодный, когда тетка Феня, высокая и красивая молодая женщина, озираясь по сторонам, но не опасаясь меня, несмышлениша, прятала под подушку большую черноголовую, лоснящуюся и оглушительно вкусно пахнущую краюху ржаного хлеба. От кого она ее прятала — от нас ли, детей, коих в семье расплодилось великое множество, на беду взрослым, от нищих ли, которые шли через селение полчищами, как солдаты разгромленной армии, — не знаю, от кого, но хорошо помню, как при виде этого хлеба, при его душно-вкусном запахе я на какое-то время задохнулся, а потом заорал так-то уж громко и отчаянно, что из передней выскочила моя насмерть перепуганная мать, схватила на руки и унесла к себе, утешая. Но и сейчас, кажется, в ушах моих стоит этот мой пронзительный, голодный крик: «Теть Феня-а-а! Папы хочу-у-у!»

Вспомнил я еще раз про тот год и совсем недавно, когда переводил на русский язык с эрзя-мордовского роман Александра Мартынова «Дети своих отцов». Ав-

тор этой книги постарше меня, помнит тот страшный год полнее и описал его со страшной, на мой взгляд, убедительностью. Голодающих людей мог спасти лишь новый урожай, который обещал быть щедрым, но хлеб госпевал, как нарочно, очень медленно. И вот сеятель, герой романа, Константин Павлович Маркин, собрав последние силы, выходит на недозревшую свою ржаную делянку.

«Он ходит по меже по-над своей делянкой, срывая колосок за колоском из тех, что были покрупнее других и казались спелее. Срывает колоски и бросает в мешок, который держал в левой руке. Истощенные руки быстро ослабли, немощно дрожали. Дрожали от слабости, но, пожалуй, еще больше они дрожали от того, что коснувшийся колосьев до срока сеятель и на своем загоне чувствовал себя вором. «Что скажут люди, ежели увидят сейчас меня? — испуганно думал он. — Подумают еще, что чужие колоски обрываю... Кто же будет губить свое?!» Оттого-то он и подымает так часто голову, оттого и глядит с опаской вокруг, не наблюдает ли кто за ним... Но, слава богу, никого на поле не было, и он мог продолжать свое дело».

Хлеб был испечен, когда хозяин, коротая время, вошел во дворе. Послушаем же, что было дальше.

«Хозяин не успел еще открыть избяной двери, как в нос ему ударил упоительно вкусный, начавший было забываться запах только что испеченного хлеба. А сама изба была полным-полна этого дурманящего, пьянящего запаха, Константин Павлович, почувствовав легкое головокружение, даже покачнулся на своих слабых ногах. А хозяйка приглашала:

— Садитесь, садитесь же поскорее! — Она говорила так, словно бы перед ней были долгожданные гости. — Пспели, хорошо испеклись и давно уж ждут вас, — говорила так, а сама все смахивала уголком платка наворачнувшиеся ненароком слезы.

Как ни хотелось Константину Павловичу сейчас же наброситься на это пахучее чудо, он все-таки превозмог себя: подошел к рукомойнику, вымыл над лоханью руки, вытер их досуха чистым холщовым утиральником и только уж потом присел к столу, с краешку, на привычном своем месте. То же самое сделал и Серега.

Перед затуманенным взором хозяина вдруг объявились черные, зеленые, красные круги. Ничего не видя,

он ощупью отыскал нож, затем хлеб, кончиком ножа, как водится, но по-прежнему ничего не видя, перекрестил его и, прижав к груди, отвалил горбушку. Собрал двумя пальцами, пропустив между ними нож, хлебные крошки и кинул их себе в рот. Скулы его задергались. Опершись локтем о стол и прижмурившись, он долго прожевывал эти крошки...

Константин Павлович медленно открыл глаза: перед ним лежал, розовея румяной коркой, хлеб и еще чуть дымился там, где только что прошелся острый нож. Хозяин пошевелил губами, щеки его как-то задергались, по ним пробежали слезы. Вот они уже покатались по бороде и задержались на концах волосинок прозрачными капельками, точно росинки поутру на соломенной крыше.

Серега и его мать сидели будто каменные. Молча смотрели на главу семьи. Потом Прасковья Карповна поднялась, подошла к мужу сзади и положила на его плечи свои руки. Константин Павлович вздрогнул от их прикосновения, встряхнулся как-то, словно после глубокого сна, взял хлеб и стал не спеша нарезать его ломтиками».

Хлеб... Он вместил все — и любовь и отчаяние, и горе и счастье.

ЛИЧНОСТЬ

Город и деревня. Проходили годы, десятилетия, века, а они не понимали друг друга, город и деревня. Глухая стена подозрительности и открытой вражды разделяла их. С приходом Октября пришел конец этой извечной вражде. Люди заговорили о смычке города и деревни. Теперь об этом уже не говорят, ибо это закон нашей жизни, наша суть, наша альфа и омега. Даже многие слова, рожденные городом, незаметно для нас перекочевали в село и быстро прижились там. Прежде говорили, сказать к примеру, о производстве чугуна, стали, теперь говорят еще и о другом: о производстве хлеба, мяса, молока, яиц. Город решительно, по высокому закону дружбы, взял на себя часть, и притом не малую, часть забот, которые в прежние времена лежали исключительно на плечах крестьянских.

Техническое перевооружение всего нашего народного хозяйства, на которое взяла с самого начала курс

Коммунистическая партия, совершило революцию и в человеческом материале. Приглядитесь хорошенько к председателям колхоза, агрономам, зоотехникам, дояркам, трактористам и трактористкам, к сельским парторгам и комсоргам, — приглядитесь, и на груди у многих рядом с Золотой Звездой Героя вы обнаружите университетские значки. В недалекие еще времена, говоря о сельской интеллигенции, мы разумели лишь учителей, клубных и библиотечных работников, врачей и фельдшеров. Теперь под эту социальную категорию с законным правом нередко встают рядовые колхозники, понявшие, что одного материального достатка для полного человеческого счастья мало, нужна еще пища духовная.

Коротко говоря, ныне сельский житель не хочет отставать от городского и по уровню знаний. Это сделалось его насущной потребностью, и ее надобно хорошенько понять и все время помнить о ней, если мы хотим, чтобы многие наши люди, в особенности молодые, захотели раз и навсегда связать свою судьбу с сельской нивой. Одним заработком, как бы он велик ни был, юношу или девушку в деревне не удержать, если они не найдут там того, что дает обычно город: максимальную возможность духовного совершенствования, или, как еще принято говорить, утоления культурных своих потребностей, неизмеримо возросших с общим ростом образованности.

Под величественными сводами Кремлевского Дворца съездов часто собираются подлинные Хозяева Земли — в прямом, более узком, и в самом широком смысле двух этих очень значительных слов. Каждый делегат не просто сельский житель, это личность, этоместилище житейской мудрости и житейского опыта, к ним ныне прислушивается в напряженном внимании вся наша страна и очень многие за рубежом нашей страны. Настоящий же хозяин не живет одним днем, взгляд его должен быть устремлен прежде всего в день завтрашний, и человек, в руки которого государство доверчиво отдало такое бесценное сокровище, обязан помнить: обидеть землю — значит обидеть наше будущее; украсить землю, сделать ее еще более плодоносящей и жизнетворющей — значит сделать будущее страны прекрасным!

Вот о чем думалось мне, когда я был на Всесоюзном съезде колхозников.

Похоже на то, что будущие историки, говоря о последней трети XX века, без малейшего колебания назовут ее этими, привычными для моих современников словами: научно-техническая революция. В самом деле, едва ли сегодня в человеческом лексиконе отыщется формула, которая смогла бы сравниться с этой по количеству употребления. Ее повторяет стар и мал. Повторяет в городе и деревне. Ее вы услышите в заводском цехе, на полевом стане, в школе и даже в семейном кругу. И поскольку формула эта, как бы ее ни вариировали, остается длинноватой и трудной для произношения, скорые на выдумку журналисты сократили ее до трех прописных букв — НТР — и быстро приучили нас мысленно расшифровывать их. НТР стало до некоторой степени модным выражением и отнюдь не только среди технической интеллигенции.

Едва родившись, это понятие недолго задержалось в городе, а быстро перекочевало и на сельскую нашу ниву, поскольку процессы, скрытые за тремя этими буквами, имеют глубокий и всеобъемлющий характер: в мире сейчас происходит грандиозное состязание умов в сфере научно-технической, и она, эта сфера, не могла не проникнуть во все поры нашей хозяйственной, общественно-политической, социальной жизни, не обойдя такой тонкой области, как нравственно-психологическая.

Производство...

Совсем еще недавно слово это было чисто городским, его естественно было и услышать, и употребить на заводе, на фабрике, на разного рода промышленных предприятиях. А теперь? Теперь оно в полную силу звучит во всех городах и весях нашего обширного Отечества. Его произносит и человек, стоящий у мартена, и комбайнер, ведущий свой степной корабль по хлебному морю, и пастух на каком-нибудь отдаленном горном пастбище, и птичница на ферме, и колхозная доярка, потому что в один уверенный и многозначительный ряд выстраиваются ныне: производство стали, производство зерна, производство мяса, производство молока, производство яиц, производство шерсти.

Производство, производство, производство. Мы и не заметили, как сельский житель свыкся, нет, не свыкся,

а прямо-таки породнился со словом, некогда чуждым для его уха. Породнился потому, что за словом этим стоит огромный и чрезвычайно важный для него, сеятеля, смысл. Отныне и навсегда кончилось для него одиночество в борьбе за хлеб насущный, навеки забыты и лукошко, из коего он бросал пригоршнями в тощую землю такое же тощее зерно, а потом с весны до осени с мучительною тревогой всматривался в небо, ждал со страхом и с сердечной тоской, что оно ниспошлет на его горемычную полоску: дождь или лютую засуху в пору вызревания хлебов, или непроглядное ненастье в пору жатвы? Как бы поэтично ни звучало это: «Ну, тащися, Сивка!», но мы-то знаем, сколь хрупка, прозрачна была надежда на добрую и славную Сивку. Куда как увереннее почувствовал себя селянин, когда заботу о хлебе и всем прочем, без чего немыслима жизнь на Земле, поровну разделил с ним городской рабочий, движущий на сельскую ниву неисчислимое множество механизмов, каковые теперь и пашут, и сеют, и жнут, и развозят зерно по государственным сусекам и даже выпекают хлеб. По данным 1971 года, — а они теперь резко изменились в качественном отношении в смысле улучшения, а в количественном — в смысле увеличения, — так вот, по этим самым данным только в колхозах насчитывалось более 2 миллионов тракторов (в пересчете на 15-сильные), свыше 550 тысяч грузовых автомобилей, почти 300 тысяч зерноуборочных комбайнов.

Не в такие уж далекие времена на поле трудились от зари и до зари все от мала до велика, выходили туда целыми семьями, всем селом или всей деревней выходили, чтобы потом собрать урожай, коего, как уже говорилось, хватало большинству сельских жителей лишь до рождества Христова. А теперь какой-нибудь десяток механизаторов управляется с десятками тысяч гектаров пахотной земли, и земля эта, по-хорошему возделанная и ухоженная, год от году делается все щедрее и щедрее.

Да только ли в этом дело?! В прежнее время ты был одинок перед всеми превратностями своей хлеборобской судьбы. Достался ли тебе, невезучему, солончак при дележе земли, подкинул ли какой-нибудь злодей «красного петуха» на твое гумно, когда ты только что привез туда снопы и сложил перед молотью в

скирды, сопрело ли зерно в дырявых твоих закромах, навестила ли тебя частая и черная гостья по имени Засуха — иди, мужичок, по миру, выпрашивай милостыню, ибо никто не поспешит к тебе на помощь. А теперь твоя малая судьба, твоя доля входит составной частью в большую судьбу, в большую долю твоей великой Советской Родины, которая не оставит тебя в беде.

Взять хотя бы 1972 год, сложившийся для наших хлеборобов, а стало быть, для всей страны столь драматически: обширные районы, считавшиеся традиционно главными производителями зерна, были подвержены невиданно жесточайшей засухе и не могли дать того, что от них ожидалось. Человеку пожилому, тому, кто прихватил еще в своей жизни периода доколхозного, легко представить, что творилось бы на ту пору при таком-то вот стихийном бедствии. Слезами бы горючими была полита, орошена земля, на которую за все лето не упало ни единой капли дождя.

Страна же наша вышла с честью и из этого тягчайшего испытания и доказала — в какой уж раз! — свою великую жизнетворящую силу, доказала, что Советской нашей власти все по плечу.

Большой хлеб Казахстана и Сибири, взятый у капризной и немилосердной природы, буквально с бою, позволил всем нам свободно вздохнуть.

Природа как бы нарочно приготовила нам это испытание, словно бы она решила попытать прочность того здания, которое мы называли: *дружба народов*. Да, помимо всего прочего, действительно испытывалось именно это — как велика и жизнедеятельна дружба. Гигантскую битву за хлеб вели все народы, все республики нашего Союза. Мы все теперь знаем, какое веское слово сказала о себе матушка-целина. Думается, уместно будет вспомнить при этом, что ее осваивали представители 102 национальностей нашей страны. И сейчас там нет, пожалуй, как свидетельствует целинный ветеран Федор Трофимович Моргун в своей замечательной книге «Хлеб и люди», и одного хозяйства, в котором не работали бы представители меньше чем десяти национальностей. Он называет этих людей, и среди них и полтавчанина Яроша, и кокчетавца Ярошенко, и рязанского паренька, ставшего отличным механизатором, Волкова, и хлопца из Смоленщины Но-

виков, и татарина Касымова, и белоруса Клещева, и москвича Скороходова, казахов Мажитова и Мурзахметова, немца Бурбаха и мордвина Алексеева — разных по положению и образованию людей. Тут и простые рабочие, и секретари обкомов партии, механизаторы и директора совхозов. И всех их называют почтенным словом — хлеборобы. Целина едва лишь достигла юношеского возраста. Что успеешь сделать ты, человек, отдельно взятый, за столь короткий срок? Очень немного. А целина, объединив вокруг себя миллионы горячих человеческих сердец, миллионы советских граждан, наших с вами соотечественников, преимущественно молодых, направляемых волею партии и ею же воодушевленных, за мизерный этот срок успела дать стране более десяти миллиардов пудов хлеба из одного лишь Казахстана.

Вот что могут сделать руки людей, живущих в семье великой, вольной и новой!..

Техника, техника, техника... Проникая в плоть и кровь в жизни современной деревни, она меняет не только внешнюю ее физиономию, но и психологию, сферу духовной деятельности крестьянина или крестьянки. Надо указать еще и на то, что за последние годы расширилось понятие сельской интеллигенции и возросло ее число. Добрый десяток профессий, которые вчера еще были лишь достоянием города, ныне объявился на селе, утвердился там напрочно со всеми вытекающими отсюда последствиями — надо думать, последствиями положительными.

Кстати, надобно заметить, что покамест люди новых на сельской нашей ниве профессий, в основном техническая это интеллигенция, используются в большинстве случаев только в интересах хозяйственных, и реже всего — в интересах воспитательных. Идет ли речь о клубных лекциях, о клубной ли самостоятельности, о спортивных ли делах — по привычке, по инерции, вспоминают тотчас же все о тех же учителях. Они готовят и праздники, пишут лозунги и плакаты, организуют хоры и другие коллективы, сами, что называется, поют, пляшут и сказки рассказывают.

Увеличение числа интеллигентов на селе должно было бы рассматривать с точки зрения увеличения возможностей и в воспитательной работе среди колхозников, не только, стало быть, возможностей экономиче-

ского преобразования деревни, но и ее духовного облика, что чрезвычайно важно.

Рядовой колхозник, — что сказать о нем? Тот ли он, что был вчера или позавчера? Вопрос этот скорее риторический и ставят его обычно для того, чтобы сейчас же ответить: разумеется, не тот. Рост производительных сил сельского хозяйства, постепенное превращение сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, подъем культуры деревни (более половины сельских тружеников имеет среднее и высшее образование!) и коренная перестройка сельского быта — все это ведет к изменению социального облика и психологии крестьянина. И это факт, казалось бы, настолько очевидный, что не видеть его может разве что незрячий или человек, по какой-то странной причине не желающий замечать и видеть. Чудно наблюдать в наших, скажем, литературных кругах такое явление, к сожалению и к удивлению нашему, довольно нередкое.

Родившийся когда-то и выросший в деревне, иной из нас, перебравшись в городскую квартиру со всеми ее современными коммунальными удобствами и услугами, на страницах своих книг льет слезу горькую по поводу утраты современным селом неких, с его точки зрения, привлекательно-романтических признаков, как-то: избышки с соломенной крышей, деревенской баньки, которая топилась бы по-черному, колодезного журавля где-то на пригорке, от которого, согнувшись в три погибели, деревенская женщина несла на коромысле к себе в дом полные ведра воды, — о, сколько поэтических строк затрачено для воспевания этого, в общем-то тяжелого, если не сказать, каторжного, труда! А сколько песен про ту самую девицу, которая ходила по воду и встретила по пути добра молодца! А что-то не слышно песен по поводу того, что теперь эта родниковая, ключевая, чистая-пречистая водица сама приходит прямо в избу колхозницы, либо — в виде колонки — прямо к ее окну аль калитке. И еще больше поэтических строк посвящено керосиновой лампе.

Между тем современный сельский житель не желает — и не будет! — жить в курной избе при коптилке. Подавай ныне ему все, чем пользуется городской человек в нынешний цивилизованный век: воду, электричество, холодильник, паровое отопление, телевизор, сти-

ральную машину, Дворец культуры для всех, стадион и прочая и прочая. Что-то я не видел, чтобы кто-то из моих земляков плакался относительно того, что его соломенную крышу заменила красивая кровля из шифера или железа, а под потолком висит не семилинейная керосиновая лампа, а электрическая в семьдесят или сто свечей. Слов нет, не со всем, исчезающим в деревне при нашествии техники, мы расстаемся без горечи. Кое-что хотелось бы сохранить на день нынешний и прихватить с собой на день грядущий. Разве, к примеру сказать, знаменитые сельские посиделки и девичники были бы менее поэтичными и целомудренными оттого, что проходили бы они не в тесной каморке, а в просторной комнате, прекрасно освещенной электричеством? И разве плохо было бы оттого, что парни и девушки, пришедшие на такие посиделки, состязались в песнях, в добром остроловии и в традиционном крестьянском ремесле — вязании чулок и носков, в вышивании полотенец, платков, плетении кружев? Не мешали бы современной деревне и многие веселые игрища, которыми было так богато старинное наше село и которые теперь начисто исчезли. А хороводы, а праздник венков из живых цветов на сельском лугу где-нибудь по-над речкой или на лесной опушке? Все это только бы дополняло и еще более украшало быт и облик современной нашей сельщины. Кажется, лишь северная русская деревня сумела сохранить многое из того, что названо выше, но другие, увы, не сумели этого сделать. Вот об этом думаешь с понятной грустью.

Жизнь, однако, есть жизнь, время — время, оно идет и делает свое дело. Село наше не хочет вечно отставать от города, оно стремится шагать с ним рука об руку и на одном уровне. Процесс этот необратимый. Если литератор (а эта профессия мне ближе и потому я говорю о ней прежде всего) загодя не приготовил себя к этим неизбежным социальным и нравственным изменениям в нашем обществе, то он будет самой логикой вещей отброшен далеко назад, что обернется для него глубоким творческим кризисом. Ну а что же надо делать, чтобы не оказаться в таком критическом положении? Вывод подсказывается сам собой. Мне лично он видится так.

Если, скажем, ты как писатель исследуешь совре-

менную деревню, то не рисуй ее по образу и подобию своему, то есть такой, какой либо ты хотел ее видеть, либо такой, какой она возникает в твоём воображении. Гляди на нее трезвыми глазами современника, а точнее сказать — глазами людей, которые живут ныне в этой деревне, для которых она — юдоль, колыбель, где нашли они свою долю от первого вздоха до последнего. Узнай эту деревню и ее жителей. Узнай и полюби. Паче того, полюби их труд. Люби просто, естественно, как любят люди, избравшие труд сеятеля делом всей своей жизни. И пускай тебя не пугает технический прогресс, как не пугает он твоих геросов — сельских тружеников. Иди с ними в ногу, более того — своими средствами помогай вторжению технической революции на сельскую ниву, пусть заглавной фигурой твоих произведений станет механизатор, который уже стал таковым на колхозных полях, а значит, и в жизни современной деревни.

Преображение нашей Советской Родины идет широким фронтом. Оно захватило и нашу сельщину со всеми радостными для нее и для всех нас последствиями. С чувством исполненного высокого долга перед страной, перед всем народом, перед днем вчерашним, сегодняшним и грядущим трудится на ней и человек, которого мы нарекли и гордым и прекрасным именем: СЕЯТЕЛЬ!

СТАЛЬ И ХЛЕБ

Жил-был в моем родном селе упрямец Яков Тверсков, прозванный почему-то Соловьем. Страшный ворчун, Яков ни с кем из односельчан не дружил, и не припомню теперь, был ли с кем-нибудь из них хотя бы в отдаленном родстве. Крайне недоверчивый, он почему-то особенно боялся города, полагал, что именно оттуда сельскому жителю надлежит ожидать всяческих напастей; всех городских называл не иначе как нахлебники, на всякие возражения с угрюмой настойчивостью всегда твердил одно и то же:

— Я и без вашего города проживу. Хлеб выращу сам, а на одежду жена холсты соткет...

Наши мужички, решив проучить каркающего Соловья, в одну ночь унесли у него топор, в другой — мотыгу, в третью — однолемешный аксайский плужок. Наш Соловей, разумеется, грозил всем подряд одно-

сельчанам. Пропажа, конечно, отыскалась, но получил ее владелец не прежде, чем выслушал от мужиков внушение:

— Ты же, Соловей, уверял нас, что можешь прожить без города. Вот бы и жил. Топор, мотыга и плужок-то городские люди сделали — зачем бы тебе все это в твоём хозяйстве, а? Молчишь? То-то и оно.

Времена, о которых упомянуто выше, миновали безвозвратно. И вспомнил я про них для того, чтобы сказать: сельский труженик не только не отстранялся от вторгающегося на его ниву или на его подворье от городских предместий железа, но рад-радехонек был такому вторжению. Еще в доколхозные времена мы, деревенские ребяташки, вдохновенно декламировали в школе безыскусные строчки:

Слушайте — грусть
 о металле
Льется по нашей стране:
— Стали! Побольше
 бы стали!
Меди! Железа — вдвойне!

Нынешние наши стихотворцы, искусные по части рифмования, улыбнутся этому «стране — вдвойне», но тогда мы не вникали в такие тонкости, нам важен был смысл, а смысл этот был действительно важным; им жила вся страна, он много значил для грядущего, каковое несло с собой тяжкие испытания.

Я привожу строфу стихотворения Александра Жарова по памяти — с того времени, когда оно было мною заучено, прошел не один десяток лет. Долгое время мне казалось, что в первой строчке стихотворения вместо слова «грусть» должно стоять другое — «плач», поскольку больше подходило к случаю: металла, металла и еще раз металла, настойчиво требовала одевающаяся в броню, чтобы выжить и победить, юная Республка Советов, родившаяся под злобное улюлюканье капиталистического мира, не оставлявшего ни на час лютот мысли расправиться с детищем Октября.

А деревня ждала свои сто тысяч тракторов, о которых говорил Ленин. Сейчас село получает их свыше трехсот тысяч только в год, ленинская цифра кажется весьма скромной, а когда-то она захватывала и поражала воображение. Триста тысяч — это триста тысяч; не один трактор, который в тридцатом году вкатился на

улицу моего села и взбудоражил всех жителей от мала до велика. По нынешним понятиям его и трактором трудно назвать. Однако вся ребятня, сколько ее ни было на селе, мчалась за ним, задыхаясь в пыли и дыму, до самой околицы, где этот огромный черный железный жук остановился наконец и замолчал. Не удивительно, что именно дети, которым принадлежало завтра, так бурно реагировали на всякую новь, вторгающуюся в деревни и села. Деды и отцы, разумеется, поначалу были сдержаннее нас, они хотели бы увидеть железного коня в работе. Сколько там, в «фордзоне», десять или двенадцать лошадиных сил? Трудно поверить, чтобы в этом самоваре могла поместиться столь могучая энергия...

Как это ни странно, но первым вышел на поле, где урчал трактор, Яков Соловей. Вернувшись в село, поспешил поделиться с мужиками своими, как бы мы теперь сказали, впечатлениями. Я случайно оказался возле своего отца и потому хорошо запомнил то, что сказал дядя Яков: «Ну, как вы думаете, а? Трахтур, трахтур! Шуму-то, гаму-то сколько было!.. И что же? Ползает, как пеша вошь... И вонищи от него — не продонешь, всю землю нефтой пропитает, на ней не то что хлеб — и репей аль осот не вырастут!»

Сообщение Соловья мало кого смутило — от Якова много и нельзя было услышать.

Если что и смущало моих односельчан, то разве лишь то, что трактор был не нашенским, а заграничным, «странным», как говаривалось у нас, и стоил он, как выяснили мужики, зело дорого. «Не разорит ли нас мериканец, не обдерет ли досиня за энти трахтуры?» — с тревогой думал мужичок перед тем, как написать заявление о приеме его в колхоз.

Когда же на Неве, а затем и на Волге из заводских цехов один за другим выехали отечественные тракторы, и это сомнение насчет дороговизны заморских машин отпало. Я за коммунию, сказал мужик! Даже строптивый Соловей что-то в конце концов уразумел. Прозванный еще и музейным экспонатом за то, что один-одинешенек в нашем селе оставался единоличником, он в сорок втором году, когда фронт подкатился вплотную к Волге, а стало быть, и к его подворью, пришел в правление колхоза и положил перед председателем заявление, присовокупив к нему еще и устное:

— Принимайте, одному страшновато стало. — Позади него стояла улыбающаяся дочь — она уже давно была в колхозе, а во время войны, как и многие ее сверстницы, села за руль трактора.

Обычно наш брат-литератор не любит оперировать цифрами: мол, цифры и разная там статистика подсушивают стиль, делают его казенным, холодноватым. Но, думается, цифры только равнодушному оку могут показаться мертвыми, неподвижными, холодными. Для живого — они живые, трепетные, горячие. А потом — как на них взглянуть.

В восьмой пятилетке наша промышленность дала сельскому хозяйству 1 467 300 тракторов. По сравнению с нынешними потребностями, оказывается, еще мало. За годы девятой пятилетки их будет поставлено 1 700 000. Уже к семидесятому году на каждого сельского работника приходилось в нашей стране свыше 11 лошадиных сил. А ведь было время, когда семья, насчитывавшая иной раз десять и более ртов, но имевшая двух лошадей, считалась на селе зажиточной. А тут на одного — свыше одиннадцати! В среднем теперь на каждый колхоз приходится 63 трактора. А в начале коллективизации три-четыре машины считались великим богатством.

Мы говорим о тракторах, однако на земле не только пашут, но и сеют, убирают, обмолачивают. За восьмую пятилетку на сельскую ниву пришло 717,4 тысячи грузовых автомобилей, почти 469 тысяч зерновых комбайнов. К концу пятилетки будет поставлено селу соответственно 1 100 000 и 543 тысячи. И опять, наверное, сеятель скажет: дайте побольше и получше качеством!

Доживи Яков Соловей до сегодняшних времен, вряд ли даже он решился бы сказать городскому рабочему: «Я тебя кормлю». А если бы и сказал такое, тотчас услышал бы в ответ не менее горделивое и справедливое: «А я тебя!» Научно-техническая революция, век умного металла, устремившегося на наши пажити из города, из заводских цехов, решительным образом сокращают монополию сельского жителя на производство продуктов земледелия и животноводства. И — что особенно важно подчеркнуть — никто даже из самых потомственных хлеборобов что-то не сокрушается по такому поводу, напротив, чувствует себя куда лучше сейчас, когда десяток механизаторов и распахивает поля, и за-

севают их, и проводит уборочную страду, и отвозит хлеб в государственные закрома, — куда лучше, чем тогда, когда на поле выходил и стар и мал и трудился от зари до зари.

Теперь, когда хлынул поток мощной техники в деревню, когда сюда двинулись «электрические реки», заметнее меняется ее пейзаж. Село становится индустриальным, растет достаток хлеборобов, крепнет их привязанность к нашему, социалистическому «мы», победившему извечное «мое». Нынешний крестьянин — труженик нового, социалистического склада, рачительный хозяин. В его характере прочно вписались коллективизм, беспокойство за общее дело, забота о том, чтобы, развернув социалистическое соревнование, облечь в плоть и кровь все планы и мероприятия партии, направленные на дальнейший подъем сельского хозяйства.

Неизбежное следствие бурного развития деревни на современном этапе коммунистического строительства — изменение ее социального облика. Уже к началу семидесятых годов 33,8 процента — треть населения, занятого в сельскохозяйственном производстве, состояла из рабочих и служащих. А если приплюсовать 12 процентов колхозных механизаторов, то не возникнет ли перед взором нашим картина, в корне взламывающая привычные представления о селе как таковом?

Двенадцать процентов! Но именно они и задают тон в колхозном производстве, поскольку имя им — механизаторы, которые и пашут, и сеют, и выращивают, и жнут хлеб, и выпекают его на своих колхозных хлебопекарнях для нужд селения. Во многих деревнях женщины упрятали свою квашню за ненадобностью куда-то на чердак, выходят к магазину одновременно с появлением там только что выпеченного, пахнущего вкусным парком хлеба и уже по-городскому ощупывают его: мягок ли он, «дышит» ли, не пригорел ли, не сильно ли потрескался... Она, хозяйка, вернется домой, где за столом сидят и ждут ужина муж либо сын, которые у нее не простые колхозники, а механик или мастер-наладчик. В иной семье за столом сразу могут оказаться и инженер, и электрик, и электросварщик, и мелиоратор — ведь в колхозном производстве в настоящее время насчитывается до 120 профессий и специальностей, и среди них являвшиеся «чисто промышленными».

Как и следовало ожидать, в условиях развитого со-

циалистического общества город и село стремительно двинулись навстречу друг другу, и вот уже передовые их отряды сомкнулись, влились друг в друга. Смычка города и деревни, о которой много говорилось в первые послевоенные годы, обрела не только зримые, но совершенно реальные и притом глубокие черты, за которыми уже слышится голос завтрашнего дня. Придет время, и рабочие городов и сел будут отличаться друг от друга только тем, что трудятся в разных отраслях производства.

Я начал от стихов Александра Жарова, его же стихами и закончу:

Гармонь, гармонь,
родимая сторонка,
Поэзия российских
деревень!

Гармонь и поныне любят на селе. Правда, концерты, передаваемые по местному и Центральному телевидению, приглушили малость голоса балалаек и гармоний. Но куда важнее другое: культурные ценности, в том числе и музыкальные, перестают быть принадлежностью города. Через радио, телевидение, сельские Дворцы культуры, тесно связанные с городом, эти ценности пришли сегодня в село и стали общедоступными для деревенских жителей. Кто же они нынче, люди нашей сельщины?

Я пишу эти строчки и вижу, как мой восьмилетний племянник Вовка, сын комбайнера, сидит в кабине «Жигулей» и отыскивает в портативном приемнике радиостанцию «Маяк» — он знает, на какой волне ее искать, давно наловчился. А его брат, десятилетний Колька, уже успел облазить весь комбайн, который водит отец. Было бы у этого Кольки побольше физических силенок, он бы повел комбайн на поле, потому как изучил его до тонкостей. Вот вам потомственный механизатор, иначе говоря — потомственный рабочий.

А что с того, что живет он не в городе, а на селе? Металл и хлеб ныне побратались!

КОЛОСЬЯ ЖИЗНИ

Я уже говорил, что самые горькие и самые сладкие ощущения детства у меня так или иначе связаны с хлебом.

В разгар страды мальчишку не с кем было оставить дома, и мать брала с собой в поле. Там и оставляла где-нибудь в тени, под телегой, скажем, под присмотром няни — моей восьмилетней сестры. Нянька, разумеется, старалась как можно поскорее от меня избавиться: неподалеку был пруд, и в нем уже плескались и визжали от восторга ее подружки. Нажевав черного хлеба в тряпицу, она совала мне в рот и начинала яростно баюкать — я засыпал.

Проснувшись однажды и не обнаружив сестры, я поднялся на собственные ноги и поковылял неуверенно в рожь. Забрел в нее и, конечно, заблудился. Ленивый шепот колосьев, настойный, густой, накаленный солнцем воздух, однообразный стрекот кузнечиков, отдаленный размеренный свист косы быстро утомили, разморили меня, я споткнулся о горячий ком и, поплакав немного, опять заснул.

Между тем как мне рассказывали после, отец совершал с крюком очередной заход. Он махал себе и махал, делая короткие шмыгающие шажки, пот капал с прилипших к мокрому лбу волос, глаза тупо, почти невидящие глядели вниз, на мерцающее жало косы... Лишь в последний миг, когда крюк готов был вновь захватить порцию спелой ржи, отец увидел меня. Крюк полетел в сторону. Бледный, помертвевший отец схватил меня и побежал к телеге как безумный. Он долго сек череседельником сестренку мою, рядом стояла плачущая мать (случай этот был позднее использован мною в романе «Вишневый омут»).

А по небу уже побежали тучи, застучал по телеге крупный дождь, на сжатой лишь наполовину полосе валялись снопы, которые не успели уложить в крестцы. Отец запряг лошадь и, совершенно несчастный, повез всех нас домой. Ночью он много раз просыпался, выбегал во двор и с ненавистью, тоже понятной лишь хлеборобам, глядел на закрытое тучами небо: от хлеба, оставленного под дождем в поле, как и от засухи, пахло голодом...

Позднее случалось, что отец брал меня с собою смотреть хлеба — это великий праздник для землепашца. Смотрят хлеба обычно по воскресным дням, ранней-пре ранней порою и в то время, когда можно уже определить с известной долей точности, быть урожаю или не быть. Село мы покидали вместе со стадами коров и

овец, покидали еще затемно, а когда подымались на гору, из-за этой самой горы навстречу нам выкатывалось огромное огненно-красное солнце.

Отец, умиротворенный, веселый, как и солнышко, тихо, незлобиво понукал нашу Карюху, она бежала нешибкой рысью, то и дело нагибалась, чтобы прихватить росного пырейка; из-под ее ног часто выпархивали стрепеты и улетали на восток, красные в солнечных лучах и прекрасные, как жар-птицы. У своей полосы отец останавливался — не заходил, заплывал, широко разводя руками, в стремительно поднимающуюся вверх рожь, выдергивал по пучку в разных местах, сравнивал, приносил их мне в телегу, и я пьянел от неповторимого, единственного в своем роде запаха — уже и не травы, но еще и не хлеба. О поля моей Родины, кто от дней своего детства дышал этими вашими запахами, тот уж никогда не позабудет их, в каком бы краю ни оказался потом!

Мы ехали дальше, и всем троим было очень хорошо. Карюхе — оттого, что было еще прохладно, солнышко хоть и светило вовсю, но еще не обжигало крупа, слепни не одолевали, комары разлетелись. Отцу было хорошо оттого, что рожь не подвела. Мне — оттого, что еду вместе с отцом, что не старших моих братьев, Саньку и Леньку, взял он с собой, а меня, что уже отец дважды, закуривая, передавал вожжи мне, и что я уже успел выкупаться в росе, и что — самое главное — дорога еще вся впереди, мы еще не глядели просо, пшеницу, овес, и что по пути я примечу, где и кто посеял горох, примечу это с тем, чтобы потом совершать свои гороховые набегі наверняка.

Впрочем, я не ждал позднего лета. Уже сейчас, заметив сизовато-белесые листочки, прыгивал с телеги, рвал эти листья и набивал ими рот. Они хранили в себе вкус и аромат зеленого гороха той поры, когда он бывает особенно сочен и сладок, то есть самой опасной для него поры, потому что именно в это время деревенские мальчишки штурмуют его и никаким сторожам не справиться с ними.

Где-то в полдень мы возвращались домой. Рожь, привезенная нами, потом долго еще находилась в красном углу передней, под образами.

Случалось, однако, что отец возвращался с таких вот «смотрин» чернее и мрачнее самой черной тучи. Никто

не смел ни о чем расспрашивать его: все понимали что их ждет впереди.

И вот теперь я думаю: помним ли мы все это, когда сейчас, в наши дни, заходя в булочную, долго ощупываем хлеб, достаточно ли мягок он, дышит ли он под нашими капризными пальцами, и отворачиваемся от прилавка, коли хоть и мягок хлеб, но не пахнул на нас теплым духом печи? Наверняка не думает и не знает об этом вон та молодая мать, что внушает своему малышу, выйдя из магазина, серьезно и озабоченно внушает, что нельзя бросать недоеденную сдобную булочку прямо на тротуар — для этого, мол, имеются урны. Это для хлеба-то урны?! И думаем ли мы все обо всем этом, когда для семьи из двух-трех человек набираем хлеба, которого хватило бы на большую артель волжских грузчиков, а потом не знаем, что с ним, высохшим и зачерствевшим, делать? Не думают о том и в столовых, в ресторанах, когда, демонстрируя свою щедрость, приносят на стол горы черного и белого хлеба...

Тут я останавливаюсь, ибо предвижу кривую усмешку тех, что готовы уж заподозрить меня в скупердьяйстве и в иных пороках, сопровождающих неизбежно людей скуповатых. Но ведь на свете есть другие слова, которые никак уж не несут в себе отрицательного начала. Например, «рачительный», «бережливый», «хозяйственный» и просто «разумный».

СТРАДА

Неизмерима «цена» его, хлеба!

«Цена» — это тревожные ночи, труд и пот, не измеряемые никакой часовой стрелкой.

Великая хлебная страда России! Всей Родины нашей!

Когда она завершается, отовсюду, со всех концов обширного Отечества, идут рапорты о собранном, обмолоченном и упрятанном в государственные сусеки зерне. Украинский миллиард, за ним поспешает, просится обнародовать себя миллиард казахстанский, сотни миллионов пудов хлеба Кубанского, Ставропольского, Ростовского, Волгоградского, Саратовского, Тамбовского, Куйбышевского, Алтайского — всех краев и не назовешь, откуда, умножая нашу мощь и величие, пришел Большой Хлеб.

За двумя этими многозначными словами, написанными с большой буквы, слышится трепетное, то радостно-взволнованное, то тревожное, биение миллионов человеческих сердец, видится героическое усилие громадной армии хлеборобов, к которым по нынешним временам мы с одинаковым правом причисляем не только сельского жителя, но и жителя городского, одарившего наши нивы великолепной техникой. За праздничным столом сельского труженика он, горожанин, будет не только желанным гостем, но и хозяином.

Обо всем этом думал я, когда вернулся из большой поездки по родным для меня саратовским краям, в ожидании той минуты, когда Алексей Иванович Шибаев, первый секретарь областного комитета партии, оторвется наконец от своих телефонов и когда я смогу поделиться с ним впечатлениями.

Перед ним, как перед командующим где-нибудь в армейском или фронтовом штабе в разгар сражения, развернута карта боевых действий — карта Саратовской области, на которой опытный глаз увидит всю картину разворачивающихся событий: в одном районе осталось столько-то неподобранных валков, в другом столько-то, в третьем — столько-то. Из его разговора с невидимыми для меня людьми улавливаю хорошо знакомые имена: Колосов... Бебешко... Луговец... Точка... Бабушкин... Белопахов... Рогожин... Это — секретари Хвалынского, Ершовского, Калининского, Балашовского, Екатерининского, Аткарского, Лысогорского райкомов партии. Часто называются и люди незнакомые мне, среди них партийные работники других районов, директора многочисленных саратовских предприятий; весь сложный технический, хозяйственный, экономический механизм области, людские ресурсы, пропагандистские силы, — все приведено в действие и подчинено одному — Хлебу.

Он вырос на Саратовщине, перенесшей три года подряд засуху, большим, очень большим, этот хлеб, и было бы преступлением не вырвать его из рук немилосердно раскапризничавшейся природы: дожди, да не простые, а ливневые, и не кратковременные, а обложные, зарядили и поливали неподбранные валки и открытые тока со свезенными туда многими миллионами пудов золотого зерна, поливали денно и нощно. Капля драгоценнейшей влаги, за которую в прошлом году мой земляк-хлебороб готов был вознести молитву небесам, сей-

час оборачивалась к нему лютейшим врагом. Где же вы были, боги небесные, в прошлом-то году?! Никто, разумеется, ни тогда, ни теперь не вспоминает про господ бога. Старые люди — потому, что по собственному горькому опыту знали, что боги в таких делах — плохие помощники, ну, а молодые, те и вовсе не верят ни в какие потусторонние силы, для этого они слишком грамотный народ. В борьбу за хлеб ныне наше социалистическое государство, наша партия двигают всю мощь своей могучей индустрии. И труд земледельца теперь по справедливости мы называем разновидностью труда индустриального рабочего. В самом деле, так ли уж велика разница между сельскохозяйственным рабочим, то есть механизатором, и рабочим городским?

Разница, конечно, невелика, но она все-таки есть, и весьма существенна.

Секретарь обкома продолжает давать свои короткие, и вправду очень похожие на боевые, приказы, распоряжения руководителям районов, а я склонился над книгой-альбомом под названием: «Саратовская областная партийная организация в борьбе с последствиями засухи 1972 года», склонился над документом, бесстрастно, как и полагается документу, засвидетельствовавшему с помощью, казалось бы, холодных и равнодушных цифр и чисел весь драматизм ужаснейшего прошлого лета. Коротко, без всяких комментариев, в книге сообщается о том, что за последние 57 лет только 12 обошлись без опустошающей все и вся засухи. Узнаю из той же книги и о том, что из 4613 прудов 1900 не были заполнены водой, а в оставшихся прудах имелось только 180 миллионов кубометров воды против 550—600 миллионов — в обычные годы. Знаем ли мы, ни на один час, ни на один день не испытывавшие, что такое нехватка хлеба, знаем ли мы, что в хозяйствах Заволжья, ставших одними из основных производителей пшеницы, и в части Правобережных районов в результате жесточайшей засухи в колхозах и совхозах зерновые культуры погибли на площади в один миллион четыреста тысяч гектаров. Знаем ли мы и про то, мы, которые не можем себе представить накрытого стола без мясного блюда, знаем ли мы про то, что в тех же хозяйствах почти полностью погибли посевы кормовых культур и травы на естественных пастбищах, что моим землякам — да только ли им одним! — чтобы спасти скот, уберечь его от бес-

кормицы — этого наилютейшего врага животноводов, пришлось двинуться в Прибалтику, в Алтайские, Казахстанские и в другие далекие края, чтобы заготовить там солому, каковая в том году тоже ценилась на вес золота; хорошо, что наше социалистическое общество таково, что и беды и радости оно делит пополам среди своих членов, не оставило оно в беде пострадавших в засушливом тяжелом году, пришло вовремя на помощь; все, с кем бы я ни встречался в эти дни, в один голос утверждали, что ни люди, ни животные и не почувствовали жестокого удара, который неизбежно обрушился бы на них после столь страшного стихийного бедствия.

И все-таки нам должно указать на ту разницу, на то различие, которое покамест еще существует между цехом городским и гигантским цехом, в котором производится хлеб. В цех землепашца-сеятеля пока еще мы не сможем в должном масштабе и в надлежащее время подвести спасительную влагу (придет время, и такая возможность явится!), над почти не имеющим границ — так он велик! — цехом хлебороба пока что нет крыши, под которой бестревожно и спокойно в любое ненастье можно было бы продолжать работу, то есть косить, подбирать валки, провеивать и просушивать не торопясь драгоценное зерно. А люди, землепашцы, казалось, сделали все, что надо было сделать. В упомянутом мною альбоме об этом сказано так: «В соответствии с мероприятиями, намеченными в свете указаний Политбюро ЦК КПСС, весенний сев 1972 года был проведен в сжатые сроки. За посевами был организован тщательный уход». Сделано, повторяю, было все, кроме одного: русский чернозем, коему отдавали благоговейную дань Докучаев и Тимирязев, не получил «добавки» — так эти великие мудрецы земли называли влагу, воду. В наших условиях, говорил в Балашове, на партийном активе, первый секретарь Саратовского обкома, вода — урожай, влага — хлеб. Говоря так, он, как и все мы, участники того совещания, вспомнил про матушку-Волгу, которая теперь, дав людям свет, устремилась в заволжские степи, чтобы дать еще хлеб, чтобы преобразить коренным образом флору и фауну этого некогда дремлющего, почти мертвого, богатейшего в потенциале края. Вспомнились сводки погоды, которые падали на склоненные в горьких думах головы моих земляков как проклятья:

«16 мая. Переменная облачность без осадков, темпе-

ратура воздуха +30. Интенсивность суховея усиливается»; «2 июня. Без осадков. Суховей. Температура воздуха +35»; «28 августа. Малооблачно, без осадков. Температура воздуха +30 — +35. Сильные ветры, пыльные бури».

Заметьте, эти самые суховей и пыльные бури припожаловали на нашу кормилицу ниву как раз в пору, когда закладывается будущий урожай — в мае кончается сев яровых, в августе начинается сев озимых. Можно ли себе представить коварство больше и злее этого!

Стоит ли после этого удивляться, что в 1972 году моя родная Саратовщина смогла продать государству лишь 430,7 тысячи тонн зерна, что составило только 15 процентов не от обязательств даже, а от плана. Но уже в году 1973-м была обнародована ошеломляющая цифра, когда на наш державный стол положен каравай саратовский весом в триста одиннадцать миллионов пудов, мы могли бы сказать, что и у небесных сил есть все-таки совесть, что и природа вроде бы устыдилась и вернула сполна нашим нивам влагу, которую она уворовывала в течение последних трех лет. Но полно, так ли уж она была милостива, стихия, к хлеборобу и в нынешнем урожайном году? Спасибо ей за то, что в пору всходов и вызревания хлебов вдосталь дала им и воды и тепла. А вот в горячую, страдную пору уборки...

Набрасывая на бумагу эти строки, я держал перед собой саратовскую газету «Коммунист». Повыше ее заглавия большими красными буквами начертано: «Трудящиеся области верны слову, данному партии и государству: в закромах Родины 280 миллионов пудов саратовского хлеба!» В течение месяца, находясь на саратовской земле, я мог наблюдать за преобразованием этой рубежной цифры. Она постоянно присутствовала, располагаясь правее и чуть ниже названия газеты. Рядом с нею — столбик, похожий на градусник, поделенный на равные отрезки, в самом нижнем проставлена цифра 20, а в самом верхнем — 280. Когда эта, последняя, впервые объявилась в газете, она была заполнена изображением хлебных зерен лишь на одну треть, где-то между отметкой 100 и 120.

Но магическая, манящая и пугающая одновременно цифра 280 уже жила в сердце каждого моего земляка задолго до того, как была произнесена вслух и обнародована.

Надобно сказать, что цифра 280 стала заполняться золотыми крупичами зерна особенно стремительно, а названа она как высокий рубеж в пору, когда на смену погожим дням пришли дни сплошь ненастные, хлестал дождь, который потом не переставал в течение многих дней. Не было ли с их стороны риска, когда такая огромная цифра была названа в столь непогожую пору, спросил я Алексея Ивановича Шибаева. Сперва он улыбнулся, заметив, что в хлебоборобском деле без риска вообще не обойтись. А потом — уже совершенно серьезно:

— На подвиги людей можно звать, лишь поставив перед ними трудную задачу и указав на высокую цель. Легкие рубежи героев не рождают.

Рубеж назван, цель намечена. Теперь надобно было взять этот рубеж и достигнуть намеченной цели.

«Коммунисты, вперед!» — опять, как во все горячие времена и во всех горячих делах, прозвучало над пажитями. Одно за другим появлялись Обращения областного комитета партии к земледельцам и всем трудящимся Саратовщины. А страна двинула на ее поля колонны комбайнов и грузовых автомобилей. Мне, жителю столицы, было радостно слышать и видеть, как из-за московских автоколонн велись настоящие баталии между руководителями хозяйств — председателями колхозов, директорами совхозов, ибо всем хотелось заполучить водителей-москвичей, оставивших о себе по прежним годам самую добрую память. Едва разгрузившись на станции, люди эти, не в пример иным, тотчас же просят, чтобы им поскорее указали место работы, а не то, где они будут жить, не спрашивают москвичи и о том, сколько они заработают, как будут питаться, отдыхать и прочее, — они знают, что приехали на великую хлебную Страду, каковая потребует от них собранности, напряжения всех их физических и душевных ресурсов. Я видел московских водителей в деле, видел их и днем и ночью, и на хлебных трассах, и на полях у комбайнов, — многие из них работали по восемнадцать и более часов в сутки, и никто не слышал от них жалобы на усталость, на прочие неудобства, неизбежные во время страды, да еще в столь трудных погодных условиях.

«Трудные погодные условия»... Написав такое, я подивился тому, как мало отражают эти три слова то, что было в действительности. Может быть, о ней кое-что

расскажет случай, о котором я не решился бы поведать людям, если б о нем не узнал от очень авторитетного свидетеля, Аркадия Петровича Колосова, первого секретаря Хвалынского райкома партии. Речь идет об одном молодом, почти юном для руководителя такого ранга председателе колхоза. Он молод и по возрасту и по стажу работы. Но он полон жизненных сил, его недавно избрали колхозники, год обещал быть хорошим, урожайным, — не славившаяся даже в благоприятные годы хвалынская земля на этот раз взяла да и показала свою удачу: 29 центнеров с гектара пшеницы по кругу! А у того председателя половина хлебов была еще в валках, а тут дождь, дождь, дождь... Но вдруг проглянуло солнышко, озарило не только поля, но и хлеборобские души, — заулыбался и юный председатель: назавтра можно будет возобновить подборку, и большой хлеб, выращенный колхозом, вновь потечет на элеватор. Всю ночь не спал, все смотрел на небо, усеянное звездами, — отлично! Заснул на какой-то час с третьими кочетами, и сквозь сон слышит: шу-шу-шу!.. Проснулся вмиг от недоброй догадки — дождь льет как из ведра. От досады, от горькой обиды, от собственной беспомощности, поскольку уговорить стихию было за его человеческими возможностями, от всего этого заплакал молодой председатель, слезы, натуральные слезы потекли из его вообще-то смелых и бесстрашных глаз. Вот ведь какое может быть в хлебную страду!

С первым секретарем Калининского райкома партии Владимиром Семеновичем Луговцом мы ездили по полям. И вот в колхозе, носящем имя А. С. Пушкина, увидели на одном из комбайнов человека с перевязанной рукой, не левой, а правой. Остановился, слез на минуту, опустил на землю. Спрашиваем, что случилось, — улыбается и вроде бы даже виновато: проявил неосторожность, угодил пальцем в какую-то шестерню, которых, как известно, у комбайна великое множество, и лишился этого пальца, перевязал наспех и — на комбайн, подбирает валки, как ни в чем не бывало, — к тому времени он уже успел намолотить около 8 тысяч центнеров. Я не отыскал в своем блокноте его фамилию, почему-то не занес ее туда, может быть, потому, что рассказал механизатор об утраченном своем пальце уж очень как-то буднично, как о чем-то не заслуживающем серьезного внимания, а может быть, потому, что

понадеялся на свою память. Фамилия запомнилась — Захаров, а вот как величают его по имени и отчеству — не знаю, не знаю также и о том, как кончилась для него страда, сколько намолотил, скольким помог, — но не сомневаюсь, что его имя следует искать где-то в верхнем конце списка механизаторов, отличившихся на хлебной ниве нынешним летом. С Владимиром Семеновичем Луговцом, поскольку он руководит районом, в котором расположено мое родимое гнездовье, село Монастырское, мне, естественно, и в прошлые годы, и в этом году приходилось встречаться гораздо чаще, чем с другими руководителями. Наблюдая его в этот раз, я, право, не знаю, когда этот человек спит, и спит ли он вообще. Понять его, конечно, можно: ведь Луговец был в числе тех, которые брали от имени земледельцев района свои более чем высокие обязательства по продаже хлеба государству: при плане что-то около 7 миллионов или чуть более пудов теперь надо было продать 14 миллионов, а затем, когда эта цифра материализовалась, всплыла другая — ее не называли, но ею полнились и тревожились сердца — 16 миллионов. Надо было видеть, с каким ревнивым любопытством и, кажется, даже тревогою, учинял он мне допрос относительно того, как обстоит дело с миллионами в других районах, откуда я только что возвратился, — скажем, в Ершовском, Балашовском, Екатерининском... Особенно — Ершовском, который, кажется, единственный из тех, которые еще могли бы отодвинуть Калининский на одну строчку ниже.

— Как там Яков Игнатьевич поживает? — допытывался Луговец, имея в виду Я. И. Бебешко, первого секретаря Ершовского райкома партии.

— Ничего, жив, здоров.

— Я не о том. Знаю, что здоров. Как у него с хлебом?

— Прекрасно.

— Он, наверное, в общую цифру включает и тот хлеб, который возвращает государству как прошлогодний долг.

— Разумеется.

— А мы не брали в долг. Даем хлебец прибыльный!

Я смеюсь, смеется и он, понимая, конечно, что хлеб есть хлеб, из какого бы района он ни был, важно, что он выращен и в конечном счете влился в ту поразительную цифру, о которой говорят повсюду и с удивлением,

и радостным воодушевлением: 311 миллионов пудов, это чуть меньше одной трети того, что продала в этом году государству вся Украина, целая республика, издавна считавшаяся нашей житницей. Не лишне, пожалуй, будет сказать и о том, что в это число входит 30 миллионов пудов саратовского проса — ценнейшей крупяной культуры, в которой страна всегда испытывала крайнюю нужду; недаром же сложена когда-то у нас поговорка: «щи да каша — пища наша». Имелась в виду, конечно же, не гречневая каша, и уж меньше всего рисовая, а именно пшенная, традиционно русская еда. А. И. Шибаев рассказал мне во время нашей с ним поездки в Балашовский район, что эти тридцать миллионов пудов проса были обещаны саратовцами Л. И. Брежневу во время его пребывания в области, а может быть, еще и раньше, потому как всеми было замечено, что первый секретарь областного комитета партии особенно пристальное внимание уделял просу. Он даже настоял на том («как же без риска?!»), чтобы пустующие по разным причинам поля, которые угрожали остаться «яловыми», засеивались просом в середине... июля. Надо ли говорить о том, сколько отыскалось скептиков, людей, которые не верили в полезность столь позднего сева. Оказался правым секретарь обкома: позднее, «шибаевское», как его в шутку называли мои земляки, просо дало урожай не хуже раннего — двадцать пять, тридцать, а в иных местах и сорок с лишком центнеров с гектара!

Победа совершена, но, рассказывая о ней, нельзя не назвать хотя бы нескольких людей из многотысячной армии саратовских хлеборобов, механизаторов и руководителей хозяйств, руками которых и совершено это чудо, выразившееся в столь внушительной цифре. Если продолжать разговор о Калининском районе, то это — комбайнер В. П. Счастливец, который выгрузил из бункера своей самоходки 14 268 центнеров хлеба, а его земляк из совхоза «Озерки» — 13 600 центнеров, — это коммунист А. Г. Евтушенко.

Из Ершовского района надобно назвать комбайнера Владимира Михайловича Решетникова, намолотившего за сезон более 12 тысяч центнеров, Героя Социалистического Труда Анну Викторовну Чумак, трактористку колхоза «Россия», проработавшую на тракторе сорок с лишним лет; бригадира тракторной бригады Александра Ивановича Кружилина, вырастившего на площади

в 1694 гектара просо с урожаем в 56,7 центнера. А разве можно не сказать о коммунисте Камиле Хайруловиче Денишеве, председателе колхоза имени Н. К. Крупской Хвалынского района?! Колхоз выполнил пятилетний народнохозяйственный план по продаже зерна государству и дополнительно сдал зерно в счет десятой пятилетки, — это ли не герои?

Я бы мог еще долго перечислять имена героев, но уверен: подвиг хлеборобов дал обильную пищу для размышлений не одному мне. К тому же я намерен в будущем продолжить свой рассказ о Саратовщине — ведь почти ничего еще не сказано о заволжской ее стороне, где побывал и где ныне вершатся дела воистину удивительные: в степи хлынули живительные волжские струи, которым, знаю и верую в это, суждено будет решительным образом преобразовать и обновить эти богатейшие края. Пока что скажем нашей возлюбленной матушке-Волге: в добрый путь, родимая, неси людям свет и влагу, а они ответят тебе непреходящею, вечною любовью, неся ее, как эстафету, от поколения к поколению.

КРЕСТЬЯНКА

Если б на долю женщины выпало лишь быть матерью, то и в этом случае поэты всех времен и народов без устали воспевали бы ее, ибо на свете не отыщется ничего более возвышенного и прекрасного, чем деяние матери. В сердце ее хранится столько любви и нежности, что их хватает на то, чтобы встретить человека от первого мига его рождения, окружить его теплою волной материнства и сопровождать до последнего часа жизни. К тому моменту ее, давшей жизнь, может уже не быть на свете, но образ материнский, ласка и доброта ее прочно поселяются в твоём сердце и живут в нем до тех пор, пока оно бьется в груди. Возлюбил Женщину-Мать! — восклицал Горький. А самый неразговорчивый, суровый и даже черствый человек в минуту тяжкую, забыв про свои более чем зрелые лета, закричит вдруг, вызывая о помощи, к существу, к коему в беспечальные и благополучные для себя времена мог быть и равнодушным, невнимательным: «Мама!»

Из всех слов — это единственное, которое не нуждается в переводе на иные языки. Другое слово, которое

по своей великой значимости могло бы сравниться с ним, — это Родина. Но ведь и оно выросло из материнского корня, — не потому ли мы так часто объединяем их и в приливе сыновних или дочерних чувств возглашаем: «Родина-мать зовет! Родина-мать повелевает!» В сердце женщины особенно ярко расцветает чудеснейший из всех мыслимых цветов, имя которому — любовь, чувство, навстречу коему женщина идет с невероятной отвагой и самоотречением, ибо оно, это чувство, обещает ей впереди материнство — самую высокую из всех возможных наград.

Семья, говорим мы, — ячейка нашего общества. Но у всякой ячейки должно быть ядро, иначе говоря, глава семьи. Звание это мы по давней и, думается, вовсе не бесспорной традиции присваиваем мужчине, то есть отцу семейства, прибавляя при этом другие значительные слова: «кормилец и поилец». Но что бы мы сказали, к примеру, в наши первые послевоенные времена, когда в селениях вовсе не было, да и теперь еще не хватает тех самых кормильцев?! Впрочем, об этом речь еще впереди. Сейчас же хотелось просто сказать, что ежели отец и является главою семьи, то мать — непременно ее ядро, потому что ей отпущено природою в полную меру того неизъяснимого света, тепла, доброты, любви, великого терпения и такта, без чего семья попросту распалась бы, без чего само ее существование представляется немыслимым.

Кто не знает о том, что мать ложится позже всех в семье и просыпается раньше всех? Если детство твое проходило в деревне и к тому же ты был не один, а в компании тех, о которых говорят «семеро по лавкам», то ты не можешь, хотя бы время от времени, не воскрешать чудесною силою памяти благословенный образ твоей матери. Сколько дел переделает она за день — и на поле и на огороде, а к вечеру их остается еще больше: надо встретить и подоить корову, а еще прежде принести из лесу мешок крапивы и запарить ее, собрать год одну крышу детишек, накормить их, уложить спать (для этого самых малых, уже сонных, отнести по их углам), перестирать с них все, развесить на просушку, натаскать к печке дров, замесить в квашне тесто... Долго, ох как долго еще будут слышны легкий стук заслонки, перебираемых ухватов, осторожный шорох материнских шагов! Ты просыпаешься от вкусного тепло-

го парка, исходящего от печки, возле которой вовсю уже хлопочет мать, — полно, да ложилась ли она спать?!

Пока что речь у нас шла о женщине-матери. Повторяю: одной этой святой ее «обязанности» достаточно, чтобы низко склонить пред нею голову. Но она еще и Великая Труженица, наша женщина! Женщина — рабочий, женщина — ученый, женщина — служащий, женщина — космонавт. Назовите хоть одну область человеческих деяний и дерзаний, где б рядом с именами мужскими с такою же равновеликой и гордой силою не звучали и имена наших женщин! Трудно теперь сказать, на каком поприще более всего мог бы расцвести и действительно расцвел врожденный талант их. Однако оттого ли, что сам родился и вырос в деревне, оттого ли, что в последние десять лет меня все более, все нетерпеливее тревожит и волнует этот образ, но я с неизменным и неизбывным чувством восхищения и восторга думаю о Крестьянке, о бессмертном подвиге женщины-колхозницы.

Подвиг трудовой, духовный, нравственный и просто подвиг в том героическом выражении, как мы привыкли его понимать. Не будем касаться времен довоенных, начнем с самого тяжкого — с войны. На второй уже ее год на селе почти не осталось мужчин, не считая стариков да подростков. Безмерная тяжесть забот тотчас же обрушилась на плечи крестьянки. Теперь она стала единственной кормилицей не только своих детей, но всей страны и ее миллионной воюющей армии. К труду женщине не привыкать! Она и прежде просыпалась со вторыми петухами, а теперь может и вовсе не ложиться, выдюжит, привычная. Но как сохранить силу в руках, когда из них только что выпал конверт с бумагой, унесшей у нее, женщины, мужа, или сына, или обоих одного за другим за какую-нибудь одну неделю?! Какое самоотвержение и какое безмерное мужество надо было найти в сердце, чтобы уже на следующий день после получения похоронной выйти на поле — сеять, молотить, отвозить обмолоченное на волах за десятки верст на элеватор!

В непостижимо малый срок крестьянки овладели всеми мужскими специальностями, связанными с работой на сельской ниве. Она была действительно и швец, и жнец, и хоть не на дуде, но на гармошке и на балалайке

виртуознейший игрец. Не думайте, что в войну они только то и делали, что плакали да кручинились, — они пели свои песни, иногда печальные, иногда разухабисто-веселые, озорные страдания да частушки — наперекор всему, назло проклятой войне, на погибель фашистам, пели и плясали, потому как знали: выдюжат! И выдюжили. Вынесли все муки, все боли, все тяжести, какие принесла нам война и послевоенное лихолетье.

Не ища с завидным постоянством,
Кто отсталый,
Кто передовик,
Я бы в честь советского крестьянства
Персональный памятник воздвиг!

Поэтические эти строки, обращенные к советскому крестьянству вообще, мы с полным на то основанием и по справедливости могли бы прежде всего отнести к сельской труженице. В оккупированных врагом районах нашей страны мать, нежная, любящая жена, она становилась суровым мстителем и сражалась с врагом, как солдат, наравне с мужчинами. Тысячи молодых крестьянок были на фронте --- от сестры милосердия до отважного воздушного аса — таков диапазон ратных их дел в период Великой Отечественной войны. Потому-то мы к таким великим словам, как мать, труженица, запевала в песнях и запевала во всех славных наших делах, прибавляем еще и слово «воительница», достойно венчающее образ советской женщины-крестьянки.

Похорошела, прибралась, повеселела наша сегодняшняя деревня. В ее внешнем убранстве, в ее духовном облике, в ее богатом внутреннем содержании, — во всем мы чувствуем добрую и умную руку крестьянки — великой труженицы, по-прежнему являющейся главной опорой на сельской нашей ниве.

Женщина — председатель колхоза, женщина — бригадир, женщина — агроном, зоотехник, доярка, птичница, женщина — мелиоратор и механизатор: тракторист, комбайнер, шофер... да назовите хотя бы одну из множества сельских профессий, где и поныне не верховодила бы, не главенствовала крестьянка! Потому-то мы и возглашаем: да будет благословенно и свято для всех нас доброе, простое и великое имя ее, как имя Родины, Отчизны нашей!

НАДЕЖДЫ

Советская деревня поистине взбудоражена, кипит, живет бурной жизнью, увеличивая из года в год свой достаток. За пятьдесят лет в восемь с половиной раз возросли доходы крестьян. Напрочно поселилась в артельной жизни гарантированная ежемесячная оплата труда. Введены пенсии для колхозников. А за одно только последнее пятилетие денежные и натуральные доходы земледельцев поднялись более чем на 40 процентов. Мы видим, как хорошеют наши села, как обретают они черты города.

Было время, когда крестьянин, как шолоховский Кондрат Майданников, «со слезой и кровью рвал пуповину, соединявшую его с собственностью, с быками, с родным паем земли». Но в мучительной борьбе прошлого и будущего «наше» взяло верх над привычным «мое». И это «наше» явилось той могучей двигательной силой, которая помогла русскому сеятелю, как и всем труженикам Страны Советов, выстоять и победить в минувшей войне, а потом быстро залечить, заворачивать тяжкие раны на теле земли-кормилицы. И теперь это «наше» двигает всеми помыслами селян, ведущих самоотверженную битву за то, чтобы взять от родимой земли все, что может она дать для человека, для блага его.

Каждую весну я выезжаю в свое родное село Монастырское на Саратовщине. Иногда бываю там с весны до осени. Весны шестьдесят пятого и шестьдесят шестого годов были особенные. Мне сейчас хочется повторить то, что я писал в канун праздника 1 Мая 1965 года в одной из газет:

«Не впервой доводится писать весеннее, праздничное, и всякий раз завидуешь поэту. Приметил ли первого грача, вразвалочку расхаживающего по заснеженному еще придорожью; жаворонок ли прозвенел над его головой; подснежник ли высунулся из-под хрусткой тающей льдинки своей нежно-голубой головкой; остановился ли у подошвы сапога или там туфли крошечный ручеек, с настойчивостью младенца доискивающийся взрослого, более сильного ручья, с тем, чтобы на его груди побежать дальше, к большой реке, а уже с рекою в обнимку — прямо к морю-окияну; а тут до чут-

кого поэтического уха донесся недоступный простому, смертному звук лопнувшей почки; или же попалась ненароком в поле его острого глаза божья коровка, выползшая погреться на солнышке где-нибудь у плетня либо у завалинки; и в довершение всему — скворец, ну какой же из поэтов не приметит и не услышит скворца, после соловья второго по рангу певуна?! Вот тебе и готовый фон. Вот уже и рифма ворохнулась где-то под самым сердцем. Подснежник и скворец легко и мудро соединяются в ней с весенним парением Алексея Леонова между синими звездами — у поэта они всегда синие, звезды. Короче говоря, стихотворение готово. Готов, стало быть, и праздничный отклик.

Ровно месяц, как я сижу в родном своем селе Монастырском...

Сказал — сижу, хотя больше приходится пребывать на ногах, потому как не сидится. Я, конечно, тоже не слепой и тоже заметил все то, о чем только что рассказал, по-дружески подтрунивая над поэтами, а ежели по справедливости, то подтрунивать надо было бы над самим собой. Не одну эту весну я встречаю в селе. Было немало и других весен, и все они были разные, и обо всех хлебоборобы говорили одно и то же: трудная весна. То она придет слишком рано, то слишком поздно, то она ветреная очень, выдувает из почвы прежде времени влагу, то с сильными заморозками по утрам, что задерживает посевную.

Нынешняя весна должна была быть вроде бы ранней — в конце марта прошел сильный и теплый дождь, в два дня согнал в реки и озера весь снег, земля закурилась паром, как в топленной деревенской бане. Но вдруг опять холода, опять морозы, да еще с ветрами, да не какими-нибудь, а северными и восточным, всегда немилыми для всех людей на свете, для крестьян же в особенности.

Конец апреля, а сев только начался, под первым почвенным покровом — лед, колеса трактора «Беларусь» скользят по нему, а гусеничные движутся еле-еле. Что же делать?

Секретарь Калининского райкома собирает совещание. А кто приглашен на совещание? Специалисты сельского хозяйства. Это председатели колхозов, директора совхозов и агрономы. Их называют иначе — теперь они технологи, приравнивали труд этих людей к труду ижене-

ров на заводе, и вообще, как уже замечено нами, работу на поле привычнее стало именовать производством.

Секретарю райкома Григорию Григорьевичу Сидорову да и другим ораторам пришлось явно по душе эти новые на селе термины. Слово «технолог» попадает в их речах столь часто, что чувствуется даже малый перебор. Беды, однако, большой нет: ведь в новинку же!

Важно другое. Важно, чтобы все поняли, какая роль возлагается страной на этих вот загорелых на весепных ветрах людей. Важно еще, что собрал их секретарь не для того, чтобы скомандовать, как им сеять, что сеять, где сеять и в какие сроки. Он их собрал, чтобы послушать: а как они сами-то размышляют на этот счет? Собрал посоветоваться, а если и посоветовал что-то сам, так это то, чтобы они, какими бы высокими специалистами ни были, посоветовались у себя в бригадах и в отделениях с рядовыми полям — с колхозниками и рабочими совхозов. И ни одной при этом сердитой реплики, оглушающей людей, не поднаторевших в состязаниях словесных. А ведь еще недавно классическая реплика была на вооружении едва ли не у всех руководителей — что называется, сверху донизу. По простоте душевной мы иной раз приходили даже в восторг: «Эх как он его ловко одернул, эх как подсек!»

Весна в этом году была действительно трудной. Она не убавила, а прибавила забот хлебопашцу. Люди думают о земле. Люди думают о хлебе. С них за все спросится, поскольку дадено им великое право решать важнейшие дела самим. Отсюда и заботы, отсюда и отсутствие громких слов.

Около месяца, в самый разлив, на селе безвременье. В поле не выйдешь. Затюкали топоры — то в одном, то в другом конце села. Один «перетряхивает» старую избушку, обновляет ее, другой рубит новую, третий обстругивает бревна, делает заготовки. Почти у каждого дома вы без особого труда заметите запасец леса и камней, а под навесом — шифер либо железо. Деревня строится. Меня особенно радует, что строятся больше молодые. Это что-то уж новое. Значит, не собираются в город. Значит, думают пустить корни, или, лучше сказать, бросить якорь на селе. К добру, к лучшему все это!

Хлеб!

Мы еще спим в своих постелях, а машины с крытыми кузовами, на которых крупными буквами начертано вот это самое слово «хлеб», развозят его уже по магазинам. В предзоревую свежесть воздуха вплетается непередаваемо живительный и сладостный запах теплого хлеба. В урожайный год он приходит на наш стол особенно многоликим. Увы, пока что не только от сеятеля зависит, чтобы каждый год был таким.

Кто из нас не знает старой народной пословицы, гласящей о том, что цыплят по осени считают! А не справедливее ли было бы сказать так: «Хлеб по осени считают». Тот самый хлеб, без которого, между прочим, и цыпленок-то никогда не станет курицей.

Хлеб — он только тогда хлеб, когда выращенный, обмолоченный, просушенный, провеянный, упрятан в сусеки. И все это зависит прежде всего от хлебороба. Поклонимся же ему и будем честны и совестливы перед великим и скромным подвигом — перед тем как выйти из булочной с батоном или кирпичиком теплого хлеба, еще и еще раз вспомним с благоговейным сердечным участием о руках, посеявших, вырастивших этот хлеб и положивших нам его на стол.

1972—1974

ПРОЕЗДОМ

Фамилия его была Травушкин и за три десятка лет могла вполне забыться, как забывается множество других имен, прошедших через твою жизнь как бы по касательной: чуть задев, пролетели мимо, не оставив по себе памяти. Но этот позвонил в поздний час, далеко за полночь, а на такой звонок имеет право лишь самый близкий твой приятель либо однопольчанин, случайно узнавший, что ты жив, что и тебя пощадила неприятельская пуля, решивший наконец во что бы то ни стало навестить тебя.

— Я Травушкин! — взволнованно и радостно уведомила трубка, совершенно уверенная в том, что эта радостная взволнованность тотчас сообщится тому, от кого отпугнут сон. — Ты меня помнишь, конечно? Я здесь проездом.

Застигнутый врасплох, я, разумеется, немедленно

подтвердил, уверил поспешно, что да, помню, конечно, как же иначе: мы ведь встречались...

— В последний раз это было в Праге, в домике, где проходила Пражская конференция, — зазвенел, захлебываясь от избытка чувств, Травушкин. — Там еще старичок рассказывал. Помнишь?..

И старичка чеха, и домик, впоследствии ставший музеем, я вспомнил, а вот Травушкина — нет. Но какое это имело значение! Человек дошел со мною вместе до Праги, встретил там День Победы, а что с того, что мы были тогда с ним незнакомы, что, судя по всему, служили в разных полках, может быть, даже в разных дивизиях! Важно, что он фронтовик, находится в Москве проездом, скитается где-то сейчас на вокзале, — стало быть, его надо вытащить оттуда, приютить до утра в своем доме, а там будет видно. И я пригласил, сделал это со всем возможным радушием.

— Что ты? Я еще не видел ночной Москвы. Вчерась был в Мавзолее, ходил на могилу Неизвестного солдата, положил цветы. Потом был в Историческом музее, слушал живой голос Ленина, потом упросил таксиста, чтобы он свозил меня на Ленинские горы, к университету, постоял даже там, где Герцен и Огарев давали клятву... Помнишь?

— Как не помнить! — пошутил я.

А трубка клокотала:

— У меня ведь еще целый день! Мой поезд отходит в двадцать три часа. Успею!.. К тебе, если не возражаешь, загляну к утру. А сейчас — на улицу Горького, на Красную площадь опять, говорят, она очень красивая ночью. Ни разу не видал. Тебе-то хорошо, ты всегда можешь... Ну, до свидания, утречком я позвоню. Ты когда просыпаешься? В семь? Так поздно? Да ты что? Смотри, друг, проспишь царство небесное!

— Да ты бы все-таки приехал ко мне и прикорнул, заснул часик, — сказал я.

— Выспимся на том свете! — весело прокричал он. — У меня, брат, знаешь какая программа! Я ведь первый раз в Москве. Когда теперь еще смогу приехать! Вам, москвичам, хорошо, когда захотел, тогда и... Ну, до свидания! Надеюсь, ты поможешь мне завтра отыскать некоторые места.

— Безусловно! — решительно заверил я, не зная еще, сколь безответственно это мое заявление.

Он разбудил меня и всех моих домашних в пять утра, в минуту перезнакомился со всеми, отказался от предложенного завтрака — сейчас же приступил к делу, предупредив меня самым категорическим образом, что свою программу он реализует полностью, что бы это ему ни стоило. Как и полагается москвичу, хозяину не только квартиры, но и города, поскольку в нем прописан, я напустил на свой лик значительности, снисходительно похлопал по плечам гостя, еще раз уверил его, что покажу ему все из того, что бы он ни пожелал видеть: музеи, памятные места, здания и сооружения. «Вот спасибо, вот спасибо!» — говорил благодарный Травушкин, торопя, чтобы я поскорее оделся и взял на себя роль гида уже в практическом смысле. Признаться, я встречал в своей жизни людей энергичных, деятельных, неутомимых, но на такой вулканический заряд, какой нес в себе Травушкин, этот с виду довольно невзрачный человек, натолкнулся впервые.

Разворачивая передо мною в необозримом пространстве стратегические свои соображения, он обрушил на мою голову Ниагары вопросов и законченных, не подлежащих ни малейшему изменению или пересмотру решений:

— Безусловно, мы осмотрим знаменитые дубы, которые являются ровесниками Москвы. Затем госпиталь, где лечили во время Великой Отечественной войны раненых партизан. Церковь хочу видеть...

— Какую? — осторожно осведомился я, чувствуя, что мне делается чуток грустновато.

— То есть как это какую? — осерчал Травушкин. — Воздвиженскую, разумеется. В честь воинов, павших на Куликовом поле.

— Хорошо. Покажу, — согласился я, а сам подумал: «Что он еще подкинет, этот Травушкин?» Я поглядывал на него уже с тревогой, и сердце не обманывало меня. Ни с того, казалось бы, ни с сего гостя моего потянуло обязательно лицезреть место, где в XVII веке была построена первая мельница... Для чего бы, вы думали?.. Для производства бумаги. «Ты — писатель, это по твоей части», — заметил, будто глумясь надо мною, Травушкин, который, однако, и не думал ни о каком глумлении. Он в самом деле был совершенно уверен, что историей-то бумажного производства я, во всяком случае, должен интересоваться. Дела

мои все более усложнялись, были они, правду сказать, табак, эти дела. Сделал безуспешную попытку увильнуть:

— Может, в Третьяковскую галерею сперва?

— Я был в ней вчера. Мне бы посмотреть знаменитый чайный домик...

— Что, что? — невольно вырвалось у меня, и я видел, что начинаю уж злиться на этого странного проезжего. — Что ты сказал?

— Чайный домик, говорю, где собирался остановиться регент китайского императора...

Признаюсь, мне очень хотелось показать и Травушкину, и неведомому мне регенту вместе с его императором хорошенькую дулю, но я держал себя в руках: зачем же обижать гостя! Больше того, я даже кивнул в знак согласия: что ж, мол, покажу и это, коли ты просишь. Гость мой еще более оживился:

— Значит, покажете! Вот здорово! Я вчера пытался отыскать его, но не смог. Так что заранее благодарю тебя. — Глянув на меня раз и два, Травушкин, похоже, заметил налет некоторой грусти на моем лице, а потому и поторопился утешить, успокоить: — Не думай, что я отыму у тебя слишком много времени. Разве я не понимаю, ты человек занятой, загружен важными делами. Нет, нет, что вы! Не беспокойся! — от волнения, обращаясь ко мне, он то и дело «ты» переменял на «вы», но мне было уже не до этих мелочей. Я слушал. А он продолжал: — Ты только расскажешь мне, как к этому домику проехать. А там уж я сам...

Мне ничего не оставалось, как огневиться на моего гостя:

— Ты за кого же меня принимаешь? Это я и брошу тебя одного в незнакомом городе?! Что еще ты хотел бы посмотреть? — спросил упавшим голосом.

Травушкин живо ответил:

— Обязательно Хамовнический райком партии.

— А это еще зачем? — вновь непроизвольно выскочило из меня. — Почему, собственно, Хамовнический? Если тебе нужен непременно райком, я покажу тебе Киевский, он рядом с нашей редакцией.

Травушкин поглядел на меня с удивлением своими детски ясными, незамутненными очами:

— Зачем мне Киевский? Ведь легендарный разведчик Рихард Зорге был принят в ряды большевистской

партии в 1925 году именно в Хамовническом райкоме. Там он получал партбилет...

Выражаясь языком спортивным, еще один гол был забит в мои ворота. Гол-красавец, как сказал бы Николай Озеров. Сравнение это, конечно, решительно не соответствовало тому, что было у меня на душе. Было там, как бы это сказать поточнее, было там нехорошо, это можно было бы видеть по моим ушам, которые жарко горели, словно бы кто-то неосторожно подержал их в своих руках. Делать, однако, было нечего: гость мой ждал, когда мы отправимся в путь, нетерпеливо ерзал на стуле. Понимая, что нынешним днем не смогу утолить даже в самой малой степени его любознательность, я взмолился перед ним об отсрочке: мне необходимо время для того, чтобы обзавестись соответствующими справочниками.

— Но мой билет закомпостирован на сегодня, — сказал Травушкин.

По глазам его я видел, что он что-то прикидывал в уме. Чтобы помочь ему, я заверил:

— Перезакомпостируем твой билет.

— Но моя командировка? Она кончается. Я тут, сам знаешь, проездом...

— Одни сутки ничего не значат... Впрочем, смотри сам. Ежели не хочешь...

— Что ты, что ты! — испуганно замахал руками Травушкин. — Как можно! Когда я еще приеду!..

Договорились начать наше путешествие на следующий день. Травушкин, не теряя ни минуты, окунулся самостоятельно в московские улицы и успел, как потом выяснилось, многое: осмотрел без малого все станции метро, старые и новые, прощупал и глазами, и ногами весь проспект Калинина, побывал даже на премьере какого-то нового фильма в кинотеатре «Октябрь», заглянул-таки и в чеховский домик музей на Садовой-Кудринской, «посетил», как он сам выразился, Бахрушинский театральный музей, просмотрел частную коллекцию у какого-то старичка, доживающего свой век в Кривоарбатском переулке, около часа провел у памятника Юрию Гагарину и Сергею Королеву, каким-то чудом, поскольку заранее не записывался в очередь, забрался на Останкинскую телевизионную башню, вкусил от дежурных блюд и напитков в медленно вращающемся ресторане — съел, надо заметить, все и выпил мно-

венно, потому что еда отвлекала, а ему хотелось вдоволь наглядеться на столицу с этакой-то высьтищи (когда он еще может на нее подняться, хорошо им, москвичам, — вновь мелькнула завистливая мысль, как мелькала не раз за эти два дня).

Между тем и я не сидел сложа руки. Можно даже сказать, трудился как вол. Натаскал полную квартиру справочников-путеводителей, старинных и современных; привлек себе в помощь товарища писателя, который, казалось, знает все про Москву. Не давал и ему покоя. Наверное, он все-таки удивился, когда часу в третьем ночи услышал по телефону мой голос. Я жаловался:

— Дубы нашел, а где эта чертова мельница?

Товарищ ответил:

— Ищу, ищу!

— Отчего так долго? — не стерпел я. — Тоже мне москвич!

Друг промолчал, он бы мог запросто вернуть мне эту монету, но был слишком деликатен и вежлив.

Четыре восьмисотлетних дуба, ровесников Москвы, которым надлежало быть в знаменитом Коломенском госпитале, «где во время Отечественной войны лечили раненых партизан», мы с величайшим трудом обнаружили на Ленинградском шоссе. Невидимый с улицы приземистый особнячок примостился в «тылах» современного кинотеатра «Варшава». И церковь оказалась на месте, правда, в перестроенном виде, — на площади Ногина. Окаянная мельница, «бабушка русской полиграфии», что возвышалась в XVII веке на преславной реке Яузе, «имела место быть» неподалеку от Бауманской улицы. Легче было с чайным домиком. Какие-то флюиды вывели нас на него — это «тот самый», что на улице Кирова.

Травушкин, взяв из рук моего друга писателя потрепанный справочник, листая его, воскликнул:

— Вы, конечно, все это знаете! А все ж таки интересно. Только послушайте. Какая ирония судьбы! — Он стал читать: — «...известный «чайный домик» на улице Кирова, 19 (ранее Мясницкая), был отделан в китайском стиле владельцем этого магазина, крупным чаоторговцем С. Перловым, ожидавшим прибытия в Москву регента молодого китайского императора. Однако по приезде регент остановился в другом месте, и затея себя не оправдала...»

Ирония судьбы (Травушкин, разумеется, не подозревал об этом) заключалась как раз в том, что обо всем этом мы и понятия не имели, как и о многом другом, во что ткнул нас нашими сконфуженными носами один из миллионов проезжих.

Травушкин уехал к себе совершенно счастливым. Ну а мы, с моим другом писателем? Впрочем, за двоих говорить не буду. Что же касается меня, то не скрою — следующая ночь была проведена тоже без сна, но только по другой причине. Множество мыслей и чувств, соединившись, теснились в груди. Тут и гордость, что прописан в великом городе, что являешься его постоянным жителем, что тебе доступны все его несметные материальные и духовные сокровища, что тебе не надо покрывать тысячеверстные расстояния, чтобы коснуться их. Но рядом с этим и смущение, близкое к чувству стыда, угрызению совести, что проходят дни, годы, даже десятилетия, а ты не дал себе труда увидеть и сотой доли из того, что должен, обязан был увидеть. Было и третье, совершенно уж странное. Была зависть к этому хлопотуну и непоседе Травушкину, каковой оказался в Москве всего-навсего проездом и узнал о ней куда больше нашего. Обидно? Ну да. Но больше, пожалуй, все-таки стыдно.

1974

КОРЕННОЕ ПОНЯТИЕ

Мы советские.

У нас, русских и украинцев, таджиков и азербайджанцев, эстонцев и белорусов, у всех народов СССР — свой, советский склад мышления. Свой, советский характер. Наконец, советский образ жизни!

И эта неутоленная жажда нового, с которой мы припадаем к свежей газете, тоже черта нашего мышления, нашего характера и образа жизни.

...В дни работы XVII съезда ВЛКСМ в газетах была опубликована речь Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза товарища Л. И. Брежнева. С трибуны съезда Леонид Ильич сказал:

«Едва ли нужно доказывать, какой огромный политический и социальный смысл имеет высокое качество работы. Добротню, на совесть сделанные вещи — будь

то станок или трактор, автомобиль или телевизор — экономят общественные затраты, облегчают наш труд и в то же время поднимают настроение человека, его рабочую гордость».

Есть слова, которые в те или иные отрезки исторического времени обретают особенное звучание, ибо наполняются глубоким содержанием. Таким словом для нас становится слово качество. И этому есть объяснение.

Оглянемся назад. Чего только не перенесла наша Родина! Нищета и разруха первых лет нашего молодого государства. Нехватки, бедность последующего периода — и только-только нарождающийся наш достаток... А потом тяжелейшие испытания Отечественной войны. И снова шаг из нужды. Путь к достатку, наконец — к богатству!

И вот на этом пути, когда наши количественные показатели, добытые в поте лица, позволили неузнаваемо выправить жизнь, на первое место и выдвинулись вопросы качества.

Мы всегда уважали мастерство, талант. Это наша кровная национальная черта. И не было в народе слова более заметного, чем мастер, мастеровой. Но, что греха таить, порой в острейшей нужде, в бедах и нехватках мы больше нажимали на количество. И, наверное, правильно нажимали! Вопрос стоял так: выстоим или не выстоим, жить нам или не жить. Когда же всему сущему на земле стало ясно — жить! — пришел черед и вовсе не отрывать количества от качества...

Конечно, представлять дело так, будто мы в трудные, порой голодные годы совсем мало помышляли о качестве нашей отечественной продукции, нельзя. Это будет исторической неправдой. Напротив, наращивание качества производства, изделий сопровождало нас всегда. И будь иначе, то как бы так получилось, что нищая, отсталая Россия, начавшая путь к социализму с сохи, первой послала своего сына в космос?! И между прочим, этот любимый и незабвенный сын ее полетел в заоблачные пространства на чудо-корабле, сработанном из первоклассных материалов, оснащенном таким топливом, что — в который уже раз! — ахнул мир людской.

Нет, нам никогда не было чуждо беспокойство об уровне наших сталей и чугуна, станков и моторов, о полновесности зерна, о качестве тканей... Но сегодня, пе-

ред лицом научно-технической революции, вопросы качества из сопутствующих нашему общему развитию становятся решающими, можно сказать, коренными.

Мы уже «заболели» этим делом. Уже понятие «государственный Знак качества» стало обыденным, о нем услышишь и в кабинете министра, и на цеховом собрании, и в магазине, без этих слов не обходится ни одна наша газета, а крылатое изображение этого знака теперь не в диковинку встретить и на станке и на рубашке...

Дошли руки! Дозрели головы! Загорелись души!

Да-да, если посмотреть на дело не с точки зрения потребителя (как раз, как у потребителей, у нас куча претензий — мы справедливо не довольствуемся без конца ломающейся стиральной машиной, коробящейся оконной рамой в новой квартире, отлетающей подметкой с недавно купленного ботинка), если взглянуть с позиции работника, то во всей нашей экономике, особенно в промышленности, зреет массовое, я бы сказал, всеохватное движение за надежность, долговечность, высокое качество и красоту изделий. Не видеть этого теперь могут только злопыхатели или ограниченные люди.

Другое дело, что работа эта сложная, глубинная, здесь лихим наскоком не возьмешь. Но именно поэтому ей нынче придан государственный размах, государственная широта и серьезность.

В массовом походе за качество у нас уже есть свои разведчики, передовики, последователи... Молодые читатели помнят: уже на их сознательном веку возникли промышленные фирмы в городе Львове, чья цель была — честь заводской марки. Их опыт недавно обобщен в постановлении ЦК КПСС. Этот опыт дружно подхвачен во многих городах и весях. Я, видимо, не ошибусь, если скажу, что сегодня Государственный комитет стандартов — одно из самых авторитетных учреждений страны. Потому что на наших предприятиях, в разных отраслях народного хозяйства создается **ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИЙ**. В ее рамках идет планомерное формирование качества изделий на всех стадиях производства, внедряются автоматические системы управления, ведется борьба за выход продукции на уровень всесоюзных и мировых стандартов.

Как же этому не радоваться? Как нам этим не гордиться? Однако диалектика жизни такова, что, как никогда раньше, мы яростно критикуем отдельных людей и целые предприятия за некондиционность продукции, за брак, за работу по инерции. Ученые говорят: качество — это совокупность свойств продукции, определяющих степень ее пригодности для использования по назначению, и мы хотим, чтобы каждое наше изделие было образцовым!

Сегодня лишь бы какая продукция уже не есть, результат той производительности, которую можно назвать эффективной. Нужно работать по-новому. И для этого нужны не только новые технологические и экономические рычаги, но и рычаги нравственные.

Не так давно мне на глаза попала свердловская областная комсомольская газета «На смену!». Там был помещен отчет об открытом заседании рабочего совета по социалистическому соревнованию — важнейшему двигателю борьбы за качество. Вот что сказала на совете бригадир строителей Тамара Бокарева:

«Решался вопрос о присуждении символического первого места, поскольку, согласно условиям соревнования, никто «не тянул» на премию. Еще три года назад вопрос решился бы очень просто. Коль нет премии, то и нечего биться за место победителя. А тут разгорелся сыр-бор. Итоги обсуждались с таким же жаром, как и до объявления о неприсуждении премии. Вот тогда я и подумала, какое благородное влияние на человека оказывает соревнование. Компенсация затраченного труда рублем уже не удовлетворяет. Человек преследует уже значительно большую цель. У девчат нашей бригады зарплата не изменится от того, будут они надевать вечерами красные повязки дружинников или нет. Но они надевают и выходят на дежурства. Привычка делать доброе и полезное на производстве не оставляет их и дома. Передовой рабочий... не станет хулиганом, не пройдет равнодушно мимо того, что мешает нам жить».

Я, конечно, понимаю, что среди десятков миллионов соревнующихся не все передовики, что из тысяч и тысяч бригадиров не все, как Тамара, обладают государственным умом, умеют наблюдать и думать, как это уместно, но вот вопрос: на кого же надеяться в многотрудной борьбе за качество? На людей дисциплинированных, ревностно любящих свою работу, свой обществен-

ный труд, или на рвачей и выжиг, пьяниц, халтурщиков? Двусмысленного ответа здесь быть не может. Как учил Владимир Ильич Ленин, мы должны опираться на передовых, сознательных рабочих.

В усложнившихся условиях сегодняшнего производства крайне важен нравственный облик каждого работника, его отношение к товарищам, к труду, к жизни. Борьба за качество обнимает гораздо большую сферу действительности, чем может показаться поверхностному взгляду.

...Мужчина с блуждающим взором, небритый, неприбранный, с дрожащими в мелкой тряске руками, приближается к станку. Вчера он сильно выпил. Мысли его — об опохмелке... Можно такого допускать к работе? Можно ожидать от него производительности, не говоря уже о качестве?..

Нужно, чтоб пьяница был презираем обществом, как презираемы тунеядцы, лихоимцы, преступники. Нужно всем миром ополчиться против выпивох, пусть задумаются, пока не поздно, пока жизнь с ее новыми мерами ответственности не вышвырнула их, не выплеснула за борт, не поставила вне дела, вне общества.

А какую такую ценность представляет личность, помышляющая лишь о выгодной работенке, о выгодном заказе, заранее подсчитывающая мзду? У иных забота сперва об оплате, а дело — после... И пусть такой владеет ремеслом хорошо, но он же, имея в виду только интересы собственного кармана, никогда не станет болеть душой за общее дело, не поможет другому, не станет ни до, ни после гудка соображать, как сделать, чтобы получилось получше у всех, и именно поэтому нам безразлично, как рождается изделие — ценой ли творчества, души или по маленькому расчету поднагнанных рук!

Да, речь не только о профессиональных, но и моральных «вложениях» в дело, если хотите, в жизнь.

Как известно, образованность у нас давно в чести. Я бы даже сказал, мы создали некий культ учебы. Десятилетка — университет. Иных путей, было время, никто себе не рисовал. На вопрос, кем ты хочешь быть, молодой человек отвечал: инженером, ученым, писателем, артистом. И совсем редко: токарем, плотником, садоводом, животноводом... Случалось, что проваливается молодой человек на экзаменах в университет, но, вме-

сто того чтобы идти работать, отсиживается дома. И ведь так было. Сейчас, к счастью, этому приходит конец.

Есть у нас хороший лозунг: «Учиться». И никто никогда не собирался его отменять — напротив, без учебы, настоящей, увлеченной учебы, пути вперед нет. Но почему обязательно надо начинать свою жизненную дорогу со студенческой скамьи? Ты юн, здоров, полон жизненных сил — не робей, походи поработай, покажи, на что способен, проверь себя — и иди дальше с сознанием того, что ты своему обществу уже начал отдавать свое, а от себя уже можно наверняка ждать большего, а то ведь иной и институт еле-еле кончит, да еще в аспирантуру потянется и будет до зевоты вымучивать из себя диссертацию, будет «защищаться», а от чего защищаться? От жизни? От работы по совести? Спрашивается, кому нужна такая образованность?

Учиться, чтобы лучше работать, это другое дело...

Пусть не покажется читателю, что в последних абзацах автор произвольно надергал негативные факты и увел речь о качестве куда-то в сторону. В том-то все и дело, что сегодня никакой разговор о качестве продукции немислим без размышления о качестве нашей работы, о качестве нашего отношения к жизни, между собой, о качестве нашего сознания — везде, повсеместно, где бы мы ни жили, кем бы ни были...

Сегодня на наших полях уже начинают работать трехсотсильные степные богатыри. И вообще, какая нынче техника шагнула в село!

Как бы не застило нам глаза наше богатство! Как бы не стать нам поспокойней!

Но нет, не станем!

...Сколько примеров бережливого отношения к делу, взаимовыручки дает каждая страда, когда комбайны, завершив работу на юге, спешат на север, на восток... Когда колонны машин с прицепами, с наращенными бортами, с добротным брезентом для укрытия зерна совершают переброску в районы наиболее напряженной уборки! Куда уж тут нерадивому шоферу, позволившему себе не заделать щель в кузове, засмеют, заругают... Честь труженика не позволит пройти мимо такого!

А бывает, и на доброго работника найдет затмение,

упустит ответственность не со зла, а по благодушию. Так на помощь придет товарищ его, подскажет и делом подсобит, чтобы общая работа не страдала.

Важно не терять способности уважать труд — свой и товарища. Важно всегда быть влюбленным в свою родную землю, в природу, в свой завод, в книги, превыше всего на свете ставить свою Родину, преклоняться перед матерью, перед женщиной, перед великой нашей культурой — все это дает и способность к самоуважению, к достоинству.

И такой человек вряд ли заперет деталь, выбросит хлеб, прогонит друга...

Таких людей у нас много, неисчислимо много. Сегодня они штурмуют космос и строят БАМ, дают высокопрочную сталь и добывают нефть и газ, совершают великолепные научные открытия, растят полновесные урожаи, творят талантливое искусство...

Коммунизм для нас уже практическое дело. Десятую пятилетку партия провозгласила пятилетней качества. У нас громадный запас энергии, с нами бесценный опыт прежних лет, сегодняшней наш опыт. В своей повседневной жизни мы руководствуемся гордой формулой первопроходцев истории: «Работать и жить по-коммунистически».

1976

МОНОЛИТ

Двадцать пятый продолжает свою работу. Нынче все люди мира, прильнувшие к настроенным на московскую волну приемникам, уже узнали о содержании главного его документа — Отчетного доклада Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, сделанного Генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым. Доклада, который радостно поражает нас и широтой взгляда на дела мирские, и глубиной заключенных в нем мыслей, и необычайной яркостью формы, в которой излагаются они, эти мысли, исполненные гуманизма, подлинной человечности и отеческой заботы не только о судьбах нашего, советского, народа, но и всех сущих на планете по имени Земля.

Трудно, да, пожалуй, совершенно невозможно не то что в коротких заметках, но и в большой статье, да

еще сразу, по самым горячим следам передать хотя бы в малой степени ощущение «половодья чувств», захлестнувшего сердца не только делегатов и гостей съезда, но и миллионов и миллионов моих сограждан и соотечественников, где бы они на этот час ни находились, какую бы вахту ни несли на просторах страны, распростершейся на одну шестую часть Земли, ибо все отлично понимают: совершается событие исторического, непреходящего значения, имеющего эпохальный по своему размаху и по своим последствиям характер.

Профессия, как известно, кладет свою печать на привычки, на поведение людей, и от этого никуда не денешься. Мы, литераторы, раньше и прежде всего стараемся заглянуть в лицо человеку, а если говорить еще точнее, в его глаза, через которые легче всего, самым, стало быть, коротким путем, проникнуть в человеческую душу. Перед нами до начала съезда, в его перерывах по подвижным лестницам воистину сказочного дворца, проплывает море, океан разноцветных глаз — синих, зеленовато-серых, карих, жгуче-черных, таких разных и в то же время таких похожих в отражении сердечного состояния этих удивительных людей.

Для меня это уже третий по счету съезд, на котором являюсь делегатом. Как на предшествующих, так и на этом мое внимание неизменно останавливала одна черта на лицах делегатов: спокойствие, достоинство и уверенность в себе. Как тогда знал, так же знаю и теперь: многие из них впервые приехали не только на съезд партии, но и в столицу. Держат, однако, себя так, словно по этим сверкающим, золотистым лестницам опускаются и поднимаются в сотый раз, будто тут все им привычно и знакомо, как бывают знакомы хозяину все углы, все двери родного очага.

В чем тут дело?

Празднично одетые, при орденах, а многие при Золотых Звездах Героя, торжественно одушевленные, осененные столь же праздничной, торжественной обстановкой, делегаты съезда могут показаться как бы одинаковыми. Глядячи на них, невольно спрашиваешь себя: кто же они у себя дома, как выглядят, когда стоят за станком на заводе или за плугом на наших пажитях, — ведь именно там, а не где-нибудь еще находится та главная ступенька, которая привела их на эту сверкающую, непрерывно движущуюся лестницу, возносящую

их теперь к такой высокой вершине, имя которой Съезд партии?

Перед большими событиями, когда страна живет нетерпеливым ожиданием чего-то необычайного, наиважнейшего, когда нерв ее напряжен, а пульс бьется взволнованней и учащенней, я люблю приезжать в родимые мои края, на Саратовщину, встретиться и наговориться вволюшку со знакомыми и незнакомыми мне земляками, пожить их жизнью и не только своим, но и их сердцами прикоснуться к ожидаемому всеми историческому событию.

Два года кряду терзала моих земляков засуха. А тут, почти два месяца кряду, январь и февраль, давят, жмут морозы, да такие, что даже хитрющий воробушек замерзает на лету. А как же тревожилась душа со скотом? Как же с животноводческими комплексами, в которых откармливаются десятки тысяч рогатого скота и содержится такое же количество дойного стада?

— Много голов-то сбросили? — осторожно спрашиваю Владимира Семеновича Луговца, делегата съезда, первого секретаря Калининского райкома партии.

— Что, что? — переспрашивает он, вроде бы не понимая, о чем это я. — То есть как это сбросили? И кто бы это нам позволил?

— Но ведь с кормами... — начал было я.

— А что с кормами? Мы еще с июня прошлого года знали: с кормами будет плохо — и приняли меры.

Несколькими днями позже я, перед отъездом в Москву, сидел в кабинете первого секретаря Саратовского областного комитета партии Шибаева Алексея Ивановича, Героя Социалистического Труда. Перед ним на столе карта области и бесчисленное количество испещренных цифрами сводок, которые сюда, как в штаб боевые донесения, поступают со всех районов.

— Кормовых единиц у нас сейчас вдвое меньше, чем на эту пору было в прошлом году, а удои не только не уменьшились, но даже увеличились. Главное же: качество молока улучшилось.

— Как же это?

— Люди. Все в них, — коротко говорит секретарь. — Суровые условия заставили всех подтянуться, внутренне мобилизоваться. И, конечно, съезд партии. Всем хотелось встретить его достойно. Вы, я слышал, были у Захарова. Видели все своими глазами.

Я был у Захарова Николая Андреевича, председателя колхоза имени В. И. Ленина Балашовского района, депутата Верховного Совета РСФСР, был за неделю до съезда. Тогда он не был таким нарядным и пышным, каким я вижу его сейчас, на съезде: заботы, одна больше другой, лежали не только на его плечах, но и на сердце. Однако люди во всем управляют, скот обеспечен кормами, центральная усадьба по имени Тростянка хорошеет изо дня в день и улыбается свету вольному большими окнами новеньких, под железной и шиферной кровлями домов.

— Что же ты это все о селе да о селе! — упрекает меня Шибаев. — А о рабочем классе неужели забыли? Съездил бы в Энгельс на капроновый завод «Химволокно» да поговорил с Анастасией Филипповной Когачевой. Подумать только: сейчас лишь начало 1976 года, а она уже работает в счет 1982 года. И вот что удивительно: ей мало того, что сама Герой, она хочет, чтобы и другие были бы такими же. Семь тысяч работников объединения трудятся по ее почину. На съезде при желании вы можете увидеть нашего славного железнодорожника Александра Николаевича Сапрыкина. Девятую пятилетку он по своей линии выполнил на полгода раньше срока, сэкономил сорок пять тонн дизельного топлива...

А потом разговор опять перекинулся на село. И тут я услышал некий афоризм: «Пятилетке животноводства — гарантия земледельцев». Речь шла о создании устойчивой кормовой базы, без коей немисливо постоянное увеличение продуктов животноводства.

Переезжая из селения в селение по буквально прорубленным в высоких снегах дорогам, я услышал от моих спутников землепашцев и другое: «Хлеба нало смотреть зимой». А это что-то уж совсем новое и непривычное. Бывало, хлеба смотрелись где-то в конце мая, начале июня, когда с известной долей достоверности можно определить, быть хлебу или нет. Сейчас стараются определить то же самое, но только уж зимой. Как это делается, я понял, когда увидел караваны могучих «Кировцев», вздымающих белые пласты снега на тысячах гектаров полей. А в правлении моего родного колхоза имени Максима Горького агроном Раиса Даниловна Тихонова показала мне два монолита — так пахари нарекли смерзшиеся пласты земли, вырубленные

из-под снега вместе с дожидающимися весны всходами озимой пшеницы и ржи. Почувств в помещении тепло, всходы эти тотчас же воскресли, распрямились и буйно пошли в рост.

— Выжили, милые! — радовалась женщина-агроном, лаская растения по-матерински добрыми, любящими глазами. — Быть хлебу!

Съезд продолжает работу. Во время его заседаний многотысячный монолит людей — его делегатов, — затаив дыхание, слушает очередного оратора. Заполненный до отказа людьми зал представляется мне действительно чем-то единым, слитным, нерасторжимым, молчаливо накапливающим, вбирающим в себя гигантскую энергию, которая потребуется для нового рывка вперед по пути, начертанному нам историей.

В перерыве между заседаниями я непременно отыщу людей, которых вчера еще встречал на полях и в цехах заводов, в обкомах и райкомах партии. Есть на втором этаже Дворца огромное и всегда какое-то солнечное фойе, где любят в эти тридцать минут прохаживаться делегаты съезда и его гости. Мне не терпится пристроиться сейчас к группе литераторов и поделиться с ними впечатлениями. Кто-то из поэтов, кажется, Алексей Сурков, вспомнил Маяковского. Вспомнили вдруг и все мы, как этот «горлан и главарь» мечтал о том времени, когда бы «о работе стихов, от Политбюро» делались доклады на наших партийных съездах. О, как был бы он горд и счастлив, доживи до наших дней и услыша то, что услышали сегодня мы, писатели — делегаты XXV съезда! С высокой его трибуны о работе деятелей литературы и искусства говорилось с глубочайшим уважением, она ставилась в ряд наиважнейших общегосударственных и общепартийных дел. Я тороплюсь встретиться и с другими людьми. Мне хочется услышать на своем сердце отражение их радости, их неколебимой уверенности в завтрашнем дне, о котором думает великая наша заботница — ленинская партия и говорит полным голосом, говорит так, что слышно во всех уголках света.

**ЗА МОРЯМИ,
ЗА ДОЛАМИ**

И вновь равнине осень снится,
и только не хватает ей
прозрачной песенки синицы
и переклички журавлей.
И я, не слыша птиц знакомых,
вдруг чувствую еще острее
тоску по родине, по дому,
по русской осени своей.

Николай Грибачев

СЛАТИНО

— Едешь ты всего на десять дней. Послушай же. Побывай в каком-нибудь одном месте подольше и поживи там. Иначе ничего толком не увидишь, а превратишься в обыкновенного туриста, коий тотчас же по возвращении на родину начнет услаждать души соотечественников подробным описанием развалин древних замков и церквей, музеев, перечислением разного рода достопримечательностей, увиденных им из автобусного окошка, приведением массы сведений, почерпнутых из туристического справочника-путеводителя...

Такими примерно словами напутствовали меня друзья-товарищи за несколько минут до отхода поезда, который должен увезти меня в Софию.

Я, разумеется, соглашался с товарищами: их советы были и логичны и своевременны. Можно проехать всю страну, благо Болгария невелика размером, — проехать всю страну и ничего не увидеть. А можно хорошенько приглядеться к какому-нибудь одному кусочку, познать его, и в малом увидеть нечто большее.

Рассуждая таким образом, я и не знал, что от благих моих намерений останутся рожки да ножки, едва я ступлю на землю Болгарской Народной Республики. Поезд не успел еще пересечь Дуная, а план мой претерпел уже весьма существенные изменения. «Доведется ли мне еще раз побывать в Болгарии?» — спросил я себя, и этого было вполне достаточно, чтобы принять окончательное решение: поездить по стране и увидеть как можно больше. Потом оказалось, что мое решение пришлось по душе гостеприимным моим хозяевам, — ими был уже разработан маршрут путешествия, который, ежели и претерпел изменения, то очень незначительные. Вот он, этот маршрут: София — Плевен — Габрово — Шипка — Тырново — Коларовград — Вар-

на — Бургас — Созопол — Сливен — Пловдив — София. Про то, что я увидел и услышал во время этого чудного и в высшей степени замечательного путешествия, а также про тех славных болгарских ребят, составивших вместе со мною экипаж автомашины, я расскажу в другой раз. Сейчас же речь пойдет о Слатино, о селении, которое помечено далеко не на всех картах Болгарии и которое было даже немного в стороне от нашего маршрута.

Но прежде всего мне бы хотелось сказать о состоянии, не покидавшем меня ни на одну минуту на протяжении всех этих десяти дней: у меня не было ощущения заграницы, так знакомое каждому, оказавшемуся за пределами родной земли. Потому ли, что и в Софии, и во множестве других болгарских городов и сел то и дело встречаешь русские названия улиц, видишь памятники русским воинам, слышишь славянскую речь; потому ли, что ты всюду встречаешь приветливые взоры, что навстречу тебе отовсюду светятся радостные глаза и малого и старого, что ты окружен трогательной заботой сопровождавших тебя спутников, которые ведут себя так, что начисто исчезает та неуловимая, но всегда ощутимая грань, разделяющая хозяина и гостя, — как бы там ни было, а я чувствовал себя в самом деле, как дома.

Вот после такого подзатынувшегося предисловия я могу рассказать вам о Слатино, а точнее — об одном сельскохозяйственном кооперативе, история которого интересна сама по себе, а главное — уж очень поучительна.

* * *

Слатино открылось нам издали, потому что мы спустились с пригорка, а большое селение, похожее на благоустроенный городок, раскинулось внизу, в живописнейшей долине. Первое, что прочли на одном из строений, — это «Г. Димитров» — кооператив носит имя великого болгарского вождя и, как потом увидим, достоинно носит.

Мы могли задержаться в Слатино не более пяти-шести часов: у нас ведь тоже был протокол, пусть не столь строгий и жесткий, как у государственных деятелей, но все же протокол. Стало быть, у меня не было времени

на раздумывания, с чего, с каких, что ли, объектов, с какого конца начать знакомство с кооперативом. Я начал с того, с чего (уверен в этом!) начинают все, или почти все журналисты, — то есть с беседы с председателем кооператива и с его помощниками.

Бочо Илиев — я еще в Софии много слышал об этом удивительном человеке — сидит сейчас передо мною и, все более одушевляясь, рассказывает историю кооператива, рассказывает так, как и может рассказать человек о своем детище, — ведь кооператив создан по его инициативе чуть более двадцати лет тому назад...

— Позвольте, — удивитесь вы. — Как же это — двадцать лет? Ведь народной Болгарии немногим больше шестнадцати?..

Верно, все верно. Верно и то, что Болгарской Народной Республике чуть более шестнадцати лет. Верно, однако, и то, что Слатинскому сельскохозяйственному кооперативу чуть более двадцати. Организовался он в 1940 году, когда в Болгарии были, мало сказать, капиталистические, а прямо-таки фашистские порядки. И все же нашлись смелые люди, которые взяли крестьянина за руку и почти в полном мраке медленно, но уверенно повели его к лучшей доле на земле, на той самой земле, которая вволю попила его слез и пота.

Бочо Илиев — один из тех смелых, бесстрашных людей, которыми, к счастью, так богата маленькая Болгария. Сейчас ему 58 лет, «пенсионный возраст», говорит он, а черные глаза сверкают озорно и молодо. Впрочем, сейчас он может говорить о пенсионном возрасте, — вот они сидят рядом, возвращенные им орлята, крылья их достаточно крепки, а глаз достаточно зорок, чтобы отправиться в самостоятельный полет и повести за собою артель. Секретарь парткома Вылчо Кунчев и его заместитель, совсем юный с виду паренек Васил Кипиров, в свое время три года проживший в СССР и переживший вместе с нашей молодежью целинную одиссею, улыбаются: похоже, им странно слышать такие речи от своего Бочо, кто-кто, а они-то уж хорошо знают, как молод душою и как неутомим их председатель.

Илиев между тем рассказывает:

— В тысяча девятьсот двадцать восьмом — тридцать четвертом годах, если помните, в Болгарии был жесточайший сельскохозяйственный кризис. Крестьяне были на краю гибели. Надо было что-то делать? Мы-то,

я и мои товарищи по партии, знали, что нужно было бы делать: перед нами был пример ваших колхозов. Однако в условиях капиталистической Болгарии такое невозможно. Болгарская коммунистическая партия была на нелегальном положении.

И все же мы рискнули...

И Бочо Илиев поведал о том, что же это был за риск.

В 1939 году он побывал в Москве, на сельскохозяйственной выставке. В Москве встретился с одним из славных сынов Болгарии Василием Коларовым — соратником и другом Георгия Димитрова. Посоветовались. Решили создать кооператив...

Рассказ председателя был прерван появлением пожилой крестьянки. Энергично размахивая одной рукой, а в другой держа какой-то узелок, она явно жаловалась на каких-то обидчиков. Выяснилось, что в кооперативной хлебопекарне у нее отказались принять муку взамен на выпеченный хлеб — размол ли не тот, влажность ли не та, а испекать хлеб у себя дома крестьянка давно отвыкла. Председатель пообещал уладить все, и женщина ушла.

Беседа наша продолжалась.

Из шестисот дворов в 1940 году в кооператив записались триста. Успех? Разумеется. Но успех этот явно пришелся не по вкусу фашиствующему правительству: Бочу Илиева, как главного организатора, засадили в концлагерь, других активистов тоже вскоре арестовали. Середняки испугались и поспешили выйти из кооператива. Ко времени возвращения Бочо Илиева в село в кооперативе остались 102 семьи с 280 гектарами земли, которая к тому же была разбросана по полю отдельными клочками и не составляла сплошного, удобного для обработки массива.

Не дремал сельский староста: на какие пакости он ни пускался, чтобы только навредить членам кооператива! Главным, однако, методом его борьбы с ними были штрафы. Штрафовал по всяким поводам, а когда не было никаких поводов, тоже штрафовал. Такой, к примеру, случай: не у всех крестьян Слатино имелись буйволицы, не все, стало быть, могли побаловаться брынзой, — это было в порядке вещей, никого это не удивляло, не волновало. Кооператив же выдавал брынзу всем своим членам — и тем, что имели буйволицу, и тем,

у кого их не было. «Непорядок!» — решил староста, составил акт и оштрафовал кооператив на... 560 000 левов. Чтобы заплатить такую кругленькую сумму, кооперативу пришлось бы продать положительно все, что у него имелось, а это равносильно гибели. А ежели к тому прибавить бешеную агитацию самого старосты и кулаков, которую они вели против кооператива, то нетрудно представить, как нелегко было Бочо Илиеву и его товарищам.

И ныне здравствует в Слатино и аккуратно получает от кооператива пенсию вполне бодрый старичок Хинко Цачев. Нам бы так же, как и ему, как и Бочо Илиеву, не хотелось ворошить прошлое (с кем греха не бывает), но история есть история, из нее нельзя выбрасывать ничего сколько-нибудь поучительного, а случай с Хинко Цачевым был очень даже поучительным.

Кооператоры, в отличие от единоличников, обильно удобряли свои земли, и потому неудивительно, что однажды на их участках выросла пшеница столь высокая, что буйвола в ней не увидишь, и столь густая, что ужу не проползти.

— Это и повезешь ты, Хинко, такую пшеницу на кооперативный ток? — подзуживал староста.

Дрогнуло сердце Хинко Цачева. Тайно скосил пшеницу на своей делянке; староста помог перевезти ее во двор Цачева. Возмущенные члены кооператива подали в суд на Хинко и, не выиграв дела, вынуждены были заплатить судебные издержки.

Не хмурь бровей, Хинко, не прячь от людей старые свои глаза: тогда они были слепы, как и у многих твоих односельчан; к тому ж они очень скоро у тебя открылись, и ты увидел, что допустил оплошность, и народ простил тебя.

У кооператива были враги пострашнее. Вот что писал фашистский министр: «Идите в Слатино. Они там строят колхоз. Куда глядит полиция?»

Прогрессивные журналисты первыми поняли, что слатинскому кооперативу угрожает разгром, и поспешили на помощь. Четверо из них, в том числе Славо Васев, выехали в Слатино и затем выступили со статьями, в которых взяли Бочо Илиева и его кооператив под решительную защиту. Однако тогдашние власти не удовлетворились этим и созвали комиссию, которая должна была показать, что Слатинский кооператив есть не что

иное, как искусно прикрытая форма колхоза, и потому подлежит полной ликвидации.

Но это уже было осенью 1943 года. Советская Армия неудержимо двигалась на запад: это несколько охлаждало пыл выехавшей в Слатино комиссии, и она, комиссия, была не столь ревностной, как бы хотелось продажному правительству. Крестьяне, члены кооператива, в свою очередь недвусмысленно заявили, обратившись к председателю комиссии:

— Не мешайте нам, не подписывайте себе смертного приговора.

Услышав такое, один из наиболее активных членов комиссии, доктор Кондов, немедленно притворился больным. Другие воспользовались этим обстоятельством и отказались подписать акт: надо, мол, чтобы комиссия присутствовала в полном составе. Так и откладывали под разными предлогами. После же 9 сентября 1944 года комиссия собралась наконец в полном составе и единодушно заключила: Слатинский сельскохозяйственный кооператив существует на законном основании...

— Впрочем, — говорит с лукавой усмешкой Бочо Илиев, — к тому времени мы едва ли нуждались в столь авторитетном заключении столь авторитетной комиссии.

После 9 сентября 1944 года кооператив имени Георгия Димитрова стал развиваться настолько бурно и стремительно, что это удивило не только колеблющихся некогда середняков, но даже самих его руководителей, которые не сомневались в праведности избранного ими пути и в самые черные дни для их кооператива.

Сейчас мы предоставим слово цифрам, которые обладают счастливым даром рассказывать о важнейших делах и явлениях коротко, весомо, с неотразимой убедительностью.

Сразу же, как только в Болгарии установилась народная власть, почти все крестьяне Слатино записались в кооператив: из 600 семей лишь 54 остались единоличными. С этого момента кооператив стал развиваться как хозяйство многоотраслевое.

Основная отрасль — это зерновые, из них 34 процента земли отводится под посев пшеницы; 51 процент — под посев кормовых; 12 процентов — технических и овощей. В кооперативе много садов — яблонь, груш, слив, абрикосов, персиков, хотя под эти садовые культуры кооператив не отводит ни одного вершка чис-

лящихся за ним земельных угодий. «Как же так?» — спросите вы. А очень просто: яблони, груши, сливы и прочие фруктовые деревья слатиновцы сажают по обочине дорог, проходящих по территории кооператива. И красиво, и прибыльно!

Вторая по значимости отрасль — животноводство. В кооперативе 1350 голов крупного рогатого скота, в том числе — 400 дойных коров и 150 буйволиц, молоко которых очень хорошо для приготовления брынзы — этого любимого лакомства болгар; 4250 овец, 2450 свиней, 65 000 кур и уток, из кур — 10 000 несушек, которые не зря клюют кооперативное зерно: 130 штук яиц «выдает на-гора» каждая несушка; в искусственном пруду размером в 3 миллиона кубических метров жируют карпы — от них тоже немалый доходец.

Далее — виноградарство. Под виноградники, так же как и под яблони с грушами, не отводится земля, пригодная для посева зерновых и кормовых, — ими покрыты холмы, искусственными террасами сбегаящие вниз (эти знаменитые террасы дали возможность резко увеличить площади под виноградники). И опять — красиво, экономно, выгодно.

В кооперативе 30 подсобных предприятий, как-то: мельница, фуражный комбинат (слатиновцы так и говорят: комбинат), пекарня, под одною с нею крышей и одной печью отапливаемая баня (опять — экономно!); парикмахерская, мебельная мастерская, кузница, плодоовощесушилка, мужское и женское ателье...

Такое многоотраслевое хозяйство обеспечивает большую занятость людей на работе в течение всего года, а значит и устойчивый доход.

Два года тому назад кооператив укрупнился, слатиновцы взяли под свое крыло жителей села Умаровцы. Нельзя сказать, чтобы сделали они это с большой охотой. Первое время ворчали на Бочо Илиева:

— Наш председатель смотрел на приданое, но не глядел на невесту.

Дело в том, что овощное хозяйство Слатино испытывало острую нужду в воде, которой было в избытке у умаровцев. Умаровцы же, усердствуя на своих приусадебных участках, не шибко радели за общественное добро: рынок поглощал большую толику их забот. И вот такую-то «невесту» Бочо Илиев решил ввести в свой хорошо сколоченный, населенный трудолюбивыми людьми

дом. Нелегко было с этим примириться. Однако ж примирились.

А вот как росли доходы кооператива:

1955 год — 139 000 левов; 1957 — 309 000; 1958 — 798 000; 1959 — 36 миллионов левов; 1960 — 43 миллиона 600 тысяч левов.

После всего этого уже нетрудно представить себе, как быстро рос достаток каждой крестьянской семьи.

А вот еще цифры:

После 9 сентября — эту фразу болгары произносят с той же интонацией и той же значимостью, что и мы произносим: «После Октября» у нас случилось то-то и то-то, — в Слатино построено 420 новых домов, село полностью электрифицировано и радиофицировано. До 9 сентября (читай: до освобождения) в селе было лишь 7 человек со средним образованием, сейчас — 240 со средним и высшим образованием.

.Старый Хинко Цачев, что ты теперь скажешь?..

* * *

Вторую половину времени мы провели по большей части на улице, ходили и любовались всем, что сделано умными заботливыми руками людей, наконец после многих веков невыразимых страданий нашедших лучшую долю в совместном, коллективном труде на земле своих отцов. Нас сопровождал вначале сам Бочо Илиев, а затем — его боевые помощники, Вылчо Кунчев и Васил Кипиров, — последний почему-то все время старался обратить наше внимание на лозунги, которые были развешаны и расклеены по всему селу. Самый большой и красочный гласит:

«Дружба с СССР вечна и нерушима, как горы нашей дорогой Отчизны».

Заходим в летний парк — в январе выглядит он столь уж пышно: деревья голые, фонтаны замолкли, а летом, летом тут очень красиво! Парк этот родился за одну ночь. да, да, за одну ночь. Совсем еще недавно тут был пустырь, мутный ручеек лениво катился с горы, го берегам его паслись козы. Но старикам почему-то жалко было распрощаться с этим местом. Молодежь решила поставить их перед совершившимся фактом: в одну ночь вся местность была расчищена, привезены были саженцы, а к утру — вот он, парк. Пускай деревца

его еще слабы, пускай, пройдет год-другой, и они забушуют. Сейчас в нем летний кинотеатр на 800 мест, люди смотрят кино, отдыхают на тенистых аллеях, — с удовольствием приходят сюда и старики, даже, пожалуй, чаще, чем кто-либо другой: у пенсионеров больше свободного времени.

Направляемся к сельской больнице: в ней оказались 8 коек для больных, родильное отделение на 8 мест; женская и детская консультации; зубоврачебный кабинет. По пути заглянули в кузницу — в ней трудились ковали — истинные богатыри Колво Христов и Божин Христов, — так и забыл спросить, не братья ли они. Как раз напротив кузницы лозунг:

«Надо работать не только руками, но и умом и сердцем».

Вняли ли ковали этому страстному призыву, но только трудились они в полном соответствии с лозунгом. Васил Кипиров довольно улыбается, — я уже давно подозревал, что он-то и является автором многочисленных воззваний, расклеенных по селу, а чуть позже он признался в этом сам. Еще при въезде в селение я обратил внимание на строжайшее предупреждение, красовавшееся на телеграфном столбе:

«Алкоголизм — враг человеческого здоровья».

И — тоже: помогло ли это внушение, или еще что, но только пьяных в Слатино мы не видели.

Впрочем, когда наступило время обеда и мы зашли в маленькую столовую, никто нас не потчевал напитками далеко не безалкогольными с такой настойчивостью, как Васил Кипиров. А когда мы, слабо сопротивляясь, пытались сослаться на его грозный лозунг, Васил резонно заметил:

— Гостей это не касается.

Кажется, его замечание нас вполне удовлетворило и морально успокоило...

* * *

После обеда, перед тем как попрощаться с нашими хозяевами, мы заглянули в клуб и тут увидели портреты тех, кто составляет гордость села, его славу, опору:

Стоян Цаков — Герой Социалистического Труда, дояр; Неделя Йочева — звеньевая; Васил Иванов — дояр; Здравка Иванова — доярка; Здравко Василев — до-

яр; Роса Василева — доярка; Илия Върбанов — дояр; Тотка Пенева — телятница; Васил Митев — дояр; Марийка Василева — свинарка, лауреат Димитровской премии; ее муж Васил Йочев — заведующий свинофермой; Цона Атанасова — свинарка; Светослав Семенов — заведующий молочнотоварной фермой; Четко Бочев — телятник; Бонка Жилияскова — свинарка, жена председателя сельсовета; Цвята Сыданова — свинарка; Георгий Цанков — конюх; Иванка Павлева — звеньевая; Петр Златонов — животновод; Христо Найденов — чабан...

Болгарские товарищи очень просили меня назвать эти имена. И я делаю это с большим удовольствием — пусть у нас в стране узнают имена своих далеких и близких друзей; скромные, они делают одно общее наше дело — куют счастье для людей на земле.

Слатино...

Теплою волною охватывает сердце, когда я думаю о тебе. Очень хорошо видеть, как то большое и дорогое тебе стало дорогим и для других, далеких и недавно еще незнакомых людей.

Доброго тебе пути, Слатино!

1961

«ОТГОНИ ОТ СЕБЯ БОЛЬ И СОСТРАДАНИЕ...»

На первой странице моего объемистого блокнота, предназначенного для чехословацких заметок, написано: «По возможности побывать в городах Микулов, Косова Гора, Лученец, Нитра, в селах Камендин и Модры Камень — отыскать могилу Воронцова и Ходжаева».

Так написано. Ну а ежели говорить начистоту, я, в сущности, тут определил главную цель моего путешествия в Чехословакию. Любезное приглашение побывать в гостях у сотрудников журнала «Кветы» оказалось великолепным для того поводом. Некогда пройдя дорогою войны и, по счастью, оставшись живым и невредимым, ты непременно захочешь пройти по той же

дороге и в дни мира. Желание это посетит тебя тотчас же после долгожданной победы и не покинет до конца дней твоих. Оно может исполниться и не исполниться, но надеяться на такое путешествие, с нетерпением великим ждать его изо дня в день, из года в год ты будешь всю жизнь.

Ждал и я. Ждал долго — без малого два десятка лет.

Мои гостеприимные хозяева быстро внесли необходимые поправки в первоначальный маршрут, так что я смог побывать почти во всех городах и селениях, упомянутых мною выше. Скажу наперед, что побывал я и во многих других местах этой милой, славной страны, и в свое время более подробно расскажу о своих впечатлениях. Сейчас же речь пойдет лишь о нескольких эпизодах, так или иначе связанных с войной.

МИКУЛОВ

«Старинный город стоит почти на самой границе Чехословакии с Австрией. Древний замок возвышается над ним, бросая на землю, на деревья мрачные зубчатые тени. Ветер жутко свистит в бойницах его башен.

Перебив ночью сонных немецких патрулей, наши солдаты пробрались в замок. Теперь ребята осматривали это сооружение.

В зале, где в давние времена один завоеватель подписывал акт о капитуляции своего противника, бойцы задержались.

— А капитуляция была безоговорочной? — полюбопытствовал Ванин, обращаясь к Акиму.

— Тогда, кажется, и слова такого не было, — ответил Аким.

Между тем Ванин развалился на железной ржавой кровати, на которой, как свидетельствует мемориальная дощечка, почивал завоеватель, и с подчеркнутой развязностью задымил сигаретой.

— Аким, я похож на Бонапарта? — спросил он.

Аким промолчал. Вспомнил про Наташу и загрустил...

Ванин, очевидно, поняв состояние друга, оставил его в покое, обратился к Никите, перечитывавшему уже, кажется, в десятый раз письмо отца. Толстые губы Пи-

люгина шевелились. На обожженном ветром лице солдата была скупая, робкая улыбка.

— Никита, удели мне внимание, оставь письмо-то.

— Что? — не понял Никита и заморгал глазами.

— Похож я на Наполеона, как ты думаешь?

— Хорошо, что непохож...

Из города поднялся в замок Пинчук. Он забрался на башню и водрузил там свой неизменный флаг, уже порванный в нескольких местах и полинявший.

— Хай усе бачуть, що мы идэмо!

Семен присел, разулся и, свесив ноги, стал нежно гладить их руками.

— Ну ж и потопали вы, друзья мои самоходные! Нет на вас ни одного нетронутого местечка. Ничего!.. Коли надо будет, еще столько прошагаем!.. Куда хочешь дотопаем, хоть на край света! — Зеленые глаза его вдруг потеплели, голос дрогнул. — Дойдем!»

Так писал я о взятии микуловского замка в одной из своих военных книг. Мне и самому довелось вместе с разведчиками нашей дивизии вступить в него не то апрельской, не то майской ночью 1945 года. А перед тем замок этот, который был одновременно и крепостью, несколько раз штурмовал один из наших батальонов, но безуспешно. Многие советские солдаты пали на его подступах, у самых его древних стен. Пали всего лишь за несколько дней до Победы.

И вот вместе с сотрудницей чехословацкого журнала «Кветы» Любишей Секеровой я вновь поднимаюсь по узкой каменной лестнице в замок. Годы не прибавили ему старости. Замок словно бы помолодел. Разрушенные и полуразрушенные стены и башни его восстановлены, заново оштукатурены и даже побелены. Отовсюду слышатся девичьи голоса: тут теперь какая-то женская не то школа, не то мастерская. По длинному гулкому коридору бежала светловолосая и светлоглазая девчушка лет этак семнадцати. Моя спутница остановила ее и попросила провести нас по замку. Та охотно согласилась. Когда осмотр был окончен, девушка подвела нас к какой-то большой схеме, висевшей во всю стену, от пола до потолка. Отлучившись на минуту, она принесла лессенку и длинную указку, похожую на бильярдный кий.

— Это мы сами нарисовали, — не без гордости сообщила девушка.

Оказалось, что тут был изображен момент взятия

замка советскими бойцами. Мы молчали, а наш юный стратег, как заправский начальник оперативного отдела в штабе какого-нибудь воинского соединения, с редкостным знанием предмета и тогдашней обстановки начал во всех подробностях рассказывать нам о событии двадцатилетней давности. Вот отсюда, говорила девушка, советские солдаты пошли на первый штурм. Отсюда стреляли немецкие пулеметчики и артиллеристы. А вот по этим лестницам ночью пробрались русские разведчики... От возбуждения она раскраснелась, светлые волосы растрепались, рассыпались по ее лицу, она то и дело отбрасывала их маленькой рукой и все говорила и говорила о том, как взята была крепость...

Мы поблагодарили и распрощались. Я уже направился к выходу, а Любиша Секерова немного задержалась. Оглянувшись, я увидел, что они о чем-то шепчутся. А в следующее мгновение девушка, красная от смущения, со счастливыми слезинками на светлых ресницах, стремительно подбежала ко мне, чмокнула в щеку и с такою же стремительностью побежала прочь от меня по длинному коридору, оглашая его своим звонким голосом.

Она только сейчас поняла, что рассказывала о подробностях боя одному из его участников. Глядя на ее маленькую, быстро удаляющуюся фигурку, я подумал в ту минуту: «Если б не было у меня на земле других волнующих встреч, то ради одной этой стоило бы приехать в страну, навеки ставшую родной и близкой».

КАМЕНДИН — КАМЕНИН

Может быть, более всего мне хотелось побывать в этом селе. Часами мы склонялись над картой Чехословакии, отыскивая его. Я говорю «Камендин», а мои хозяева решительно утверждают, что нет такого в их стране. Я называю реку Грон, к которой прижались памятные многим моим однополчанам селение, шарю пальцем по тонкой синей линии, но Камендина не нахожу, и на меня уже смотрят недоверчиво: не перепутал ли? Но погодите ж, а это что Каменин? Это же словацкое название Камендина! Мы радостно хохочем, а уже через час, в дороге, в сердце моем сызнова поселяется тревога: а вдруг не то? От Братиславы до Каменина сотни верст — не ближний свет.

О сомнениях своих, однако, помалкиваю: что будет, то и будет.

Но вот еще издали узнаю очертания большого села, острой занозой засевшего в памяти моих фронтовых побратимов — тех, разумеется, кто остался живым после трагедии, разыгравшейся в районе доселе неведомого нам населенного пункта. Здесь именно сложили свои головы командир моего полка полковник Ходжаев, замполит подполковник Воронцов и тысячи других солдат и офицеров нашей дивизии; многие дошли сюда из-под самого Сталинграда, многим было присвоено звание Герой Советского Союза за Сталинград, за Курскую дугу, за Днепр, за Днестр, за Прут, за Тиссу, но никому за Грон, хотя после Волги и Днепра тут были, пожалуй, самые тяжкие для дивизии бои.

72-я гвардейская дивизия форсировала Грон с ходу, заняла село Каменин и в пяти-шести километрах за ним заняла оборону. Был это в конце декабря 1944 года, а в конце января 1945-го гитлеровцы, стремясь спасти Будапешт, обрушили на нас огромные бронетанковые силы. Две недели шли кровопролитнейшие бои, такие, каких уже давно не видывали гвардейцы. Может быть, их осталось бы в живых побольше, отойди они во время боев за Грон на исходные свои рубежи. Но к тому времени гвардейцы уже отвыкли отступать... Их окопы, артиллерийские и минометные позиции, пулеметные ячейки, воронки от бомб и снарядов оказались для них одновременно и крепостью и могилой.

Двадцать лет минуло, а стены многих домов, точно оспой, исковыряны осколками. Ищу дом, где помещался наш штаб. Вот примета — церковь, против которой стоял тот дом, точно против церкви. Примеряюсь, оглядываюсь — пусто против церкви.

— Сгорел, — подсказывает кто-то по-русски. Вздрагиваю от знакомого голоса.

— Мартин, ты?

— Я, товарищ капытен!

Он стоит рядом со мной и плачет. Я еще креплюсь, а щеки ходят ходуном, что-то заслонило дыхание. Вот он, наш милый Мартин, наш толмач, наш переводчик, певавший вместе с нами под аккомпанемент орудийного грома: «Броня крепка, и танки наши быстры».

Я и теперь не знаю, где, когда и при каких обстоятельствах Мартин Рак, в ту пору молодой солдат, по

доброй воле своей оставивший службу в хортистской армии, обучился знанию русского языка, но это был единственный житель Каменина, который помогал нам в общении с местным населением. Сейчас он член кооператива, немного постарел, но глаза его не утратили прежней живости.

Не улеглось еще наше волнение, как Мартин, а вслед за ним Янкуш Радован (во время боев ему было 17 лет), по должности нечто вроде председателя сельского Совета, высыпали на мою голову кучу цифр, будто бы я для того только и приехал, чтобы узнать, что в Каменине нынче проживает 1900 человек, что кооператив создан в 1958 году и что в кооперативе этом 1700 гектаров пахотной земли, что в 1961 году построили школу-девятилетку на 500 учеников, а также хлебопекарню и 150 новых жилых домов, что в кооперативе теперь на фермах 1200 свиней и 690 голов рогатого скота, а после войны, точнее, в сорок пятом году, оставалось всего-навсего 5 коров. А потом столовая для престарелых, опять же детский сад...

Не за цифрами я ехал. Это правда. Но отчего же и они так волнуют? Ответ я нашел немного позже, в Братиславе, в словах, высеченных на граните памятника павшим советским воинам:

«Ты, который приходишь сюда, отгони от себя боль и сострадание; пусть капли слез твоих не стучат о могилу. За гордость человека, за счастье людей живущих, за твое ясное лицо мы приняли смерть».

Потом мы поехали за Грон, на высокую гору, отсюда далеко видны поля, которые когда-то были одним сплошным полем кровавой сечи. Расположились на самом лобном месте: из бункеров, служивших нам в ту далекую пору блиндажами, старики принесли густое вино цвета крови — той самой крови, которой так щедро была покроплена земля, где теперь раскинулись виноградники. С горы я показал дерево над рекой, возле которого когда-то вошел в ледяную воду, чтобы переправиться на другой берег. Мартин поправил меня:

— Не у того, а вон у того дерева вы переправлялись.

Я вспомнил, что первым человеком, которого я встретил в Каменине, был и тогда не кто иной, как Мартин.

Благословенна память друга!

КОСОВА ГОРА

Не знаю почему, но именно я повысил в звании это крохотное селеньице, окрестив его городом. На решительное заявление Иржи Лукаша, Любиши Секеровой и других сотрудников журнала «Кветы», что в Чехословакии нет и никогда не было такого города, я с не меньшей решительностью стоял на своем: есть! В доказательство приводил тот несомненный факт, что не только сам участвовал в освобождении этого города, но и встретил в нем девятое мая — первый день Победы. Мы сменили много карт, отыскивая мой город, и только на одной из них в районе Прибрам обнаружили точку, столь крошечную по величине, что простым глазом ее не вдруг и увидишь — надобно было вооружаться увеличительным стеклом. И вот рядом с той-то точечкой такими же малюсенькими буквами было начертано: Косова Гора.

Это совсем недалеко от Праги. Меньше часа езды на автомобиле. Въехали сразу на площадь, которая в сорок пятом казалась мне чрезвычайно просторной, а сейчас до того малой, что и площадью-то ее нельзя назвать без риска погрешить против истины. По форме она все та же, только появились высокие деревья, которых прежде не было, — выросли за минувшие годы.

И опять встречи. Вот Милош Блажен, школьный учитель, в доме которого 9 мая 1945 года мы остановились на постой; вот учительница Блажена Весела, за двадцать лет она постарела, стала совсем-совсем седой, а глаза молодые, счастливые, они блестят так же, как тогда, в те далекие дни, когда по вечерам она читала нам по-русски стихи Владимира Маяковского; а вот и дом с высоким забором, мимо которого каждое утро я шел на службу.

Меня, кажется, и тут узнали. Старушка подходит вплотную и, показывая мне на высокий забор у своего подворья, о чем-то хочет спросить. Я долго не могу понять, о чем она. Наконец переводчик помогает. Старушка спрашивает, помню ли я ее петуха, который каждое утро взлетал на забор и горланил на всю Косову Гору.

Я вспомнил. Это был петух-красавец. Черный, обсыпанный серебром и золотом, огромный, он всякий раз вызывал мое восхищение. У забора я долго любовался

этим добрым молодцем. Хозяйка — она не была тогда еще старухой — видела это и радовалась за своего петуха.

Тогда мне не приходило в голову, отчего это я так люблюсь, в сущности-то, обыкновенным петухом. Вот теперь только, кажется, можно найти тому объяснение. На протяжении всей долгой войны можно было бы не раз услышать пение петухов, но и сейчас не могу вспомнить, что я когда-нибудь обращал на это внимание. Петуха в Косовой Горе я услышал в первый день мира, и это радостно поразило меня, как и все, что нас тогда окружало.

Не потому ли и крохотная деревушка по имени Косова Гора показалась мне в ту пору большим городом: в счастье человек склонен к преувеличениям, как, впрочем, и в горе своем.

Но то было преувеличение от огромного счастья.

До свидания, Косова Гора, мы еще с тобой увидимся непременно.

До свидания, милая страна, в которой двадцать лет назад я был на двадцать лет моложе... До свидания...

1965

МЫ ЖЕЛАЕМ ВАМ ОДНОГО — СЧАСТЬЯ!

Я пишу эти строки в городе, где решалась судьба не только советских народов. Будучи политруком минометной роты, я тогда обязан был мыслить категориями, далеко выходящими за пределы непосредственных задач, стоящих в ту или иную минуту перед ротой. Когда нам у крохотного сталинградского хутора Елхи, доселе известного разве лишь его жителям да ближайшим по соседству деревням, было особенно тяжело, мы говорили своим бойцам, исчерпавшим, казалось бы, последние свои физические силы: «Позади Волга. За Волгой для нас земли нет. Для нас земля — впереди. А она захвачена врагом. Ее надо вызволить из фашистского плена, затем подать руку братской помощи полякам, чехам, болгарам, всем, кто томится в гитлеровской неволе».

Вот о чем говорили и думали мы, истекающие кровью, стоявшие насмерть солдаты Сталинграда. Далеко

не всем из нас суждено было дожить не только до победоносного окончания войны, но даже до окончания Сталинградской битвы — да что там всей битвы, — до конца одного боя, одной атаки или контратаки. Вы, чехи и словаки, майскими солнечными днями встречавшие и осыпавшие нас цветами на улицах Братиславы, Брно, Праги, по всем городам и весям, по всем дорогам ликующей Чехословакии, — знаете ли вы, сколько моих боевых товарищей, милых и верных моих боевых побратимов, бесконечно влюбленных в жизнь, отдали ее на тернистом пути к вам?

Выстоявшие и победившие на Волге — за тридцать земель от вашей красавицы Влтавы, — советские воины должны были сделать то же самое на Курской дуге, на Днепре и Днестре, Тиссе и Гроне, на Висле и Одере, на Эльбе и, наконец, Влтаве, оставляя по пути могилы не безвестных, безымянных солдат, а очень близких нам друзей, которые к тому же были чьими-то сынами либо отцами. Знаете ли вы, наши юные чешские и словацкие братья, что многие дети наши выросли без отцов? Их отцы лежат в братских могилах, рассеянных на тысячеверстных солдатских дорогах от Сталинграда до Праги. Может быть, лишь теперь (коли выпадет для того час) они увидят могилу своего отца где-нибудь на берегу у Грона (ох, как много полегло там нашего брата в январские и февральские дни сорок пятого года), у Брно или у стен самой Златой Праги.

Если бы я знал, чьи сыны или внуки приезжают сегодня к вам, на землю Чехословакии, я бы, вероятно, многим из них подсказал, где найти могилу их отца или деда...

Расставаться с жизнью кому ж охота? И все-таки нередко наши солдаты шли на верную смерть, шли безропотно на такую боевую операцию, из которой — они это очень хорошо понимали — невозможно, немыслимо вернуться живым. И все-таки шли. Потому что знали: так нужно, так повелевает долг, так надо, чтобы оставшиеся в живых боевые товарищи победили. И хотелось, чтобы люди, которые останутся жить после тебя, которым ты принес освобождение, помнили всегда о том, что ты пролил свою кровь в священной битве с фашизмом, с этой дьявольской силой, спланировавшей для миллионов людей, и не в последнюю очередь для нас, славян, либо вечное рабство, либо истребление.

Война есть война. На войне как на войне, говорят бывалые люди, имея в виду в первую очередь то, что на войне убивают. Смерть всегда страшна. Умирать всегда обидно. И в тысячу раз обиднее было умирать на пороге победы, отмеченной историей девятым днем мая 1945 года: именно в такие дни и именно на твоей земле умирали советские воины, наш чешский друг и брат! За два дня, за один день, а иной раз и за одну минуту до победы. Последние, самые-самые последние рубежи второй мировой войны, — а они пролегли по Чехословакии — обильно окропились кровью моих однополчан, советских солдат.

Я пишу эти строки далеко от чехословацкого города Микулов, где вновь побывал спустя двадцать лет после войны. Помнится, по узким лестницам реставрированной древней крепости, превращенной ныне в школу, где девушки приобретают самую что ни на есть мирную профессию, поднялись вместе с переводчиком в просторный светлый зал. По стенам развешаны схемы крепости. Стрелками указано, как эта крепость освобождалась в сорок пятом советскими воинами. Семнадцатилетняя светловолосая девушка, раздумываясь от волнения, с редкими подробностями, как заправский военный, поясняла нам, как все тогда было... двадцать лет назад. Она, как помнится, и не знала, что рассказывает про все это участнику тех боев за Микуловскую крепость, а узнав, покраснела еще больше, из глаз ее выкатились счастливые слезинки...

Мне почему-то очень бы хотелось посмотреть в эти глаза. Хочется, очень хочется, чтобы они были всегда так же ясно и широко раскрыты навстречу нашей дружбе, добытой столь дорогой ценой. Советский солдат пришел в сорок пятом на твою землю, чтобы спасти ее для тебя же, для твоей матери, для твоих подруг, для всех чехословацких братьев и сестер, потому что мы желаем вам только одного — счастья!

1968

ЗА ТРИ МОРЯ...

Проснулись над Гималаями, вероятно, от ослепительного солнца, хлынувшего в иллюминаторы: утро бежало навстречу. Под нами ни единого облака. Ясность

поразительная. С высоты десяти тысяч метров отчетливо видны ледяные просторы меж горных вершин, будто огромные искусственные катки. В иные минуты тут, верно, царство безмолвия. А сейчас, пока мы летим, рев двигателей нашего Ту на какое-то время нарушает покой этого царства. Бортпроводница сообщает, что в Дели температура воздуха 28 градусов выше нуля. Несколько позже мы поняли, что по индийским понятиям это скорее прохладная, чем жаркая погода...

Дели, аэропорт. Где-то здесь нас ожидают представители министерства просвещения. Да вон, кажется, они приближаются с большими венками из живых цветов. Но еще прежде к самому трапу подбежал человек до того знакомый, что ты нисколько не удивился бы, увидев его встречающим тебя на Внуковском аэродроме. Когда за тридевять земель ты в первую минуту видишь соотечественника, к тому еще близкого своего друга, — это, поверьте, вдвойне приятно и вдвойне волнующе. Перед нами стоял, как всегда, сияющий здоровьем и вообще сияющий Николай Личак, бывший мой сослуживец по армейской печати, а теперь сотрудник АПН. А вот уже подходят и наши хозяева с традиционными венками. Короткие взаимные приветствия — и, как водится, по машинам.

По пути в гостиницу я решил не пропустить ни единой достопримечательности: ведь это же Дели, столица Индии, страны, в которую ты прибыл первый раз в твоей жизни, и кто знает, побываешь ли еще здесь! Так смотри же во все глаза, ничего не пропусти! И вдруг полисмен приостановил и нашу и другие машины; остановились и пешеходы. Показался небольшой автомобильный кортеж. Теперь уж не помню точно, в третьей или во второй машине с незанавешенными окошками сидел направляющийся на службу Джавахарлал Неру. Я говорю «на службу», потому что именно в этот час сотни, тысячи велосипедистов заполнили все улицы и улочки столицы: служащие, объяснили нам, направляются в свои учреждения. Премьер-министр каждый день в один и тот же час отправлялся на свою высокую службу — человек, которому больше, чем кому-либо другому, многострадальная Индия обязана тем, что вырвалась из хищных и цепких когтей империализма и обрела независимость.

Кортеж проходил мимо нас медленно, и мы могли

в течение нескольких минут видеть этого человека. Мы еще прежде слышали, что премьер-министр тяжело болен, но ведь он и раньше часто болел; может, думали мы, и на этот раз все кончится благополучно, силы вернутся, — словом, все будет хорошо. Но внешний вид Неру мало оставлял таких надежд. Он не сидел в своей машине, а полулежал, откинув голову на заднюю спинку сиденья, да не прямо, а как-то набок, ближе к левому углу. Стоявшие по обе стороны люди приветствовали его, но лица их были печальны.

В тот же день вечером мы смотрели хронику. И вновь увидали Неру, он встречал в своей резиденции важного дипломата. Для приветствия премьер-министр должен был подняться, но сделать это уже не мог без помощи державшего его под руку какого-то высокого и тоже пожилого человека.

Всю дорогу до гостиницы мы и наши хозяева молчали. Я смотрел по сторонам рассеянно и почти ничего не видел...

* * *

Мы приглашены в Делийский университет. Многие его профессора — сами литераторы, и у нас состоялся, по сути, литературный вечер, хотя и проходивший среди бела дня. Поэты читали нам свои стихи на хинди, на урду, на бенгали, все переводилось на английский, а уж с английского — на русский. Хоть путь, как видим, был тернист и сложен, но все-таки стихи доходили до нас. Потом такую же операцию, но в обратном порядке произвели со стихами нашего друга — узбекского поэта Рамза Бабаджана. Форма рубаи, в которой преуспел последние годы этот поэт, оказалась очень близкой многим участникам литературной встречи. Рамз читал:

Летит космонавт — и мир
погружен в изумленье,
От славы его дрожит небосклон
в изумленье.
Хвала человеку! Пред ним даже
смерть отступила,
А был бы аллах — застыл бы он
и он в удивленье.

Индия чествовала на своей земле Валентину Терешкову, и, наверное, теперь вспомнили и про нее и про дру-

гих покорителей космоса. Среди слушателей были две девушки-аспирантки. Они из Ташкента, проходят усовершенствование в восточных языках в Делийском университете. Дружба между двумя великими народами ищет самый короткий путь для своего укрепления. Язык — хороший помощник для такого великого дела.

Я думаю об этом, а между тем за мною и моими друзьями неотступно следит пара уже далеко не молодых, но очень внимательных глаз. Я был уверен, что этот человек после официальной встречи непременно захочет задержать нас еще на несколько минут и о чем-то непременно спросить, по-видимому, чрезвычайно важном для него. Он задержал нас в коридоре, недалеко от выхода.

— Прошу прощения, господа, — начал он на языке русского человека, давно утратившего возможность следить за живым развитием родной речи, — но мне бы хотелось просить вас об одном одолжении. Мой сын Владимир, — он показал на стоящего рядом с ним мальчика лет десяти, обыкновенного по виду индийского мальчика, — очень любит читать русские книги и особенно про войну. Не найдется ли при вас такая книга?

Я охотно подарил Вове свой роман «Солдаты».

— Он мечтает поехать учиться в Россию, — сказал отец. И тут голос его дрогнул. — Вы знаете... я же русский. Фамилия моя Есаулов, я внук предводителя дворянства Саратовской губернии. Не слыхали ли про Шереметьевку? Это село принадлежало моему деду.

А когда я сообщил внуку предводителя, что не только слышал про Шереметьевку, но и много раз бывал в ней — у меня там товарищ учительствовал, — то на глаза господина Есаулова навернулись слезы. Справившись с волнением, он поведал нам коротко историю своей жизни. После Октября бежал за границу. Много скитался по разным странам, пока судьба не забросила его сюда, в Индию. Женился на индийской женщине. Сын Вова, однако, лучше говорит на русском языке.

Вова, не спуская с нас своего пристального и восторженного взгляда, прижимал к груди подаренные книги: Рамз тоже нашел в кармане небольшой сборничек стихов, выпущенный недавно на русском языке.

Из университета мы направились в Художественную галерею; там собрано много великолепных полотен индийских и зарубежных мастеров. Перед многими картинами хотелось задержаться как можно дольше, особое внимание привлекают рисунки Рабиндраната Тагора.

Потом мы перешли в зал, где развесили свои творения абстракционисты. Мы высказались довольно откровенно относительно увиденного. Экскурсовод, не большой, как выяснилось впоследствии, поклонник абстрактного искусства, тем не менее не удержался, чтобы не задать нам ставший уже традиционным в подобных обстоятельствах вопрос:

— Почему у вас не любят абстрактную живопись и скульптуру?

На это мы ответили вопросом:

— Почему добрая хозяйка каждый день выметает из своего дома мусор?

Экскурсовод улыбнулся и покосился на некое содание из расплющенного, покореженного куска ржавого железа, помещенное в центре комнаты, — мимо него посетители проходят в отдалении, дабы не уколоться и не порвать платье. Днем позже, когда мы в Национальном музее смотрели совершенно удивительные индийские народные танцы, были очарованы и самими танцами, и костюмами танцоров и танцовщиц, нам вновь припомнилась горько-ироническая улыбка нашего экскурсовода из Художественной галереи.

Последний день нашего пребывания в Дели завершился приемом у заместителя министра просвещения. Беседа была в высшей степени дружественной и имела целью дела сугубо практические: что надо еще предпринять, чтобы культурные связи между нашими народами были более тесными и плодотворными. Наш хозяин интересовался тем, как поставлено образование в советских республиках Средней Азии. Тут уж нашему другу Рамзу Бабаджану, как говорится, и книги в руки. С живейшим интересом было выслушано его короткое сообщение и об Академии наук Узбекистана, и о многих высших учебных заведениях республики, и о всеобщем восьмилетнем образовании, и о книгоиздательстве, и о Союзе узбекских писателей. Вопрос же, собственно, был задан один:

— Вы сказали, что узбеки разговаривают и на родном своем узбекском языке и на русском. Это хорошо. А как же те, которые не учатся в школе?

— У нас учатся все, — сказал Рамз.

— Ах да... конечно! — И заместитель министра смущенно умолк.

Он мог бы и не смущаться. Мы знаем, каких титанических усилий стоит индийскому правительству наладить дело народного образования и как много уже сделано в этом направлении.

* * *

Я вдруг вспомнил, что не назвал еще ни одной достопримечательности, с которой обычно связывают эту действительно сказочную страну. Не пробежали по моим строчкам резвые и смешные обезьянки, не прошагал своими негнушимися ножищами слон, не прошипела кобра, не пролетел гриф. Это, честно говоря, не есть мое упущение. Просто фауна, к которой мы привыкли из чтения мемуаров разных путешественников, пока еще нам не встречалась.

В Джайпуре нам повезло. С утра нас повезли в какую-то старую крепость, во дворе которой стояла дюжина слонов. Они все — будто кто-то невидимый ими командовал — согласно кланялись въезжающим в крепость, шевеля и повиливая кончиками своих хоботов. На спине каждого великана была прилажена своего рода карета, в нее садились по четыре туриста. Слон дважды провозил этих поглупевших от удовольствия людей по двору и подходил к широкой стене крепости, где и ссаживал ошастливленных. Покатались и мы на слоне; физиономии наши при этом тоже не выглядели интеллигентней. И все-таки, когда мы были не наездниками, а зрителями, нас более всего забавлял вид не слона, а взобравшейся на него какой-нибудь пожилой английской леди, прибывшей в страну, где, может быть, прошла ее молодость. Сколько важности, сколько гордого достоинства запечатлевалось в такую минуту на челе ее!

В Джайпуре у нас была вторая встреча с индийскими писателями. Это был очень большой и очень дружественный разговор о литературе. Потом читали стихи. Мы повторили опыт с многоступенчатым переводом,

который нам удался в Делийском университете. Удался он и здесь. Мне пришлось делать нечто вроде докладов о советской литературе.

* * *

Об Агре рассказ будет совсем короткий. И не только погому, что в этом великолепном городе мы пробыли самый малый срок, а главным образом потому, что тут мы ограничились осмотром многочисленных замков, крепостей и знаменитой гробницы Тадж-Махал, построенной на реке Джамна шахом Джаханом из белого мрамора в память жены. Об этом воистину изумительном сооружении старинного зодчества писалось так много и так подробно, что я не беру на себя смелость соперничать со своими собратьями по ремеслу, умеющими это делать куда искуснее меня, малоопытного путешественника, позабывшего даже — опять же по неопытности — обзавестись соответствующими туристическими справочниками...

Замки, крепости, усыпальницы, дворцы — все это было сделано в далекие времена для возвеличивания раджей и махараджей. Теперь же Индия, гордясь изумительными памятниками старины, озабочена более тем, что она должна сделать для своего народа, для того, чтобы весь народ был сыт, обут, одет, чтобы он получил образование, достойную работу и пользовался всем — как материальными, так и духовными благами своей земли. Мы видели среди осматривающих Тадж-Махал туристов не совсем обычных — то были инженеры, техники, рабочие с Бхилайского металлургического комбината и с другихстроек, сквозь которые видится будущее Индии, уже независимой не только политически, но и экономически от империалистов. Радостно было видеть среди смуглых индийцев наших светловолосых и светло-русых парней и девчат, загоревших под полуденным солнцем далекой дружественной страны.

* * *

Бенарес. Об этом древнейшем городе мы были наслышаны задолго до приезда в Индию.

Бенарес считается священным городом. Наш проводник Винод Джаджория, человек еще очень молодой и, как мы убедились после, весьма остроумный и жизнера-

достный, предложил нам завершить свое земное существование не где-нибудь, а именно в Бенаресе. В этом случае рай будет нам обеспечен, как бы ни был велик груз наших грехов: они, грехи наши тяжкие, исчезнут, как злые духи, стоит лишь помереть на земле Бенареса. Сюда, чтобы совершить омовение в водах Ганга, съезжаются и сходятся со всех концов Индии, да и не только Индии, верующие.

Протискиваясь к реке сквозь плотную толпу полуобнаженных и вовсе обнаженных людей, среди которых были калеки, были прокаженные, каждый из нас троих, вероятно, думал, сколько же чудовищно сложных проблем — национальных, религиозных, здравоохранения, образования — стоит перед республикой. Однако проводник наш казался невозмутимым; и тут опять подумалось, что нищета и невежество страшны сами по себе, но во сто раз они страшнее, когда с ними примирятся и разум и совесть твоя. Во всяком случае, наш веселый Джаджория сыпал направо и налево остроумиями, удивляясь при этом тому, что мы молчим.

Проводник высказал нам довольно оригинальный взгляд на причины перенаселения Бенареса и многих других городов страны, а значит, и на причины безработицы. Виною тому, оказывается, просвещение. Беда, по словам веселого г-на Джаджория, в том, что образование пришло в сельскую местность. Многие крестьяне стали грамотны. А какой же грамотный будет ковыряться в земле и в навозе? Грамотные из деревень устремились в город — только и всего. А вывод? Коль у вас есть на плечах голова, сделайте его сами: просвещение — зло, а не благо...

В министерстве просвещения, где, надо полагать, имеют более полные сведения по этому вопросу, мы слышали нечто совершенно другое. На селе до сих пор еще насчитывается до 80 процентов неграмотных людей, и это, не в пример нашему веселому проводнику, не радует, а сильно заботит индийское правительство, не мыслящее прогресса своей страны без образования широких народных масс. В том же Бенаресе мы видели университет, в котором обучаются тысячи юношей и девушек; индийцы с вполне понятной гордостью сообщили нам, что сюда за получением хорошего образования приезжает молодежь из многих стран мира, в том числе из Европы и Америки.

Выбравшись из тесных улиц города, мы по отличной асфальтированной дороге направились осматривать различные исторические достопримечательности. Ехали как по широкой аллее: по бокам росли деревья, по пышности кроны напоминавшие нам каштаны где-нибудь на киевских высотах. Но это не каштаны. Это дерево, о котором индеец скажет не иначе как с просветленным лицом:

— Манго!

Дерево не требует ни ухода за собой, ни особого наблюдения. Оно хорошо знает, что ему надо делать: ежегодно на его ветвях вызревают пленительно вкусные плоды.

Первым на нашем пути был Археологический музей. В нем собраны лучшие образцы буддийского искусства. Во множестве вариантов была представлена Богиня Искушения.

Истинное восхищение вызывает у посетителей храм по имени Мать Индия, построенный в честь Ганди. Во весь зал огромная мраморная карта Индии — такой, каковой страна должна быть после освобождения от колониальной зависимости.

Вообще Бенарес — город прежде всего храмов. Не знаю, есть ли ему в этом отношении равные в мире. Храмищи, храмы и крошечные храмики окружили город, вторглись в его центральную часть, жмутся один к другому, теснят друг друга, некоторые стоят покосившись по грудь в воде, а есть и такие, которые исчезли вовсе под водой или целятся из-под воды стволами башен.

Есть здесь сооруженный в давние еще времена Обезьяний храм. Там-то мы впервые и увидели этих капризных особ во множестве. Живут они в своем храме, прямо скажем, припеваючи. Их одаривают разными лакомствами богатые туристы, толпами осаждающие в течение всего дня этот храм. Старые обезьянки, разжиревшие, толстые и ленивые, как купчихи, занимают нижнюю часть храма, глядят на туристов и их приношения с полным безразличием, а то и с откровенным презрением. Обезьянки среднего возраста и веса расположились повыше, а молодые, озорные и легкомысленные, забрались на самую верхотуру; многие повисли на хвостах вниз головою и, вытаращив черные круглые глаза, скалят зубы и показывают своим цивилизованным соро-

дичам язык. Свысока — в прямом и переносном смысле свысока— глядят они на нарядных леди и джентльменов, среди которых вдруг оказался совершенно обнаженный человек, посыпанный пеплом. Он, объяснили нам, объявил себя святым еще при жизни, и теперь ему нет никакой необходимости прикрывать причинные места. Однако и святой не утратил еще общечеловеческой слабости и пришел поглазеть на далеких своих прародителей...

А вот еще Храм любви. Возле него почти никогда не бывают леди, зато всегда толпятся джентльмены. Великие мастера резьбы по дереву хорошо потрудились тут во славу бога Эроса. Почтенные отцы семейств, приходя сюда, напустив на свой лик ангельское благолепие, смиренно выслушивают пояснения экскурсовода, которым является либо священник, настоятель этого собора, либо его двенадцатилетний сын.

Однако мы были принуждены прервать свою экскурсию по Храму любви. Нас ждал в своем дворце махараджа. Из слов Винода Джаджория мы уже знали, что махараджа Бенареса — великий попечитель старины и индуистских традиций, чем и известен в городе и во всей округе.

Мы прибыли во дворец минут за пятнадцать до определенного нам срока. Слуги, чтобы скоротать время, провели нас в помещение, где было собрано оружие за много столетий. Зрелище этого уникального собрания увлекло нас, и мы чуть было не опоздали на прием.

Вслед за секретарем мы поднялись наверх, в просторную не то комнату, не то башню, открытую со стороны Ганга и со всех остальных трех сторон вольным ветрам и солнцу. Через минуту появился в национальном костюме махараджа, очень румяный, очень черноусый и очень жизнерадостный мужчина, чем-то напомнивший нам нашего юного проводника, хотя был лет на тридцать старше. Первое, с чего начал его величество, так это подвел нас к портрету другого величества — какого-то русского великого князя, однажды осчастливившего своим присутствием дворец бенаресского махараджи.

Потом его величество живо заговорил и говорил уже до тех пор, пока время аудиенции окончилось. Да, разумеется, он весьма озабочен сбережением традиций. Он, как вы видите, носит исключительно национальный костюм. Пьет воду только из Ганга, а ест только пищу,

приготовленную руками его жены. Далее мы узнали, что его величество любит военные мемуары, он уже прочел всего Черчилля, хотел бы познакомиться с сочинениями советских полководцев. Я пообещал выслать ему книги некоторых наших маршалов.

На этом месте аудиенция закончилась, а вместе с нею окончилось и наше пребывание в Бенаресе.

На вокзале г-н Джаджория, дружески попрощавшись, не забыл предупредить:

— Иностранец, побывавший в нашем городе дважды, тоже может быть уверен: рай ему обеспечен.

* * *

Калькутта встретила нас жарищей совершенно немыслимой. Программа же нашего трехдневного пребывания в столице Западной Бенгалии была так насыщена, что мы взмолились: «Сократите количество встреч и экскурсий хотя бы на одну треть!» Наши гостеприимные хозяева вняли мольбам и малость подсократили. И все-таки мы всякий раз возвращались в отель «Спенса» в полнейшем изнеможении; Рамз падал в постель и сейчас же заказывал себе чаю, без которого он не мог бы прожить и одного дня, что там дня — часу не мог бы прожить.

Листая в своем номере телефонный справочник, я между прочим наткнулся на следующую рекламу:

«Вы сэкономите иностранную валюту, покупая советские колесные и гусеничные тракторы, сельскохозяйственные машины и землеройное оборудование». Я и теперь не знаю, кем и для кого составлена эта памятка. И если говорю о ней, то потому лишь, что здесь, в дальней стороне, даже такая малая деталь может сильно разволновать.

Университет Рабиндра Бхарати. О нем мы думали еще в Москве. И как же мы были благодарны нашим хозяевам за то, что они в первый же день повели нас в дом, к которому, вероятно, никогда «не зарастет народная тропа»! Да, это дом великого сына Индии и великого нашего друга Рабиндраната Тагора. Тихо входим в комнату, где он умер. На стене два его портрета, на маленьком столике ваза с цветком. Точно вечный огонь, днем и ночью, изо дня в день, из года в год курится фимиам. Так и кажется, что вот только сейчас,

несколько минут назад, из комнаты вынесли покойного Тагора. Но рядом, в другой большой комнате, мы уже встречаемся с ним живым. Правда, мы не видим его, но слышим голос — голос Тагора, записанный на граммофонную пластинку. Тагор читает свои стихи сначала на родном, бенгальском, а затем на английском языке. Знаменитая певица Мит исполняет песню Тагора. Низкий тебе поклон, большой наш друг! Советская Россия помнит о тебе, ты одним из первых протянул ей дружескую руку из далекой Индии.

Взволнованные, выходим во двор. Тут же, у дверей, возвышается памятник. На нем надпись:

«От Общества советско-индийских культурных связей университету Рабиндра Бхарати в знак глубокого уважения и любви к Рабиндранату Тагору, великому сыну индийского народа, завещавшему крепить дружбу между Индией и Советским Союзом».

В полдень, то есть в самый зной, нас пригласили в редакцию газеты «Джугантар». В рабочем кабинете, в тесной комнатухе заведующего отделом новостей, поэта и прозаика Д. Р. Босе, собралось на беседу с нами несколько сотрудников. За фанерной перегородкой, отделяющей «кабинет» от типографии, ревели ротационные машины, стучали линоотъемы. Голос г-на Босе был едва слышен среди этого шума. Однако то была рабочая атмосфера для Босе, и потому он чувствовал себя превосходно, чего нельзя было сказать о нас. Босе же делает сразу много дел: пишет, говорит по телефону, задает нам и своим сотрудникам вопросы, слушает ответы, снова говорит по телефону, опять задает вопросы, дружески улыбается при этом, поощряет к откровенности.

* * *

Молочный комбинат Бомбея — предприятие для Индии новое, скорее всего экспериментальное, как, впрочем, и множество других предприятий. Все оборудование на нем принадлежит государству, а коровы являются собственностью крестьян, которые как бы сдают своих животных в аренду. Поскольку при переработке молока образуется много различных отходов, то рядом с молочным комбинатом созданы свинофермы, и предприятие уже делается многоотраслевым. Сразу, конечно, не вникнешь в детали такого содружества частного с го-

сударственным, но ясно одно: дети Бомбея оказались в выигрыше, каждый день они получают свежее молоко и другие молочные продукты, в огромной массе выпускаемые комбинатом. Надо думать, что они с благодарностью вспоминают при этом дедушку Джавахарлала, по инициативе которого создано хозяйство.

Утром следующего дня мы поехали в аэропорт, чтобы вылететь в Аурангабад. Неподалеку от этого города находятся знаменитые пещеры, о существовании которых в течение сотен лет никто не подозревал в Индии; входы в них были завалены глиной, затем заросли травой, а потом и деревьями. Пещеры случайно обнаружил майор Гилл, бродивший в здешних краях с охотничьим ружьем. Всего 34 пещеры, из них 12 — буддийские, остальные — индуистские. Многие из них начаты еще в седьмом веке, а закончены в восьмом. Строительный материал — каменная скала, больше ничего. По рисункам, по скульптурным изображениям вы можете прочесть всю историю не только религии, но вообще всю историю Древней Индии. На острове Слонов в Аравийском море, неподалеку от Бомбея, пещеры построены, а точнее, вырублены, в скале в том же седьмом веке. С вершины острова, то есть от самых входов в пещеры, хорошо была видна выступающая гряда чуть южнее Бомбея и на ней поблескивающий на солнце купол атомного реактора. Так мы смогли из глубин веков или, вернее сказать, глазами давно минувших столетий посмотреть на век наш, двадцатый.

1965

ВОЗВЫСЬТЕ СВОЙ ГОЛОС, ЛЮДИ! ¹

Я никогда не был в Японии. Не видел Хиросимы. Не видел Нагасаки. Я не видел атомного гриба, взметнувшегося над несчастными этими городами и ныне как бы окаменевшего и ставшего памятником — напо-

¹ Побываем в Японии позже, а именно в 1974 году. (Прим автора)

минанием об одном, может быть, самом злодейском акте за всю историю человечества.

Я не видел Хиросимы. Но очень хорошо вижу маленькую девочку из Хиросимы, тонюсенькими, почти прозрачными, совсем слабыми ручонками вырезающую ножницами бумажных журавлей. Вот их уже двести, триста, этих белых легких птиц. Триста! А ведь надо тысячу... Только тогда она выздоровеет от атомного облучения. Так ей сказали. Так ей сказали взрослые умные люди. Больно, ох как больно! Слабые руки не хотят подчиняться, ножницы выскальзывают из пальцев. Но она подымает их вновь и вновь. Вот уже вырезан восьмисотый журавль. Остается еще совсем немного. Ну, девочка, еще немного, и ты будешь здорова! На восьмисот первом ножницы опять выскользнули — на этот раз уже из мертвых пальцев...

Я это очень хорошо вижу, только никак не могу представить себе, чем в те же самые минуты был занят, о чем думал человек, отдавший в свое время приказ совершить страшное, черное дело. Может быть, именно в те минуты его бестрепетная рука выводила редкостное по своему цинизму письмо муниципальному совету Хиросимы, в котором он уверял, что дьявольский тот акт был «неотложным и необходимым для будущего благоденствия как Японии, так и союзников»? Или в сотый раз заклинал, что «не чувствует угрызений совести»?

В то, что люди, приказавшие сбросить атомную бомбу, не обременены совестью, мы охотно верим: у таких людей ее попросту нет. Но она, совесть, заговорила даже в человеке, которому велено было исполнить и который исполнил тот приказ. Как известно, американский летчик, сбросивший атомную бомбу над Хиросимой, вскоре сошел с ума. Совесть его не смогла примириться с содеянным.

Слов нет, японский милитаризм причинил немало бед многим народам, в том числе и американскому. Но к тому времени, когда было принято «роковое решение», судьба войны уже была определена. Спрашивается, зачем же была сброшена атомная бомба над мирной Хиросимой? Зачем выпущен на волю злой дух? Зачем вырос над Японией султан атомного взрыва, этот чудовищный гриб-человекомор?

Американский империализм хотел этим актом устроить весь мир, сделать его рабски покорным себе. И не

вина американского империализма, что мир не захотел покориться.

Маленькая девочка из Хиросимы вырезала бумажных журавлей, чтобы стать здоровой. А кто вернет тех тридцать шесть мальчиков и девочек, которые родились совсем без мозга, — их матери в сорок пятом находились в районе атомного взрыва? А как быть тем двумстам тридцати тысячам японцев и японок, на которых, по свидетельству газеты «Асахи», «атомная бомба оставила глубокие следы своих когтей»?

Роковое решение...

Да, действительно, роковое! И не только для японцев, первыми испытавших и переживших атомный кошмар.

Вот уж истинно: что посеял, то и пожнешь. На земле Хиросимы и Нагасаки вызрели гроздья такого великого гнева, от которого у самих сеятелей зла волосы встают дыбом. Во всяком случае, они поняли или должны были понять, что память японского народа слишком свежа и ясна, что он не желает стать сообщником еще более страшных преступлений в будущем.

Роковое решение...

Да, оно было таковым и для тех, кто его принял. Ослепительная вспышка атомного взрыва не ослепила, а сделала более зрячими миллионы простых людей на всех континентах земного шара. Эти миллионы поняли, что несет с собой империализм, и, поняв, стали действовать. Мир стал свидетелем взрывов, от которых содрогнулось и дало глубокие трещины все здание империализма. Бюро Всемирного Совета Мира в своей недавней декларации говорит:

«Мы переживаем сейчас один из величайших исторических моментов освободительного движения, когда впервые нажим народных масс дает себя знать одновременно во всем мире. Народы в движении. Они уже достигли значительных побед, начиная от Японии и Кореи на востоке до Кубы на западе. Нет такого континента и почти ни одной страны, которые не были охвачены волнением, а в Африке одно за другим рождаются новые независимые государства, освобождающиеся от ига империализма и колониализма».

Роковое решение...

Оно оказалось таковым для всех матерей на свете, потому что с той самой минуты, как над Хиросимой

вспухло и растеклось кровавое облако, они, матери, уже не могут спать спокойно, они — в вечной тревоге за своих малюток. Злой дух, выпущенный на волю пятнадцать лет назад, продолжает витать над обеспокоенной нашей планетой, сея всюду тревогу. Извлеченные из атома силы разрушения растут с чудовищной быстротой.

Советское правительство в полном соответствии и согласии с волей своего народа на протяжении всех этих полутора десятков лет предпринимает героические усилия, чтобы навсегда избавить человечество от кошмарных атомных видений, чтобы горизонты были чисты и ясны, чтобы матери без тревоги склонялись над колыбелью детей своих. Нет надобности перечислять мероприятия нашего правительства, посвященные великому и святому делу борьбы за мир во всем мире. О них знают все.

Стихийно возникшее величайшее движение нашего века — движение сторонников мира — с первых своих шагов получило и получает огромную поддержку Советского правительства, поддержку всего социалистического лагеря, всех свободлюбивых народов. Деятели империализма объявили это движение «коммунистическим», хотя в нем принимают участие и католические священники, и патриарх всея Руси, и американский миллионер Сайрус Итон, и индийские буддисты. Ведь речь идет о судьбах человечества!

Разоружение — единственный путь к миру, единственная возможность сохранить мир. Из дня в день, из года в год с редкой последовательностью и настойчивостью Советское правительство делало и делает все, чтобы идея разоружения стала всеобщей, чтобы от слов о разоружении все страны, и прежде всего великие, перешли к самому разоружению. Чтобы побудить своих партнеров по переговорам к более смелым и решительным шагам, Советское правительство в одностороннем порядке раз за разом сокращает свои вооруженные силы. Миллионы вчерашних солдат стали тружениками полей и рабочими заводов.

Мы никогда не прекратим борьбы за всемирное разоружение, за избавление всех людей Земли от атомного ужаса. Именно поэтому все советские народы горячо поддерживают призыв сессии Бюро Всемирного Совета Мира начать новую, широчайшую, охватывающую все

уголки нашей планеты кампанию за разоружение и за укрепление мира.

...Девочка из Хиросимы стоит перед моими глазами. Она стоит на вершине постамента. Стоит, подняв за развернутые крылья белого журавля. Девочка молчит, а я слышу ее крик, крик на весь белый свет, на всю планету:

«Возвысьте свой голос, люди! Возвысьте, пока не поздно! Я не сделала своего тысячного журавля! Спасите же других детей! Спасите жизнь на Земле!»

1960

АМЕРИКАНСКИЙ ДНЕВНИК

ОТ АВТОРА

При чтении иного дневника ты вовсе не уверен, что перед тобой именно дневник, то есть документ, в котором его хозяин ведет более или менее подробную запись всего, что случилось с ним или окружающими его людьми в такой-то день и час такого-то месяца и года. То было в прошлом, когда пишущие, очевидно, были не так изоцирены, как во времена нынешние.

Теперь же к дневниковой форме стали все чаще прибегать как к некоему литературному жанру, который хорош уже тем, что из-за отсутствия необходимости придумывать фабулу, сюжет, характеристики героям, конфликты между ними и прочие атрибуты, обязательные в художественном произведении. При всем при этом форма дневника делает повествование более достоверным, достоверным, порою даже интимным и, стало быть, весьма притягательным для читателя.

По этой причине дневник мог бы смело испрашивать у наших современных критиков разрешения носить высокое звание исповедальной прозы, ибо он смело вторгается в этот жанр, сметая на своем пути незатейливую словесную ткань старомодной беллетристики. Короче говоря, дневник постепенно утрачивает изначальное свое качество. Потому-то я и счел для себя необходимым предупредить читателя, что записки, которые я рискнул представить на его суд, есть не что иное, как дневник в прежнем его понимании.

Первый раз в своей жизни автор не поленился и вел записи в толстой тетради час за часом, день за днем — и так целый месяц поездки по Соединенным Штатам Америки, от первой минуты до последней, иными словами — от Шереметьева, откуда началось путешествие, до Шереметьева, где оно завершилось.

Итак, отправляемся в дальнюю-предальнюю дорогу, за океан. Не бойтесь: в пути мы будем ровно десять часов. Это чуть больше того, что требовалось мне когда-то на то, чтобы дойти от своего родного села на Саратовщине до районного центра.

Всего-то и делов.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

8 октября 1969 года

К половине восьмого утра небольшая делегация — автор настоящего дневника, прозаик Григорий Бакланов и литературовед Фрида Анатольевна Лурье — прибыла в аэропорт Шереметьево. Вылет в США определен на 8 часов 50 минут.

Пока шло оформление багажа и прочего, выяснилось, что ни у меня, ни у Бакланова не привита оспа, а без такой отметины на правом или левом предплечье, причем отметины непременно свежей, нас за океан не выпустят.

К счастью, для таких, похоже, как мы вот, разгильдяев в отдаленном уголке огромного здания открыт медицинский пункт, где коротали время две сестры: одна с регистрационной книгой и соответствующими бланками, а другая с инструментом для элементарной операции. Мы устремились к медпункту на самой высокой скорости.

Девушки, напустив на свой лик крайнюю строгость, пожурили для порядка, а затем быстро довели нас до кондиции настоящих путешественников. Не дав как следует подсохнуть легкому надрезу на коже, мы с тою же спринтерской скоростью вернулись к двери, в какую нас несколькими минутами раньше не пустили.

За дверью этой была вроде бы еще наша, но уже и не наша земля. Такое ощущение усилилось после слов, долетевших от багажной:

— Бирки от Нью-Йорка сперли!

Чужой, далекий мир явственно обозначился в одном из этих слов, что-то ворохнулось под сердцем. Но было среди этих слов и такое — не парламентское, разумеется, — которое заставило просторно как-то улыбнуться: мы еще у себя, мы еще дома!

В последний раз мелькнули где-то смеющиеся рожицы Наташи и Ларисы, моих дочерей, Валентина Кузьмича, нашего шофера, тоже входившего в число немногих провожающих, — и уже объявлена посадка. Идем налегке по длинной стеклянной квадратной трубе, на конце которой солдаты-пограничники делают какие-то последние отметки в наших документах, затем лесенка, автобус — и вот он, ИЛ-62, готовый вознестись к небесам.

Через какое-то время нам объявили:

— Летим над океаном.

Не скажи про то человек, глядишь, так бы и сидели тихо-мирно, подремывая и временами переговариваясь: полет как полет, сколько их было в жизни каждого пассажира! Впрочем, каждого ли? Вон та бабушка, в темном платке с красными цветами, в темной тужурке, из-под которой до самого пола ниспадает широкая, сборчатая и тоже темная юбка, она-то уж наверняка в самолете впервые. Ей не сиделось, она поворачивалась то вправо, то влево, все пытаюсь заговорить с соседями, сообщить им что-то очень важное, а теперь, когда выяснилось, что мы уже над океаном, — и вовсе встала с кресла, вышла на коврик в проходе и всенародно... перекрестилась.

Да, то была удивительная путешественница. 27 лет назад нынешняя бабушка, а тогда еще молодая женщина по имени Мария, крестьянка из-под Миргорода, потеряла свою семнадцатилетнюю дочь Ольгу: угнали ее немцы в Германию, как невольницу-рабыню угнали.

Проходили годы, а от дочери никаких вестей не было: ни хороших, ни дурных. Хороших-то вестей трудно было ждать, оттуда, куда увезли дочушку, доню, кроvinушку ее, приходили по большей части черные вести. И только уже после войны из канадского города Ниагары пришло письмо. Да, да, от нее, от Ольги, чудом выжившей на гитлеровской каторге и затем вышедшей замуж за канадского солдата. 27 лет не виделись. И вот теперь постаревшая мать летит на свидание с дочерью.

Мария волнуется: встретят ли ее в Монреале?

— Телеграмму дочке дала. Но получила ли она?

— Конечно, получила. Обязательно встретит! — утешаем мы ее по очереди, а сами тоже волнуемся, думаем: «В самом деле, дошла ли та телеграмма и как встретят нашу бабушку на чужой стороне? К тому же, кроме ридной своей украинской мовы, других языков она не знает...»

В Монреаль мы прилетели в 11 часов. Выходит, что летели всего два с половиной часа, а не десять. Все очень просто: мы двигались на запад вместе с солнышком и несли с собою родившийся где-то далеко на востоке новый день.

Перед вылетом в Нью-Йорк час стоянки в монре-

альском аэропорту. Всем нам хотелось (хотя бы глазами) проследить за нашей встревоженной соотечественницей — встретили ли ее? Она вышла из самолета и спустилась по трапу едва ли не первой. Издали в последний раз я увидел ее идущей в сопровождении какого-то аэродромного, скорее всего таможенного чиновника. Вскоре она скрылась за дверью, куда нас, всех прочих пассажиров, не пустили. В последнюю минуту перед выходом из самолета на чей-то вопрос она громко сказала:

— Что вы, голубынька?.. Ось побачусь, поживу недельку-другую и до дому. Там у меня хата. И усе таке. Як же можно!..

Счастливого возвращения до ридной хаты, бабушка Мария! Доброй тебе встречи с дочерью-иностранкой!

Наконец и мы вошли в здание аэропорта. Минут сорок бродим по длинному и пустынному коридору, придуманному, видать, специально в качестве своеобразного загона для иностранных транзитных пассажиров. Суровая дева в казенной темно-синей одежде пристально следит за каждым нашим шагом — не свернули бы куда не след. Послonyaлись, походили мы в этом «загоне» и попросились досрочно под крышу родного ИЛа. Члены экипажа улыбнулись понимающе и милостиво открыли дверцу: нюхнули «свободного мира» — и довольно, идите к нам, тут-то оно вольготней.

Мы, однако, малость задержались — захотелось еще раз глянуть на крылатого великана, перекинувшего нас за тысячи верст через бездну океана. Был момент, когда мы чуть было не сели не то в Северной Ирландии, не то в Исландии. Дул сильный встречный ветер, самолет начало трясти и подбрасывать, как малую щепу, и появились уже светящиеся знаки: «Не курить. Застегнуть привязные ремни». А бортпроводница, на худой случай, что ли, еще раз продемонстрировала, как надо пользоваться надувным костюмом, каковой хранится в специальной нише над головой каждого пассажира. Но все обошлось. И мы нисколько не пожалели о том, что не пришлось воспользоваться чудо-костюмом и спасительным порошком от акул...

Циклон остался позади, и большую часть пути над океаном ИЛ-62 прошел быстро и спокойно.

От Монреаля до Нью-Йорка лететь меньше часа. Пристально всматриваюсь в кромку берега. Где-то там

внизу, в заливе, должна объявиться статуя Свободы. Кажется, увидел: торчит темным карандашиком, а возле снуют крошечные, игрушечные суденышки. Нет, явно не для воздушных пассажиров выскочила эта каменная женщина в открытый океан...

При выходе из самолета на трап слышим чей-то голос:

— Фрида Анатольевна, здравствуйте!

Сказано это было на таком чистом и на таком современном русском языке, что я начал лихорадочно отыскивать в толпе встречающих кого-нибудь из знакомых соотечественников. Но нет, никого что-то не видно: кругом чужие лица. Между тем высокий, стройный господин вырвался вперед с вытянутыми навстречу нам для приветственного пожатия руками.

— А, мистер Кремер! — воскликнула наша спутница. — Здравствуйте! И вы опять будете с нами?

— Конечно! — последовал ответ.

Началось знакомство. Оказывается, Вильям Кремер, тут же попросивший называть его Владимиром Михайловичем, уже сопровождал однажды советскую писательскую делегацию в поездке по Соединенным Штатам и сейчас получил от госдепартамента, в котором состоит на службе, аналогичное поручение. Перед таможней, при прохождении формальностей, Фрида Анатольевна успела сообщить о нашем гиде несколько подробностей. Родившийся в Прибалтике, Кремер окончил военную школу в Мюнхене. Будучи блестящим знатоком многих языков, приглашен теперь работать в госдепартамент. Немаловажная деталь: именно Кремер был переводчиком во время беседы А. Н. Косыгина и президента Джонсона на ранчо последнего, он же находился рядом с президентом на одном конце «горячего провода» во время переговоров Джонсона с А. Н. Косыгиным в связи с ближневосточным кризисом в начале июня 1967 года.

В США, как известно, нет единого союза писателей. Между тем существует межгосударственное соглашение о культурном сотрудничестве между нами и северными американцами. И то, что делается относительно гостей-литераторов у нас в Союзе писателей, в Соединенных Штатах Америки делает правительственное учреждение, ведающее международными делами. Таким образом, мы стали гостями Государственного департамента,

и среди встречающих нас еще в Нью-Йорке оказалось два его представителя. С одним мы уже познакомились, а со вторым не успели: усадив нас в автомобиль, чтобы мы перекочевали на другой аэродром и немедленно летели в Вашингтон, этот второй сейчас же умчался встречать других иностранцев: такова уж его служба.

Вернемся, однако, в таможенную. Нас еще дома предупредили знающие люди, что более трех бутылок водки провозить нельзя, в Нью-Йорке лишние отберут, а у нас эти лишние, понятно, были. И вот за них-то мы и тревожились, когда таможенный чиновник начал придирчиво осматривать наш багаж. Спасли нас советы тех же знающих людей; одна бутылка из сверхположенных перекочевала в руки блюстителя здешних порядков, и перед нами тотчас же отворились двери в Новый Свет, то есть в Америку. Книжки, сувениры, предназначенные друзьям и знакомым в Нью-Йорке, мы передали корреспонденту АПН, давнему нашему другу Генриху Боровику, в объятиях которого очутились, едва вышли из таможни. Как-то вдруг сразу потеплело на душе: за окном морем, оказывается, можно встретить человека, с которым более пяти лет проработал под одной московской крышей.

Сам Нью-Йорк пока что остался где-то в стороне, сокрытый от нас не то дымом, не то туманом, а скорее всего — тем и другим одновременно. Самолет на Вашингтон почему-то запаздывал. Мистер Кремер предположил: из-за дождя, наверно. Дождь в самом деле лил не переставая. Здание аэропорта простенькое, невзрачное. Но на стенах предупреждение администрации: «Извините за причиненные вам неудобства. Они временны. Рядом, сами видите, возводится новое здание, самое современное». Мы глянули в окно, все увидели собственными глазами и успокоились.

В Вашингтон прилетели ночью. Здесь Кремер передал нас на попечение сотрудников советского посольства, которые и доставили в гостиницу «Дюпонпалаза», где теперь я сижу и записываю наспех впечатления первого дня путешествия. Только что уехали к себе Валентин Михайлович Каменев, советник по культуре, и Александр Петрович Евстафьев, пресс-атташе при нашем посольстве, пожелавшие нам доброго пути. И опять громада расстояния, отделявшая теперь от Родины и

вызывавшая время от времени щемящее чувство, как бы исчезла: эти умные, веселые русские парни отпугнули, а вернее сказать — отвалили ее от сердца.

Теперь я могу улыбаться, вспомнив эпизод в вашингтонском аэропорту. Какой-то мистер старательно «всучивал» нам журнал «Америка» и еще какую-то литературу. Мы пытались объяснить ему, что журнал этот выписываем и получаем у себя дома, в Советском Союзе, что зачем, мол, загружать нас тем, в чем мы не испытываем ни малейшей нужды. Но энтузиаст по части пропаганды все-таки вручил нам свою литературу и мгновенно исчез. Он свое дело сделал и может смело поставить «галочку» в начертанном для него плане работы, а остальное его не касается...

Еще что-то хотелось вспомнить из минувшего дня, да мысли смешались от пронзительного воя не то полицейской, не то санитарной машины; я уже успел заметить, что та и другая снабжены в этой стране одинаковой сиреной, способной разбудить и мертвого.

А вообще-то пора бы и спать. В последний раз оглядываю свой номер. Он невелик, но весьма удобен. Ко всем прочим, привычным для нас предметам прибавляется холодильник, телевизор, вижу вон газовую плитку: можно сготовить на скорую руку не только холодную, но и горячую еду.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

9 октября 1969 года

Утром через большое окно без рам, из своего 839-го номера, то есть с восьмого этажа, оказавшегося самым верхним в гостинице, смотрю на город и прежде всего обнаруживаю, что Вашингтон скорее можно отнести к одноэтажной Америке: во всяком случае, небоскребов что-то не видать. Город выглядит чистеньким. Преобладают на стенах домов цвета ярко-красные, темно-сиреневые и в сочетании с черным и белым выглядят очень нарядными. Впечатление пестроты и нарядности усиливается еще и тем, что и здания, и окна, и тротуары, и мостовые умыты ночным дождем, а сейчас залиты солнцем, и в особенности одеждой заполнивших улицы людей, до того разнообразной и живописной (в особенности у хиппи), что невольно думаешь: а не есть ли это повальная демонстрация мод?

Поскольку юбки и платья почти начисто исчезли как принадлежности дамского туалета и заменились штатами всевозможных фасонов, то не вдруг и поймешь, к какому полу надо отнести того или иного прохожего. Гостиница наша стоит возле площади Дюпона, и нас предупредили, что эту площадь почему-то избрали для своих ночных бдений хиппи. Сейчас их там мало, но все-таки они есть. Девчата стриженные и косматые. Парни только косматые. Черные и белые вместе. Одна девчонка сидит на коленях своего возлюбленного, целуется с ним. Проходят люди. Каждый занят своим.

Половина дня ушла на встречи в официальных учреждениях. Сперва нас принял советский посол А. Ф. Добрынин, затем, уже в госдепартаменте, мистер Гай Коридон, заведующий отделом культурных связей со странами Восточной Европы. Это невысокий, коренастый, улыбчивый человек с чуть выющимися рыжеватыми волосами. Разговор был коротким. Наш хозяин выразил надежду, что путешествие советских литераторов по его стране будет и полезным и приятным. Я от имени делегации поблагодарил за оказанную нам честь быть принятыми в столь высоком учреждении.

Затем мы переехали на другую улицу, в другое здание и там оказались в распоряжении мистера Марголиуса, контора которого непосредственно организовывала поездку гостей и руководила ею.

Еще в Москве, готовясь к поездке, мы по просьбе посольства США составили и послали документ — его я вписываю в свой дневник полностью, — но не получили на него ответа. До встречи с мистером Марголиусом мы так и не знали, что из наших пожеланий, высказанных предварительно, принято, а что — нет.

Вот о чем мы писали в американское посольство в Москве в начале 1969 года:

«Делегация советских писателей в составе Алексева М. Н., Бакланова Г. Я., Лурье Ф. А. выезжает в США в соответствии с Госсоглашением о культурном сотрудничестве между СССР и США. Поездка этой делегации осуществляется на безвалютной основе, в рамках обменов, происходивших между творческими организациями СССР и соответствующими организациями США на паритетных началах.

Союз писателей СССР приобретает членам делега-

ции авиационные билеты Москва — Нью-Йорк и обратно. Все расходы по пребыванию делегации в США, включая поездки по стране, должна нести принимающая сторона.

Стремясь возможно шире ознакомиться с различными сторонами американской жизни, культуры, литературы и искусства, делегация предполагает посетить города: Вашингтон, Нью-Йорк, Атланта, Лас-Вегас, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Солт-Лейк-Сити, Чикаго, Бостон; осуществить встречи с известными представителями литературы и искусства США (Дж. Сэлинджер, Дж. Херси, Дж. Чивер, Дж. Апдайк, Дж. Хеллер, Э. Олби, У. Сароян, Т. Уильямс, Э. Колдуэлл, Б. Кауфман, Э. Хемингуэй, негритянскими писателями Дж. Г'Киллензом, Д. Болдуином и др.), познакомиться со студенческой молодежью США (посещение университетов: Колумбийский, Чикагский, Гарвардский, Калифорнийский, Беркли, Стэнфордский: встречи со студентами, выступления перед студенческой аудиторией); для представления о быте и труде американцев — посещение фермы, промышленного предприятия, крупного американского издательства, больницы, средней школы, встреча с одним из космонавтов, совершивших полет вокруг Луны, знакомство с жизнью и культурой мормонов (Солт-Лейк-Сити, штат Юта); делегацию интересуют также наиболее значительные достижения театрального искусства США (посещение театров в Нью-Йорке, театральных мастерских и экспериментальных театров Сан-Франциско, Чикаго и других городов); знакомство с американским киноискусством (посещение Голливуда).

В целях более глубокого знакомства с изобразительным искусством США делегация хотела бы посетить наиболее значительные культурные центры, музеи, выставки и галереи США.

Более детальное обсуждение программы делегация предполагает осуществить с принимающей стороной по приезде в США».

Копия этого документа была при нас. Была она, вне всякого сомнения, и у мистера Марголиуса, к которому ввела нас его секретарь, худенькая белокурая женщина, в высшей степени предупредительная. На вид ей можно было бы дать лет двадцать — двадцать пять, не более. Но когда она вышла, ее начальник почему-то

счел необходимым сообщить нам, что у этой миссис уже четверо детей.

Марголиус, невысокий человек, с чрезвычайно живыми и умными глазами, был, как нам показалось вначале, повышенно любезен с нами. Из этого я лично заключил, что от наших предложений, изложенных в приведенном выше документе, останутся рожки да ножки. Если честно признаться, мы и сами понимали, что изложили в нем программу-максимум. Рассуждали примерно так: примут половину — и то хорошо. И были немало удивлены, когда мистер Марголиус, весело поблескивая большими темными глазами, выдвинул перед нами встречную, уже свою, программу, чуть ли не слово в слово повторившую нашу. Из всех городов был исключен лишь Чикаго, и проявилось некоторое колебание в отношении Лас-Вегаса

— Вы первые из советских, которые захотели побывать в Лас-Вегасе, — сказал с удивлением Марголиус. — Что вы там собираетесь делать?

— Во всяком случае, ни играть в рулетку, ни наблюдать за подземными испытаниями атомного оружия в штате Невада не будем. Мы хотели бы увидеть там другое...

— Что же?

— Соревнование ваших и наших боксеров. На уровне национальных сборных они встречаются впервые.

— Неужели? Вот не знал! И когда же этот матч будет?

— 25 октября.

— О'кэй! По времени это совпадает с окончанием вашего пребывания в Сан-Франциско. Оттуда можно на одни сутки заехать в Лас-Вегас.

О денежных делах договорились так же быстро. Решено, что они будут выдаваться нам на руки, чтобы мы могли распорядиться ими по своему усмотрению. Лишь сумма, выделяемая госдепартаментом для культурных наших нужд, останется в руках сопровождающего.

— О'кэй? — спросил в заключение веселый мистер Марголиус.

— О'кэй! — дружно ответила наша команда, тоже повеселевшая и оттого, что в основном принято предложение советской делегации, и еще более оттого, что официальная часть дня окончилась и начиналась не-

официальная: предстоял осмотр Вашингтона и его окрестностей.

Но прежде того нужно было все-таки пообедать. Поскольку суточные находились уже в нашем кармане (обмен чеков на доллары занял не более десяти минут в ближайшем банке), нам была предоставлена полная свобода распорядиться ими. Те же сведущие люди, которые снабдили нас некоторыми полезными советами, порекомендовали завтракать, обедать и ужинать не в гостиничном ресторане, а в... аптеке, где можно сделать это и быстро, и по весьма сходной цене. Об этих удивительных американских «аптеках» написано достаточно, и мы знали, что для товара, каковой дал имя этому заведению, отведен теперь лишь крошечный уголок, остальное же пространство занято чем угодно, только не медикаментами. Российские коробейники, верно, позавидовали бы, увидев такое, хотя и были уверены несокрушимо в том, что в их «маленькой коробке есть и помада, и духи, и ленты, и кружева, и ботинки», — словом все, «что угодно для души». Последняя строка из популярного куплета явно из области преувеличений, ибо душе человеческой, помимо всего прочего, требовалась еще и еда, и лучше, чтобы она была горячей. У коробейников ее, как мы знаем, не было. А вот в американских аптеках она есть, холодная и горячая, приготовленная с помощью всевозможнейших нагревательных и охлаждающих автоматов в течение одной минуты. Тут же в разных сосудах, преимущественно стеклянных, готовятся разные соки: лимонный, апельсиновый, из грейпфрута.

Мы облюбовали такую аптеку поблизости от своей гостиницы, быстро пообедали там за четыре с половиной доллара на троих, а оставшееся время посвятили осмотру всего того, что было под той же крышей. А было там решительно все: и собственно аптечные принадлежности, и обувь мужская и женская для всех возрастов, для всех сезонов и всевозможнейших фасонов, и чемоданы от великанских до размера дамской сумочки-маломерки, и спортивные изделия, и хозяйственные, и прочие, и прочие.

Мы уселись против стойки немного раньше негра, который выбрал для себя место подальше от нас. Девушка-негритянка, направившаяся было к нам, чтобы принять заказ, вдруг резко повернула к тому, присев-

шему поодаль, и потом уж только подошла к нам. Интересно, заметили ли это остальные члены делегации? Полагаю, что да; помню, они переглянулись между собой. Что ж, мы белые и по одному тому должны теперь хоть таким вот образом расплачиваться за вековое унижение, которое причинили африканцам пускай не мы, но все-таки белые люди. Честное слово, мне в ту минуту хотелось подозвать темнокожую девушку и сказать ей потихонечку: милая, мы же из Советского Союза. И этим, я думаю, было бы все объяснено...

Внизу нас ждал автомобиль Кремера. Проехали мимо Белого дома, издали увидели купол Капитолия, покрутились по большим и малым улицам американской столицы и попали наконец туда, куда и должны были в первую очередь привезти нас хозяева. В широкое расстворье из-за необъятных спин каменных рыцарей на каменных конях, удерживаемых под уздцы каменными же воинами-слугами, открылся мемориал Авраама Линкольна. Издали он похож на огромную белую мраморную гробницу, карнизы которой поддерживаются такими же белыми и мраморными колоннами. Но это вид не с лицевой стороны, и, чтобы попасть, приблизиться к самому памятнику, нам пришлось сделать большой полукруг.

По каменным ступенькам лестницы поднимаемся наверх и сразу же в проемах арки видим гигантскую фигуру Авраама Линкольна. Сидит, тяжело опустив на поручни кресла жилистые руки, усталый и мудрый старик. Печать невысказанных тяжелых дум глубокими морщинами легла на продолговатом, сухощавом его лице. Повыше головы, на белой мраморной стене, выбиты слова:

«В этом храме, как в сердце народа, для которого он спас Союз, воплощена вечная память Авраама Линкольна».

Справа и слева, на таких же белых мраморных стенах, изречения великого президента. Строгий, подтянутый, как в строю, Кремер тихо сообщает нам:

— Эти слова знает наизусть каждый американский школьник.

От памятника Линкольну отправились к Арлингтонскому кладбищу. Оно начиналось сразу же за широкой рекой Потомак. День ясный, солнечный. И мы увидели, как прямо против нас, от одного зеленого холма к дру-

гому, точно солдаты, раскинувшиеся бесконечными и стройными цепями, бегут то вниз, то вверх каменные столбики, где серые, где свеженькие, чисто побеленные.

— Могилы ветеранов всех войн, которые велись когда-либо Соединенными Штатами Америки, — поясняет Кремер, а сам уж ищет озабоченными глазами, где бы приткнуть автомобиль: проблема для нас несколько неожиданная и незнакомая. — За каждым ветераном сохраняется неукоснительное право быть похороненным на этом военном кладбище.

Среди неисчислимого полчища однообразных столбиков резко выделяется памятник морским пехотинцам, отличившимся во вторую мировую войну. Они изображены водружающими звездный американский флаг на каком-то островке в Тихом океане в 1945 году. Из надписи узнаем, что на крошечном этом атолле погибло шесть тысяч американцев. Для художественного решения темы скульптор нашел сильные, впечатляющие краски: четверо солдат, вскарабкавшись на гранитную вершину, опершись друг на друга, в страшном напряжении ухватились за длинное древко, вокруг которого обвилось красно-бело-голубое полотнище. Очевидно, в той войне художник мог еще отыскать для своего творчества вдохновение. Отыщется ли оно у него в более поздних войнах, которые вела и поныне ведет его страна?..

Подымаемся на самое возвышенное место кладбища, к памятнику Неизвестному солдату. Точнее, не одному, а нескольким неизвестным, потому что рядом с основным надгробием мы увидели еще два. Оказывается, здесь покоятся останки неизвестных солдат, павших в трех войнах: первой мировой, второй мировой и корейской. Последняя, как видим, приравнена тоже к справедливым, а значит, и священным войнам. Из этого нетрудно заключить, что вскоре тут может объявиться и четвертое надгробие, увековечивающее «подвиг» американского воинства во Вьетнаме; что с того, что этой американской войной возмущено все человечество, что все честные американцы — а мы это уже успели заметить — прежде всего стараются откреститься, руками и ногами отмахнуться от этой войны, — что с того, если нынешнему президенту США Ричарду Никсону она представляется «самой славной» из всех войн, которые когда-либо вела его страна!

Возле памятника не два, а только один часовой, сменяющийся, как нам сказали, каждый час. Он не стоит на месте, как полагалось бы часовому, а в равные промежутки времени, печатая шаг, проходит от одной точки к другой, фиксируя этот момент минутой стояния и перебрасыванием карабина от ноги на плечо и обратно. На одной из плит — торжественные слова:

«Здесь покоится в почете американский солдат,
известный только богу».

С вершины холма хорошо видны, сокрытые там, внизу, невысоким деревянным забором, ряды совершенно новеньких, свежих столбиков. Это уже жертвы вьетнамской войны. Оттуда и сейчас доносится рев меди, видится поблескивание труб музыкантского взвода, рота солдат, поднявшая дула винтовок вверх для салюта. Кто-то высокий, выйдя чуть вперед, произносит речь. Что говорит он? Может быть, объясняет, за что умерли, за что сложили свои головы солдаты? В силах ли он объяснить? И кому об этом ведомо? Может, тоже одному лишь всевышнему?

Взгляд мой побежал вправо и невольно остановился на известном всему миру зданию по имени Пентагон. Заметив это, Кремер улыбнулся и сказал то, что, наверное, говорил много раз другим своим гостям:

— Если с одного конца этого домика в одну дверь войдет молоденькая девушка, то на другом конце и в другую дверь выйдет уже древняя старуха. — Помолчал и решил привести другой случай, более соответствующий назначению милого «домика». — Если тот же путь проделает рядовой солдат, то мы увидим его при выходе уже генералом.

Не знаю, самый ли это короткий или длинный путь, чтобы достичь генеральского чина, но, будто бы по зловещей иронии судьбы, Пентагон вплотную примыкает к Арлингтонскому военному кладбищу, и кажется, что именно из него начали свой марш эти неисчислимые могильные столбики.

Мы пока что ничего не говорим своему гиду о том, какую еще могилу хотели бы видеть. Но он и сам догадывается. Однако не спешит. Медленно спускаемся с холма, мимо фамильного домика генерала Ли, возглавлявшего южан во время гражданской войны американцев, делаем по спирали круг за кругом, пока не оказываемся на небольшой площадке, где в булыжную мо-

стовую вставлены три аспидно-черные мраморные плиты. За большой плитой, что посредине, из белого каменного круга струится легкое пламя вечного огня, а на плите надпись:

*ДЖОН ФИЦДЖЕРАЛЬД
КЕННЕДИ
1917—1963 гг.*

Глава величайшего государства в мире, Верховный Главнокомандующий могущественнейших вооруженных сил, первый человек страны, именующей себя «самой свободной, самой демократической», оказался беззащитным перед лицом заговорщиков!

Что случилось с тобой, Америка?..

Америка молчит. Лишь редкий колокольный звон плывет над кладбищем да, сменяя его, звучит мелодия национальной песни:

Америка, Америка,
прекрасная страна...

Ищем глазами могилу Роберта Кеннеди. Отыскали ее чуть левее и выше, совершенно одинокую. Продолговатый небольшой холмик, похожий на аккуратно заправленную зеленым одеялом солдатскую койку, с белым крестом над ним, — вот и все. Ни одна тропа не ведет к этому окруженному подстриженным газоном бугорку. Спрашиваем: отчего это? Кремер поясняет: родные сенатора запретили подходить к его могиле. Как мы поняли, мысль их была такой: американцы не смогли его сохранить, сберечь для себя, когда он был живой, прекрасный, полный неистраченной энергии и любви к жизни, — так какое же им дело теперь до него, мертвого? Лучше пускай оставят его в покое!

А мы тем временем проезжаем по 14-й авеню и первые минуты не понимаем, куда же попали: справа и слева разрушенные и сожженные дома, и это на протяжении нескольких километров большой улицы, упирающейся чуть ли не в Белый дом. Такое мне доводилось видеть в годы Великой Отечественной войны, а тут что же случилось? Ведь, как известно, вот уже больше ста лет ни одна бомба, ни один снаряд не падали и не разрывались в американских городах.

Соединенные Штаты вели войны далеко от собствен-

ного дома, за всю вторую мировую войну они потеряли 400 000 человек. Эту цифру нам сообщил всего лишь несколько минут назад мистер Кремер, Владимир Михайлович Кремер. Сообщил с печальным вздохом. Мы его понимали: четыреста тысяч есть четыреста тысяч. Правда, это «чуть» меньше, чем 20 миллионов, но все же...

Откуда же эти разрушения и пепелища? Мы, разумеется, слышали и читали о негритянских волнениях в апреле 1969 года, но... Неужели все это — последствия тех волнений?

— Да, да, это все они. Негры, — тихо сказал Кремер.

— Почему же до сих пор не расчистили руины, не восстановили поврежденных зданий?

— Это должны сделать их владельцы. А они не торопятся. И понять их можно: восстанавливают, а там, глядишь, снова...

Кремер замолчал. Да и мы ни о чем уж не спрашивали его. Видим — на некоторых дверях надписи: «Этот магазин принадлежит нашим». Кому адресованы эти предупреждения, и помогают ли они?

С этим вопросом, пока что безответным, мы и вернулись в гостиницу.

Закончился второй день нашего пребывания в Соединенных Штатах Америки.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

10 октября 1969 года

На половину девятого назначена беседа с мистером Ромни, некогда претендовавшим на пост президента, а ныне возглавляющим департамент, в заботу которого входит градостроительство и все сложные проблемы современного американского города. По религиозным воззрениям Ромни — мормон. Поэтому с философией этой секты мы познакомились раньше, чем прибыли в штат Юта, в город Солт-Лейк-Сити, являющийся одновременно столицей штата и мормонов.

Высокий, как большинство американцев, и так же, как большинство американских мужчин его лет, седоголовый, с тщательным пробором, Ромни вышел нам навстречу, поздоровался, а затем быстро вернулся в кресло, расположился в нем чисто по-американски, с

подчеркнутой непринужденностью, и только уж потом вопросительно посмотрел в нашу сторону: что же мы хотим от него? Но, подумав, спросил сам. Вопрос его был обычным: о впечатлениях. Мы сказали, что, пожалуй, нам еще рано говорить о своих впечатлениях, два дня — слишком малый срок для этого. Но кое-что успели все же заметить, увидеть.

Однако хозяин кабинета прервал нас и избавил от необходимости говорить о вещах, не совсем приятных. Рассказал о них сам: и о трущобах в негритянских районах, и о разрушениях, совершенных в апреле 1969 года, и о немисливо дорогой квартирной плате (сорок, иногда и пятьдесят процентов заработка американца уходит на оплату жилища), и о многом другом. Не сказал, правда, о бандитизме¹, получившем в этой стране и особенно в ее столице такой размах, что жители Вашингтона укрываются в своих домах с наступлением темноты и не покидают их до полного рассвета. Впрочем, исключая хиппи. Эти ничего и никого не боятся: слоняются по городу с вечера и до утра. А чего им бояться: у них ведь ничего нету!

Охотно, с очевидным удовольствием, заговорил Ромни, когда речь зашла о мормонах. Чувствовалось, что он гордится своей принадлежностью к этой секте, самой, с его точки зрения, здоровой, гуманной, вернувшей религии высокие идеалы раннего христианства. Мормоны не курят, не употребляют спиртного, весьма строги, как заверил нас главный градоначальник Соединенных Штатов Америки, в вопросах нравственного порядка, превыше всех иных земных благ считают образование, культуру, и потому-де у мормонов самый высокий процент толковых, знающих, а значит, и самых ценных для государства людей. И как бы иллюстрируя свою мысль, наш хозяин значительно ворохнулся в своем министерском кресле.

Мы внимательно выслушали мистера Ромни, побла-

¹ Чего не поведал нам в октябре прошлого года осторожный министр жилищного и городского строительства Джордж Ромни, сообщил в январе 1970 года в своем послании конгрессу президент Р. Никсон. Говоря о росте преступности, Никсон привел в качестве «трагического примера» положение в столице США. «Я сомневаюсь, — сказал президент, — чтобы нашлись такие члены конгресса, живущие в нескольких кварталах отсюда, которые бы посмели оставить свои машины в капитолийском гараже и отправиться вечером домой пешком» («Правда», 1970, 24 января).

годами и, как говаривали в старину, раскланялись. В дискуссию о мормонах не вступали: у нас будет еще возможность встретиться с ними в их столице в штате Юта.

Теперь же надо было торопиться в советское посольство на пресс-конференцию, которую мы устраиваем для американских журналистов.

Она открылась в 11 часов 15 минут. Кроме нас троих, присутствовали представители всех основных столичных газет, а также радио и телевидения. После короткого сообщения о цели нашего визита посыпались вопросы. Вопросы разные. И те, что диктуются доброй волей. И те, которые в обиходе именуют «вопросами с подковыркой» или «каверзными». Авторы последних явились сюда не в поисках истины. Другие соображения руководили ими.

Тем не менее мы отвечали. Отвечали подробно, долго и терпеливо. Мы делали свое дело, а журналисты свое. Одни что-то записывали в свои блокноты, кинооператоры и фоторепортеры снимали, сотрудники радио и телевидения старательно фиксировали нас и сказанное нами на пленке...

— И все это для того, чтобы потом нигде и ни единым словом не обмолвиться об этой конференции, — заключил сразу же по ее окончании один сотрудник советского посольства, хорошо знающий нравы здешних журналистов.

— Отчего же? — удивились мы. — Ведь на все их вопросы мы ответили честно.

— Именно поэтому вас и постараются во что бы то ни стало замолчать.

— ??

— Им нужна сенсация. И притом определенного содержания. А вы не привезли им ее. Вот и все. Ясно?

— Ясно, — сказали мы и отправились на улицу, где нас ожидал со своим автомобилем Марголиус, решивший совершить с нами загородную прогулку. Еще утром мы узнали, что Кремер заболел и сопровождать нас в дальнейшей поездке по стране, по-видимому, будет другой человек. Мы были откровенно огорчены, потому что — так уж устроен человек! — успели малость привыкнуть к Кремеру, к тому же знал он свое дело превосходно. А кто он будет, другой, неизвестно. Марголиус решил немного успокоить нас, сказал:

— Возможно, мистер Кремер поправится к вашему отъезду из Вашингтона. Пока что я повезу вас, господа, в Военно-морскую академию. Там вы найдете много людей, которые говорят по-русски, и вам, вероятно, будет приятно побеседовать с ними. Обучение русскому языку там поставлено великолепно. О'кэй?

Перед встречей с военными моряками пообедали на берегу морского залива в ресторане, стилизованном под далекую и почему-то трогательно милую теперь для нас старину: бревенчатая, специально прокопченная и просмоленная хижина современного какого-то дяди Тома покоится на таких же темных, вроде бы уж чуток обуглившихся толстых деревянных столбах. Деревянные, ничем не покрытые массивные столики, множество столиков, и лишь за редкими из них сидят люди за медленной, неторопливой трапезой. Мы отыскиали себе местечко с видом на залив — синий-синий, с новыми и старинными кораблями, белокрылыми яхтами вдали.

Пожилой седовласый негр с перекинутой салфеткой на руке терпеливо ждал, пока мы выбирали еду. Лангусты, омары, крабы, раки, обозначенные на карточке во всевозможных сочетаниях друг с другом и с иными вкусными вещами, привлекли наше внимание прежде всего потому, что мистер Марголиус успел сообщить, что все эти существа из семейства членистоногих вылавливаются тут вот, из этих голубых заливов.

Засим начались опять будни: длительное путешествие по обширному пространству, занимаемому академией, и по бесчисленным ее служебным, учебным и подсобным помещениям. Поначалу создавалось впечатление, что мы попали в какой-то спортивно-академический центр: куда ни кинешь взгляд, всюду натыкаешься на какую-нибудь спортивную площадку. На одной сражаются в баскетбол, на другой — в регби, на третьей (таких больше всего) — в бейсбол, на четвертой — в волейбол, на пятой — просто гоняют мяч, круглый и продолговатый, казалось, просто так, от нечего делать, без всякой видимой цели. Здоровенные белые (черных мы тут почему-то не видели) парни носятся по аккуратно подстриженным газонам со страшной скоростью, от разгоряченных упитанных тел исходит парок: эти, да и те, кто создал великолепные спортивные сооружения, хорошо знают, что парней ждет впереди.

Задержались дольше, чем в других местах, в классе, где изучается русский язык. Умная машина тут, пожалуй, главный учитель. На экране этой машины, вмонтированной в стену (таких машин множество), появляются надписи по-русски. Из-за экрана слышится чистый, пожалуй, слишком даже чистый, чтобы быть русским, голос: «Таня пошла в школу». Курсанты повторяют простенький этот текст вслед за невидимым диктором и таким образом совершенствуют свое произношение. Поскольку машин можно устанавливать сколько угодно, преподавательский штат, вероятно, невелик: во всяком случае, нас познакомили лишь с двумя учителями русского языка, старым, из эмигрантов первого контингента, и молодым — из так называемых «перемещенных».

Затемно вернулись в город, в гостиницу. Между прочим, только сейчас я обнаружил в письменном столе своего номера библию, каковую, по замыслу наших хозяев, должен был бы обнаружить сейчас же по прибытии в отель и незамедлительно заняться чтением оной, дабы потом глаз мой не останавливался на суете людской. На многих языках, в том числе и на русском, излагается ее премудрость. Читаю:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего едиnorodного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Прочел это на сон грядущий и грустно задумался: ну а что же будет со мною, грешным безбожником?

Подождем, однако, утра, которое, как известно, мудренее вечера.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

11 октября 1969 года

Поутру, после завтрака в «своей» аптеке, отправились в местечко Маунд-Вернон — в 15 милях от Вашингтона. Погода по нашим, среднерусским, нормам не октябрьская. Солнечно, тепло, на газонах совсем не осенние цветы. Дорога бежит через лес. Присматриваясь к деревьям и с удивлением замечаю, что среди них нет ни единого из тех, к которым мы привыкли все на той же среднерусской равнине. Во время короткой остановки мне указали на дуб. Но и он оказался американским. Резьба на листе тонкая, зубцы острые, да и сам

лист намного уже и длиннее нашего дубового листа. Желуди — я захватил и привез с собой несколько штук — решительно отличаются от тех, что собирал я в пору детства в окрестных дубравах.

Мы подъехали к Дому-музею Отца Америки, первого ее президента Джорджа Вашингтона, остановились у высоченного дерева, и сопровождающий сообщил нам: «Это внук того ясеня, под которым 3.VII.1775 года Джордж Вашингтон принял командование над армией северян».

Я так и этак присматриваюсь к великану, готов согласиться с тем, что он действительно «внук того самого», но чтобы деда звали ясенем, поверить не могу. Дерево, возле которого я описываю сейчас свои круги, напоминает любое, но только уж не ясень. Тем не менее спорить с гидом не стал: ему лучше знать, он хоть и африканец по крови, но сын этой земли, ибо родился и вырос на ней. Зовут его Лоренс Барелл. Высокий, молодой, необыкновенно учтивый, говорит мало, лишь по крайней необходимости, а именно тогда, когда мы обращались к нему со своими расспросами. Он на время заменил нам заболевшего Кремера. Если у мистера Марголиуса любимой концовкой речи было слово «о'кэй», то у мистера Барелла — «ол райт», хотя слова эти были одинаковы по смыслу. Сейчас Барелл продолжает повествование о древнем «ясене». При этом он стал вдруг необычайно словоохотлив, и я понял почему.

Не знаю, отчего это происходит, но американцам очень хочется быть старше, чем они есть на самом деле. Отсюда страсть к истории, к созданию бесчисленного количества музеев, они возникают, говорят, даже там, где для этого нет никаких видимых причин.

Однако мемориальная усадьба Джорджа Вашингтона — случай особый. О нем говорят со святостью, со значительным придыханием в голосе: отец есть отец. Каждое деревце, каждый кустик, каждый камень здесь вызывает в сердце американца молитвенный восторг.

По всему музейному участку встречаются надписи вроде такой: «Пожалуйста, помогите нам сохранить это историческое место свободным от мусора. Пользуйтесь мусорными корзинами».

Какому-нибудь нашему музейному администратору

или смотрителю надпись эта наверняка показалась бы излишне длинной, тот непременно сократил бы первую ее часть и ограничился бы второй, а скорее всего пригрозил бы посетителю штрафом.

В усадьбе все сохранилось так, как при жизни знаменитого генерала. Жилой дом со спальнями для чад и домочадцев, кухня со всей утварью, людская, кладовая с муляжами всяческих яств, конюшни, по которым можно легко определить, что у Вашингтона было не меньше 20 лошадей. Тут же, во дворе, коптильня, баня, прачечная, амбары для зерна. Под особым навесом карета XVIII века. Вся усадьба раскинулась на высоком холме, точнее сказать — на многих холмах, откуда открывается великолепный вид во все стороны. Внизу, напротив парадного входа, река Потомак.

Посетителей много. Приезжают семьями. Нас сопровождает главный привратник. По всему видно, что он хотел бы задержать нас тут как можно дольше. Под конец признался, что немного говорит по-русски, ибо во время второй мировой войны работал вместе с нашими людьми в каком-то союзническом учреждении, связанном с выполнением обязательств в войне с немецким фашизмом. По тому, как он старался помочь нам, и особенно по заблестевшим вдруг немолодым уже его глазам, мы поняли, что человек этот сохранил добрую память о незнакомых нам наших соотечественниках.

Подходим к могиле президента. Надпись короткая:

«За этой аркой покоятся останки генерала Джорджа Вашингтона». На саркофаге — другая: «Я — Воскрешение и Жизнь, — сказал Христос. — Тот, кто верит в меня, даже если он умрет, останется жить навеки».

Ну, об этом меня уже успела предупредить библия в гостиничном номере.

В полдень возвращаемся в Вашингтон. Нужно было заехать на минуту в советское посольство: там приготовили для нас газеты. На улице много полицейских. Спрашиваем: что случилось? Отвечают лениво, буднично: ничего особенного. Ожидается «демонстрация» украинских националистов по случаю дня рождения... Бандеры.

Конец дня провели у водопадов, в двадцати, кажется, милях от американской столицы. И там видели му-

зей: в бревенчатом домике единственный экспонат — старая пирога, якобы найденная в здешних местах; ею пользовались в далекие времена индейцы. Руководитель корреспондентского пункта АПН Георгий Иванович Исаченко, предложивший нам эту прогулку, своим рассказом подтвердил наши наблюдения: американцы действительно питают слабость к старине и, ревнуя Европу, не скупятся на деньги, чтобы отхватить от старушки священный кусочек ее древности и привезти его в США.

Ужинали на обратном пути в «Макдональде». Не догадался выяснить, почему так названо заведение, с которым теперь, говорит Исаченко, можно встретиться в любом городе Соединенных Штатов. Не то ресторан, не то столовая. Оборудовано заведение по последнему слову техники. Персонал из трех-четырёх человек за пять минут может обслужить, то есть накормить досыта, сотни людей.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

12 октября 1969 года

Из окон чистенького особнячка, приютившегося на одной из таких же чистеньких улиц американской столицы, время от времени вылетают слова песни, для прохожих, должно быть, странной и неожиданной:

Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни..

Ее в некие патетические минуты жизни напевает человек по имени Виктор Петрович Камкин. Иногда ему подсобляет жена Елена Андреевна Камкина.

Почти весь этот день мы их гости. Виктор Петрович и Елена Андреевна — книгоиздатели и книгопродавцы. Издают сами, покупают, где можно купить, и продают лишь книги русских авторов, на каком бы языке эти книги ни издавались: русском, английском, французском, немецком, испанском, японском, итальянском... Через соответствующие организации поддерживают прочную деловую связь с советскими издателями и покупают их продукцию в значительных количествах, а затем перепродают (хозяин предпочел бы этому слову другое, а именно «распространяют») в Соединенных Штатах Америки, и, кажется, не только в Штатах.

Мы только что осмотрели огромные книжные богатства Камкиных на другой улице города, а теперь сидим в их особняке за обеденным столом и под молчаливым наблюдением хорошо воспитанного мистера Барелла слушаем — и тоже молча — длинную исповедь хозяина: наконец-то ему представилась возможность вдоволь наговориться с людьми, приехавшими оттуда, где и он некогда появился на свет божий. Пока что Виктор Петрович говорит один. С нескрываемой гордостью сообщает он нам о том, что теперь редкий советский человек, приехавший в Вашингтон, покинет американскую столицу, не заглянув на огонек к «старикам Камкину». С одним из наших сограждан они прободествовали всю ночь. И на то была особая причина.

По случайности, на которую так щедра судьба, люди эти однажды уже сидели друг против друга. Но держали в руках не поднятые в заздравном тосте рюмки со «Столичной», а винтовки. И было это почти полвека назад. Наш собеседник командовал тогда отрядом белогвардейцев, а тот — отрядом дальневосточных партизан. И опять же по случайности пули, выпущенные ими друг в друга, пролетели мимо, и этому счастливому обстоятельству они обязаны тем, что сидели теперь вместе в застолье и, малость захмелев, пели с энтузиазмом:

Разгромили атаманов,
Разогнали воевод
И на Тихом океане
Свой закончили поход.

Молодой русский офицер Виктор Камкин в результате оказался в Харбине, а герой Волочаевки и Спаска уехал в Москву, чтобы сесть за парту и учиться. Впоследствии он стал большим ученым и в этом качестве отправился однажды за океан в заграничную научную командировку. Большой любитель редкой книги по совету знающих говаришей поехал к Камкину. Тут-то они и встретились во второй раз.

До самой войны Камкины жили в Харбине, уныло текли их дни и годы среди русских, опостылевших друг другу эмигрантов. После войны Камкины перебрались в Соединенные Штаты Америки. «Приехали сюда без единого гроша в кармане», — присовокупила жена, главная пружина, как мы уже успели понять, в деле, принесшем им богатство.

Насчет того, что они начали с нуля, поверить трудно. А вот мысль, которая была положена в основание начатого большого предприятия, показалась вполне вероятной. В устах Виктора Петровича Камкина она выразилась так:

— Интерес к Советскому Союзу был всегда велик за рубежом. Но после того, как вы сокрушили фашистскую Германию, — он сделал особое ударение на слове «вы», — интерес этот возрос небывало и обострился до крайней степени. Теперь, полагали мы с женой, о Советской России и о русских вообще захотят узнать все. Узнать из каких источников? Разумеется, из книг. С этого мы и начали, едва ступив на американскую землю... Кстати, господа, вы запомнили, где находятся главные мои фонды? Совершенно верно: рядом с 14-й авеню, которая подверглась наибольшему разрушению во время апрельских событий. На моем же здании ни царапинки. Негры сами охраняли мои помещения. Вам что-нибудь говорит такой факт?

Мы слегка кивнули. Лоренс Барелл блеснул большими, красивыми глазами: лицо его оставалось при этом непроницаемым.

Расставаясь, мы заметили волнение хозяина, как он суетно шарил в кармане в поисках платка. Видно, для счастья одного материального достатка мало. Есть на свете еще нечто такое, без чего жить человеку ой как тошнохонько.

Это мы прочли в увлажнившихся глазах Виктора Петровича и Елены Андреевны Камкиных.

Вечером Лоренс Барелл передал нас из рук в руки новому поводырю, проживающему милях в тридцати от Вашингтона. Заслышав шорох нашей машины, он вышел из дому, развел широко руки и с непременным американским «О!» устремился к нам навстречу. Сразу же отрекомендовался: Крымгольд. Но обращаться к нему надо по-простому: Борис Иосифович. При знакомстве узнаем, что утром ему позвонили из госдепартамента и слезно просили выручить высокое это учреждение, поскольку заменить захворавшего Кремера больше нечем.

Для чего-то сразу же заметил, что он, Крымгольд, не является сотрудником госдепартамента и согласился поехать с нами исключительно из уважения к советским людям.

Родился Крымгольд в семье купца первой гильдии

в местечке Кривое Озеро под Одессой в 1902 году — и это он успел сообщить нам. Однако первая же фраза, произнесенная им по-русски, заставила путешественников погрузнеть. В памяти его каким-то чудом застряли и сохранились два или три десятка русских слов, да и те с явным одесским акцентом, — а ведь он приставлен к нам в качестве переводчика. Подумалось невольно: надо быть очень отважным человеком, чтобы согласиться взять на себя такую миссию...

В доме нас встретила его жена, высокая белокурая голландка. Угостила на дорогу какую-то вкусной едой, нанизанной на деревянные булавочки. Выпили немного джина с тоником. Распрощались с Бареллом, и миссис Крымгольд отвезла всю нашу компанию в аэропорт. За полночь мы приземлились в Атланте, не зная, не ведая, что день грядущий и все остальные дни готовят нам под руководством переводчика, владеющего русским языком немногим лучше, чем я, скажем, английским.

Ну да бог с ним. Авось не пропадем.

Впрочем, бог был и со мною. На письменном столе моего номера в гостинице, на самом видном месте, опять лежала знакомая по переплету пузатая книга.

То была библия.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

13 октября 1969 года

Начиная с Атланты, во всех городах, лежащих на нашем маршруте, встречать и сопровождать нас будут деятели Добровольческого корпуса, созданного специально для того, чтобы оказывать гостеприимство иностранцам. В Атланте возглавляет эту организацию миссис Уэллс. Она-то и приехала за нами в отель в десять часов утра. Едва поздоровавшись и исторгнув непременно «О!», сопроводив это междометие по возможности широкой улыбкой, она извинилась перед нами и быстро направилась к выходу. От дверей крикнула нам:

— Пойду устраивать свое чудовище!

Мистер Крымгольд вздохнул понимающе и сочувствующе:

— Это какой-то кошмар!

Мы сообразили, что речь идет об автомобиле, который надо еще где-то припарковать.

— Лучше нам пойти вслед за нею, сесть в машину

и на ходу обо всем договориться, — посоветовал хорошо знающий положение вещей Крымгольд.

Мы не преминули воспользоваться его советом и выручили миссис Уэллс, которая стояла перед отелем и горестно взидала на автомобильное половодье, залившее и площадь, и все прилегающие улицы и переулки.

Около часа ушло на согласование программы нашего пребывания в Атланте. Но мы не заметили, как прошло это время, потому что действительно объединили приятное с полезным: осматривали великолепные окрестности города и обсуждали программу. Миссис Уэллс сидела к нам вполоборота, левая ее рука лежала на баранке автомобиля, который быстро мчался по извилистому шоссе как бы сам собой: искусство водителя было поразительным! Слева и справа, на зеленых холмах, в окружении газонов, среди деревьев, белели, желтели и голубели богатые особняки — состоятельные американцы поселяются подальше от центра города, куда теперь все чаще устремляются со своими многочисленными семьями негры. Такая картина наблюдалась нами в Вашингтоне. Так и здесь, в Атланте.

В 11 часов вернулись в город — начали с осмотра Центра, или Музея, искусств, построенного на пожертвования частных лиц. Построенного, кстати сказать, совсем недавно с целью приобщения возможно большего числа горожан к культурным ценностям. Обнаружившие таланты молодые американцы и американки могут совершенствоваться здесь в самых различных видах искусства: драматическом, музыкальном, хореографическом, живописи и скульптуре. Не по содержанию, конечно, а по структуре своей Центр напоминает Дворец культуры в каком-нибудь нашем крупном городе. Поскольку для американцев все это является чем-то совершенно новым и непривычным, можно предположить и возможность известного заимствования. Во всяком случае, люди мыслящие и свободные от предвзятости и предубеждений прямо признавались в том, что хотели бы многому поучиться у нас в постановке культурного воспитания народа.

Здание Центра так велико, что мы решили заглянуть лишь в некоторые его отделения. Тихо вошли в концертный зал и немного послушали оркестр, репетировавший какое-то электронно-музыкальное сочинение. Вероятно, кому-то это придется по душе, мне же слышалось в

неживой мелодии что-то холодное, не обогретое человеческим сердцем и потустороннее.

Отделение живописи начиналось с Комнаты цвета — она в основном для детей, ее назначение научить ребенка правильному восприятию различных цветов в отдельности и в их всевозможном сочетании. Очень умная комната. Чего, однако, не скажешь о следующей, расположенной рядом. Некое ржаво-рыжее нагромождение искромсанного металла посреди большого зала указывало на то, что мы ступили в отдел американских абстракционистов. Красно-бело-оранжево-зелено-сине-фиолетово-черные круги, треугольники и квадраты не могли удивить нас: такое видывали мы повсюду. А вот рядом что-то уж из ряда вон выходящее: тысячи тысяч булавок, каковыми обычно скрепляются канцелярские бумаги, наколоты плотно друг к другу на большом белом круге. Едва приблизившись к нему, я почувствовал, что в глазах моих начинает рябить. Миссис Уэллс спросила:

— Что вы можете сказать об этой картине?

— Только то, что автор ее очень трудолюбивый человек.

Наша хозяйка улыбнулась, но ничего не сказала. Еще одно полотно, остановившее наше внимание. Картина называется «Убийство». Один и тот же сюжет в синем жутком освещении повторен... пять раз. Подумалось: зачем?

Захотелось поскорее в другой зал — там выставлены реалистические холсты, преимущественно старых мастеров и преимущественно Старого Света.

При выходе из Центра поговорили немного о пожертвованиях, на которые воздвигнуто это заведение, и о самих жертвователях. Ну конечно же, это люди, у которых водились деньжонки, и немалые, понятно. Оказалось, что, жертвуя, они руководствовались не одними лишь гуманными соображениями или тщеславными чувствами меценатов. Принималось в расчет и другое: пожертвованная сумма освобождается от подоходного налога, налог же велик: 70 процентов от полученного дохода. По сути, богатые люди отдают то, что и без того уплыло бы у них бесследно. А тут останется след, и притом надолго: имена жертвователей золотыми буквами начертаны в просторном вестибюле огромного здания Центра искусств.

Возле Академического театра (второй пункт нашего пребывания в Атланте) нас встретил его руководитель, молодой еще, коренастый, красивый человек с выразительными карими глазами. Его зовут Фрэнк Уиттоу. На нем модная теперь черная водолазка, хотя и было очень жарко. За столиком небольшого ресторана, расположенного по соседству с театром, куда мы пришли позавтракать, Фрэнк сказал, что дед и бабка его русские, хотя сам он похож скорее на испанца. Уиттоу — главный режиссер театра, названного им экспериментальным. Театр так мал и так непритязателен, что в нашем представлении никак не увязывался с понятием академического. Да и вообще, как же соединились тут два взаимоисключающих по сути, по главному назначению имени: академический и экспериментальный?

На недоуменный мой вопрос Фрэнк улыбнулся:

— Все объясняется очень просто. Ни того, ни другого звания нашему театру никто не давал. То и другое мы присвоили ему сами. Сначала нам нравилось называться академическим, потом, когда мы чуть повзрослели и уже не нуждались в чужих помочах, назвали свое детище театром экспериментальным, что ближе к его содержанию.

Фрэнк Уиттоу — основатель театра. «Основателю» едва ли больше тридцати лет. Руководитель молодой, труппа, как мы успели увидеть, совсем юная, пьесы сочиняются тут же, в театре, тут же репетируются и ставятся.

Мы вошли в театр во время репетиции. Парни и девушки прекратили свои занятия, окружили нас, и началась летучая, не предусмотренная программой беседа, одна из тех, которых нам так не доставало. Обязаны мы простому случаю: миссис Уэллс уехала по каким-то другим своим делам, оставив гостей на попечение мистера Крымгольда. Уважаемый же Борис Иосифович не мог провести и часа без того, чтобы куда-то не «протелефонировать» — это одно из его любимейших занятий. Таким образом, на какое-то время мы остались одни в окружении труппы академического.

Откупорив бутылочки кока-колы и пепси-колы, девчонки уселись прямо на полу и, потягивая прохладительное, внимательно выслушивали наши ответы на их вопросы. Мы рассказывали о советских театрах, старых

и совсем еще юных, об академических и экспериментальных, о драматургах, тоже старых и молодых, об актерах, о театральных студиях, где воспитывается талантливая молодежь, называли множество имен, начали было рассказывать об условиях, в которых работают деятели советского театра, но тут явились наши сопровождающие: сперва мисгер Крымгольд, затем миссис Уэллс. Мне показалось, что на лице ее мелькнуло тревожное удивление, но это на одно лишь мгновение: распорядительница нашей судьбы в этом благословенном городе умела держать ссбя.

Вечером — в гостях у Роберта Уэллса, врача по профессии, мужа миссис Уэллс. Это в десяти-двенадцати милях от города.

Уэллсы с двумя детьми — пятнадцатилетним сыном и восьмилетней дочерью — уже побывали в Советском Союзе и, судя по всему, не хотели бы уступать нам по части гостеприимства.

По введенному в таких семьях порядку гостей некоторое время держат в холле, где выпиваются горячительные со льдом и ведутся беседы, причем то и другое делается степенно, неторопливо. Подарки наши, однако, внесли некоторые изменения в этот порядок. Сперва молча прослушали записанные на долгоиграющую пластинку русские песни и романсы в исполнении Бориса Штоколова. «Из-за острова на стрежень», «Вдоль по Питерской», «Ноченька», «Выхожу один я на дорогу» — знакомые и родные до сладкого сердцебисния мелодии ворвались в далекий и хоть гостеприимный, но в общем-то чужой для нас дом. По блеску ли наших глаз, по беспокойному ли движению или еще по чему-либо, но хозяева и их гости, приглашенные на встречу с нами, догадались о душевном нашем состоянии и долго не решались заговорить и после того, как пластинка умолкла и в комнате наступила полная тишина.

Нарушили ее дети. Похоже, они давно ожидали момента, чтобы сейчас же начать сильно дуть в подаренные им русские свистульки. Отцу и матери потребовалось немало времени и усилий, чтобы уговорить ребят. Представив себе, какая жизнь ожидает супругов Уэллсов в первую, во всяком случае, неделю, мы постарались утешить их тем, что пообещали в следующий свой приезд подарить их детям не свистульки, а пионерские барабаны.

Все развеселились.

Высокий белозубый и темнобровый красавец, мистер Уэллс, раскрыл газету и показал нам снимок, занявший чуть ли не всю полосу: два врача, только что сделавшие удачную операцию знаменитому футболисту, теперь поддерживают его под руки и улыбаются, счастливые. Этими врачами были наш хозяин и его коллега, который находился сейчас тут и с которым нас познакомили как бы заново. Великая радость, соединившаяся с такою же гордостью, сияла на их лицах и теперь, будто сделали они свою удачную операцию самому президенту Соединенных Штатов Америки. Своими восклицаниями и восторженным удивлением мы укрепили врачей в значительности содеянного ими.

В конце концов понять их можно. Все газеты были заполнены сообщениями о травме спортивного феномена и подвиге молодых, в сущности, еще медиков. Их снимки и снимки пациента были помещены на видных местах и комментировались пространнейшим образом.

Мы же, хоть и поздравили врачей, в душе-то не могли не испытывать вполне понятного недоумения: пресса шумела о них всего лишь за два дня до грандиозных молодежных демонстраций, которые, наверное же, потрясут и всколыхнут всю страну.

Когда история со знаменитым футболистом была обговорена со всех сторон и достаточно обсмакована хозяином и его приятелем и когда нами было воздано их искусству, компания перебралась в другую комнату, поменьше, где был накрыт стол.

Ужин затянулся. Я знал, что редкий хозяин отважится напомнить гостю, что надо, мол, и честь знать, поэтому и взял на себя инициативу положить конец приятному сидению. Встал, от имени своей делегации поблагодарил хозяев. Те, конечно, огорчились в связи с тем, что придется вот сейчас расстаться, но все-таки поднялись из-за стола вместе с нами, но отпустили гостей не раньше, чем показали все комнаты в доме, включая ванную и туалетную. Показывая, мистер Уэллс как бы невзначай приоткрыл дверь на задний двор, приоткрыл ровно столько и настолько, чтобы мы успели увидеть под навесом вторую машину, а потом сказал:

— Вероятно, мои русские друзья извинят меня, если в гостиницу их отвезет жена на своем автомобиле.

Мы извинили и направились было к двери, в которую входили прежде. Но нас снова задержали: надо было занести свои имена в специальную тетрадь, оставить там адреса и отзывы о вечере, проведенном в кругу «обыкновенной» американской семьи.

Мы сделали и это, хотя и не совсем понимали, к чему бы такая процедура. У нас книгу отзывов заводят в магазинах, музеях или других каких-то бытовых и зрелищных учреждениях, но только не в собственном доме. Но — то у нас. А тут вполне возможны другие порядки и другие традиции. Да и что тут худого?

На улице, возле дома, опять приостановились. Разговор разгорался, так что мне пришлось вспомнить одну мудрую русскую поговорку и сообщить ее под веселый хохот американцев:

— Не бойся гостя сидячего, а бойся гостя стоячего.

После этого только уселись в машину. Дети Уэллсов забрались в широкое багажное отделение лимузина и преспокойно улеглись там: им тоже захотелось проводить нас. Всю дорогу ребята услаждали наш слух свистом.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

14 октября 1969 года

В 10.00 миссис Уэллс из рук в руки передает нас другой радетельнице по части гостеприимства — миссис Онофрио. Вначале подумалось: из русских эмигрантов, какая-нибудь Онуфриева. Но — нет: действительно Онофрио, фамилия по мужу-итальянцу. Ну, с этой мы хлебнули горюшка! Сотрудница дома умалишенных, она, по нашим наблюдениям, немногим отличалась от постоянных и беспокойных обитателей этого милого заведения. В собственном своем автомобиле чувствовала себя так, словно везла не трех скромных, настроенных весьма мирно и благодушно русских литераторов, а не прошедших дрессировки тигров, которые только и думают, как бы растерзать беззащитную миссис. Еще она напоминала спортсмена, футболиста, скажем, которого перед матчем так-то уж накачивали, так-то уж энергично напоминали о его долге непременно выиграть, что, выйдя на поле, он ничего уж не видел и не слышал, ничего не чувствовал, кроме взявшего его в жестокие тиски страха. Мы же, как и полагается всем путешественникам-иностранцам, были любопытны. Нам хотелось знать

и про то, сколько жителей в городе, кто и когда начинает и кончает свой рабочий день, сколько учащихся; и про то, как это американцы примирились с отвратительным ревом сирен в полицейских и санитарных машинах, и про многое другое хотелось бы спросить нашу спутницу.

Сперва миссис Онофрио отвечала — сбивчиво, нервно, но все-таки отвечала. Затем не выдержала:

— Господа, я не могу так вести машину.

Мы притихли. Между тем Онофрио совершенно неожиданно сообщила нам, что намеченная программой встреча с миссис Билли Дэвис и ее классом, изучающим русский язык, отменяется: классная руководительница внезапно заболела.

— Какая жалость! — сказал кто-то из нас, хотя мы и не удивились такой новости: не одна Билли Дэвис приурочила свою хворь ко времени намеченной встречи с нами.

На городской окраине осмотрели несколько дощатых домиков-временок, куда местные власти предполагают поселить на какой-то срок негров, проживающих ныне в трущобах. Срок этот может быть и коротким и длинным — в зависимости от того, когда на месте трущоб вырастут настоящие современные дома.

— И негры будут жить в тех домах? — спросили мы в строительной конторе.

— Конечно. Если у них будут деньги, чтобы выплатить разницу в стоимости старой и новой квартиры.

— Понятно...

После обеда побывали на автозаводе «Дженерал моторс», выпускающем «бьюики» и «шевроле». Пробежали вдоль конвейера почти рысью. Рабочие — преимущественно люди средних лет. Одеты почти одинаково: белая сорочка, заправленная в темные брюки. Сорочка с двумя карманами, из которых, точно газыри, торчат авторучки и карандаши, что придает рабочим солидности, поначалу думаешь даже, что тут сплошь одни инженеры, техники и конструкторы — зачем простому рабочему столько карандашей и авторучек?! Движения их не быстрые и не медленные, а столько, сколько нужно для одной какой-то операции у конвейера. Остановиться бы да обмолвиться с этими неулыбчивыми — с непременной сигарой во рту — людьми словом-другим, да где там! Сопровождающий нас господин дует во всю

мочь и подгоняет выразительным взмахом руки. При выходе с территории завода я все-таки улучил минуту и спросил господина:

— Почему все рабочие курят только сигары?

— Потому что у них нет перекура. А одну сигару можно тянуть без отрыва от работы все восемь часов.

Приближался час встречи со студентами. Нервозность миссис Онофрио все возрастала. Сухое, аскетическое лицо ее теперь было совсем уж белым. Мистер Крымгольд — крымское наше золото, что ли, — по дороге к студентам пытается развлечь нас песенками, сохранившимися в его памяти со времен далекого и золотого одесского отрочества, вроде вот этой:

Плывет, плывет, лодочка,
Бьет ее волна.
В ней сидит красоточка,
Милая моя

Студенты в Атланте создают соревнующиеся между собою «братства» — по признаку будущих профессий. В одном таком братстве, покровительствуемом строгой дамой-миллионершей, оказались и мы. Основная часть студентов наверху — там они сидели у телевизоров и наблюдали очередной футбольный матч. Скрываясь от невыразимого рева, строгая дама увела нас и жиденькую группу студентов вниз, в полуподвальное помещение, где и прошла беседа, продолжавшаяся не более двадцати-тридцати минут. При этом строгая дама, точно на космодроме, отсчитывала:

— Господа, осталось пятнадцать минут.

Потом — десять, восемь, шесть...

Мы не выдержали, прервали беседу и рассказали историю с одним генералом и его денщиком, которому надлежало хранить покой спящего начальника. Через каждые десять минут заботливый и исполнительный солдат будил генерала и сообщал ему:

— Спите спокойно, ваше превосходительство. Вам остается спать еще два часа.

Нечто подобное происходит и тут. Через каждые две-три минуты нас останавливают и говорят:

— Беседуйте, беседуйте спокойно. Вам остается беседовать еще...

Раздался взрыв хохота, на минуту заглушивший шум — там, наверху.

Беседа продолжалась. Диспут ведет очень бойкий и очень натасканный студент, лейтенант запаса Зиммерман, белобрысый, решительного вида малый. О Вьетнаме он говорил так:

— Я человек агрессивный и ненавижу полумер. Если ты воюешь, то не валяй дурака, а воюй как следует и побеждай. А не можешь победить, уходи прочь, и поскорее. Не хитри, не юли, не морочь голову — ни себе, ни другим.

Зиммерман, как видите, не против войны, он против методов, какими ведется эта вьетнамская война: лейтенанту запаса хотелось бы более решительных действий со стороны американского правительства и его генералов. Только и всего.

В аэропорт мы добирались на стареньком автомобиле Зиммермана: от услуг миссис Онофрио с удовольствием отказались, чему, кажется, и она обрадовалась не меньше нашего.

По дороге Зиммерман рассказывал о себе. Он студент предпоследнего курса. Отец его, довольно богатый человек, согласился учить сына с одним неперемнным условием, чтобы наследник вернул впоследствии все деньги, которые издержал родитель, давая образование сыну.

— Вы считаете это справедливым?

— Конечно! — мгновенно ответил Зиммерман.

— Когда у вас будут собственные дети, вы поступите с ними точно так же?

— Безусловно! — сказал он еще более категорично. Помолчав, добавил с гордостью: — Учась, я немного подрабатывал. И более половины долга уже вернул отцу.

В 17.00 вылетели в Хьюстон, в столицу штата Техас, в царство ковбоев. Остановились в отеле «Шеритон — Линкольн». Присев на диване в гостиничном вестибюле, мы спокойно ожидали, когда мистер Крымгольд уладит очередное недоразумение с администратором. Спокойно потому, что уж привыкли к такого рода недоразумениям, равным образом и к тому, что все они в конце концов улаживаются.

— Какой-то кошмар! — полыхая благородным гневом, восклицает свое обычное Крымгольд. — Номера были заранее заказаны, но их отдали другим. Я сейчас буду телефонировать в Вашингтон.

Пока он «телефонировал», мы тихо подремывали на своем диване. Разбудил нас торжествующий Борис Иосифович.

— О'кэй! — говорил он, вручая нам ключи.

Мне достался номер 1832-й, то есть на восемнадцатом этаже, а мои спутники расположились этажом выше.

Ужинали по обыкновению в маленьком кафетерии. Тут люди попроще — нам с ними хорошо.

До полуночи еще далеко, а улицы пустынные: ни один человек не встретился нам ни тогда, когда мы шли в кафе, ни тогда, когда возвращались обратно. И это накануне-то моратория!..

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

15 октября 1969 года

По всей стране идут молодежные демонстрации против войны во Вьетнаме. По телевидению видели, как в Вашингтоне юноши и девушки сидят на улицах и громко, трагически скорбным голосом читают имена своих сверстников, сложивших головы в непонятной для них войне вдали от родных берегов. Двигутся и движутся колонны демонстрантов с плакатами, транспарантами, с энергичными выкриками каких-то энергичных слов. Все проходит, однако, сугубо мирно: за соблюдением порядка следят не столько полицейские, сколько сами демонстранты — таково решение руководителей студенческих и молодежных организаций: ни в коем случае не дать себя спровоцировать на беспорядки!

Нам, естественно, хотелось бы остаться в Хьюстоне и посмотреть, как будут проходить демонстрации здесь.

Но, видно, наше желание было прямо противоположно желанию наших хозяев, ибо решено было увезти гостей подальше от города, а именно: в центр космических исследований, в НАСА, что в 35 милях от Хьюстона.

Учтя печальный опыт с миссис Онофрио, наш поводырь мистер Крымгольд нанимает в автомобильной компании «Герц» новейший «форд», сам садится за руль, и мы отправляемся в путь. Пока выбирались из города, три раза спрашивались о дороге. То и дело останавливались и за городом, проводя коррекцию нашего движения. Должно быть, американские космонавты, направ-

лявшие к Луне, ориентировались легче, чем сейчас мистер Крымгольд. По его убеждению, во всех наших дорожных злключениях виноваты лица, расставившие непонятные дорожные знаки. По адресу этих знаков Борис Иосифович и направлял свои сердитые замечания:

— Это какой-то кошмар!

После чего сворачивал к очередному заправочному пункту, дабы сориентироваться. Пока рабочий бензоколонки, обычно вежливый, предупредительный малый, привыкший к подобным случаям, наставлял нашего сопровождающего буквально на путь истинный, мы утоляли жажду у автомата, который в ответ на двадцатипятицентовую монетку, опущенную в щель, выбрасывал бутылочку либо кока-колы, либо лимонного, либо апельсинового сока. Крымгольд наводил справки так тщательно и так долго, что казалось: теперь все ясно, останавливаться больше не придется. Но через каких-нибудь три-четыре мили все повторялось снова: мы утоляли жажду, а мистер Крымгольд — свое нетерпеливое желание воскликнуть обычное: «Какой-то кошмар» с тем, чтобы начать свои расспросы у очередной бензоколонки. Впрочем, Борис Иосифович был достаточно самокритичен. В конце концов он вынужден был признать:

— Автомобиль гораздо лучше своего водителя. Надеюсь, вы успели убедиться в этом?

Мы успели.

Выйдя наконец на правильную дорогу, Крымгольд нараспев, патетически прочел:

— Чуден Днепр при тихой погоде! — Вздохнув, добавил: — Поэзия в прозе.

НАСА. Огромная равнина, покрытая огромными сверхсовременными — из стекла, бетона, нержавеющей стали — зданиями. Еще издали возле одного из них видим ярко-белый макет лунной кабины. Вся площадь залита бетоном, лишь газоны, которых очень много, оживляют, «оземляют» этот загадочно-таинственный, порожденный нынешним веком мир. Сопровождает нас мистер Рим, журналист в недавнем прошлом, а ныне — сотрудник НАСА. Не думаю, чтобы в столь короткий срок он успел переквалифицироваться и освоить сложное дело космонавтики. Журналист-международник, он,

судя по всему, и не думал менять своей профессии: она ему и тут сгодилась. Узнаем от него, что обслуживается этот центр десятью тысячами человек. Мистер Крымгольд уточняет:

— Это не считая других пяти тысяч, которые находятся на мысе Кеннеди, откуда производится запуск. — Сообщив, заключает: — Кошмар! Тратить такие деньги неизвестно на что!

Мистер Крымгольд столь же неодобрительно и по той же причине отозвался и о нашей стране, где как раз в эти дни отправили в космос еще четыре «Союза».

Мы тем временем входим в святая святых НАСА. Нам показывают — правда, через стеклянную стенку — место, откуда через 72 телеканала ведется наблюдение за полетами космических кораблей. Перед двумя экранами сидят два светленьких, белобрых паренька. Нас предупредили, чтобы мы обратили на них особое внимание: этим ребятам предстоял какой-то важный полет.

В одном павильоне осмотрели копию лунной кабины, уже побывавшей на ближайшем спутнике Земли. Рядом с нею на специальном барьерчике вмонтировано множество телефонных аппаратов. Сняв трубку и приложив ее к уху, можно прослушать все переговоры, которые велись отважными путешественниками между собою там, на Луне, и с теми, кто находился на Земле, вот в этом самом центре. Здесь же, по соседству, расположились корабли, которые когда-то побывали в космосе и возвращены на Землю. Сквозь большие иллюминаторы можно хорошо рассмотреть оборудование внутри корабля, кресла экипажа. Внешняя оболочка корабля обожжена — это при спуске, во время входа в плотные слои земной атмосферы. Внушил ли я себе памятью обоняния, но мне показалось, что от почерневших и пораженных как бы оспой краев шибает чуток окалиной, какая бывает в кузне.

Перед отъездом встретились с космонавтом Даном Айсли. Чудесный улыбчивый и сердечный, как, пожалуй, все космонавты, он охотно побеседовал с нами, подарил фотографию — свою и своего корабля «Аполлон-7», на котором совершил длительную прогулку в космосе. Просил передать привет своим друзьям — советским космонавтам: он сказал — астронавтам. Вспомнил про Юрия Гагарина, нахмурился, вздохнул, взгляд

его невольно скользнул по стене, где висели портреты погибших его товарищей — американских космонавтов. Числом их было значительно больше тех, о которых знали и мы. Говорят, что погибли эти ребята не обязательно в космосе: они могли оказаться и в автомобильной и в авиационной катастрофе.

Из НАСА сразу же поехали какими-то окольными путями, чтоб не заезжать в город, на ранчо нефтяного короля, миллионера Фроста. Мы просили показать нам какого-нибудь фермера, а нас отправили на ранчо. При этом убеждали, что мистер и миссис Фросты будут чрезвычайно рады встретиться и побеседовать с советскими людьми. Так ли было в самом деле, нам сказать трудно. Может быть, именно от великой радости у миллионера отшибло память: в назначенный час ни его, ни его супруги не оказалось на месте. Нас встретил и повел по ранчо управляющий — парень лет двадцати пяти, одетый под ковбоя.

На поле полюбовались на диких коз, оленей, ланей и на прочую экзотическую живность. Про себя, верно, каждый подумал: стоило ли для этого забираться в такую даль, в самый аж Техас, ежели этих редких парнокопытных мы очень даже просто могли посмотреть в Московском зоопарке?

Философствующая дама из «корпуса», назвавшая себя близкой приятельницей миллионерши Фрост и по этой причине предложившая свои услуги в качестве нашего сопровождающего, по пути на ранчо неумеренно расхваливала его хозяина и хозяйку, особенно подчеркивая чувство гостеприимства, коим они обладали. Теперь дама была несколько смущена. Но это ей не мешало сделать жест, граничащий с бестактностью: отыскала где-то книгу посетителей и предложила нам занести в нее свои имена, присовокупив к ним впечатления от усадьбы.

Мы, понятно, вежливо отказались и попросили, в свою очередь, поскорее отвезти нас в город.

— О'кэй! — согласилась философствующая дама (философствующая потому, что всю дорогу на ранчо потчевала нас рассуждениями относительно неустроенности современного мира, отсутствия гармонии в сферах духовной и материальной жизни человечества, мо-

лодежи, которая стала неуправляемой и которая, увы, не унаследовала от старших, то есть от нее вот, всех добродетелей, каковыми те обладали вполне).

«О'кэй!» она сказала после того, как посмотрела на часы и убедилась, что время достаточно позднее, демонстрация в Хьюстоне теперь закончилась и можно возвращаться в город. Наши хозяева из госдепартамента могли быть довольны: программа дня выполнялась досконально, в НАСА и на ферме гости побывали, какие у них после всего этого могут быть претензии?

Ужинали в городе, в доме профессора Гейла Стокса. То было почти копией вечера, проведенного нами в Атланте в семье Уэллсов, с той лишь разницей, что там говорили в основном о медицине и о спасенном знаменитом футболисте, тут — о языке и литературе, которой современная Америка тоже наносит немалые травмы, только вот трудно отыскать для них чудодейственного исцелителя.

— Полуоткровенная, а теперь уж и совершенно откровенная порнография захлестнула не только наши экраны, но и страницы книг даже некоторых известных и вполне порядочных писателей, — сетовал хозяин дома.

В этом сетовании его поддержал Роджерс Андерсон, преподаватель русского языка, очень еще молодой человек, безуспешно старавшийся прикрыть эту свою молодость реденькой рыжевато-бородкой и усами, тоже, разумеется, рыжими и еще более редкими.

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

16 октября 1969 года

От 10 до 11.30 в сопровождении Андерсона, вполне сносно владеющего русским языком и пожелавшего провести с нами лишний час, ездили на окраину города в универсальный магазин. Я помнил, что нахожусь в Техасе, и поступил бы более чем несерьезно, если б не купил там ковбойской шляпы. Ковбойская шляпа к тому же входила в строжайший наказ моих дочерей, которые — надо отдать им справедливость — в своих просьбах были весьма умеренны.

По возвращении получили нарекания от мистера Крымгольда, ибо опоздали к определенному им часу на целых 15 минут. К счастью, гид наш оказался челове-

ком весьма отходчивого сердца. Вскоре он был весел и полон не покидавшего его ни на час оптимизма.

От 12 до 14.30 — беседа с преподавателями местного университета. За большим столом, похожим на огромную букву П, поместилось человек пятьдесят. Перед каждым — легкий завтрак. Вел беседу мистер Сэм Соусу Эллиот, декан английского факультета. Прежде всего он представил нам всех присутствующих своих коллег, причем для каждого находил слова, которые были бы тому приятны, для профессоров-ветеранов слов этих было и побольше, да и сами слова погуще. Процедура представления заняла с полчаса или того больше. Представил и я свою делегацию.

После того как Эллиот коротко рассказал об университете, насчитывающем 24 тысячи студентов, началась собственно беседа. Она шла в основном вокруг русских и советских классиков — Толстой, Достоевский, Чехов, Горький, Шолохов. При этом было видно, что преподавателям доставляет большое удовольствие говорить о них, великих умельцах перебрасывать мосты от народа к народу, от нации к нации, от континента к континенту.

Мы не остались в долгу и рассказали об американских писателях, которых хорошо знают в Советском Союзе. А когда мы сообщили о тиражах, которыми вышли у нас произведения Марка Твена, Джека Лондона, Теодора Драйзера и Эрнеста Хемингуэя, в зале на некоторое время воцарилась напряженная тишина: названные нами цифры нашим слушателям показались непостижимо великими. И только после того, как кто-то из них, побывавший недавно в Советской стране, подтвердил, что приведенные нами сведения соответствуют действительности, все пятьдесят человек одновременно воскликнули: «О!»

— Ну, то классики. А знают ли у вас современных американских писателей? — спросил кто-то из присутствующих.

— Да, конечно. И, думается, гораздо лучше, чем в США наших современных писателей. Значительными тиражами вышли у нас книги Джона Апдайка — «Ферма», «Кентавр» и другие, рассказы Джона Чивера, будет опубликован и его роман «Буллет Парк», «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера, его же многие рассказы; пьесы А. Миллера «Все мои сыновья», «Вил с

моста», «Смерть коммивояжера», «Случай в Виши» и «Цена»; произведения Джона О'Килленза, романы Э. Олби «Смерть Бетти Смит», «Все в саду» и другие. Знают у нас и Т. Капоте по книгам «Завтрак у Тиффани», «Хладнокровное убийство» и некоторым другим произведениям. Большой популярностью пользуется у советских читателей трилогия У. Фолкнера «Осквернитель праха»...

Тут нас перебили. удивленным вопросом:

— Фолкнер популярен?

— Да, Фолкнер. А отчего бы и нет?

— Но его трудно понять.

— У нас достаточно много читателей, которые понимают и трудную литературу. Произведения Э. Колдуэлла — тоже не легкое чтиво. Однако на русский язык переведены почти все его романы и читаются у нас с удовольствием. Весьма широкое распространение получили рассказы двух ваших Ирвингов — Стоуна и Шоу, Маламуда и У Сарояна.

— Вы называли в основном прозаиков. Что русские читают из американской поэзии?

— Ну, в первую очередь, конечно, Уолта Уитмена. Да, да, его очень у нас любят. Некоторые молодые и не совсем молодые поэты пытаются даже подражать ему, считают его своим учителем. Владимир Солоухин, например, в своих последних поэтических опытах — мы имеем в виду его белый стих. Хорошо знают у нас поэзию нашего давнего друга, недавно скончавшегося, к сожалению, Роберта Фроста. Читают стихи Карла Сэндберга, Аллена Гинсберга, Уолтера Лоуэнфелса и многих других. Мы бы, право, были весьма признательны американским издателям, если бы они познакомили вас с таким же числом современных советских прозаиков, поэтов и драматургов. Пускай американские издатели не обижаются на нас, но мы вынуждены сказать: они весьма тенденциозно представляют вам советскую литературу. Вы хорошо знаете, к примеру сказать, Солженицына, но ничего или почти ничего не знаете о таких превосходных мастерах русской прозы, как Леонид Леонов, Константин Федин. Вы знаете Евтушенко, Вознесенского, но совершенно не знаете как поэтов Твардовского, Василия Федорова, Смелякова, поэтов, более зрелых по мысли и форме своего стиха, то есть как раз тех прозаиков и поэтов не знаете, без которых немисли-

мо вообще представить современную советскую литературу.

От литературы речь постепенно перекинулась на другие виды искусства, в частности на музыку. Одна преподавательница обратилась прямо ко мне:

— Есть ли у вас, мистер Алексеев, дети? Если есть, то знают и любят ли они нынешнюю американскую музыку?

Я улыбнулся про себя. В кармане у меня как раз лежало письмо — наказ моих дочерей. Я решил прочесть его здесь, за этим столом. Начал как можно серьезнее:

— «Дорогой папа! Мы с Ларисой оказываем тебе самое большое доверие, пуская тебя в Америку (очень капиталистическую и, мы бы даже заметили, империалистическую страну). Как ты думаешь, зачем мы туда тебя пускаем?.. Правильно! Молодец! Догадался... Ты, папа, едешь к самому, самому, самому красному солнышку... — тут я сделал продолжительную паузу, видя, как напряженно и беспокойно внимают мне слушатели, — красному солнышку, — повторил я, — Элвису Пресли. — Оглушительный смех прокатился над столом. Я же продолжал: — Итак, что же тебе делать в Америке? Ты ждешь наших ценных указаний? Пожалуйста: положи в карман все наличные деньги, ты, папа, идешь в пластиночный магазин и покупаешь, как ты догадываешься, пластинки Пресли. И не вздумай отвертеться! Это твой последний шанс утвердить себя в наших глазах как незаурядную личность и неплохого писателя».

— Других наказов они вам не делали?

— Еще ковбойская шляпа. Но я уже купил ее.

— И все?

— Больше ничего.

— А какую еще музыку любят ваши дочери?

— Они любят и оперу, и симфонию, и русскую народную. И это, как видите, не мешает им любить вашего эстрадного идола.

Ровно в 14.30 поднялись из-за стола. Распрощались.

В 18.00 вылетели в Лос-Анджелес. В 20.30 (уже по лос-анджелесскому времени) прибыли туда. Остановились в отеле «Хилтон». Мне достался номер 1655-й. На письменном столе лежала библия и конверт с приветствием самого Варрона Хилтона, владевшего такими

гостиницами чуть ли не во всех крупнейших городах Северной и Южной Америки, а также Европы, Азии и Африки.

Устроив нас, мистер Крымгольд умчался куда-то, чтобы «протелефонировать» в Вашингтон. Из своего гостиничного номера он почему-то не делает этого. Кроме «телефонировать», со временем проявилось еще одно любимое его словечко — «рефератировать». Будучи инженером-ирригатором по образованию, он долгое время служил в конторе, собиравшей со всего света информацию о том, как обстоят дела с орошением земель в той или иной стране. На основании собранного материала мистер Крымгольд составлял собственные рефераты и докладывал их по инстанции. Это и называется им — рефератировать. Из нашей, литературной терминологии, как вскоре выяснилось, он не знал ничего, а потому при первой же возможности пытался перевести разговор на ирригацию, где бы мог оказаться в своей среде и усладить свой слух любимым словцом.

Теперь же он «телефонирует» и докладывает господину Марголиусу еще об одном прожитом нами дне.

Ну и пусть. А нам пора спать.

ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ

17 октября 1969 года

До 11 часов ждали, пока Крымгольд уточнит, какая программа ожидает нас в этом городе. Ночью, как и во всех городах США, то и дело просыпались от ужасающего стога полицейских автомобилей, пронсящих далеко внизу мимо отеля. Такие гудки слышались от зари до зари ото всех концов огромного, раскиданного по холмам, в основном одноэтажного города. Невыспавшиеся и терзаемые неизвестностью, мы, конечно, чувствовали себя не лучшим образом.

Наконец где-то около двенадцати является Борис Иосифович и, по обыкновению бодрясь, торжественно объявляет:

— Все о'кэй! Программа найдена, и мы сейчас едем на завтрак с мистером Урбаном, доктором Калифорнийского университета, специалистом по восточноевропейским странам.

— Чудесно! — сказал я в тон Крымгольду. При этом вся наша делегация переглянулась.

Мы догадывались, что за птица этот профессор Урбан, и не ошиблись. Пригласив нас за стол и едва угнездившись за ним сам, он с неподдельной гордостью и с подкупающей доверительностью сообщил нам о том, что якобы установил связь с некоторыми лицами, которые-де и снабжают его, профессора Калифорнийского университета Урбана, антисоветской литературой. «Литературу» эту мистер Урбан, специалист по восточноевропейским делам, быстро превращает в книги и распространяет по всему западному миру. Впрочем, не только западному...

Без всякого перехода, не заботясь о «связке», он тут же перешел к внешней политике Советского правительства, которая, как и следовало ожидать, никак не устраивала профессора Урбана. Увлечшись, он сделал вдруг весьма смелое заявление:

— Ваша ссора с Китаем — это спасение для Восточной Европы.

— Вы так думаете?

— Не только я. Так думает правительство Соединенных Штатов.

— Вот как!

Мы улыбались. Зато лицо мистера Крымгольда наливалось кровью. Чуть ворохнулся на своем стуле и высокий темноглазый красавец, назвавшийся при знакомстве Мягковым. Во все время разглагольствования Урбана он сидел, не уронив ни единого слова. Молчала и молодая рыжеволосая женщина, преподавательница русского языка, которая после завтрака должна была повести гостей в свой класс. Борис Иосифович, почуяв в нашей улыбке что-то недоброе, во всяком случае, не обещающее ему самому ничего хорошего, попытался переключить беседу на иной лад, но сделать этого не смог. Мы уже подымались из-за стола. При этом Бакланов решительно заявил:

— У меня нет ни малейшего желания сидеть за одним столом с этим господином, — он указал на Урбана.

Тот не на шутку струхнул:

— Господа, я хотел только сказать, что я...

Тут уж не вытерпел и я:

— Что вы и кто вы есть на самом деле, господин Урбан, мы поняли в тот момент, как только вы начали говорить. Мы могли бы вам даже сказать, кто и сколько вам платит. И, кстати, платит слишком много: учиты-

вая вашу топорную работу, другой не заплатил бы вам и гроша.

Встав из-за стола, мы потребовали счет за завтрак, поскольку вовсе не хотели, чтобы за нас расплачивался Урбан или еще кто-то там. Вконец растерявшийся Крымгольд долго уговаривал нас остаться. Мы стояли на своем, быстро направляясь к двери. «Доктор» Урбан поспешил за нами и все говорил — говорил что-то о том, что его не так поняли, лучше бы нам вернуться и продолжить беседу о литературе, языке, о других проблемах.

Заплатив по принесенному счету семь долларов, мы подозвали такси и вернулись к себе в гостиницу.

Мистер Крымгольд тотчас же куда-то исчез. Вскоре вернулся и сказал многозначительно:

— Можете быть уверены, мистер Урбан больше не будет работать.

— Где? — быстро спросил я.

— В университете, конечно.

— Вы так думаете?

— Я так думаю.

Сэкономленное на Урбане время мы употребили на осмотр города. Залитый солнцем, он выглядел, как большинство американских «одноэтажных» городов, нарядно. Между тем нам попросту повезло: именно Лос-Анджелес, не знаю, по какой причине, особенно страдает от смогов. Бывают дни, когда на его улицах люди падают в обморок, отравленные газами, не рассеявшись в атмосфере. Нередко среди дня останавливается весь транспорт, ибо никакие фары, никакие прожектора не могут пробить густую, непроницаемую наволочь смога.

Вечером, как и следовало ожидать, опять ужин в одной из американских семей. На этот раз в доме инженера Спела. Стол накрывали всей семьей: отец, мать, сын и семилетняя дочь. Было трогательно видеть, как эта крошка расставляет перед гостями посуду, как легко, радостно и непринужденно она делает все это. Сын — бойскаут. Узнаем, что на днях он участвовал в очередной, очень своеобразной и очень не детской игре — диспуте. Вся игра сводилась к тому, что юридически доказывалось, насколько хорош американский

образ жизни и насколько плох — советский. Спелу-младшему отведена была роль одного из наших, советских, руководителей, и по этой причине мальчик оказался в положении подсудимого. Под тяжестью «неопровержимых» улик и доводов, которые обрушились на него из уст «юристов», он в конце концов вынужден был сдаться, сказать, что он и его режим «бьяка», а американское общество — само совершенство. Мальчику одиннадцать лет.

Супруги Спел весьма набожны. Перед тем как приступить к трапезе, члены семьи взяли за руки, попросили и нас сделать то же самое. В полной тишине хозяйка, сложив на груди руки и прикрыв глаза, прочла импровизированную молитву:

«О всемогущий боже! Благодарю тебя за то, что на столе нашем есть пища! Благодарю тебя за то, что ты дал нам возможность провести вечер в кругу наших гостей! Благодарю тебя за то, что ты не оставляешь нас своей милостью и даешь нам хлеб насущный! Аминь!»

За полночь вернулись в отель. Об Урбане не вспоминалось. Видя, что настроение наше поправилось и мы вновь обрели доброе расположение духа, мистер Кримгольд решил подбодрить нас еще более.

— Вас переводят в лучшие номера! — сообщил вдруг он, «покалякав» о чем-то с администратором.

Мы дурашливо заважничали. При всех случаях — идет ли речь о новом гиде, о машине, гостиничном номере, как в этом случае, — мы говорим друг другу в духе Василия Ивановича Чапаева:

— Нам уж какого-нибудь замухрышку не дадут!

Сказав это и сейчас, мы вновь подивились тому, как много тут японцев: они буквально заполняют все гостиницы Соединенных Штатов, приезжают туда делегациями и частным образом — в одиночку. Тут и туристы, но подавляющим образом — люди деловые, коммерсанты и коммивояжеры. Магазины полны японскими товарами, особенно много радио- и телевизионной аппаратуры. Невольно подумалось: «Не завоевав Америки силою оружия, не хотят ли японцы сделать то же самое иным способом?» Во всяком случае, судя по независимой походке, по тому, как почтительно склоняются перед ними гостиничные кельнеры, по тому, как, никого не стесняясь, волокут они, сытенские, аккуратненькие, в свои

номера белокурых длинноногих девиц, японцы чувствуют себя в Соединенных Штатах Америки по-хозяйски. На плечах у них есть неплохая голова, а в кармане деньги, тоже неплохие, — с этим багажом они могут смело пересечь океан. Деловой, непоседливый народец, ничего не скажешь. Мистер Крымгольд, то ли осуждая, то ли завидуя, говорит о них:

— Не мы, а японцы наживаются на вьетнамской войне.

— Думаем, что и вашим капиталистам кое-что перепадает, — говорю я.

— Какой-то кошмар!

Крымгольд, конечно, не совсем точен. На вьетнамской войне наживаются прежде всего американские монополии, иначе США не вели бы этой войны. Но правда и то, что у этого костра греют руки и японские дельцы.

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

18 октября 1969 года

В 10.30 выехали на аккредитованном все в той же компании «Герц» (Крымгольд почему-то решил не изменять ей) автомобиле в местечко Санта-Барбара в гости к профессору, поэту и литературоведу Кеннету Рексроту — это в 120—150 милях от Лос-Анджелеса. Обед и беседа проходили во дворе арендованной им дачи с великолепным, запущенным и оттого еще более поэтичным садом. Дача на горе. Внизу в одной-полтора милях плещет о каменистый берег Тихий океан. Мы сидим и пьем чай. Лимоны хозяин достает прямо с ветки. Рексрот — высокий седовласый старик с усталыми, все понимающими, суровыми голубыми глазами, которые, однако, делаются детски счастливыми, когда он смеется. Хлопотала секретарь профессора Керол Пинкер, крохотная девушка в коротком, минимизированном платье. Она успевала и угощать нас, и поддерживать беседу за столом. Отведали мы артишоки. Их отваривают целиком, затем отламывают по лепестку, макают в острый белый соус и едят. Очень вкусно.

Хозяин спрашивает:

— Привезли ли вы свои фильмы?

— Ленты остались в гостинице.

— Отчего же не захватили? Я обещал показать их своим студентам.

— Мы об этом ничего не знали, — сказав это, я искал глазами Крымгольда, но его рядом не оказалось: побежал «телефонировать».

Старик понимающе поглядел на нас и тихо вздохнул.

Мы поспешили одарить его своими сувенирами, не забыли и о его секретаре. Рексрот вручил нам свои книги с дарственной надписью. На том и закончилась наша встреча. Откуда-то появился Крымгольд и выразительно показал на часы.

Сегодня, по пути в Санта-Барбару, он рассказал немного о себе. Дорога была длинной, бежала она большей частью по берегу океана, среди пальм, под благословенным южным, калифорнийским солнцем — все это располагало к откровенности. И наш лидер — так назвал себя сам Крымгольд — решил малость поведать о себе. Мы узнали, например, что его можно звать не только Борисом Иосифовичем. По паспорту он Дов Бер Крымгольд. Дов означает медведь (старая кличка Крымгольда), Дове — голубь, тоже кличка, Бер — Борис на древнееврейском языке. Отсюда — Довбер Крымгольд.

В этот день он особенно весел: побывал в гостях у сына, работающего где-то в окрестностях Лос-Анджелеса. Сидя за рулем, бодро напевал:

Скажи-ка, дядя,
Ведь не даром...

Останавливались редко. Лишь для того, чтобы отвезти сока грейпфрута (очень распространенный в Америке напиток) и сфотографироваться на виду у Тихого океана, под пальмами. Проезжая через какой-нибудь город, удивляемся неожиданным, непривычным для нас надписям на всяких заведениях. Была суббота, выходной день (в США их два, как и у нас), поэтому владелец одной парикмахерской вежливо предупреждает специальной табличкой на двери: «Да, да, мы открыты!»

С дорожными знаками у нашего сопровождающего по-прежнему нелады.

— Это какой-то кошмар! — в сотый, кажется, раз восклицает он, с великим трудом выбираясь из города. Выбравшись в конце концов, как ни в чем не бывало провозглашает: — Мы на орбите! — А чуть спустя уже грустно: — Да, но здесь так много орбит!

Из последнего замечания мы делаем вывод, что едем опять не по той дороге.

— Казак на север держит путь? — спрашиваю я.

— Надеюсь, — неуверенно под общий хохот отвечает Крымгольд.

Советую ему:

— Надо остановиться и спросить. У нас говорят: информация — мать интуиции.

Соглашаясь, Крымгольд добавляет:

— Не только мать, но и отец, — с этими словами он сворачивает к бензоколонке.

Через некоторое время слышим:

— О'кэй! — Садясь за руль, говорит нам: — Если увидим надпись: «Вентуро Фривей», грянем дружно «ура», поскольку это уже будет верный знак того, что мы не заблудились.

Вскоре мы действительно грянули «ура», и громче всех — мистер Крымгольд, но оказалось — преждевременно: приняли за Вентуро другой какой-то пункт, близкий по названию. Тем не менее наш лидер был спокоен и решил познакомить нас со своей биографией. Рассказ его (еще далеко не оконченный) походил на исповедь. По ходу дела буду приводить отдельные фрагменты из него.

Родился Крымгольд, как уже сказано нами раньше, в селении Кривое Озеро, близ местечка Балта Одесской губернии в 1902 году в семье купца I гильдии Иосифа Крымгольда. После Февральской революции убежал от отца и примкнул в Одессе к группе социалистов-сионистов, поставивших своей целью перебраться в Палестину, создать там самостоятельное, суверенное еврейское государство. Из этой затеи в конце концов ничего не получилось.

В 1920 году молодой Крымгольд все-таки уехал в Палестину. Пробирался он туда через Румынию. Границу перешел у Рыбницы с зашитыми в штанах золотыми монетами, которыми его снабдила — украдкой от мужа, конечно, — мать. Переход удался. В этом смысле Крымгольд оказался удачливее Остапа Бендера, предпринявшего несколько позднее аналогичную акцию. Правда, последнему грезилось не государство Израиль, а Рио-де-Жанейро.

Возвращались от Рексрота той же дорогой, без всяких уж приключений. Теперь мы могли лучше присмотр-

реться и к океану, и к местности, лежащей по левую от нас руку. Справа далеко от берега видны вышки. Нефть, которую тут добывают, окрасила воду в оранжево-фиолетовый цвет: тут уж не искупаешься и не порыбачишь. Левая сторона тоже переливается оранжевым цветом. Но здесь другое: тут сплошь лежат еще не убранные, но уже созревшие тыквы. Теперь только я понял, почему в моем родном селе Монастырском на Саратовщине некоторые сорта тыкв называют американками: наверняка когда-то они завезены из Калифорнии, как завезена в давние, петровские, кажется, времена, тоже из Америки, картошка.

С вечера до поздней ночи гостили у нейрохирурга доктора Милтона Хейфица и его жены Бетси. Милтон Хейфиц не то брат, не то просто родственник известного советского музыканта Хейфица. Провожая нас, Милтон завернул машину в какой-то переулок, затем въехал во двор большого отеля, указал на дверь:

— Вот оттуда его выносили.

— Кого? — спросили мы хором.

— Роберта Кеннеди.

ДЕНЬ ДВЕНАДЦАТЫЙ

19 октября 1969 года

Утром долго стоял у окна своего номера и глядел на только что проснувшийся город. Бесконечное число улиц и улочек из двухэтажных и приземистых одноэтажных домов врассыпную разбежались от центра по холмам и там укрылись за туманами. Лишь отдельными островками возвышаются высотные здания, и почти на каждом из них у самого карниза, в недостижимой высоте, гигантскими буквами начертано: «БАНК». Куда ни помотришь, всюду — банк, банк, банк. Частные компании. Частные банки. Сколько же их тут?!

По всем улицам туда и сюда текут то узкие, то широкие реки автомобилей. И сам город напоминает распластанное тело великана, у которого вскрыли вены, и теперь, освобожденная, кровь устремилась во все стороны. Во многих местах, у перекрестков, поток останавливается, количество машин угрожающе растет, и кажется, что вот-вот нарушится кровообращение города и он погибнет от транспортного тромбоза.

В 10.00 мы вновь отправляемся в путь. На этот раз едем в Диснейленд, в Страну Диснея. Едва выкатившись на автомагистраль № 5, идущую тоже по-над Тихим океаном, только не на север, а на юг, мистер Крымгольд продолжает рассказывать свою биографию, вернее, длинное отступление от нее, или «сноску», как сам он определил этот жанр устного своего творчества. «Сноска» посвящена далекой юности, одесскому периоду его жития, о чем он, замечено нами, говорит с особым волнением. В одном месте голос его дрогнул, а потом и вовсе оборвался — это когда Крымгольд рассказывал о петлюровских бандитах, о еврейских погромах, во время которых погибла в Кривом Озере его бабушка.

Мы слушали, сочувствовали своему «лидеру», а в сердцах наших медленно, но верно поселялось сомнение: туда ли мы едем? Еще в городе, по карте, мы определили, что до Диснеева царства от Лос-Анджелеса не более тридцати — тридцати пяти миль, а мы с сумасшедшей скоростью мчимся уже более двух часов.

— Борис Иосифович, может, остановимся и полюбуемся океаном вон с того мысочка, а? — предложил я вкрадчиво.

На указанном мною выступе прогуливалось несколько парочек. У них, думал я, можно справиться о дороге. Чтобы мистер Крымгольд не догадался об истинном моем намерении, я отвел его в сторону, обнял за плечи и попросил Григория Бакланова сфотографировать нас на фоне океанских просторов. Фрида Анатольевна тем временем пошепталась о чем-то с незнакомыми туристами, затем быстро вернулась к нам и ошарашила просто-душно настроенных путешественников неожиданной новостью:

— Мы в Мексике!

— Какой-то кош... не может быть!

— На шестьдесят миль углубились в Мексику, — сказала она.

— А где же были пограничники? — спросил Бакланов.

Пограничники объявились, когда мы во весь опор неслись в направлении обратном. Занятые осмотром каких-то крытых грузовиков, они дали нам знак рукой: проезжайте!

Крымгольда, как всегда, обуяло любопытство.

— Что они там проверяют? Может, вернемся и узнаем? — вдруг предложил он минутой позже.

— Нет уж. Лучше не останавливайтесь, пока они не остановили нас сами, — сказал я.

Наконец где-то уж во втором часу дня оказались в Диснейленде. Сравнительно легко решили нелегкую проблему парковки, поскольку администрация этого великого сказочного царства-государства отвела под стоянку огромную, залитую ровным асфальтом площадь, размеченную чем-то ярко-белым на сотни тысяч прямоугольников. Автопоездом, похожим на те, что развозят детей у Лужников во время зимних каникул, добрались до центрального входа, куда впадает и растекается по бесчисленным павильонам густой и непрерывный людской поток. За одно то, что попадешь на территорию Страны Диснея, надо приобрести билет стоимостью от трех до шести долларов: три доллара — когдаходишь в составе делегации, шесть — когда один. За отдельные, особо интересные павильоны и аттракционы надо и платить особо. В течение одного дня милый и добрый сказочник, роль которого теперь унаследовали его ближайшие родственники, пропускает через свои такие же милые и добрые руки десятки тысяч посетителей. Ничего себе заработок, а?!

Молоденькая проводница по имени Сузанна (Сузи), студентка Калифорнийского университета, прирабатывающая здесь на свое студенческое житье-бытье, присоединила нас к небольшой группе других посетителей и дала «вводную» — так же бойко и уверенно, как это делают командиры во время войсковых учений. Одетая в нарядное платьице, она была похожа на порхающую весеннюю бабочку. Девушка все время была в движении, и движения эти были так стремительны и легки, а улыбка так естественно-непринужденна, что никому из нас и в голову не приходило, что мы у Сузанны лишь за один нынешний, далеко не окончившийся день уже были третьей партией, которую за два с половиной часа надо было провести через все павильоны. При этом многие приезжали с детьми, и проводница должна была взять ребят под свое особое покровительство. Сузи делала это, думалось нам, с удовольствием. Дети, оставив родителей, табунились вокруг нее. Остроумная и живая, она успевала перекинуться шутками и с нами, взрослыми, и наша группа решила, что Сузи у нас самая луч-

шая из всех проводниц. Это дало нам новый повод похорохориться, мы не преминули воскликнуть:

— Нам уж какую-нибудь замухрышку не дадут!

Павильоны со всяким доисторическим зверьем, оживленным электронными компьютерами, и пиратами, стреляющими и гикающими волею той же электроники, на меня лично произвели меньшее впечатление, хотя я понимаю, что дети могли бы замирать и действительно замирают от счастливого страха при виде этих чудес. Но вот павильон, названный «Америка, Америка», заставляет долго потом размышлять, и в первую очередь о том, как надо показывать богатства и красу своей страны.

Здесь демонстрируется лишь один широкоформатный цветной документальный фильм. Огромный экран сделан в форме полного круга. Зритель, находящийся в центре его, как только начинается демонстрация картины, утрачивает реальное ощущение своего места и получает взамен полную иллюзию пассажира, мчащегося в каком-то циклопическом корабле. За 15 минут он исколесит всю страну, побывав в самых интересных ее местах. Корабль то убыстряет, то замедляет свой бег, то вовсе останавливается перед каким-нибудь совсем уж сногшибательным, поражающим воображение зрелищем; гипнотизируя, тебе как бы говорят: запомни этот миг, он прекрасен и неповторим, и подарила тебе его Америка! Начинается и кончается фильм под мощные звуки песни:

Америка, Америка..
Прекрасная страна..

Лишь выйдя на улицу и малость освободившись от колдовских чар блестяще снятой ленты, ты начинаешь вдруг вспоминать то, чего не увидел в картине: ни «убийств века», ни негритянских и студенческих волнений, грозною волной катившихся по стране, ни звездно-полосатых гробов, ежедневно и ежечасно прибывающих из Вьетнама, ни городских трущоб — ничего такого, что могло бы хоть капельку «подпортить» впечатление от действительно богатейшей и в общем-то действительно сказочно красивой страны.

В павильоне по соседству, построенном одним из американских банков, кукольные дети всех стран мира, хороводясь, напевают на английском языке одну и ту же песенку, смысл которой сводится к следующему:

Мы дети, хоть и разных стран,
Но мы дети, и у нас одни радости
И одни несчастья. И Земля наша
Очень маленькая. И для всех она — мать.

Превосходная, интернациональная идея, не правда ли? Но люди, построившие павильон, не поставили на этом точку. Сразу же при выходе вас настигает, точно рок какой-то, повелительный и самоуверенный голос: «Где б вы ни находились в этом мире, помните: везде и повсюду рядом с вами будет американский банк!»

«Это мы хорошо знаем!» — хотелось крикнуть в ответ.

В павильоне «Полинезия», построенном на средства одной авиакомпании, поют песенки не дети, а электронные пернатые, преимущественно попугаи всех мыслимых и немыслимых пород. Поют дружно, весело, на разные голоса и сообщают вам ощущение джунглей.

Под конец погрузились в специальном корабле на дно сравнительно небольшого озера и полюбовались красотами подводного царства. После этого Сузанна проводила нас к выходу и распрощалась с нами. Но мы некоторое время еще оставались в Стране Диснея: захотелось приобрести пластинки с песенками из знаменитых Диснеевых мультипликационных фильмов и разные безделушки, сделанные на сюжеты этих фильмов.

Вечером вернулись в Лос-Анджелес.

ДЕНЬ ТРИНАДЦАТЫЙ

20 октября 1969 года

В первую половину дня ездили в Голливуд. Водителем такси оказался бывший наш соотечественник, еврей по национальности. Его зовут Морис Кранд, родился в Станиславе. Ребенком родители увезли его в Израиль. Там он вырос, был взят в солдаты, 5 июня 1967 года, во время шестидневной, «победоносной», как он сказал, войны был ранен в руку, уехал лечиться в США — знал, куда ехать! — вылезился, сделался гражданином этой страны, не пожелав почему-то вернуться домой и сражаться под знаменами Сиона за «великий Израиль».

— И правильно сделал, — подытожил мистер

Крымгольд, тоже в свое время помышлявший о создании великого еврейского государства.

В Голливуде был выходной, и нам удалось лишь осмотреть внешне этот грандиозный киногород, а лучше сказать — эту киноимперию. Более близко познакомились только со студией Уолта Диснея. Здесь я впервые узнал не без удивления о том, что на создание одного мультфильма у Диснея уходило шесть, а то и больше лет — за это время его соседи по киноимперии успевали выпустить десятки и даже сотни полнометражных игровых картин. Однако все немногие ленты великого художника живут по сей день и будут еще долго жить, а что случилось с теми десятками и теми сотнями?..

При студии на пожертвования Диснея, выразившиеся в сумме 20 миллионов долларов, построен Калифорнийский институт искусств, где готовят актеров, режиссеров, сценаристов, музыкантов, искусствоведов. Отлично окончившим выдается медаль с изображением самого Уолта Диснея на одной стороне и его любимого киного героя мышонка Микки Мауса — на другой. Здесь учатся одновременно 15 тысяч студентов. Управляют студией брат Уолта — Рой Дисней и другие родственники. Мы попросили указать нам место, где похоронен великий киносказочник, но нам на это ответили:

— К сожалению, мы не можем исполнить вашей просьбы. Покойный завещал никому не показывать его могилы. Мы обязаны уважать его волю. Место захоронения поэтому сохраняется в строжайшей тайне. О нем знает очень ограниченный круг лиц.

После обеда побывали в Центре искусств, подобном тому, какой видели в Атланте. Пояснения делал некий Джим Кёрнс. По дороге он зачем-то предупредил нас:

— Только не говорите, что вы из госдепа.

— Мы из Советского Союза.

— Я понимаю. Но не говорите, что вы являетесь гостями госдепартамента.

— До сих пор мы думали, что являемся гостями Соединенных Штатов Америки.

Осмотрели лишь театр, а в другие помещения нас попросту не пустили. Ткнулись было в одну дверь, но нас остановил престрогим взглядом внушительного вида господин явно из ведомства госбезопасности. Что уж он охраняет в Центре искусств, право, мы не знали.

Так и не поняв, зачем нас сюда привозили, мы погрузились в автомобиль и, не заезжая в гостиницу, поскольку вещи находились уже в багажнике, отправились в аэропорт.

В 17.30 вылетели и в 18.30 прилетели в Сан-Франциско, остановились в старенькой гостинице «Стюарт» в самом центре города.

ДЕНЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

21 октября 1969 года

В ста километрах от Сан-Франциско, в живописной местности расположено учебное заведение «Футхил» (что означает — «у подножия холма») на 5 тысяч человек для юношей и девушек окрестных селений с двухгодичным обучением. Для одних это подготовительные курсы перед поступлением в вуз, для других, не столь богатых, — приобретение какой-то специальности.

Любопытен архитектурный ансамбль колледжа, раскинувшегося на возвышенности. Тут не увидишь привычных многоэтажных корпусов. Каждый факультет имеет свое помещение, построенное либо в виде большой палатки, либо в виде чума или даже яранги, а то и просто в виде длинного и приземистого сарая с простой отделкой внутри. Во всяком случае, ни одно сооружение не похоже на какое-нибудь другое.

Встретил нас превысоченный мужчина с мягкими, вкрадчивыми манерами. Он назвался Николаем Ивановичем Ракитянским, ведущим, как потом выяснилось, общественные дисциплины. Под конец нашего пребывания в колледже он показал свою библиотеку, русский раздел которой представлен сочинениями барона Врангеля, генералов Краснова, Деникина, а также Льва Троцкого и его единомышленников, в последнее время — фолиантами мадам Аллилуевой.

С нами был любезен, с мистером Крымгольдом — напротив. Не знаю почему, но эти земляки, в прошлом и в настоящем соотечественники, тотчас же не понравились друг другу и не могли этого скрыть от нас. Ракитянский родом тоже с Украины и, казалось, должен был бы обрадоваться, встретившись с бывшим одесситом. Нет же! Воспользовавшись тем, что Борис Иосифович побежал куда-то «телефонировать», быстро повел нас на завтрак и явно хотел посидеть за столом без на-

шего сопровождающего. Последний, однако, отыскал, где мы сидели, и на лице его отпечатался крайний гнев, помноженный на столь же крайнюю обиду. Право, нам даже жалко стало бедного Крымгольда. Ему чуть было не пришлось харчиться за счет своего кармана, к чему он был решительным образом не расположен.

После завтрака встретились со студентами. Сперва на одном, а затем, сверх программы, на другом факультете.

Рассказали о себе, о своей работе, о цели нашей поездки в США и о многом другом. Григорий Бакланов — особенно подробно о Литературном институте имени А. М. Горького, где ведет семинар молодых прозаиков. Слушателей наших страшно удивил сам факт существования такого своеобразного высшего учебного заведения в СССР. Затем нам стали задавать вопросы. Мы охотно отвечали — так, как делали всюду. Причем много шутили, что особенно нравилось студентам и вносило беспокойство в стан их воспитателей. Эти, видя, что встреча складывается для нас слишком уж благоприятно, выпустили на сцену юнца, явно подготовленного заранее и настроенного на иной лад по отношению к нам. Заглядывая в бумажку и путаясь в ее тексте, он все-таки пробормотал что-то. Николай Иванович Раки-тянский быстро и четко перевел вопрос студента на русский язык. Тот якобы спрашивает нас, почему во главе всех советских учреждений стоят исключительно коммунисты.

— Если вы, молодой человек, имеете в виду наше государство, то Коммунистическая партия у нас действительно является правящей, потому что она заслужила такую высокую честь своей неутомимой борьбой за народные интересы, за интересы трудящихся. Что касается советских учреждений, то их могут возглавлять и действительно возглавляют как коммунисты, так и беспартийные. Достаточно сказать, что две крупнейшие творческие организации — Союз писателей СССР и Союз писателей РСФСР — имеют своими главными руководителями беспартийных писателей — Константина Федина и Леонида Соболева.

Но молодой человек не унимался. Продолжал свой вопрос:

— Скажите, если бы вот вы были все трое беспартийными, пустили бы вас за границу?

— Скорее всего беспартийными вы бы нас тут не увидели.

— Вот видите! — торжествующе воскликнул студент. — Отчего же?

— Потому что у всех нас, ваших сегодняшних гостей, были веские основания стать коммунистами, мы ими стали и уж никак не могли предстать перед вами беспартийными. Но вы тут называли имена советских поэтов Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. Они беспартийные. И это не помешало им путешествовать чуть ли не по всему земному шару. В вашей стране они были много раз, мы же, коммунисты Бакланов и Алексеев, приехали к вам впервые. Что вы скажете теперь?

Молодой человек молчал. Ракитянский поспешил предоставить слово девушке, которая сидела в самом дальнем ряду и давно уж тянула руку, чтобы спросить нас о чем-то уж, видно, очень важном. И она спросила:

— Скажите, как вы относитесь к проблеме секса?

Поскольку вопрос был обращен непосредственно ко мне, то я и ответил примерно так:

— Милая девушка, если бы я был в вашем возрасте, то это было бы одно отношение к столь деликатной проблеме. Я же давно вышел из этого счастливого возраста, и названная вами проблема почему-то интересует меня все реже и реже. Говорю об этом не без горечи...

Последние мои слова были заглушены громким и сочным молодым смехом.

Шутили, смеялись еще долго, и чувствовалось, что с минуты на минуту начинаем все больше нравиться американским ребятам. Тогда-то наши хозяева и решили перевести нас в другое помещение, где успели собрать студентов типа того молодого паренька, вооруженного вопросничком. Тут мы подверглись политическим атакам более яростным. Однако, наспех и недостаточно искусно организованные, атаки эти без труда были отбиты нами. Кончилось же тем, что ребята, упрятав подалее свои шпаргалки, вышли проводить нас всем факультетом, с жадностью расспрашивали о Советской стране, о нашей молодежи и, прощаясь у машины, старались что-нибудь подарить на память. Какой-то бородастый и косматый юнец, по-видимому, из раскаявшихся

ся, вернувшихся, подобно блудному сыну, под родительскую опеку, но не успевший снять доспехов хиппи, сунул мне ремешок от своих часов, а от меня, совершенно счастливый, принял значок с надписью: «Москва».

Ракитянский уговаривал остаться и отужинать у него, но мы торопились в город: в кармане у нас лежали билеты на спектакль. Мы приобрели их в театральной кассе по соседству с гостиницей. О пьесе, названной автором «Волосы», а в рецензиях нередко упоминавшейся под названием «Пламенный танец любви», мы были уже наслышаны. Это произведение явно авангардистского толка и выражает скорее всего философию хиппи, если такая философия вообще существует. В Сан-Франциско, считавшемся столицей хиппи, спектакль «Волосы» непрерывно идет уже более года и с неизменным аншлагом. Зная это, мы без всяких надежд на успех подошли к окошечку кассы. И услышали то, что и ожидали:

— Билеты? На сегодняшнее представление? Что вы, господа? Мы продаем только на 31 декабря.

— Очень жаль, — сказали мы и собирались уже уходить, когда что-то заподозривший молодой администратор остановил нас: — Обождите. Вы откуда? Не русские ли?

— Да, мы из Советского Союза.

— Одну минуту. Прошу вас.

Он куда-то ушел и действительно через минуту появился снова — с тремя билетами.

— Жаль, что придется вам сидеть в разных местах. Если бы знать раньше...

Совершили мы эту покупку, не посоветовавшись с Крымгольдом, чем и вызвали его с трудом скрываемое неудовольствие. По всему чувствовалось, что Борис Иосифович не одобрял нашего выбора.

— Какой-то кошмар, хулиганство, — сказал о постановке. И в общем-то был прав: и кошмара, и хулиганства, особенно политического, в «Волосах» было предостаточно.

Трудно определить, к какому роду драматургии отнести это произведение. Музыкальная комедия, драма, памфлет, сатирическое обозрение? И то, и другое, и третье, и четвертое — все там наличествует. Еще утром, когда покупали билеты и возвращались к себе в гостиницу, видели, как возле здания театра, по прилегаю-

щим улицам и переулкам носятся, точно очумелые, какие-то девы с распущенными волосами и в штанах, заляпанных разноцветными заплатками как раз в тех местах, которым обычно надлежит подчеркивать женские прелести. За ними в одиночку и целыми стаями гонялись современные неандертальцы мужского пола и, настигнув, с дикими звериными криками, тут же на улице или в подъезде дома устраивали нечто вроде свального греха.

Мы и не подозревали, что это шла репетиция спектакля, который нам предстояло вечером увидеть.

Занавеса на сцене нет. Еще задолго до начала представления оно, собственно, уже начиналось, потому как все действующие лица были на помосте, либо раскачивались на длинных веревках, изображающих лианы в джунглях, проносясь где-то высоко над зрительным залом все с теми же первобытными звериными криками, либо прыгали по-обезьяньи с кресла на кресло в самом зрительном зале, либо сидели, поджавши ноги под себя, в проходах и паясничали перед публикой, медленно заполняющей театр.

Начало самого действия обозначается музыкой, которая, по-видимому, и организует развитие событий. Музыка играет непрерывно, то бравурная, то нежно-лирическая, то как бы изображающая кошачью любовь — так она отвратительна, — то патетическая даже. Люди то пляшут, то поют, то показывают моменты, каковые в цивилизованном обществе полагается укрывать стыдливо-осторожным словечком «интимный». Белые, черные, желтые — люди всех рас и возрастов. Мужчины, отталкивая друг друга, лезут к никому в отдельности не принадлежавшим женщинам, а точнее бы сказать — самкам.

Сцена оформлена под каменный, а может быть, еще более ранний век. Герои и героини спектакля делают все, что им заблагорассудится, кроме одного — они не делают никому зла. Постепенно начинаешь в этой кутерьме звуков и стремительных телодвижений, по большей части непристойных, различать идею произведения. Все явственнее проступает ее современный остросоциальный смысл и откровенно пацифистский характер. Герои, преимущественно, конечно, молодые люди, как бы говорят не говорят, а кричат кому-то: пойдите вы ко всем чертям с вашим хваленым образом жизни, со

всеми вашими войнами и знаменами, оставьте нас в покое: мы хотим быть такими, какими нас создали природа и бог.

По ходу действия идет откровенное глумление над статуей Свободы. Актеры переворачивают эту даму так и сяк, ставят вверх ногами либо, натянув на ее рога-тую голову звезднополосатый мешок, валят наземь, устраивают над ней кучу малу. Люди пещерного вроде бы века, но все время пользуются нынешней политической терминологией, собираются группами, сжигают на кострах призывные повестки. Впрочем, один из парней убоился, не уничтожил такой повестки. И вот уж через какое-то время появляется на сцене в форме солдата, который должен отправиться во Вьетнам. А в конце драмы его — после страшного где-то в отдалении взрыва — опять вносят на середину сцены, но только уже убитого. Вся труппа, то есть все действующие лица, окружают его и начинают петь что-то гневное, протестующее. Из всех голосов резко выделяется, а затем и вовсе остается в одиночестве мужской голос. Это поет над убитым другом парень, который уговаривал, но не мог уговорить товарища, чтобы он сжег повестку. Смысл песни все тот же: оставьте нас в покое, мы не хотим ваших порядков, ваших войн, мы хотим сбросить с себя все, чем вы, «добропорядочные» и «нормальные», гордитесь, даже одежду...

И тут происходит нечто совершенно уж неожиданное: все актеры и актрисы выстраиваются на авансцене и предстают перед зрителями совершенно обнаженными. И так стоят несколько мгновений при гробовой тишине зала. Затем раздается пронзительный свисток полицейского, его голос:

— Безобразие! Кто вам позволил! — и опять свисток, еще оглушительней.

Свет на миг гаснет, затем вспыхивает вновь: обнаженные люди уходят куда-то вглубь.

Посредине сцены остаются лишь убитый солдат и гигантская фигура полицейского.

Говорят, американские власти несколько раз пытались запретить спектакль, но не сделали этого до сих пор потому, что бояться гнева своей молодежи, и без того достаточно расpalенной.

22 октября 1969 года

В 9.30 медленно выбираемся из города на длинный мост через Сан-Францисский залив. Уже рассеянно — потому что успели налюбоваться — смотрим на вывески красивейших улиц, то стремительно убегающих вниз, то взбегающих на высокую гору. Американцы называют этот город «самым неамериканским», и, вероятно, они правы, если имеют в виду внешнюю сторону дела. Сан-Франциско в известной степени уникален и, пожалуй, самый красивый город из всех, какие мне доводилось видеть. Может быть, особую прелесть и оригинальность ему сообщает то, что состоит он из разных национальных районов: собственно американского, мексиканского, китайского, японского, русского, вносящих своеобразие не только в быт, но и в архитектуру.

Промелькнуло объявление: «Лекция: «За кого выходить замуж или на ком жениться»».

Длинный мост построен или начат строительством в начале 30-х годов. В памяти Крымгольда это связано с первыми годами его пребывания на калифорнийской земле: здесь, в Беркли, он окончил университет, в который мы сейчас и едем.

Борис Иосифович подготавливает к холодному душу, который там, наверное, ожидал нас, говорит что-то о «бывших», заключив при этом:

— Разочарованные коммунисты подобны отверженным любовникам. Они злы и отвратительны относительно партии, к которой еще вчера принадлежали и которая вышвырнула их вон из своих рядов. В Беркли такие есть, и им поручается самая грязная антисоветская работа. Так что не исключено...

— А мы не боимся.

— И все-таки противно, — сказал Крымгольд. Подумав, добавил: — Я, конечно, мини Сайрус Итон, но я такой же здравомыслящий капиталист.

Профессор, к которому нас привели, сухой, усталый, с недоверчивыми глазами и совсем еще не старый человек, вежливо, но сухо спросил:

— Что, собственно, вам нужно от меня, господа?

Такая встреча нас несколько смутила. Помолчав, я ответил:

— От вас — ничего. Мы и сами не знаем, зачем при-

вели нашу делегацию прежде всего к вам. Мы же хотели только познакомиться с университетом, в котором, как нам сказали, обучается 27 тысяч студентов. Побеседовать не со всеми, конечно, но хотя бы с сотней из них, также и с преподавателями.

— Я сожалею. Но преподаватели не смогут встретиться с вами.

Он даже не уточнил почему.

Около часа в сопровождении какой-то растерявшейся миссис бродили по территории университета, раскинувшего свои великолепные корпуса по лесистым холмам, пока не отыскиались две преподавательницы русского языка и русской литературы для завтрака с нами. Одна, пожилая, выписана недавно из Англии, из Ливерпуля, русская эмигрантка, ее зовут Надежда Даниловна Городецкая, вторая — американка, помоложе — Джоан Беланей. Позавтракав, они с радостью улетучились куда-то, а мы направились в редакцию студенческой газеты, чтобы дать интервью о нашем пребывании в Соединенных Штатах. Его брала у нас девушка, пухлощечкая голубоглазая коротышка — большая умница, как оказалось. Во время нашей с ней беседы впервые сильно поссорились с Крымгольдом. Произошло это так: девушка, являющаяся заместителем редактора газеты, спросила:

— Что вы скажете, мистер Алексеев, о нашем университете?

— Прекрасные дома, отличное место.

— А как вы нашли наших студентов?

— Мы их не видели. Как, впрочем, и преподавателей.

Тут мистер Крымгольд счел для себя необходимым вмешаться.

— Я не позволю так говорить! — закричал он, побагровев. — Вы сами не захотели встречаться со студентами!

На это пришлось сделать замечание:

— Интервью даю я, а не вы, мистер Крымгольд. И прошу не перебивать меня, пока я не сказал всего, что намерен сказать. Да, нам действительно предложили встречу с... двумя студентами из 27 тысяч, и мы действительно отказались. Вам нетрудно догадаться, почему мы это сделали.

— Я вас понимаю, — сказала девушка.

Крымгольд далее вел себя в высшей степени мужественно и благородно: здесь, в редакции беспокойной студенческой газеты, он выразил свое крайнее возмущение действиями руководителей университета, трусливо уклонившихся от встречи с тремя советскими литераторами. (Свое возмущение он передал и г-же Беренс, возглавлявшей «добровольческий корпус» в Сан-Франциско, когда мы вернулись в город.)

— Вы не удивляйтесь, что не увидели студентов. Беркли считается самым беспокойным местом, — сказала девушка. — Студенты с удовольствием встретились бы с вами, хотя нас учат относиться с презрением к советским людям, вообще к вашей стране.

Григорий Бакланов сказал на это:

— Конечно, страна, которая отдала свою судьбу в руки рабочих и крестьян, которая спасла мир от коричневой фашистской чумы, потеряв при этом двадцать миллионов лучших своих сынов и дочерей, страна, которая была наполовину сожжена и разрушена варварским нашествием западных гуннов, страна, которая в течение немногих лет восстановила порушенное и первой послала человека в космос, — такая страна, конечно же, заслуживает вашего презрения, потому что живет пока что чуточку беднее. Не правда ли?

Девушка грустно улыбнулась.

— Спасибо. Я хорошо вас поняла. До свиданья, — сказала она тихо.

Однако во дворе, когда мистер Крымгольд, все еще перекипавший благородным гневом, побежал звонить г-же Беренс, она вновь подошла к нам.

— Еще и еще раз спасибо. Вы на многое открыли мне глаза. Я непременно напишу о нашей беседе. Будьте счастливы!

Возвращались в Сан-Франциско молча.

Я сидел рядом с пригорюнившимся Крымгольдом, и мысли мои вертелись вокруг цифр, о которых только что узнал. Оказывается, один учебный год, то есть девять месяцев, стоит американскому студенту 3800 долларов. Это только за обучение. А там — еда, одежда, обувь, сумасшедшая квартирная плата. Что же это такое?! Кто же может получить образование в этой сверхбогатой стране? Десять лет назад цифра эта выглядела вдвое меньше, а через десять лет — уверяют знающие

люди — и она удвоится, то есть перешагнет за семь с половиной тысяч.

Сайрус Итон, конечно, совладеет и с этой цифрой, а вот мини-итоны, такие, скажем, как мистер Крым-гольд, не говоря уже о простом люде, будут долго и сосредоточенно скрести у себя в затылке.

Вот такие-то дела.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

23 октября 1969 года

В 9.00 выехали в Стэнфордский университет. В 10.30 были уже там. Встретил и беседовал с нами Ричард Скоукрост, писатель, действительный директор центра творческого мастерства — так, во всяком случае, звучит в переводе на русский его должность (думаю, что перевод неточен). С ним два сравнительно молодых литератора, один из них приехал в США на какой-то срок, уверяет, что «убежал от лондонской бюрократии». Я на это заметил:

— Лондонскую поменяли на американскую? Что ж, иногда это полезно.

— Нет, — быстро возразил англичанин. — Тут я полагаю полной свободой.

Ну конечно, какой еще ответ можно было ожидать от человека, приехавшего за океан «на ловлю счастья и чинов»?!

В 12.00, как обычно, завтрак. За столом распоряжался доктор Питер Странский, единственный среди наших хозяев русский, не знающий русского языка. Он молод, принадлежит, вероятно, к третьему поколению эмиграции, а потому полностью обамериканился. Все остальные — девушка, два преподавателя, белокурый и темноволосый, — очень хорошо говорят по-русски.

Мой сосед слева — блондин — преподает русскую литературу XIX века. За основу взята наша программа: Карамзин, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Толстой, Чехов. По правую руку — юная шотландка, приехала с таким же юным мужем в США, чтобы «поработать на жизнь», а потом вернуться в свой Эдинбург, о котором сильно скучают.

Потом некоторое время гуляли по широкому двору, заходили в столовые. На улице и тут, в столовой, слышится много собак, которых мы бы назвали бездомны-

ми. Но собаки, судя по всему, не считают себя такими. Им явно по душе студенческая вольница. Псы, не церемонясь, ходят от столика к столику, харчатся и, будучи всюду привечаемы, чувствуют себя великолепно — отчего бы им быть недовольными своей судьбой?!

Не можем сказать, однако, что так же вот непринужденно чувствовал и вел себя профессор Николай Пашин, на семинар которого мы были приглашены. Видимо, он долго и тщательно готовился к нашему посещению и под конец так измаялся душой, что еле стоял на ногах, когда мы вошли в его класс.

Уважаемый профессор преподает русский язык да еще современную русскую литературу. Напряженным, дрожащим голосом он сообщил нам о том, что мы имеем редкое «счастье» присутствовать на семинаре по сочинениям Солженицына. К его удивлению, мы не были похожи на людей, только что осчастливленных. Впрочем, и великой печали тоже нельзя было отыскать на наших лицах, как не было на них и хотя бы малого удивления: ворон к ворону летит, один эмигрант, однажды поправший интересы своей родины, спешит подать руку другому эмигранту, пускай пока что и внутреннему. Жалко разве что студентов, они еще и вправду могут подумать, что всерьез изучают нашу литературу. Лишь это обстоятельство заставило нас подавить в себе естественное чувство брезгливости и некоторое время оставаться в обществе Пашина. Как-никак, но мы все-таки успели рассказать немного о настоящей советской литературе и о советских писателях, составляющих ее гордость и славу. И если студенты потом долго не отпускали нас, то надо полагать, что господин «русский профессор» не окончательно заморочил им головы.

В 15.00 — посещение знаменитой библиотеки имени Гувера. Объяснения делал Карол Майчел, заведующий восточноевропейским собранием литературы. Похоже, род его занятий был схож с тем, чем занимается в Лос-Анджелесе господин Урбан, но Майчел делал свое дело тоньше. Первой книгой, которая легла перед нами, был альбом, посвященный переговорам Риббентропа со Сталиным и Молотовым в 1939 году. Майчел никак не комментировал его, а просто показал. Затем познакомил нас с подлинными дневниками Геббельса, с юбилейным, по случаю пятидесятилетия Гитлера, изданием его фашистской библии «Майн кампф» в переплете из

телячьей кожи самой высокой выделки. Увидели мы там, конечно, и сочинения Льва... Нет, не Толстого, а Троцкого. Увидели и еще много такого, из чего вовсе уж нетрудно было сделать вывод: антисоветская пропаганда, поставленная на самую широкую ногу, — вот чем знаменита прежде всего эта «знаменитая» библиотека имени Гувера.

С этим убеждением мы и расстались с ней, а в пятом часу дня вернулись в Сан-Франциско.

В 17.30 — большой прием, устроенный в нашу честь Уолтером Линдером, миллионером, президентом компании «Линдер». Присутствовали мэр города, писатели, артисты, музыканты, художники, ученые, один из них — даже лауреат Нобелевской премии. Прием проходил на древнем, сохранившемся от XVIII века, пароме, переоборудованном Линдером и превращенном им в свою контору, в свой оффис, и одновременно в подобие клуба. Было ясно, что Линдер хотел бы стать, а может быть, уже и стал покровителем искусств в этом крупнейшем городе на берегу Тихого океана. Хозяйка, его жена и секретари — две совершенно очаровательные девушки — встречали гостей при входе на баржу и провожали их к самому Линдеру, не старому, но уже и далеко не молодому человеку. В толкотне, в необходимости бесконечно знакомиться то с одним, то с другим, в обязательности произношения ни к чему не обязывающих слов быстро устаешь и тайно подумываешь о том, поскорее бы все это окончилось.

Не покидает мысль, что все это происходит черт знает как далеко от дома, и вот в такую-то минуту видишь глаза, которые пристально смотрят на тебя с очевидным недоумением: откуда он? не ошибка ли то? Да, да, мы вдруг увидели Юлию Ипполитовну Солнцеву и режиссера Михалкова-Кончаловского и, на какое-то время забыв, что мы тут только гости и должны быть предоставлены в полное распоряжение хозяев, набросились друг на друга с расспросами. И было удивительно хорошо, легко и просто на сердце!

В 21 час отправились на концерт оперных звезд. Певцы и певицы понравились. Балет же был откровенно плох. Думается, не он и даже не певцы интересовали богатую публику, сидевшую за сервированными столиками, а скорее всего — парад красавиц, демонстрирующих украшенные жемчугом и бриллиантами и немыс-

ливых мод платья. Диктор, захлебываясь от восторга, при выходе на длинный, через весь зал помост очередной феи, торжественно возглашал: на такой-то мисс или миссис сто миллионов долларов. Или двести! Или пятьсот!

Его слова всякий раз покрывались таким же восторженным криком присутствующих.

В тот же вечер хиппи осаждали штаб предстоящего кинофестиваля. Узнав, что на нем, на фестивале, будет демонстрироваться какой-то фильм, прославляющий американскую военщину, молодые люди забросали мостовую перед помянутым штабом лепешками. Журналисты подсчитали: 500 штук лепешек...

Днем, еще по дороге в Сан-Франциско, мистер Крымгольд, просвещая одного меня (спутники мои дремали на заднем сиденье), вновь вернулся к первому советскому спутнику. До спутника, говорил он, ученые США получали мизерную зарплату и тогда поддерживали студентов и вообще молодежь в их бунте, после спутника некоторые из них стали получать до 30 тысяч долларов в год и, естественно, сделались ярыми реакционерами.

Выходит, по Крымгольду, американские ученые утратили свои прогрессивные качества по вине... советского «Спутника». Бедный спутник!

ДЕНЬ СЕМНАДЦАТЫЙ

24 октября 1969 года

Утром Крымгольд делает нам поразительное заявление:

— Звонили из Нью-Йорка. Корреспондент журнала «Америка» хотел бы взять у вас интервью, но предупредил при этом, что не обязательно опубликует его в своем журнале. Согласны ли вы дать ему это интервью?

Пришлось ответить в таком же духе.

— Сообщите уважаемому корреспонденту, — сказал я, — что в принципе мы согласны дать ему интервью, но не обязательно дадим его...

Крымгольд некоторое время молчал, а потом, раскусив, что к чему, радостно захохотал.

На том дело и кончилось.

День свободный. Ходим по городу. Любуемся его воистину великолепным видом. Вечером собрались в кино. Навстречу — пожилой помятый господин. На груди и на спине плакат. Надпись гласит:

«Скоро на землю сойдет Христос. На днях Россия нападет на Турцию. Выбирайте себе нового бога, или вы погибнете!»

В 20.00 смотрели фильм под названием «Легкая прогулка». Его сюжет: двое молодых людей, порвав с законами своей страны (имеются в виду США), покупают два мотоцикла какой-то странной конструкции — переднее колесо в два раза больше заднего — и, беспечно напевая веселую песенку, отправляются в путешествие по дорогам Америки. Им нет никакого дела до ее проблем. Они — птицы вольные. И только на привалах, во сне, встают перед ними как страшные, трагические видения картины реальной жизни — с войнами, проституцией, бандитизмом, наркоманами, расовым устройством. Но, проснувшись и стряхнув с себя все это, как наваждение, они мчатся дальше все с той же веселой песенкой.

Кончается их одиссея, однако, весьма печально. Легкая прогулка обрывается на асфальтовой ленте весьма буднично и оттого еще более ужасающе.

Беспечных путешественников увидели из своей машины два здоровенных полисмена.

— Кто это? — спрашивает один.

— А, это те парни, которые не хотят жить по закону.

— Ах, вон оно как, — полицейский вскидывает автомат, дает очередь по переднему мотоциклу. Его напарник — по заднему.

Полицейские мчатся дальше, «вольные птицы» в луже крови остаются на мостовой. Все.

Возвращаясь в гостиницу, заглянули на сан-францисский Бродвей, изобилующий увеселительными заведениями. Особенно много тут «топлесов» — кафетериев, где совершенно обнаженные женщины в возрасте от шестнадцати до сорока лет танцуют на ярко освещенном круге перед мужчинами, лениво потягивающими виски или джин через соломинку. У входа беснуются парни-зазывалы. Они хватают прохожих за руку, горячо убеждают:

— Заходите к нам. У нас совершенно, ну совсем-совсем голые!..

Одну из танцовщиц, судя по виду испанку или креолку, вышедшую на улицу в перерыв, с бесконечно усталыми и отрешенными глазами, спросили, зачем она согласилась на такое. Девушка пожала плечами. Сказала тусклым, истертым голосом:

— На улице было бы еще хуже.

Возвращались в гостиницу на такси. Навстречу с сумасшедшей скоростью неслись машины. Спрашиваем водителя:

— Куда это все так торопятся?

— Они боятся опоздать на свои похороны, — грустно пошутил тот.

В 24 часа ложусь спать.

Завтра — Лас-Вегас. По газетам знаем: советские боксеры уже там.

ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

25 октября 1969 года

8.30. Едем в аэропорт. На одном участке автомагистрали № 101 — дороги тут нумерованы — идет ремонт. Сейчас же вывешивается плакат — обращение к проезжающим:

«Благодарим вас за терпение».

В аэропорту, в ожидании посадки в самолет, выслушиваем очередную «сноску» к автобиографии Крымгольда, на этот раз целиком посвященную еврейскому вопросу. То была печальная повесть о несбывшихся юных его грезах в пору увлечения идеями сионизма.

Крымгольд ничего не говорил об агрессивной политике нынешних правителей Израиля, но его «сноска» могла бы кое на что указать и Голде Меир, и Моше Даяну, и многим их вдохновителям здесь, в Соединенных Штатах Америки.

Чуть более часа полета над рыжими пустынными горами Невады — и вот он, Лас-Вегас, город необузданного бизнеса в необузданном мире человеческих страстей и слабостей, город, где прожигают жизнь бо-

гатые люди со всех частей света, город рулетки и всевозможных послаблений по части нравственности. По этой, видать, причине он возник в бесплодной пустыне, подальше от людских глаз, а значит, и от суда мирского. К тому же тут можно, хотя бы на время, забыться в игорном и ином угаре, убежать от действительности, которая принимает все более угрожающий характер, от всех этих негритянских и студенческих волнений, от кошмара вьетнамской войны, от семейной неустроенности в собственном доме, от все новых и новых проблем, волна за волною накатывающихся на страну в то время, когда никто не знает, как разрешить хотя бы одну из них.

При входе в здание аэропорта нас встречает уже знакомое уведомление автомобильной компании «Герц»: «Перед вами не просто машина. Это вся компания «Герц» встречает вас и будет сопровождать всюду до последней минуты вашего пребывания в этом городе».

Останавливаемся в отеле «Старвус», недавно еще именовавшемся «величайшим развлекательным местом мира». Но теперь он уже не величайший, ибо таковым оказался выросший недавно неподалеку на той же улице «Замок Цезаря».

Я сказал: «на той же улице». Но на другой он вырасти и не мог, поскольку Лас-Вегас — это одна длинная улица, начинающаяся прямо от аэропорта и обрывающаяся где-то далеко в пустыне.

«Замок Цезаря», в котором должна была проходить встреча наших и американских боксеров, недолго сохранит свое лидерство, скоро и он уступит место другому чудовищу, переваривающему в своем темном чреве миллиарды долларов. Редко, чтобы люди, приехавшие сюда, становились миллионерами. Однако совсем не редкость, когда миллионеры даже с приставкой «мульти» убирались отсюда без единого цента в кармане. Промотавшихся мы видели в здании аэропорта, где тоже установлена рулетка, словно бы для того, чтобы неудачный игрок опустил последнюю монету и в последний раз попытал счастья.

Но счастье по большей части поворачивалось к таким спиной; проглотив монету, равнодушная машина не выплевывала взамен ничего. И тогда человек падал лицом вниз на кресло в зале ожидания и погружался в тяжкий, точно с глубокого похмелья, сон — все с той

же единственной целью: удрать от невеселой действительности. Его не может утешить словесная хитрость, придуманная руководителями этого сумасшедшего бизнеса. О проигравшем в Лас-Вегасе говорят: он выиграл для нашего отеля столько-то миллионов!

При входе в свою гостиницу, в ее огромном вестибюле, мы увидели тысячи машин, похожих на токарные станки на большом заводе. И так же, как на заводе, у каждого станка — человек, женщина или мужчина, озабоченно и ритмично дергающий за железный рычажок. Но то не станок, а рулетка, и стоящий возле озабоченный и вспотевший от усердия человек — не рабочий, а игрок, к тому же игрок азартный. Для него не существует ни дня, ни вечера, ни ночи, ни утра. Он ничего этого не замечает. Он играет. Играет круглые сутки. Играет в надежде выиграть, но проигрывает. И все-таки играет и играет. Станки — рулетки всевозможнейших конструкций. Одни — для бедняков — проглатывают пяти- и десятицентовые монеты, другие — для богатых — десяти- и стодолларовые ассигнации.

Я не удержался от искушения и с ходу сунул в щель десять центов. Дернул рычажок и отошел сконфуженный, ибо неблагодарная машина не ответила мне взаимностью. Зато Бакланов оказался более удачливым. Он опустил двадцать центов одной монетой и взамен получил двадцать же центов, но уже четырьмя монетами.

Вполне удовлетворившись результатом, мы отправились по своим номерам, а часом позже подъехали к «Замку Цезаря». При входе в отель — большой, хотя и далеко не красочный плакат:

«Привет, боксерская команда СССР!»

В вестибюле опять бесконечные ряды рулеток. Глядя на них, подумал: «Имя Цезаря дано гостинице, видно, не без умысла. Заколебавшегося перед рулеткой толстосума могут подбодрить известные слова римского полководца и завоевателя: «Пришел, увидел, победил».

Не знаю, имелись ли в виду советские боксеры, но они действительно пришли, увидели и победили. Со скромным счетом, правда, но победили. Впрочем, о скромности этой больше позаботились американские судьи, чем сами наши спортсмены. Но об этом скажу ниже.

Пока что Крымгольд наводит справки о том, где находятся пригласительные билеты для нас, но его усилия ни к чему не привели и не могли привести, поскольку таких билетов вообще не было.

Узнав, кто мы и откуда, администратор отеля провел нас в зал и без пригласительных билетов. При этом усадил на очень удобных местах, за столиком, в трех метрах от ринга. Позади расположилась американская пресса.

Ринг был установлен прямо в гостиничном ресторане, посредине зала, освобожденного от столиков. Билеты на матч не продавались. На состязание были приглашены лишь самые знатные люди Лас-Вегаса и его высокие гости, в число которых мы, конечно, не входили, но зато входил советский посол Анатолий Федорович Добрынин с несколькими своими сотрудниками. Советского посла зал приветствовал стоя и долгими аплодисментами — нас это приятно удивило.

Перечисляя знаменитостей, организатор матча упорно не называл имя человека, к которому давно уже было приковано внимание зрителей. От нас этот человек находился всего лишь в двух шагах, и мы узнали его сразу. Теперь он сидел перед монитором телевизора и готовился вести репортаж боя. Имя этого человека — Кассиус Клей, или Мухамед Али, разжалованный чемпион мира в тяжелой категории профессионального бокса. Сам он вроде бы и не замечал, что его не хотят назвать среди важных гостей, но из зала уже неслись требовательные возгласы: «Мухамед Али! Кассиус Клей! Почему не называете его?!»

И распорядитель покорился:

— Да, да. Мухамед Али. Но, господа, он не собирается выходить на ринг. Он всего лишь репортер на этой встрече.

На первый раунд спортсмены выходили одни. Перед вторым же, уже малость утомленные боем, они нуждались во вдохновительницах, каковые и появлялись на ринге в образе пышногрудых красавиц по имени Хейзл и Марджи. Красавицы, разумеется, были обнажены настолько, насколько это было возможно. Их тонкие талии, контрастирующие с упругими выпуклостями, и божественные улыбки, да еще, конечно, такие же боже-

ственные ножки должны были, по замыслу хозяев отеля, влить новые силы в современных Цезарей, то есть боксеров.

Однако спортсменам было явно не до красавиц. Они сидели по своим углам, расслабив тело, делая глубокие вдохи и выдохи, к тому же были прикрыты тренерами, усиленно размахивающими над ними полотенцами. Но публике, не занятой боем и приехавшей в основном исключительно ради развлечений, «обнаженные» нравились. Скорее всего для нее-то они и выплывали грациозно на ринг.

Едва первая пара боксеров появилась на арене, я почувствовал, что к моему телу подключили электрический ток. Охваченный знакомой всем болельщикам мира дрожью, я не мог сидеть на месте, меня словно бы подбрасывало. Вижу, что такое же творится и с Баклановым. А выступивший первым наш Кукумов проигрывал. И в конце концов действительно проиграл. В американских рядах ликование, а в наших, малочисленных, уныние: такое ли начало мы ожидали?!

Но вот на ринг вышел Виктор Запорожец — и победа, победа уверенная. Затем Александр Мельников — и опять победа! Валерий Соколов — победа! 3 : 1 — ведут наши! Чувствую, что в сердце моем поселяется скверненькое чувство, имя которому — самоуверенность. И я тотчас же был наказан: Николай Хромов, вышедший на ринг пятым, тоже вроде бы выиграл бой, но настолько неубедительно, что ему засчитали проигрыш. 3 : 2 — это, братцы мои, счет скользкий и далеко не победительный, если иметь в виду, что впереди еще шесть боев, и не с кем-нибудь, а с американцами, и не где-нибудь, а в самой Америке.

Червь сомнения хоть и вползал в наши души, но был сразу же раздавлен блестящим выступлением нашего красавца боксера Валерия Фролова.

Проигрыш Абдрашида Абдрахамова был огорчителен: парень впервые был включен в нашу сборную, и как же ему хотелось выиграть! Вот это сверхжелание выиграть во что бы то ни стало, думается, и обрекло его заведомо на поражение. Он начал бой слишком уж горячо и к началу третьего раунда выдохся окончательно и еле удержался на ногах до последнего гонга. Вечером, за ужином, который был дан в честь наших боксеров владельцем отеля, Абдрашид сидел как уби-

тый и не притрагивался к еде, хотя товарищи и подбадривали его всячески.

Счет 4 : 3, однако ж, весьма жидок, и потому мы, забыв о приличии, заорали во всю глотку, когда на ринг вышел Трегубов:

— Валерий! Не подкачай!

Два Валерия — Соколов и Фролов — выиграли, отчего бы не выиграть и третьему?! И он выиграл!

Ну а насчет Владимира Тарасенкова у нас вообще не было никаких сомнений. Этот непременно должен был победить, и он победил, хотя победа была присуждена не ему, а Джонни Балдвину. Решение судей было столь вопиюще несправедливым, что зал долго и возмущенно освистывал их. За нашей же спиной разгорелась подлинная баталия. Какой-то горячий господин заметил пожилому и, видать, знающему толк в боксе журналисту:

— Как вам не стыдно так откровенно болеть за русских? Какой же вы американец?!

В ответ он получил звончайшую словесную пощечину:

— Ваша позиция вонючая. Я болею за спорт. И если русские сильнее, я говорю: они сильнее. И считаю, что так и должен поступать каждый порядочный американец.

Нам же было не до дискуссии двух американцев. Нервы наши были натянуты до предела, когда на ринг вышел Владимир Бабарика. Однако он победил своего противника легко и уверенно.

Драматически сложилась встреча тяжеловесов — нашего Александра Васюшкина и техасца Юма Элдера. Преогромный детина, со свирепо выпученными глазами, готовясь к бою, этот Элдер долго утюжил и охаживал воздух позади нас своими мощными, увеличенными боксерской перчаткой до невероятной степени ручищами. Думалось, он в первую же минуту сокрушит нашего молодого и тонковатого на вид спортсмена. Поначалу встреча складывалась в пользу американца. И все-таки Васюшкин был молодец, мужественно держался и удержался до третьего раунда, когда сам пошел в решительную атаку. Монолитная скала — американец на виду у потрясенной и еще как бы не верящей своим глазам публики начал быстро превращаться в бесформенную глыбу глины. Движения его рук и ног потеряли

упругость, он все чаще наваливался на Васюшкина, повисал на нем, отдыхая, а тот, словно обретя второе дыхание, наносил удар за ударом, и один мощнее другого. Замерев, американские болельщики ждали самого страшного и, казалось, неотвратимого: еще мгновение — и их любимец рухнет в нокауте. Однако этого мгновения и не хватило Васюшкину, чтобы поставить последнюю и недвусмысленную точку: прозвучал спасительный для Элдера гонг.

Все были решительным образом и абсолютно уверены, что судья на ринге подымет руку нашего Александра. И он, собрав бумажки от боковых судей, недоуменно пожав плечами, поднял руку. То была рука Юма Элдера.

Пронзительным ревом и свистом возмущенной публики закончился этот матч.

Закончился все-таки в нашу пользу: 6 : 5!

Мы вернулись в свой отель. В его вестибюле работала рулетка. Возле каждой стояли все те же люди. Они не знали, что было во дворе: день, ночь, утро или вечер.

Во дворе была глухая полночь.

ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

26 октября 1969 года

В 7.50 вылетели в Солт-Лейк-Сити (название города в штате Юта произошло от названия соленого озера в пустыне, оставшегося от моря, бывшего тут миллионы лет назад). Внизу по пустыне там и сям разбросаны особняки богатых людей. Спрашиваю у Крымгольда (в самолете он сидит, как всегда, рядом со мной, потому что один я еще спокойно и терпеливо выслушиваю его «сноски»), спрашиваю его, какая нужда заставляет миллионеров поселяться так далеко от городов да еще в бесплодной, одним своим видом навевающей уныние пустыне. Отвечает: тут чище воздух — это раз; мода — это два. О третьей, главной, причине не говорит, но она нам хорошо известна: жизнь в большом городе для состоятельных людей стала небезопасной.

На голой, безотрадной местности возник и Солт-Лейк-Сити, город, в который мы только что прилетели. Его основали здесь 125 лет назад изгнанные отовсюду,

в том числе из Нью-Йорка, мормоны, особая религиозная секта, исповедующая, как мы уже отмечали, раннее христианство, — так, во всяком случае, говорят ее нынешние апостолы. Апостолы в прямом смысле, именно так называют мормоны двенадцать своих джентльменов, через которых нынешний пророк, вроде мормонского бога, управляет всей сектой.

Мормоны весьма настырны по части распространения своего верования. Встретивший нас в аэропорту старый мормон Россел рассказывал, что через каждые два года они посылают в самые разные концы света своих молодых миссионеров сроком на два года.

— Туда уезжают юноши, возвращаются настоящие мужчины, — с гордостью заключил он.

Что разумел Россел, говоря так, нам с первых минут встречи понять было трудно.

При выезде с аэропорта промелькнула надпись, составленная в духе одесситов:

«Если Макс сказал, что машина будет вас ждать, она таки будет вас ждать».

Въезжаем в город. Везет нас на своем автомобиле Россел, по пути объясняет, замедляя ход:

— Это — река Иордан. Она впадает в Мертвое море. Все как в Иерусалиме.

Слева — нечто вроде памятника с изображением улья, облепленного пчелами. Это символ штата Юта, самого трудолюбивого в США, как уверяет наш гид. И ему можно поверить: за каких-нибудь сто лет в голой пустыне возникла процветающая страна. Лозунг мормонов: работать, учиться, самоусовершенствоваться. Так завещали первый их пророк Джозеф Смит (убит противниками мормонской веры под Нью-Йорком) и второй пророк Бригхан Янг — основатель Солт-Лейк-Сити (в центре города возвышается памятник ему).

После Бригхана Янга было еще девять пророков. Сейчас — это Девид Ол-Маккей. Нынешнему пророку 97 лет. Правит через трех своих помощников и, как уже сказано, через 12 апостолов (портреты всех этих небожителей можно увидеть всюду в Солт-Лейк-Сити).

Гостиница, в которой нас разместили, является лучшей в городе и принадлежит мормонам, как, впрочем, все лучшее и богатое здесь. Она является одновременно и резиденцией Дэвида Ол-Маккея. Странное чувство охватило нас, когда мы узнали о такой важной детали.

Жить под одной крышей чуть ли не с новым Иисусом Христом — что-нибудь да значит! Не каждому выпадает такое счастье! Мормонский пророк — проповедник и божье воплощение на земле.

Мормоны, между прочим, считают, что их предки — выходцы из Палестины. Они появились в Америке 3200 лет тому назад, и индейцы, которых увидел впервые Колумб, — это не кто иные, как потомки древних мормонов. Авторы такой версии не смущает то обстоятельство, что версия эта не подтверждается никакими другими источниками и что нынешние мормоны даже отдаленно не напоминают индейцев, зато являются живым воплощением добропорядочных тори (консерваторов) и по внешнему своему облику, и по умонастроению. Как бы там ни было, а мормоны несокрушимо убеждены, что не Колумб открыл Америку, а они, и никто не в силах лишить их этой дополнительной гордости.

До 3 часов дня отдыхали. В 3 часа мистер Россел передал нас на попечение другого благочестивого по имени Андрей Константинович Анастасион — Анастасьев, как нетрудно было догадаться. Мы не очень удивились, узнав, что он тоже из Одессы, не удивились бы и тому, если бы наши южные соотечественники вслед за мормонами приписали бы себе честь и славу открытия Нового Света: так много их в США! Андрей Константинович Анастасион — будем уж именовать его так, как ему самому больше нравится, — приехал из Одессы в 1914 году и по какому-то наитию или по указанию божьего перста отыскал для себя веру, которая единственно отвечала складу его души и внутреннему убеждению. Он сделался не просто мормоном, а яростным проповедником, защитником и пропагандистом этой секты¹, и потому-то мы сразу и оказались под его покровительством.

В сопровождении старого одессита-мормона осмотрели величественный храм, который строился сорок лет, площадь вокруг храма, просветительный центр новейшей архитектуры, слушали органную музыку. Во дворе увидели памятник, единственный, пожалуй, в мире. На вершине обелиска — чайка. По преданию, эта птица

¹ По всей вероятности, он и меня решил обратить в свою веру, поскольку шлет и шлет по моему московскому адресу письма и мормонскую литературу. — М. А.

спасла от саранчи урожай первых мормонских поселенцев, а стало быть, и самих пионеров.

Узнаем от Анастасиона, что мормоны не курят, не пьют не только спиртного, но и кофе, чая. Трудно сказать, насколько точны приведенные им данные, но он уверял с полнейшей убежденностью, что у мормонов на 65 процентов меньше заболеваний раком, на 85 меньше больных нефритом, на 18 процентов понижена смертность вообще. Мормоны называют свою религию **практической** и уверяют, что, однажды став мормоном, ты уже останешься им навеки, ибо никогда не разочаруешься.

Мормоны женятся и клянутся в супружеской верности не до гробовой доски, как это делается у православных христиан, а на веки вечные, поскольку, по убеждению мормонов, человек бессмертен.

В Солт-Лейк-Сити мы не видели пока что хиппи. Город тих, степенен.

Религиозных обрядов у мормонов нет. В церкви не происходит молений, там читают лишь проповеди. Это скорее просветительное учреждение вроде клуба.

Весь этот день нас усиленно заверяли, что мормоны — самые бескорыстные люди на свете, что не помешало им сколотить немалые состояния. Мы уже говорили, что все или почти все самые большие и дорогие сооружения в городе принадлежат им. Между тем десятую часть своего дохода мормон обязан отдать в пользу общины.

— Есть у тебя один доллар, десять центов отдай секте. Есть один миллион, десять тысяч долларов — общине. И так далее, — поясняет Анастасьев, то бишь Анастасион. Он же сообщает нам, что и по моральным своим «показателям» мормоны стоят гораздо выше всех других американцев. И в качестве примера указывает на то, что если в среднем по стране на каждые два бракосочетания приходится один развод, то у мормонов это выражается в цифрах так: 18 : 1.

Вечером были в гостях в одной мормонской семье. Там впервые познакомились с живыми апостолами, по просьбе которых мы, как могли, спели «Дубинушку». Апостолы охотно подпевали: «Эй, ухнем!»

Вроде бы все «о'кэй», все хорошо. Милые люди, добродетельна их вера, но именно в Солт-Лейк-Сити мы особенно остро почувствовали давление некоего прессы,

стеснявшего грудь. Ни на один час, даже ни на одну минуту нас не оставили без сопровождающего, чтобы хоть немного осмотреться, пройтись по улицам города, заглянуть туда, куда хотелось, удовлетворить естественное чувство простого любопытства. И день показался необыкновенно длинным и каким-то занудливым. А впереди еще один, и, уверен, такой же.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЫЙ

27 октября 1969 года

Утром были в редакции журнала «Эра» (эра усовершенствования). Это вроде центрального органа мормонов. Он переводится на множество иностранных языков. Беседу с нами вел г-н Тодт, журналист, бывший корреспондент агентства ЮПИ, объездивший весь свет и наконец-то отыскавший тепленькое местечко под сенью мормонских знамен. Рассказав о своем издании, он вдруг спросил:

— Нельзя ли распространять «Эру» в Советском Союзе?

— В нашей стране, — сказал я, — церковь отделена от государства. Ваш журнал религиозный. Очевидно, вам с вашим предложением следовало бы обратиться к патриарху всея Руси и спросить его, согласен ли он распространять мормонскую веру среди своей паствы. Или войти с таким предложением: вы будете распространять у нас журнал «Эра», а мы, в порядке взаимобмена, в Солт-Лейк-Сити, скажем, журнал «Коммунист»? Как вы на это?

На «это» господин Тодт не успел отреагировать. В дело вступил мистер Россел, который внимательно следил за беседой, и, когда она, беседа, принимала нежелательный, с его точки зрения, оборот, он счел необходимым вмешаться и дать ей иной ход.

— Господа, не хотите ли познакомиться с некоторыми номерами нашего журнала? — спросил он.

Мы ответили согласием, но попросили показать нам и тот номер, который, как нам сообщили, целиком посвящен нашей Советской стране.

— Мы его пришлем вам почтой, — поспешил заверить нас Тодт.

До посещения типографии издательства «Дезерт» («Пустыня»), намеченного программой, оставалось еще

какое-то время, мы могли бы употребить его на осмотр города, но Россел был неотлучен. Чуть ли не силой за-тащил нас в магазин сувениров, купили там какие-то безделушки и отправились в типографию, где познакомились с новейшим полиграфическим оборудованием.

В 5.30 пополудни с великим удовольствием покинули мормонскую столицу и выехали в аэропорт, чтобы вновь пересечь всю страну и опуститься далеко на северо-востоке, в Бостоне.

В Бостоне остановились по соседству со знаменитым Гарвардским университетом, в старенькой и более чем скромной по американским стандартам гостинице «Шератон Командор», сразу же улеглись спать.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

28 октября 1969 года

Утром на какой-то узкой улочке, в крошечном старинном особнячке обсуждали с г-жой Лаурой Бернард программу нашего пребывания в Бостоне. В другой комнате нас уже ожидал писатель Джон Апдайк, чтобы посадить в свой автомобиль и увезти к себе домой, в маленький городок Ипсвич, что в 25 милях от Бостона. Своим испуганным видом г-жа Бернард напомнила нам миссис Онофрио, и мы были рады, когда переговоры закончились и можно было отправляться в путь.

Джон Апдайк хорошо известен советским читателям по повестям «Ферма», «Кентавр» и сборнику рассказов. Он бывал в нашей стране и теперь встречал у себя дома вторую делегацию советских писателей (прежде у него гостили Виктор Розов и Даниил Гранин). У него и его жены, еще весьма молодых, уже четверо детей: два сына и две дочери. Мальчишки, нестриженные, одеты, как и их отец, с той степенью небрежности, которая должна была подчеркнуть демократичность и в их обращении друг с другом, и вообще в семье, во всем доме. Узнав о том, что мои дочери собирают пластинки, они сейчас же отыскиали в стопке одну с их любимой песенкой и, расписавшись на футлярчике, подарили ее им. Один из мальчиков нарисовал знак мира — ракету, заключенную в кольцо.

После обеда выезжали на берег Атлантического океана. Долго стояли на пронизывающем ветру, который

гнал из далекой дали высокие волны. Мы глядели на восток: где-то там, за этим свинцово-серым океаном, за морями, за долами, лежит наша земля, там ждут нас...

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ

29 октября 1969 года

День отдыха. Говорили, что покажут наши фильмы студентам, но еще накануне выяснилось, что это сделать нельзя. Мы даже не спрашивали — почему: привыкли. Больше того, мы обрадовались — выпала возможность отдохнуть, перевести дух и оглянуться вокруг себя.

Пишу эти строки, а за окном знакомый уже нам вой полицейских машин: как только американцы терпят его?!

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ

30 октября 1969 года

Утро тоже было свободным. Отдыхали, бродили по городу. Бостон резко отличается от других американских городов. Его будто бы в какие-то давние времена взяли целехоньким и перекинули через океан с Британских островов — настолько он английский.

В Бостоне, в числе немногих городов США, есть метро. Старенькое, темноватое и... очень дорогое. При входе надо опустить в автомат двадцатипятицентовую монету, в четыре раза больше, чем в Москве, Ленинграде или Киеве. Однако и это еще не все. С одной станции тебе потребуется перейти на другую, а другая и принадлежит другой компании, которой надо уплатить еще двадцать пять центов. А ежели с другой понадобится на третью?

Оставив под землей по полтора доллара, мы почесали в затылке и вспомнили подземные дворцы — станции метро в Москве, где за пять копеек можешь кататься сколько твоей душе угодно.

В большинстве американских городов нет ни метро, ни троллейбусов, очень мало автобусов и прочего городского транспорта для общественного пользования. Поэтому беден ты или богат, но приобретай собственный автомобиль, иначе пропадешь. И человеку маломощному приходится покупать машину в кредит, пускай дешевую, но машину. В результате все без исключения горо-

да здесь страдают от хронического тромбоза, то есть от закупорки улиц частным автотранспортом.

— Это какой-то кошмар! — то и дело восклицает по такому поводу Крымгольд.

Узнав о том, что и в нашей стране строится новый завод малолитражных автомобилей, рассчитанных в основном для частного пользования, он неодобрительно свистнул и заключил:

— А мы-то думали, что вы умнее нас и будете развивать общественный транспорт. А вы туда же! Что ж, через пять-десять лет и вас задушит это чудовище, как задушило оно нас!

В 13 часов были приглашены в гости к г-ну Джексо-ну Гольдену, юристу, бизнесмену. Квартира его в новом доме последней, новейшей, стало быть, архитектуры. По словам мистера Крымгольда, квартира в таком доме стоит 800 и более долларов в месяц.

Накануне нам говорили, что будет присутствовать журналист из газеты «Крисчен сайенс монитор», но его почему-то не оказалось. Кроме нас и хозяев, были г-жа Бернард, отчего-то малость повеселевшая, и неизвестная дама почтенного возраста, которая только и делала, что все время восклицала: «О!»

Готовила завтрак и накрывала на стол хозяйка дома. Пока что ни в одной семье мы не видели слуганок.

Беседа была, как сказали бы дипломаты, откровенной и полезной. Гольдену недавно побывали в СССР, поездкой остались чрезвычайно довольны, и это в конечном счете определило линию их поведения относительно нас — в высшей степени предупредительную.

Между прочим, говорили и о том, как можно писать об увиденном в чужой ли стране, в чужом ли для тебя доме. Предубежденный автор, сказал я, начал бы описание, скажем, дома, в котором вы живете, встречаете своих гостей и радости жизни, откуда-то снизу, из выгребной ямы, и ограничился бы этим описанием, сделав вывод: в каких ужасных условиях живут люди...

— О! — гневно воскликнула пожилая дама. — Как же так можно!

— Мы тоже считаем, что так нельзя. Но именно так поступают некоторые ваши журналисты, побывав в Советском Союзе.

— О!

В 3 часа дня были в издательстве «Хоутон и Миффлин». Долго беседовали с Чарльзом Ботссом из отдела учебной литературы. Позже встретились со Стеффеном Грантом, президентом издательства. Кабинет его находился в старом здании, и это должно было свидетельствовать о незыблемости основ данного предприятия. На наше замечание по этому поводу высокий худой человек улыбнулся, сказал: «О да!» — и кивком головы указал на стену, где висел портрет первого президента, основателя их преуспевающего предприятия.

Возвращались на метро. При входе задержались, наблюдая за тем, как юные буддисты зарабатывают прямо на улице деньги. Одни играют на музыкальных инструментах, а другие ходят со шляпой в руке и собирают монеты. Эти средства предназначаются для немощных, получающих пособие в специальной буддийской церкви.

Буддисты почему-то подстрижены под запорожцев — с хохолком на маковке.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

31 октября 1969 года

Осматривали — с внешней стороны в основном — Гарвардский университет, основанный в 1736 году. Гидом нашим был студент старших классов Джон Кук, молодой, в пушистой рыжей бороде, высокий, краснощекий. Его лицо нам показалось знакомым. Вспомнили, что видели его накануне в магазине, где он, как и многие студенты, прирабатывал в качестве продавца. Узнал и он нас, но виду не подал, что узнал: постеснялся почему-то. Может быть, потому, что это помешало бы ему быть таким важным и значительным, каким он был сейчас, — не всякому студенту доверят сопровождать иностранных гостей да еще из такой страны, как Советский Союз!

Перед осмотром университетского городка побеседовали немного с одним из руководителей этого крупнейшего учебного заведения. От него еще раз узнали, что один учебный год — девять месяцев — обходится студенту в 3800 долларов — это в два раза дороже, чем было десять лет назад.

— А через десять лет и эта цифра удвоится.

— И вы считаете, что этот процесс необратим, его нельзя остановить? — спросили мы.

— Очевидно, можно было бы как-то. Но как? От нас ведь мало что зависит. Цены на все виды продуктов и промышленных товаров растут непрерывно. Доллар дешевеет день ото дня. Отсюда...

— Понятно.

Джон Кук ведет нас от дома к дому и дает пояснения. Возле одного заметил:

— Это было бы самое старое здание, но оно в свое время сгорело почти дотла вместе с библиотекой. Чудом сохранилась только одна книга.

— И это была, конечно, библия, — сказал я под хохот сопровождавших нас студентов.

— Нет, — возразил Кук. — Книга называлась по-другому. Она сохранилась до наших дней. Это «Крестьянская война против дьявола и плоти».

У памятника Джону Гарварду остановились. Кук на всякий случай предупредил:

— Только не подумайте, что перед вами изображен подлинный Гарвард. Портретов после него не осталось. И скульптор взял первого попавшегося ему на глаза студента и сделал с него рисунок.

Мы посмеялись. Потом подарили студентам значки, а я еще и бывшие со мною мои некоторые книжки. В ответ они тотчас же куда-то исчезли и вернулись с подарками для наших детей — какими-то студенческими сладостями и круглыми значками с озорными остроумными надписями. Имена некоторых запомнились: Анна Перкинс, Михаил Якобсон и Кент. Последний — высокий, волосатый брюнет с очень темными и очень выразительными глазами. Он-то и руководил покупкой подарков, когда мы уже сидели за обеденным столом в обществе преподавателей русского языка.

Аспиранты и студенты отыскиали нас, ворвались в комнату, разгоряченные бегом, оживленные и откровенно счастливые. Шумно вручили нам свои дары под взглядами малость растерявшихся своих учителей.

— Так мы еще с вами увидимся сегодня! — крикнул Кент, убегая вниз по лестнице.

За столом сидели профессора славянского отделения Гарвардского университета Тарановский, его ассистент

Менсон и Фагнер, которого мы потом назвали про себя мини-Урбаном, так он был нахален и злобен со своими откровенно антисоветскими вопросиками, которые то и дело подбрасывал во время беседы. Так же как и Урбан в Лос-Анджелесе, он семенил потом за нами и все пытался уверить или заверить нас в своем глубоком уважении. Мы же уходили, не обращая никакого внимания на его лепет. Нам было хорошо со студентами и аспирантами, которые проводили нас до самой гостиницы.

В два часа дня должна была состояться основная встреча со студенческой молодежью. По всему городку мы видели плакаты, оповещавшие об этом. Но встречу отменили, сославшись на то, что до аэропорта трудно будет добраться, в такое время улицы забиты транспортом и потребуется не меньше двух часов на дорогу. Нам ничего не оставалось, как согласиться.

Выехали из гостиницы в 2 часа 30 минут, через 20 минут, то есть в 2 часа 50 минут, были уже в аэропорту, а самолет улетал в Нью-Йорк в 5.30.

Мистер Крымгольд попытался было развлечь нас рассказами о своей небольшой ферме близ Вашингтона, о сусликах, которые преодолевают его хозяйство и на которых он никак не найдет управы: ни химия, ни вода — ничто не помогает. Бакланов, мрачно выслушав эту жалобу, не менее мрачно посоветовал:

— А вы, Борис Иосифович, привезли бы этих грызунов за три часа до отлета на аэродром, они бы тут сами от скуки подошли...

Крымгольд побагровел, глаза у него заблестели, но он ничего не сказал: молча удалился прочь и не появлялся, пока не объявили посадку.

В 7 часов вечера прилетели в Нью-Йорк, разместили нас в центре города, в большом отеле «Статлер Хилтон». Ночью гуляли по пустынным улицам, по Бродвею.

Вернувшись, позвонили Генриху Боровику, но его не оказалось дома.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ

1 ноября 1969 года

Суббота. Выходной день. По этому случаю поднялись не рано. Коротая время, развернул и читал-просматривал путеводитель и план города Нью-Йорка. На ти-

тульном листе — портрет Джона В. Линдсея, мэра города, и его обращение к приезжающим. Документ весьма любопытен, и потому привожу его полностью:

«Милости просим в город Нью-Йорк! Мы, нью-йоркцы, живущие и работающие здесь, хотим поделиться с гостями со всего света притягательными чертами нашего города, которыми он одаряет нас во все времена года.

Статуя Свободы в нашей гавани символизирует протянутую руку, приветствующую всех гостей. Флаги всех наций мира, развевающиеся перед зданием Объединенных Наций, символизируют разнообразие нью-йоркского населения — людей разного происхождения и разных культур, которые живут вместе в мире и гармонии.

Нью-Йорк можно посещать в любое время года. Зимой, весной, летом или осенью город предлагает невиданные зрелища, чудесные развлечения, единственные в своем роде культурные возможности — радости для всей семьи.

Провести свой отпуск в Нью-Йорке — один из самых удачливых планов благодаря множеству отелей, ресторанов и других возможностей. Нью-Йорк — это город, дающий что-то каждому.

Наше население приветливо и гордится своим городом. Мы радуемся и приветствуем гостей и разделяем с ними радости нашего города. Мы надеемся, что Вы скоро нас посетите и будете часто нас посещать в будущем.

Джон В. Линдсей».

Прочтя такое, вы и в самом деле почувствуете себя «самым удачливым» из всех смертных, коих не посетила счастливая мысль «провести свой отпуск в Нью-Йорке», и в предвкушении разнообразных радостей и развлечений нетерпеливо поглядываете в окно своего гостиничного номера.

Прямо перед моим окном возвышалась серая громадина, наполовину обрезанная не то тучами, не то туманом. Я еще не знал, что это и есть Эмпайр Стайт Билдинг, «восьмое чудо света», как говорят о нем сами американцы. Не знал, иначе сейчас же отыскал бы в путеводителе его снимок и прочел следующие сведения о нем:

«ЭМПАЙР СТЕЙТ БИЛДИНГ. 5-я Авеню и 34-я улица. Самое высокое здание в мире. 102-этажная постройка 1931 года высотой в 1472 фута, включая 222-футовую телевизионную мачту. Всемирно известная наблюдательная площадка с видом на 50-мильное расстояние, включая части четырех штатов Америки. Открыто от 9.30 утра до полуночи, кроме сочельника. Взрослые 1.50 д., дети 75 ц.».

Поскольку сегодняшний день не был сочельником, мы, предводительствуемые Крымгольдом, и отправились к «восьмому чуду» прямо к открытию. На улице сыпал мелкий, каким ему и полагалось быть в начале ноября, холодный и липкий осенний дождишко. Мы облачились соответственно — в демисезонное плащ-пальто, а Крымгольд бодро вышагивал в своем сером костюме, в белой рубашке с бабочкой вместо галстука. Мы удивились легкомысленности шестидесятисемилетнего джентльмена и не преминули указать ему на нее:

— Вы же простудитесь, Борис Иосифович! Отчего бы вам не надеть пальто?

Мистер Крымгольд посмотрел на нас с откровенной жалостью и, в свою очередь, заметил:

— Легкомыслие, а заодно и российскую непрактичность я оставил в России пятьдесят лет назад. Сейчас я стопроцентный американец, который хорошо знает, между прочим, вот что: погладить костюм в гостинице обойдется в три раза дешевле, чем та же операция, произведенная над пальто.

Вероятно, отчаянный скряга и тот постыдился бы в нашей стране публично признаться в подобной расчетливости, но мистер Крымгольд выглядел по меньшей мере победителем или же мудрецом среди нас, несмышленнейшей. И это в самом деле едва ли было его индивидуальной чертой. Скорее всего так поступил бы на его месте любой американец.

Пока я размышлял на этот счет, лифт вознес нас на восьмидесятый этаж, на «всемирно известную наблюдательную площадку». Туман к этому времени рассеялся, дождишко хоть и сыпал полегоньку, но не закрывал вида на исполинский город. На каменном барьере установлены огромные бинокли, через которые можно увидеть гораздо больше, чем простым глазом, но для этого надобно опустить десятицентовую монету. Повыше барьера натянута высокая и частая сетка из проволо-

ки — на тот случай, если б кто-то из американских граждан свободное падение с восьмидесятого этажа предпочел «американскому образу жизни» в «свободном» капиталистическом мире. Говорят, прежде такое бывало довольно часто.

Город, однако, удивителен. Лишь находясь на такой высоте и наблюдая его весь, начинаешь понимать, почему, едва возникнув, он устремился ввысь: размеры острова Манхаттана не позволили ему расплзаться вширь, впрямь и вкось, как это было, скажем с Лос-Анджелесом и многими другими американскими — и не только американскими — городами. Манхаттан — остров каменный и оказался естественным и надежнейшим фундаментом для небоскребов, явившихся дерзким вызовом всем городам на свете.

Вечером смотрели музыкальную комедию «Человек из Ламанчи» (о Дон-Кихоте). Поставленная неожиданно смело, она зазвучала исключительно по-современному. Превосходен исполнитель главной роли — мексиканец, участвовавший в конкурсе на лучшее исполнение роли Рыцаря Печального Образа.

Когда я собирался уже спать, ко мне зашли встревоженные мои спутники и сообщили, что в их чемоданах кто-то долго и усердно копался.

— Может быть, вам показалось? — сказал я.

— Не думаем, — ответили они.

— Ну ладно. Идите спать. И не закрывайте больше ваших чемоданов. Зачем затруднять наших хозяев в подборе отмычек.

Посмеявшись, мои товарищи ушли.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

2 ноября 1969 года

Воскресенье. Дождик все сыпал и сыпал. Мы же с утра отправились на катере вокруг Манхаттана. Обидно, что не увидим города во всей его красе, таким, каким он мог предстать перед нами в солнечном освещении. Многочисленные причалы огромного порта почему-то пустовали. Где же океанские лайнеры, где теплоходы и электроходы, приплывающие сюда со всех концов света? Обращаемся с этим вопросом к Крымгольду. Он посмотрел на нас с тою же жалостливой, снисходительной улыбкой, с какой глядел, когда мы

предлагали ему надеть пальто. Улыбнувшись, объяснил:

— Стоянка судов в нерабочее время очень дорога, и поэтому капитаны уводят их в выходные дни далеко в открытое море. Придите сюда завтра, и вы увидите, что все причалы будут забиты.

Между тем катер наш плывет мимо статуи Свободы. Памятник этот был преподнесен Соединенным Штатам Францией и открыт 28 октября 1886 года в память союза этих двух стран во время американской революции (работа скульптора Августа Бартольди).

Старый, седовласый человек, наш экскурсовод, кричит в трубку непрерывно неприятно резким, лающим голосом. Очень хотелось, чтобы он помолчал и дал пассажирам самим посозерцать великолепные берега великолепного острова. Однако старик честно отработывал свой хлеб: кричал и кричал в микрофон неумолчно и все более яростно. Причем об исторической значимости или ценности того или иного сооружения он имел свои и очень оригинальные понятия.

Между прочим, как раз в эти дни тут проходила очередная сессия, на которой обсуждались многие вопросы, от которых зависели судьбы мира.

Вечером были с Баклановым на матче профессиональных хоккейных команд. Матч проходил в Мэдисон Сквэр Гардэн, расположенном прямо против нашей гостиницы. Он является теперь самой большой в мире закрытой ареной, вмещающей 20 234 зрителя.

Вместе с нами — первый раз в его жизни — пошел на состязание и Крымгольд, объявивший, что совершает этот подвиг исключительно ради нас. Но, как и следовало ожидать, вскоре увлекся и яростно «болел» за команду, которая выступала против хоккеистов Нью-Йорка, болел потому, что по неизвестным нам причинам не любил этого города. Мы же из чувства противоречия, что ли, или для того, чтобы обострить ситуацию, сделали вид, что столь же горячо болеем за команду «Нью-Йорк», хотя нам, конечно, было решительно все равно, какая из них победит.

Меня интересовало другое. Не будучи специалистом, я все же хотел на глаз болельщика определить, как высок уровень профессионального хоккея в сравне-

нии с нашим, любительским. Сперва показалось, что наши легко бы выиграли здесь. Но только сперва. Вскоре хоккеисты разогрелись и взвинтили бешеный по скорости темп, при этом бросали шайбу по воротам с любого расстояния и из любого положения, и удары эти часто были неожиданны для голкипера.

Команда «Сент-Луис Близ», давшая себе имя по названию родного городка, поначалу вела в счете. Затем, во втором периоде, игра переломилась и пошла с заметным перевесом ньюйоркцев. Они и победили со счетом 6:4. Героем матча оказался некий Ткачук, забивший первую, ответную, шайбу и последнюю, венчающую победу.

После матча между нами и молодым служителем спортивного дворца прямо у буфетной стойки разгорелся спор: чьи хоккеисты сильнее — советские или американские. Малый решительно объявил, что американские, мы — не менее решительно, — что советские. Для доказательства сослались на общеизвестный факт, что мы — девятикратные чемпионы мира.

— Этого не может быть! — горячо возразил парень. — Пусть приедут ваши хоккеисты сюда, мы их разгромим.

— Но наши ребята разгромили уже ваших со счетом 17:1. Неужели вы не слышали об этом?

— Этого не может быть! — стоял на своем американский патриот.

— Но это и вправду было! — подтвердил мистер Крымгольд.

Малый смешался на минуту, а потом все-таки крикнул нам вдогонку:

— Все равно Америка лучше вашей страны! — Схватив Крымгольда за рукав и придерживав таким образом, он пылко спросил его: — Скажите этим русским, что в Америке все лучше!

Это было вечером, а днем ходили по Нью-Йорку, покупали сувениры в магазинах. При выходе из универмага «Карвет», что в ста метрах от нашего отеля, увидели на дверях плакат:

«Благодарим вас за покупки, которые вы сделали у нас. Пожалуйста, возвращайтесь к нам поскорее!»

Что касается нас, то едва ли в ближайшие месяцы и даже годы мы сможем исполнить эту просьбу.

В который уж раз пытаюсь смотреть по телевидению американский футбол, но так и не могу понять, за что его любят американцы. Игры, по сути, нет: только спортсмены противных сторон встанут, точно драчливые петухи, друг против друга, кинут мяч — сразу свалка, звучит свисток судьи, и все начинается сызнова. Так повторяется до бесконечности. Я, во всяком случае, ни разу не дождался, чтобы кому-то из них удалось прорваться к воротам и поразить цель. Самый отчаянный и ловкий пробежит метров двадцать от силы, там его ухватят за ногу, и он летит кубарем. Рев, свист — и опять «петухи» сходятся на круг и, склонившись, ждут мгновения, чтобы броситься друг на друга и начать терзать.

Любопытная деталь: в выходной день обед в кафе или ресторане вдвое дороже, ибо большинство таких заведений закрыто, а владельцы открывшихся не дураки, чтобы не воспользоваться благоприятным моментом и не заработать на нем.

В 2 часа дня приехали в гости к Мэри Хемингуэй. Жена знаменитого писателя живет на 17-м этаже в квартире сравнительно небольшой, занимающей одно полушарие самого верхнего этажа. Полушарие — потому что дом выстроен в форме огромной трубы. Квартирная плата — 800 долларов в месяц. Живет в своих трех комнатах хозяйка совершенно одна.

Маленькая семидесятилетняя женщина подвижна как ртуть. Тут же продемонстрировала для нас гимнастические упражнения, которые пришлось бы впору разве что семнадцатилетней девчонке. С особой гордостью показала шкуру тигра, убитого ею лично где-то в Африке, и шкуру леопарда, застреленного ее покойным мужем. Обед готовила сама, угощала русскими кушаньями и русской водкой — марки «Столичная». Потом читала главу из своих воспоминаний об Эрнесте Хемингуэе. Описание относилось ко времени, когда писатель сделал ей предложение. Было это в одной из лондонских гостиниц не то в сорок третьем, не то в сорок четвертом году.

Чуть ли не после первой же встречи Эрнест сказал своему другу:

— Она будет моей женой.

Но Мэри не вдруг согласилась с этим. Когда приятель Хемингуэя поздно ночью пришел к ней в номер и сообщил о намерении писателя сделать ей предложение, и без того крохотная, она сжалась на своей кровати в комочек и испуганно проговорила:

— Нет, нет, нет!

— Отчего же?

Она помолчала, потом сказала еще более испуганно:

— Он же очень здоровенный!

Хемингуэй был двухметрового роста.

...На прощание хозяйка долго думала, что бы такое подарить нам на память. И наконец придумала.

— Это будет, пожалуй, самое лучшее, — сказала она, отдавая мне и Бакланову чеки, погашенные писателем незадолго до его гибели. На чеках стояла размашистая подпись.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

3 ноября 1969 года

С 11 часов утра — посещение Колумбийского госпиталя¹. Скорее — для «галочки», потому что побеседовать как следует ни с больными, ни с медицинским персоналом не удалось. Но мы все-таки еще раз и сами убедились, что лечение в США не только платное, но плата эта невероятно высока. Например, простейшая операция по удалению аппендикса стоит больному 90 долларов, если же он останется в госпитале еще на неделю, то эта сумма утроится. Появление ребенка в роддоме обойдется его матери и отцу в 500 долларов да плюс еще плата за каждый день пребывания роженицы под наблюдением врача.

— Почему все-таки так дорого? — спросили мы.

— Медицинские учреждения у нас частные, — ответили нам, не прибавив к этой фразе ни единого слова, поскольку ею было сказано все.

Вечером — коктейль в американском пенклубе². Еще в Вашингтоне, при обсуждении программы нашего пребывания в США, мистер Марголиус предупредил о возможном приглашении нас в этот клуб и спрашивал, прием ли мы такое приглашение. Тогда мы ска-

¹ В США все больницы называются госпиталями.

² Пенклуб — международная организация писателей.

зали, что все решится с получением такого приглашения. И поскольку его еще нет...

— О'кэй! — воскликнул понятливый Марголиус. — Считайте, что вы его уже получили.

— Нет, приглашения мы не видели.

— Хорошо, хорошо! — согласился хозяин. — Вернемся к этому вопросу позднее.

И вот теперь мы к нему вернулись. Не скрою, что, узнав о том, кто из американских писателей будет на коктейле, мы некоторое время колебались: идти ли туда? Члены пенклуба по большей части настроены крайне реакционно, а значит, и антисоветски. В списке лиц, которые должны были присутствовать, мы увидели матерого газетного волка Гаррисона Солсбери. Этот не поленился и перед самым нашим приездом в США пересек океан сперва в одну сторону, затем в другую и более часа демонстрировал чуть ли не по всем телевизионным каналам свой репортаж о встречах и беседах с «господином Анатодем», то есть с предателем и перебежчиком в чужой, враждебный нам лагерь Анатолием Кузнецовым. Честно говоря, встречаться и беседовать «в непринужденной обстановке» за коктейлем с этим Солсбери и с ему подобными господами у нас не было ни малейшего желания. Однако в том же списке значились имена и вполне порядочных литераторов, таких, как Джон О'Килленз, Джозеф Норт, Бел Кауфман, Мэри Хемингуэй, Митчел Уилсон, Лилиан Хеллман и другие. Зачем же мы лишим себя возможности встретиться и поговорить с этими?

И мы согласились.

Гостей встречали хозяин и хозяйка, очень еще молодые и, конечно, очень богатые люди. Знакомимся с одним, другим, третьим, бродим по просторным апартаментам, раскланиваемся, обмениваемся любезностями. И наконец передо мной он собственной персоной, мистер Гаррисон Солсбери. Высокий, седовласый и сухопарый, он весь — сама любезность, на лице его — неподдельная радость по поводу такой встречи.

— О! — воскликнул он, весь светясь. — Вы тот самый Алексеев, который все время нападает на «Новый мир» и на его главного редактора господина Александра Твардовского? Кстати, какова их судьба? «Новый мир» еще не закрыли, журнал выходит?

Он, кажется, собирался к этим вопросам присовокупить еще несколько такого же сорта, но я перебил маститого литератора:

— Обождите, мистер Солсбери, начнем по порядку. Я действительно Алексеев и, вероятно, тот, кого вы имеете в виду. Требуется лишь небольшое уточнение: я никогда не нападал, как вы говорите, ни на «Новый мир», ни тем более на Твардовского, хотя мне и приходилось не раз спорить с отдельными статьями журнала. Не обещаю вам, что не буду делать это и в будущем. В нашей литературной печати идет полемика, ведутся дискуссии, и мы считаем, что это вполне нормальное явление. Если бы таких споров и дискуссий не было, то вы, очевидно, первым оповестили бы читающий мир о том, что в советской литературе критика невозможна, что в ней нет полемики и дискуссий. Не так ли?

Солсбери улыбнулся, помешивая соломинкой лед в бокале, но ничего не сказал.

— Что же касается Твардовского, — продолжал я, — то он был и остается крупнейшим советским русским поэтом, значительно крупнее тех двух-трех наших литераторов, которых вы тут, у себя в США, поднимаете до небес. Твардовский создал поэтические произведения непреходящего, мирового значения, и все-таки Америка его не знает как поэта. Не будете ли вы любезны ответить — почему?

Солсбери задумался. Потом сказал. Сказал, впрочем, не совсем уверенно:

— Твардовский очень русский, он очень национальный, и его трудно переводить на английский язык. Другое дело Евтушенко...

— Неубедительно, господин Солсбери. Солженицын, например, пишет на стилизованном, почти древнерусском языке, это, однако, не мешает вам переводить его пасквильные сочинения на английский язык и в короткое время прямо-таки наводнить ими книжные рынки США. В чем же дело?

Вместо ответа Солсбери поклонился и быстро отошел прочь.

Больше я его в тот вечер не видел.

В одиннадцатом часу ночи и мы покинули пенклуб. Решили с Баклановым еще раз побывать на Бродвее, поглядеть его ночную жизнь. Днем мы проезжали по

нему, и Бродвей выглядел скучным, серым и вялым, как гуляка с похмелья. Теперь он вновь повеселел и был расцвечен огнями реклам. Возле одного кинотеатра остановились, купили билеты на фильм под названием «Искусство любви». Фильм демонстрируется непрерывно, так что можно заходить в зрительный зал в любую минуту и начинать смотреть с любого кадра и, ежели хватит терпения, сидеть до тех пор, пока лента докружится до этого самого эпизода.

Мы просидели не более двадцати минут, не сговариваясь, встали и быстро вышли на улицу, потом долго смотрели друг на друга, как бы спрашивая: что же это такое, как же это возможно? Мы не пуритане, не воспитанники института благородных девиц, но мы ужаснулись, ужаснулись самому факту появления такой гнусной ленты: мы-то сидели двадцать минут, а картина идет два с половиной или три часа. И в течение этого времени авторы фильма с предельным цинизмом демонстрируют все мыслимые и немыслимые половые извращения. Почему-то с особой горечью подумалось об актерах и актрисах, которые изображают «героев» и «героинь» в этом фильме: картина-то не научно-популярная, созданная по заказу какого-нибудь медицинского учреждения, занимающегося вопросами патологии, а игровая, с привлечением актерских сил.

Невольно вспомнилась выдержка из обращения мэра Нью-Йорка Джона Линдсея, которым он предваряет путеводитель:

«Нью-Йорк можно посещать в любое время года. Зимой, весной, летом или осенью город предлагает невиданные зрелища, чудесные развлечения, единственные в своем роде культурные возможности — радости для всей семьи».

«Невиданные» — это, пожалуй, правда, «единственные в своем роде» — тоже да, но чтобы все развлечения были чудесными и культурными и чтобы все они приносили радости — с этим, мягко говоря, согласиться едва ли можно.

Вернувшись в свой номер, я принужден был вспомнить и еще об одной строчке этого документа:

«Статуя Свободы в нашей гавани символизирует протянутую руку, приветствующую всех гостей».

Чья-то рука в мое отсутствие дотянулась и до мое-

го чемодана и, перебрав его содержимое, зачем-то еще и выломала прямо с железным мясом замки, которые я не заперал.

«Гуд бай! Спокойной ночи!» — сказал я себе и погрузился в сон, который можно назвать каким угодно, но только не спокойным.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ

4 ноября 1969 года

Кошмары вчерашней ночи развеялись малость от знакомства с линкольновским Центром искусств, что стоит на том же Бродвее и 65-й улице. Это, пожалуй, единственный в своем роде и действительно культурный комплекс, посвященный музыке, драме и балету. Он включает в себя Зал филармонии, являющийся резиденцией Нью-Йоркской филармонии вообще, Театр Музыки, ставящий оперетты и музыкальные драмы.

В южной части Центра находится Демрош Парк, включающий сценку-раковину для концертов под открытым небом. При Центре есть и драматические, и оперный театры, и специальная музыкальная школа, и отделения живописи. Линкольновский Центр, положивший начало всем подобным центрам в больших городах США, построен также на пожертвования частных лиц. Сумма пожертвований колеблется от 10 тысяч долларов до 10 миллионов.

В длинном списке лиц, занесенных на почетную доску жертвователей, мы увидели имя Джона Фицджеральда Кеннеди. Увидели и Форда, организация которого внесла самую большую сумму, а именно: 10 миллионов долларов.

Вечером были на приеме, устроенном в честь советской делегации писательницей Бел Кауфман. Там вновь встретились с супругами Апдайк, Мэри и Джоном, и уж совершенно неожиданно с Константином Симоновым, путешествующим в качестве туриста по Соединенным Штатам Америки.

На приеме было много наших искренних друзей, и это немного сняло напряжение, в котором мы жили почти все эти двадцать восемь дней.

ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ

5 ноября 1969 года

Предпоследний день нашего «гостевания» в США. В 10 часов утра давали интервью корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Майку Хендлеру, после чего журналист спросил нас:

— Знаете ли вы, что вчера в Рязани исключен из Союза писателей Солженицын?

Мы не знали, и я ответил:

— Слышим об этом впервые от вас, хотя я лично вполне допускаю такую возможность.

— Отчего же?

— Видите ли, организация, членами которой мы являемся, называется Союзом советских писателей. Подчеркиваю — советских. У этой организации, как и у всякой другой, есть устав, который должен быть неукоснительно соблюдаем всеми ее членами. И если литератор сознательно и последовательно не придерживается в течение многих лет ни буквы, ни духа этого устава, то рано или поздно он окажется вне Союза писателей. Очевидно, это самое и произошло с Солженицыным, если то, что вы нам сообщили, является правдой.

— Да, это правда. Нынешним утром об исключении Солженицына можно было прочесть в газете «Нью-Йорк таймс». Информация была получена нами еще вчера, 4 ноября.

— То есть в день исключения?

— Да, в тот же самый день.

— Ничего не скажешь, работа оперативная.

— Иначе нельзя. Мы журналисты, — сказал Хендлер не без профессиональной гордости.

Вечер и большую часть ночи провели в тихой и доброй семье девяностолетнего человека, знаменитого фотографа Эдварда Стейчена, автора всемирно известного фотоальбома «Род человеческий». Его жена пела нам английские, итальянские, американские, испанские, мексиканские и — с особым одушевлением — русские народные песни и все — на соответствующем национальном языке.

6 ноября 1969 года

Утро прошло в сборах, а к 12 часам дня приехали в аэропорт. Весь предыдущий день шел сильный дождь, а когда не шел, ему на смену приходил густой туман, и мы очень опасались, что не прилетит за нами родной наш ИЛ-62. И вот сейчас, когда увидели его из стеклянного колпака аэровокзала, обрадовались необыкновенно: в этих гордо раскинутых крыльях была теперь наша судьба.

Мы быстро распрощались с мистером Крымгольдом, пообещали передать привет Кривому Озеру и всей Одессшине, а он нам, в знак благодарности, что ли, вручил наконец вырезку из студенческой газеты, полученной из Беркли, вероятно, еще 24 октября. Девушка сдержала свое слово и опубликовала небольшую корреспонденцию о нас. Поскольку материал этот содержит некоторые важные, с нашей точки зрения да и с точки зрения газеты, оттенки, приведу его полностью, благо он невелик.

*«Русские гости продолжают путешествие
по территориям университетов*

Вчера три русских гостя несколько изменили расписанный по часам план путешествия, составленный Государственным департаментом и Туристским центром, очевидно, предпочитая исследовать страну своим путем.

Три советских литератора (программа культурного обмена между США и СССР) отказались от двух встреч со студентами-славистами, к большому испугу Туристского центра и Государственного департамента, которые не знали, где находятся гости.

До субботы русские будут в Бэй Ариа, отсюда они поедут в Лас-Вегас смотреть встречу между американскими и советскими боксерами, потом отправятся в Бостон, откуда 7 ноября отбудут в Москву, закончив свое месячное путешествие по Америке.

Эти трое — миссис Фрида Анатольевна Лурье, консультант по современной американской литературе; Григорий Яковлевич Бакланов, писатель — романист, новеллист и сценарист; Михаил Николаевич Алексеев, писатель — романист, новеллист и редактор советского журнала «Москва», — все из Москвы.

Хотя миссис Лурье свободно говорит по-английски, Государственный департамент предусмотрел для делегации переводчика — Дова Крымгольда, русского эмигранта.

Просьба «Дэйли Калифорниэн» об интервью причинила немалое беспокойство Туристскому центру, так как для этого необходимо было получить согласие Государственного департамента.

Комментируя свой визит, М. Алексеев пояснил, что план путешествия составлен таким образом, что не позволил им как следует познакомиться с университетом.

Алексеев, глава делегации, сказал о цели культурного обмена: «Обе наши страны — это державы, от которых во многом зависит, быть на земле миру или войне. Проблема мира не может быть решена без наших стран. Вот почему мы должны как можно чаще встречаться и искать взаимопонимания».

На вопрос, каковы их впечатления от США, ответ русских был довольно уклончив. Бакланов сказал: «Существует хорошее правило для чтения книги: это правило состоит в том, что ты должен разрешить автору как бы взять тебя за руку и ввести в мир, который он хочет тебе представить. Он дает возможность увидеть все без всяких предвзятых мнений, окунуться в этот мир и понять его. Когда же ты выходишь из этого мира, тогда и делаешь заключения. Мы приехали сюда без предвзятых мнений».

Во время интервью гости не раз указывали на свое беспристрастие и отсутствие предвзятого отношения.

Хотя они так и не прокомментировали свои первые впечатления о поездке по стране, они все-таки сказали, что им понравилась молодежь, которую они увидели.

Миссис Лурье понравились лица молодых ребят, Бакланову — их поведение, а Алексеев особенно оценил студентов за их манеру свободно, непринужденно держаться, за их любознательность.

Группа уехала, но уже появилось лучшее понимание между отдельными людьми двух стран».

«Дэйли Калифорниэн» (среда, 23 октября 1969 г.).

Мы прочли этот несколько наивный, но в общем-то очень доброжелательный репортаж и с нетерпением ждали, когда объявят посадку. Из своих сограждан увидели двух сотрудников из нашего представительства при ООН и, едва познакомившись, отправились к бу-

фетной стойке. Взволнованные, подняли рюмки и провозгласили тост за счастье своей далекой и милой Советской Родины, которая завтра встретит свою 52-ю годовщину.

Вручив нам конверты с письмами к родным и знакомым в Москве, наши новые друзья проводили нас до самого самолета. Мы обещали вручить их праздничные послания прямо 7 ноября, в день великого праздника, — да простится нам это небольшое нарушение почтового катехизиса!

ДЕНЬ ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ

7 ноября 1969 года

Ровно в 9 часов утра колеса нашего ИЛа коснулись посадочной полосы в Шереметьеве.

Никакими словами не описать чувства, охватившего нас. Оно знакомо лишь человеку, находившемуся за тридевять земель от родного дома и вот вновь шагнувшему на его родимый порог.

1970

**ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ
ПОВЕСТИ**

«ПРИВИДЕНИЯ» ДРЕВНЕГО ЗАМКА

1. КОНЕЦ «МЕЧЕНОГО ВОЛКА»

ПРОЛОГ

Аниканов был удивлен. Здесь, в немецком блиндаже, разведчик, естественно, ожидал встретить немецких солдат. А перед ним стоял довольно пожилой человек в штатском, с глубоким шрамом на левой щеке. Незнакомец тоже был ошеломлен неожиданным появлением советского разведчика.

Их взгляды встретились. Рука человека в штатском потянулась к лежащему на столе маузеру. Но в тот же миг он увидел наставленный на него автомат Аниканова. Незнакомец покорно отвел руку от пистолета.

Разведчик сделал шаг к человеку со шрамом, но чьи-то руки схватили его сзади. Аниканов упал, успев нажать на спусковой крючок автомата. За дверью слышался топот ног. Аниканов сделал усилие, повернул голову к выходу и увидел спешивших к нему на помощь разведчиков. В ту же минуту человек со шрамом резким движением руки бросил на землю стоявшую на столе свечу.

Борьба в темноте закончилась быстро. Аниканов почувствовал, как руки, державшие его, разжались. Он вскочил на ноги и, вынув из кармана электрический фонарик, осветил блиндаж. Разведчики связывали руки немецкому унтер-офицеру, во рту которого уже торчал кляп. Однако не это сейчас интересовало Аниканова. Луч его фонарика заскользил по углам. Но в блиндаже, кроме товарищей Аниканова и связанного немца, никого не было. Человек со шрамом исчез.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЛУЧАЙНАЯ ФРАЗА

Лес как лес. И деревья, и глухие тропки, устланные прошлогодним листом. Но как он непохож на сибирскую тайгу! Там деревья могучие, кражистые,

и веет от них какой-то былинной силой. А тут деревца хилые, и кажется, что растут они как-то нехотя, не могут подняться от этой глинистой земли вверх, к солнцу.

«Нет, лучше моей сибирской тайги не сыскать на всем белом свете!» — так мысленно рассуждал сержант Аниканов, возвращаясь по лесной дороге из штаба корпуса, куда он отводил пленного унтер-офицера, очередного «языка», захваченного в последнем поиске.

Аниканов вспомнил этот вчерашний поиск, и опять — в который уж раз! — в его сознании возник вопрос: «Кто же такой человек со шрамом? Может быть, гитлеровский шпион, которого готовились перебросить в расположение наших войск? Едва ли». Опытный разведчик, Саша Аниканов, разумеется, понимал: человек, на лице которого такая отметина, не годится для шпионской работы. Но все-таки кто же он? Сколько ни пытались в штабе узнать об этом у пленного немецкого унтера, тот отвечал:

— Я не знаю.

Аниканов вытащил из кармана кисет, на котором бисером было вышито: «Помни Анфису», как всегда, глянув на него, улыбнулся и привычно, по-солдатски, на ходу начал свертывать самокрутку.

Слева от дороги, на небольшой поляне, стоял домик лесника, над трубой которого вился легкий дымок. Аниканов направился к жилищу.

В передней комнате, у небольшой железной печурки, сидел старик и подбрасывал в огонь поленья. Из полуоткрытой двери, ведущей во вторую комнату, слышалась русская речь.

Аниканов вытащил из печки горящее поленце, прикурил. Его внимание привлекла случайная фраза, произнесенная в другой комнате.

— ...Это, брат, след из-под Белгорода. Видал, морду попортило — жинка не узнает...

Сержант прислушался. «Из-под Белгорода?.. Ведь и я там воевал, может, из нашей части человек», — подумал он и вошел в соседнюю комнату, в которой за большим столом над раскрытой банкой консервов сидели два солдата. Один из них, молодой, светловолосый паренек с орденом Славы, сидел лицом к двери.

— Присаживайся к нам, браток, хлебнем малость! —

постучал пальцем по фляге второй боец, сидевший спиной к двери, и повернул голову к Аниканову.

Сержант увидел на его левой щеке глубокий шрам...

«Он!.. Вчерашний!» — мелькнуло в голове Аниканова.

На лице человека со шрамом мгновенно исчезла улыбка. Шрам из красного стал лиловым. Холодные, злые глаза в упор смотрели на разведчика. Но это продолжалось один миг. Человек со шрамом первым пришел в себя и сильным ударом головы сшиб Аниканова с ног, выхватил из-под шинели маузер, выстрелил в разведчика. Затем он схватил вещевой мешок, метнулся к окну, вышиб раму и исчез в лесу.

Все это случилось так быстро, что молодой солдат, сидевший за столом, не успел даже сообразить, что же произошло на его глазах. И лишь когда человек со шрамом скрылся, он подбежал к Аниканову и приподнял его

Лицо сержанта было залито кровью.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВЕЩЕВОЙ МЕШОК

Сознание медленно возвращалось к разведчику. Он попытался открыть глаза, но они были залиты кровью, которая склеила ресницы. Аниканов сделал большое усилие и открыл глаза. Первое, что он увидел, это был молодой солдат с орденом Славы, вытаскивающий из вещевого мешка ракетницу.

Память быстро воскресила все случившееся в последние минуты; вскочив на ноги, Аниканов схватил лежащий рядом автомат и наставил на солдата. Тот испуганно и удивленно смотрел на разведчика, лицо которого в эту минуту было страшным. Ракетница выпала из рук бойца и стукнула о пол. Аниканов связал оторпевшего солдата и стал рассматривать содержимое вещевого мешка, обыкновенного простого вещевого мешка, которым вместо ранца снабжены советские бойцы.

Однако предметы, вынутые Аникановым из мешка, никак не могли считаться принадлежностью солдатского обихода. Ракетница с запасом ракет, немецкая карта, какие-то порошки в стеклянных ампулах, серый штатский костюм — для чего бы все это нашему бойцу?!

— Хорош же у тебя набор! — проговорил Аниканов, с усмешкой глядя на связанного.

Затем он принялся выворачивать карманы серого костюма. Но в них ничего не оказалось, если не считать дешевой открытки с лубочным рисунком, изображавшим сидящую на ветке какую-то птицу с длинным клювом. На обратной стороне открытки четкими готическими буквами было выведено несколько слов.

— Лирический ты, видать, фриц. От Гретхен, что ли, на память получил? — обратился к своему вынужденному собеседнику Аниканов.

— Да это не... — начал было солдат, но его перебил разведчик:

— Ну ладно, не от Гретхен, так от Берты. Не все ли равно!. Пошли. Майору расскажешь, как зовут твою кралю.

Они двинулись к выходу: впереди — молодой солдат, а за ним — Аниканов с вещевым мешком, в который он снова уложил все найденные вещи.

У самой двери разведчик остановил задержанного и начал внимательно разглядывать дырку, проделанную пулей.

Старик сидел в прежней позе у своей печки, словно в его доме ничего и не случилось. Но когда Аниканов и задержанный им солдат скрылись за дверью, старик с быстротой, которой никак нельзя было ожидать в его возрасте, выскочил в сени, подставил лестницу к закрытому люку, приподнял крышку головой и исчез в полумраке чердака.

Аниканов тем временем вышел с задержанным на тропинку, с которой он недавно свернул к домику лесника, и направился в сторону своего штаба.

А в это время через слуховое окно чердака за ними внимательно наблюдали две пары глаз.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. «КРАСНЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ»

— Мы действуем на два часа позже, в 5.00. В 3.00 начинается наш левый сосед. Там будет главный удар.

Начальник разведки майор Орлов внимательно выслушал полковника.

— Так вот почему ушли от нас сегодня танки налево. Значит, тут никого нет! — сказал Орлов, указывая

пальцем на окаймленное рощицей озеро, обозначенное на карте.

— Да, никого. Ну, все понятно? — спросил полковник, встав из-за стола.

— Так точно! — ответил майор, провожая начальника штаба из блиндажа.

Они вышли на улицу. Дул легкий весенний ветерок. Солнце только что скрылось за гребнем гор.

Майор взглянул вслед удаляющемуся полковнику и увидел Аниканова. Впереди разведчика шел солдат со связанными руками.

— Кто это? — спросил Орлов Аниканова, указывая на бойца.

— Сейчас доложу все по порядку, товарищ майор! — ответил сержант и рассказал начальнику, что произошло за последние часы.

Орлов приказал своему ординарцу отвести задержанного к коменданту, а сам, войдя в блиндаж, вместе с Аникановым стал рассматривать содержимое вещевого мешка, принесенного разведчиком.

— Это все, что было у задержанного? — спросил начальник разведки.

— Все, — ответил сержант. А потом, что-то вспомнив, сунул руку в карман и вытащил оттуда открытку с изображением птицы. — Вот, карточка еще...

Орлов посмотрел на птицу с длинным и острым клювом, затем перевернул открытку обратной стороной и стал читать написанное там.

— Да... Любопытно, — задумчиво произнес майор и начал переводить текст, записывая его на бумагу.

Аниканов взглянул через плечо на переведенную майором надпись и удивился бессвязным фразам:

*Птичий глаз. 1. 2. 3...
Красный. Синий Красный.*

— Вот это шарада! — сказал Орлов.

Аниканов напряженно думал, стараясь вникнуть в смысл непонятных слов.

— Где находится домик лесника? — прервал его размышления майор и положил перед разведчиком карту. Взгляд сержанта заскользил по карте, разрисованной красными и синими линиями.

— Птичий глаз! — почти крикнул Аниканов, указывая пальцем на карту.

Орлов взглянул на палец разведчика и увидел условное обозначение озера, окаймленного рощей, от которого только сегодня наши танки ушли влево.

Круглое озеро, обросшее деревьями, на карте было удивительно похоже на птичий глаз...

Аниканов показал начальнику разведки ракеты, снова вынутые им из вещевого мешка. Их было шесть штук — четыре красных и две синих...

— Теперь, кажется, все ясно! — сказал майор и взглянул на часы.

Было ровно двенадцать.

Начальник разведки вновь развернул перед Аникановым карту.

— Прошу слушать меня внимательно. Задание ответственное и срочное!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. В ДВУХ ШТАБАХ

Полковник Ланге был в великолепном настроении. Обычно осторожный и сдержанный в выражении своих чувств, сейчас он ни на минуту не сомневался в успехе предпринятой им операции, а потому и пребывал в добром расположении духа.

— Через пять минут русские получают хороший подарок! — проговорил он, взглянув на фосфоресцирующий циферблат часов

— О да! Для них это будет большим сюрпризом. Тридцать «юнкеров»! Давно уж над их головами не появлялось такое количество наших самолетов одновременно, да еще ночью!

Глаза майора Шредера за стеклами роговых очков сощурились.

— Так сколько, господин майор, в районе «Птичьего глаза» русских танков? — спросил Ланге.

— По последним сведениям разведки — девяносто, господин полковник!

— Очень хорошо! Пойдемте полюбуемся на иллюминацию...

Офицеры вышли на улицу и прислушались. Где-то далеко сзади слышался нарастающий гул «юнкеров».

— Смотрите туда! — указал полковник в сторону

переднего края. — Отсюда до «Птичьего глаза» семь километров, и мы с вами сейчас увидим ракеты «Меченого волка». Он там.

В воздух взвилась красная ракета... Но не там, куда указывал полковник, а справа от них, всего лишь в нескольких сотнях метров. Догоняя ее, в небо полетела синяя ракета, а за ней — снова красная...

К этому времени «юнкеры» были уже над головами полковника и майора, и воздух наполнился свистом летящих бомб. Немцы поспешно нырнули в бункер.

Земля содрогалась от сильных взрывов. По улицам села, в котором располагался штаб немецкого корпуса, в красном зареве пылающих домов метались немецкие солдаты и офицеры.

Бомбежка уже давно закончилась, но полковник и майор продолжали сидеть в бункере.

— Неужели «Меченый волк» попался? — проговорил пришедший наконец в себя полковник. — Я прошу вас, господин майор, немедленно связаться по радио с «Тринадцатой», и передайте мой приказ — найти след «Меченого волка». Главное задание он должен выполнить.

Однако тишина, наступившая после бомбежки, длилась недолго. С переднего края послышался сплошной гул разрывов. Изредка тяжелые снаряды, выпущенные из дальнобойных орудий, долетали и сюда, сотрясая своими взрывами убежище.

* * *

— Ну, слева началось! — с радостным возбуждением воскликнул начальник разведки майор Орлов.

Несколько минут он и командир разведроты старший лейтенант Закиров прислушивались к гулу артподготовки.

— Да, вы мне так и не досказали, почему немцы бомбили свой штаб? — обратился Закиров к начальнику, продолжая прерванный разговор.

— Ну вот... Когда Аниканов показал мне открытку с птицей, я сначала не обратил внимания на надпись. Но потом странный смысл этой надписи заинтересовал меня. И, расшифровывая ее, мы поняли, что цифры 1.2.3 означали: один час ночи второго числа, а цифра 3 — март. Немцы собирались в это время бомбить наши танки в районе озера. Этот немецкий разведчик

должен был дать сигнал своим самолетам. Я устроил немцам сюрприз: Аниканов пробрался к штабу немецкого корпуса и там, услышав гул самолетов, выпустил в воздух красную, синюю и еще красную ракеты. Все как полагается...

— Здорово! — не мог сдержать своего радостного удивления Закиров.

— А не угодно ли вам полюбоваться на немца, которого задержал Аниканов?

— Еще бы! Конечно, товарищ майор!

Начальник разведки приказал привести задержанного.

Каково же было его удивление, когда командир роты с радостным криком бросился обнимать приведенного солдата.

— Петров! Дружище! Вылечился!.. Да мы с ним вместе воевали два года, товарищ майор! — обернулся старший лейтенант к начальнику.

Но вдруг улыбка исчезла с лица Закирова.

— А это откуда у тебя? — холодно спросил он бойца, указывая на предметы, вынутые из его вещевого мешка.

— Это не мой мешок! — ответил спокойно боец. — Когда тот гад со шрамом удирал в окно, в спешке он схватил мой мешок, а свой оставил...

И Петров рассказал, как он зашел отдохнуть в домик лесника и встретил там человека со шрамом, который якобы тоже возвращался из госпиталя в свою часть.

— Ну, это для вас наука на всю жизнь. Впредь будете поосторожней! — сказал майор, строго посмотрев на разведчика. — Спасибо скажите Аниканову: парень выдержанный. А другой мог бы и прикончить в горячах...

Начальник разведки замолчал и стал прислушиваться к канонаде. Потом взглянул на часы и сказал старшему лейтенанту:

— Мне пора. Скоро и мы начинаем. Когда возвратится Аниканов, прикажите ему отправиться по следу человека со шрамом и найти его.

И уже у самой двери добавил:

— Дело это, разумеется, нелегкое. Поэтому и вы, товарищ Петров, отправляйтесь вместе с сержантом Аникановым. По старой дружбе он рад будет увидеть вас, — улынулся майор.

В третий раз Аниканов шел по этому пути. Он снова возвращался к домику лесника.

«Зачем приходил сюда человек со шрамом? И куда он исчез отсюда?» — рассуждал сержант. И чем больше он думал об этом, тем сложнее казалось ему его задание. Ведь до сих пор он был простым разведчиком, правда, говорят, неплохим, но все же обыкновенным дивизионным разведчиком — приводил вражеских «языков», разведывал силы и расположение неприятеля, устраивал засады, совершал дерзкие налеты на немецкие гарнизоны. Все это было для разведчиков привычным делом.

Аниканов обернулся к Петрову, с которым, как это часто бывает с людьми, устранившими существовавшее между ними недоразумение, они уже успели крепко сдружиться.

— А никого еще не было с тем человеком, когда ты вошел в домик? — спросил сержант бойца.

— Нет... Впрочем, были: тот старик, что сидел у печки, и девушка. Но они быстро вышли из комнаты, когда я появился...

«Девушка?»

Аниканов ее не видел.

Разведчики снова пошли молча. Каждый думал о своем. Вернее, об одном и том же, но только по-своему. Теперь им было ясно, что человек со шрамом — опасный и хитрый враг, замышляющий какое-то коварное дело, и что действует он не один — у него есть сообщники. Чутьем разведчика Аниканов понимал, что старик и девушка могли играть какую-то определенную роль в этом деле. Немецкий шпион появился в домике лесника не случайно. Это могло быть, конечно, так. А могло быть и не так. Стало быть, нужно выяснить, уточнить, чтобы гипотеза стала фактом...

Как бы там ни было, а размышления Аниканова все более и более утверждали его в мысли: отсюда, от этого ничем не примечательного домика, расположенного на лесной полянке и забытого, кажется, самим богом, шла нить, по которой следует искать немецкого разведчика-диверсанта.

Так, в глубоком раздумье, незаметно дошли до лесниковой усадьбы. Аниканов постучал в дверь, но ему

никго не ответил. Он постучал еще раз более настойчиво, но она была запертой. Разведчики обошли вокруг дома и остановились у окна, выбитого человеком со шрамом при бегстве. Аниканов и Петров, держа автоматы наготове, влезли в окно.

На столе по-прежнему стояла открытая банка консервов и недопитые стопки с ромом.

Аниканов и Петров отправились в переднюю комнату. У самой двери сержант остановился и стал внимательно осматривать место, где он лежал, сбитый с ног немцем. Потом он указал на отверстие от пули и, улыбаясь, проговорил:

— Плохо стреляет гад — в лежащего не попал... Однако головой дерется крепко, — и Аниканов пощупал синяк под правым глазом и распухший нос.

Передняя комната также была пуста.

Разведчики поднялись на чердак. Но и там они ничего не обнаружили. Аниканов и Петров снова вышли на улицу.

От домика лесника в глубь леса, разветвляясь, уходили две дороги.

«По какой из них мог уйти немец? — думали одновременно разведчики. — И почему он должен обязательно идти по дороге?»

Однако забираться в чащу — это все равно, что искать иголку в стоге сена.

— Придется пойти по обеим дорогам. Ты — вправо, я пойду прямо, — сказал Аниканов.

Он вынул карту и показал место, где они встретятся на следующий день.

Попрощавшись со своим новым товарищем, Петров ушел.

Аниканов двинулся своим путем. Но через некоторое время он вновь возвратился к домику. Интуиция разведчика подсказывала ему, что домик долго не будет оставаться пустым, что в нем кто-то должен появиться.

Сержант отошел в кустарник и, замаскировавшись там, стал наблюдать за жилищем.

Его предположения оправдались. Вскоре на лесной тропинке показался «знакомый» старик, которого Аниканов видел сидящим у печки. За спиной у него была квадратная ивовая корзина, наполненная доверху сухими сучьями. Старик вошел в сарай, оставил там свою

ношу и, открыв дверь большим ключом, скрылся в домике.

Аниканов быстро перебежал полянку, забрался в сарай. Там он под соломой нашел корзину, снял лежавшие наверху ветки и увидел аккуратно сложенные толовые шашки.

Он опять забросал корзину ветками и соломой. Затем снова вернулся к месту своей засады.

Вскоре старик вышел из дома, взял из сарая корзину с толом и направился по дороге, по которой должен был двигаться сержант.

Аниканов последовал за ним.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. НЕОЖИДАННЫЕ ВСТРЕЧИ

Около трех часов шел Петров по своей дороге. А лесу не было конца. Разведчик уже подумывал, не вернуться ли назад. Но что-то подсказывало ему, что он идет по верному пути, и Петров продолжал двигаться вперед, чутко прислушиваясь к лесным шорохам. Но вот наконец лес стал редеть и вскоре совсем кончился. Петров вышел на его опушку и увидел впереди большое село. Подумав немного, разведчик решил войти в него.

Через несколько минут он был уже в центре села. Тут внимание разведчика привлекли местные жители, столпившиеся возле церкви. Оттуда слышались их взволнованные голоса.

«Кажется, что-то случилось», — подумал Петров и направился к толпе. Его моментально обступили люди и на ломаном русском языке, перебивая друг друга, стали рассказывать о случившемся. Они рассказали о том, что какой-то русский солдат во время богослужения ворвался в церковь и стал бить иконы. А когда его пытались задержать, он поднял стрельбу и скрылся. Это произошло не далее как полчаса назад.

Разведчик задумался.

— А какой он из себя, этот русский солдат? — спросил он после некоторой паузы.

— Уже пожилой, среднего роста...

— Со шрамом на лице? — перебил рассказчика Петров.

— Да, на его левой щеке, кажется, был шрам, — после минутного раздумья подтвердил рассказывающий.

Спустя минуту, взволнованный и потрясенный слу-

чившимся, Петров уже шагал по одной из улиц села, где, по словам жителей, скрылся человек со шрамом. Теперь разведчику было ясно, что они имеют дело не просто с немецким шпионом и диверсантом, но и с матерым провокатором. И немец находился сейчас в селе — в этом не могло быть никакого сомнения.

«Но куда идти?» — этот вопрос возник в голове Петрова, как только он отошел несколько метров от церкви.

Разведчик остановился и стал размышлять. Потом он увидел, как дверь одного дома, расположенного недалеко от него, раскрылась, и на крыльце появилась девушка в военной форме. Петров решил зайти в этот дом и несколько минут отдохнуть.

Девушка оказалась медицинской сестрой из медсанбата.

— Не землячка ли будете? Может, из Орла? — спросил Петров, когда они вошли в комнату.

— Нет, я из Сибири, — ответила медсестра.

Они разговорились. Девушка оказалась словоохотливой. Из ее рассказов Петров понял, что она окончила курсы медсестер и только недавно приехала на фронт. Незаметно разговор зашел о старшине, который жил напротив и который, по ее словам, очень легкомысленно ведет себя: ухаживает за какой-то молодой, красивой местной женщиной и похваляется этим всюду.

— А вот как раз он и сам сюда идет, — сказала девушка, взглянув в окно.

Вошел старшина. Одет он был в щегольской френч с многочисленными карманами.

— Кто это, товарищ старшина, к вам пошел? — все еще не отрываясь от окна и не глядя на вошедшего, спросила сестра, указывая на старика с корзинкой, медленно идущего по улице...

— А, это отец моей Маргариты. Он часто к ней приходит, — ответил старшина. — Должно быть, дрова опять несет.

Петров чуть не вскрикнул: в человеке с корзинкой он узнал старого лесника из того домика, где он встретил человека со шрамом.

Разведчик хотел было выскочить на улицу, но вдруг увидел Сашу Аниканова, который шел следом за стариком, примерно в двухстах метрах от него.

«Значит, все в порядке», — успокоился Петров и,

дождавшись, когда старик скрылся во дворе, вышел на крыльцо и позвал сержанта к себе.

Когда Аниканов подходил к Петрову, на крыльцо вышла и медсестра. Аниканов взглянул на нее и оцепенел.

— Анфиса!

— Саша!

Сержант и девушка бросились друг к другу.

Петров с растерянно-удивленным видом стоял рядом. Он еще никак не мог понять, что присутствует при встрече своего нового товарища с любимой девушкой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. УЗЕЛ РАЗВЯЗЫВАЕТСЯ...

Обрадованные столь неожиданной, но все же возможной на войне встречей, Саша Аниканов и Анфиса наперебой рассказывали друг другу о том, что произошло с ними за эти четыре года. И неизвестно, сколько времени тянулся бы этот их разговор, если б Петров не напомнил им о себе.

— Ты что же это, друг, и не познакомишь меня со своей невестой? — обратился он к сержанту.

— Прости, дружок, я на радостях забыл все на свете... Знакомьтесь. Это Анфиса Ковалева, вместе в школу ходили на Алдане. А потом и работали на золотых приисках. Моя невеста...

— Вот и прекрасно! — подхватил старшина, о котором как-то все забыли. — Отпразднуем встречу двух любящих сердец!.. Прошу ко мне! «Горячее» есть, и приложение к нему найдется!..

При других обстоятельствах Аниканов уклонился бы от этого предложения — старшина не вызывал у него особой симпатии. Но сейчас оно было очень кстати — это был повод попасть в дом, куда вошел старик с корзиной тола.

И все трое направились на квартиру старшины.

У самых ворот Аниканов вдруг задержался и начал внимательно рассматривать надписи на белой стене дома. Это были обычные знаки — указатели наступавших здесь частей. Чего там только не было: стрелки, треугольники с буквами в середине, квадраты, изображение зверей и просто фамилии. Но не они задержали внимание разведчика: среди множества этих знаков он увидел на стене рисунок с изображением птицы с длинным клю-

вом, опущенным вниз, точно такой же, какой он видел на открытке, найденной в вещевом мешке человека со шрамом.

Теперь Аниканов окончательно убедился, что след шпиона найден.

Сержант быстро подбежал к Петрову, шедшему впереди старшины, и шепнул ему на ухо: «Приготовься!» Тот понимающе кивнул. Разведчики ускорили шаг, чтобы первыми войти в дом.

Аниканов с силой толкнул дверь и, сжимая в кармане рукоятку пистолета, быстро вошел в комнату. Но в ней никого не оказалось. Так же пуста была и вторая комната. Аниканов и Петров разочарованно переглянулись.

«Зачем же я задержался возле Анфисы? Что я наделал?.. Это же преступление!» — обожгла сержанта эта мысль.

Старшина был удивлен не меньше разведчиков.

— Куда же это Маргарита сбежала? — недоумевал он. — Обычно она уходила в восемь, а сейчас...

— Куда уходила? — быстро спросил Аниканов.

— А кто ее знает. Я не спрашивал...

Старшина накрыл стол. Однако разведчики, а вслед за ними и Анфиса отказались от угощения. Они посидели немного и собрались уходить.

— Почему так быстро? — обиделся старшина.

— Дела, брат, — ответил за всех Аниканов и направился к выходу.

До самых сумерек разведчики наблюдали из комнаты Анфисы за домом, где жил старшина. В течение этого времени никто не входил и не выходил.

Когда стенные часы пробили восемь, разведчики и Анфиса, которую друзья посвятили уже в суть дела, вышли на улицу и осторожно направились к дому старшины. Аниканов подошел к окну и стал прислушиваться. Но в доме было тихо.

Оставив Петрова во дворе, Аниканов и Анфиса вошли в комнату. То, что они там увидели, заставило их содрогнуться. На полу, возле стола, раскинув руки, неподвижно лежал старшина. Анфиса бросилась к нему, пощупала пульс.

— Он только что умер!..

Девушка приподняла голову старшины к свету и, разглядев пену в уголках его губ, добавила:

— Его отравили.

Аниканов посмотрел на стол, возле которого лежал старшина. На нем стояли три стакана. Разведчики поняли, что, кроме старшины, в комнате недавно было еще два человека. Аниканов стал быстро обыскивать квартиру. На кухне, возле бутылки с вином, он увидел две стеклянные ампулы. Одна из них была пуста...

Аниканов и Анфиса начали рассматривать яд, которым был отравлен старшина.

Петров, оставшийся во дворе, не терял напрасно времени. Он внимательно разглядывал постройки. Вдруг в щели одной из дверей блеснул тонкий луч света. Петров подобрался к ней и стал прислушиваться. Откуда-то снизу до него доходили глухие голоса. Он решительно толкнул дверь, но в то же мгновение раздался выстрел. Разведчик схватился за грудь и упал. Теряя сознание, он увидел, как мимо него из подвала пробежали три человека.

На выстрел во двор выбежали Аниканов и Анфиса. Увидев залитого кровью Петрова, они поспешили к нему на помощь. Девушка стала перевязывать солдата, а сержант быстро спустился в подвал. Но там уже никого не было. Только из наушников включенной радиостанции, нарушая тишину, слышался тонкий писк морзянки. Аниканов взял наушники и приложил к уху. Вслушавшись, он разобрал только одно слово: «Тринадцатая... Тринадцатая...»

Аниканов бросил наушники и стал рассматривать лежащую на столе немецкую карту. На ней был обозначен населенный пункт, в котором они находились сейчас, и мост через широкую реку в конце этого села, подчеркнутый красным карандашом.

Вспомнив про старика и про тол, принесенный им в корзине, Аниканов сразу же понял замысел диверсантов: они побежали к мосту, чтобы взорвать его.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. КОНЕЦ «МЕЧЕНОГО ВОЛКА»

Медлить было нельзя: мост, единственный на всем участке фронта, в любую минуту мог взлететь на воздух. Это если не сорвет, то, во всяком случае, замедлит начавшееся наше наступление.

Оставив Анфису возле раненого Петрова, Аниканов побежал к мосту.

Ноги вязли в липкой весенней грязи. В темноте сержант то и дело проваливался в канавы, наполненные водой, несколько раз падал.

У самого моста его окликнул часовой. Задышавшись после тяжелого бега и волнения, разведчик спросил:

— Не проходил никто по мосту?

— Только сейчас прошли трое гражданских: мужчина в шляпе, девушка и старик с корзиной...

Но Аниканов не дослушал часового. Каждая секунда его промедления могла быть роковой.

— Это диверсанты! Доложи караульному начальнику! — на бегу крикнул он часовому.

Часовой выстрелил в воздух и бросился вслед за разведчиком. Он добежал до середины моста. Здесь были главные устои, поддерживающие сооружение, — самое удобное место для взрыва. Аниканов осветил перила, настил и увидел пустую корзину, ту самую, в которой старик нес тол, — значит, тол был уже заложен.

Сержант перегнулся через перила и стал прислушиваться. В это время внизу вспыхнуло маленькое пламя зажатой спички. Аниканов перелез через перила и по балкам устоев начал быстро и бесшумно спускаться вниз. Почти у самой воды он зажег электрический фонарик. Яркий луч осветил человека, который уже готовился взобраться наверх. В руке он держал конец зажженного бикфордова шнура. Разведчик направил свет в лицо человека и сразу узнал его: на потном, разгоряченном лице был глубокий шрам...

Аниканов бросился на ослепленного светом и оторопевшего от неожиданной встречи врага. Правой рукой сержант схватил его за горло, а левой нащупал шнур и с силой оборвал его. Человек со шрамом, держась одной рукой за балку, чтобы не упасть в воду, другой старался высвободить шею от руки разведчика. Но сержант все сильнее и сильнее сжимал его горло. Задышавшийся диверсант рухнул в воду. Вместе с ним упал и Аниканов. Эта схватка длилась не более минуты. Теперь она продолжалась в воде.

Услышав всплеск, часовой, стоявший наверху, поспешил на помощь Аниканову. Вдвоем они быстро справились с немцем.

Аниканов вытащил человека со шрамом на берег. И тут же вспомнил, что диверсант был не один.

— А где же остальные двое?..

И, как бы отвечая на его вопрос, из темноты показалась группа солдат, которые вели старика и девушку.

* * *

— Поздравляю вас с успешным выполнением задания и правительственной наградой, — проговорил генерал, прикрепляя на груди Аниканова рядом с двумя орденами Славы орден Красного Знамени.

— И вас также, — обратился генерал к перевязанному Петрову, стоявшему рядом с сержантом.

— А теперь прошу отужинать со мною, — сказал комдив, указывая на накрытый стол, и подошел к телефону.

Генерал назвал номер:

— Прошу зайти ко мне. Они здесь...

Через несколько минут в комнату вошел высокий, молодой полковник с энергичным и умным лицом. Он взглянул на разведчиков спокойными глазами.

— Вот вы какие, — улыбаясь, сказал он, пожимая руки Аниканову и Петрову, и сел рядом с ними.

— Давайте выпьем за большой успех наших разведчиков, — предложил генерал.

Завязалась оживленная беседа. Разведчики возбужденно рассказывали, как они выслеживали шпионов и в конце концов поймали их.

— А известно ли вам, кого вы поймали? — обратился полковник к Аниканову и Петрову.

— Шпиона просто, и все...

— Нет, не просто шпиона, — начал свой рассказ полковник. — Мы следим за этим человеком давно и хорошо знаем его биографию. Альфред фон Штиммер еще в 1910 году окончил школу разведчиков в Баварии. И в первую мировую войну он считался у немцев одним из самых талантливых шпионов и диверсантов. Фон Штиммер был тогда известен под кличкой «Волк». Этот «Волк» исколесил полмира. Он был мастером на все руки. Шпионаж, диверсии, провокации — вот диапазон его «работы». В 1915 году он работал в Америке под руководством известного немецкого дипломата-шпиона фон Папена. Фон Штиммер подкладывал на пароходы, отправлявшиеся с военным грузом в Англию, немецкие «сигары». В пути эти «сигары» взрывались, и пароход загорался. В ту же войну «Волк» работал на Ближ-

нем Востоке вместе со знаменитым немецким шпионом Васмусом. Они путем провокаций восстанавливали арабские племена против англичан... Впрочем, англичане не оставались в долгу и делали то же самое в отношении немцев. В те годы, оставаясь неуловимым для контрразведки союзников, «Волк» был частым «гостем» в их тылу и даже проникал в штабы союзников, добывая ценные для немцев сведения.

В начале июня 1941 года Альфред фон Штиммер появился на нашей земле. Это было в те дни, когда гитлеровцы лихорадочно готовились к нападению на Советский Союз. «Волк» должен был узнать расположение наших войск на большом участке. Но тут впервые за всю блестящую карьеру фон Штиммера ожидал провал. С первого же часа его появления на нашей земле мы преследовали «Волка» по пятам. Но он несколько раз ускользал из наших рук. Однажды два советских пограничника ранили его при попытке проникнуть к важному объекту Пуля задела левую щеку. Хотя фон Штиммеру тогда и удалось вернуться в свой штаб, но своего задания он не выполнил. Мы не дали ему поработать. С той поры в немецкой разведке за глубокий шрам на левой щеке его окрестили «Меченым волком». Разведчик с приметой не мог быть шпионом. Поэтому фон Штиммер долгое время работал в одной из разведывательных школ вермахта. Нам удалось выловить нескольких его учеников.

Почему же все-таки «Меченый волк» вновь появился у нас? На этот вопрос ответить трудно. Может быть, просто потому, что немецкая разведка за многие годы войны понесла большие потери и теперь стала привлекать старые кадры, по тем или иным причинам отстраненные от непосредственных операций. Возможно и другое. Известно, что немцы, желая во что бы то ни стало сдержать это решительное наступление войск нашего фронта, пытались взорвать большой мост на одной из наших важнейших коммуникаций. С такой задачей, естественно, мог быстрее и лучше справиться многоопытный, старый шпион и диверсант. А таких у немцев к концу войны, действительно, осталось немного. В этих условиях гитлеровцы могли рискнуть и пренебречь физическим недостатком одного из опытейших своих разведчиков, и эта операция была поручена «Меченому волку». Вы уже знаете, что попутно он должен был вы-

полнить второстепенные поручения, а именно: сигнализировать немецким самолетам, при помощи провокаций восстанавливать против нас местное население и т. д. Но, как видите, у нас с ним повторилась та же история, что и в 1941 году... Только в худшем варианте. Второе появление Альфреда фон Штиммера за линией нашего фронта оказалось для него, при вашем участии, товарищи разведчики, роковым. Это поистине конец «Меченого волка». Что же касается известных вам старика и девушки, то это были его помощники, завербованные еще задолго до этого из местного населения.

II. «ПРИВИДЕНИЯ» ДРЕВНЕГО ЗАМКА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. НАКАНУНЕ

Это было начало конца. Напрасно майор Шредер метался от радиостанции к телефонным аппаратам, угрожал пистолетом телеграфисту — связи с частями не было. И не могло быть. Как страшный ураган, русское наступление разметало весь немецкий корпус.

С жалким, растерянным видом Шредер вбежал в блиндаж к начальнику штаба. Но полковник Ланге встретил его спокойным, почти неподвижным взглядом своих светлых холодных глаз.

— Мне не нужен ваш доклад, майор Шредер. Случилось более страшное, чем вы думаете, — и Ланге указал на шифровку, лежащую перед ним. — Восьмое мая... Запомните эту дату, господин майор. Игра, которую мы начали в 1941 году, закончена. Мы ставили ва-банк и проиграли... У нас больше нет армии. Третья империя погибла. Но, повторяю, запомните эту дату — восьмое мая... С этого дня мы вновь начинаем борьбу за великую германскую империю... Союзники? Полагаю, найдутся и союзники — не все же радуются нашему крушению... Но сейчас речь не о них, а о нас с вами. Мы уходим в подполье. Мы становимся оборотнями. Пусть вас не пугает это слово, господин фон Шредер. Думаю, наше подполье не будет слишком продолжительным. А пока что нам придется стать оборотнями, тайной силой, невидимой и неуловимой. Если хотите, мы будем привидениями, — Ланге говорил часто, все более воодушевляясь. Майор испуганно глядел на его

лицо, которое в эту минуту было страшным. — Да, привидениями. Что может быть грознее этой тайной силы?! А когда настанет час, мы выйдем из подполья. Вновь по Европе загрохочут немецкие танки. Самолеты с черными крестами закروют солнце. Борьба продолжается! В этой борьбе мы будем еще более жестокими и беспощадными. На своем щите мы напишем девиз великих инквизиторов: «Цель оправдывает средства!» Мы не остановимся ни перед какими средствами, чтобы весь мир лежал у наших ног!..

Полковник взглянул на майора и увидел его бледное испуганное лицо и растерянно мигающие глаза за стеклами роговых очков.

— Вы боитесь, вам страшно, вы удивлены, господин майор, — вновь заговорил Ланге, в упор глядя на своего собеседника. — Вы думаете, я сошел с ума? Уверяю вас, я абсолютно здоров. Пощупайте, у меня даже пульс нормальный. Все, о чем я здесь говорю вам, продумано нами еще задолго до этого рокового дня. Два года знали мы об этом и готовились. У нас в тайных местах есть оружие. Скажу больше — там, на Западе, нам не особенно мешали, чтобы мы заблаговременно прибрали все, что нам нужно.. Есть сотни, даже тысячи людей, верных фюреру и его идеям. Эти тысячи стоят десятков тысяч солдат... Итак, борьба продолжается. Сейчас мы с вами отправимся в наш новый штаб. Оттуда на сотни километров расползутся страшные, невидимые щупальца. Придет время, и они смертельной петлей захлестнут горло врага.

Фон Шредер плохо верил в слова своего начальника. Честно говоря, ему хотелось бежать от этого человека, который тащил его в новую пропасть. Майор не прочь был бы сейчас же выскочить на дорогу и вместе с тысячами своих солдат, подняв руки, сдаться русским.

Но, как бы угадав его мысли, вновь заговорил Ланге:

— Я посвятил вас, господин фон Шредер, в нашу большую тайну, — жестким голосом сказал он. — Не пытайтесь бежать. Я найду вас всюду и буду так же суров и беспощаден, как мой великий предок Ульрих Ланге!..

При упоминании этого имени майор весь съежился и стал быстро собирать вещи.

— Они нам больше не нужны, — обратился к нему полковник. — Мы пойдем трое — я, вы, господин майор, и мой денщик.

— Франц! — окликнул полковник.

Услышав грозный оклик своего офицера, денщик, прослуживший у Ланге десять лет, быстро вбежал в комнату.

...Они шли по глухой лесной тропе. Впереди полковник Ланге, за ним — фон Шредер, и позади денщик с небольшим чемоданом.

Недалеко от полянки они остановились.

— Франц, пройдите вперед, нет ли кого на поляне, — приказал полковник денщику.

Высокий худощавый Франц пошел вперед, но тут же был остановлен голосом начальника.

— Возьмите оружие.

Ланге вытащил из кобуры свой пистолет, и, когда денщик подходил к нему, полковник в упор выстрелил ему в лицо. Разрывная пуля обезобразила лицо солдата.

Полковник раскрыл чемодан и вынул оттуда два штатских костюма. Он и фон Шредер быстро переоделись в потертую одежду. Затем они, сняв обмундирование с только что убитого денщика, натянули на его еще не остывшее тело мундир и брюки полковника.

Ланге вынул из кармана своего мундира, надетого на солдата, документы, посмотрел на них и снова вложил. Затем, глядя на кресты на мундире, взволнованно произнес:

— Полковника Ланге больше нет. Запомните и это, господин Шредер!..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. НОВЫЙ МЕЛЬНИК

Всему виной был злосчастный шатун, сломавшийся в дороге. Вот уже несколько дней из-за него шофер Ваня Большинин стоял со своей полуторкой во дворе старой водяной мельницы и, скучая, ожидал, когда приедут и возьмут его машину на буксир. Каждое утро он подходил к своему старенькому «газику», сокрушенно качал головой, выходил на улицу и смотрел на дорогу. За эти дни общительный Ваня успел узнать почти обо всем, что творилось в этом маленьком горном селении, расположенном вдали от больших дорог. Постоянным

его собеседником был старый австриец — одноногий сторож, побывавший в русском плену в первую мировую войну. Он поведал бойцу все были и небылицы.

В это утро старик, чем-то особенно взволнованный, подошел к Большинину, присел рядом с ним на старом жернове и, помолчав немного, сказал:

— Не добре будет, Иоганн...

— Что с тобой, старина? Не заболел ли?

— Нет. Я вчера видел проклятого Ульриха...

— Это что еще за Ульрих такой? — смеясь спросил шофер.

Старик указал на юг.

В полутора километрах от мельницы виднелась гора. Рядом с нею, пониже, как бы прилепившись к скале, возвышались мрачные развалины древнего замка Столетия и бури разрушили гранит. Только одна зубчатая башня устояла в борьбе с силами природы и временем.

— Там жил проклятый Ульрих. С тех пор прошло четыре века. Но и теперь нас пугает его имя. Этот немец пришел сюда со своими ландскнехтами и сделал наших предков невольниками. Он захватил всю землю вокруг. Ужас и отчаяние воцарились тогда здесь... Ульрих сжигал села, непокорные ему. Он уводил людей в этот замок, и они никогда больше не возвращались...

Старик раскурил трубку, вновь посмотрел на угрюмые развалины замка и продолжал:

— Тридцать семь лет мучил наших предков Ульрих. Но в одну ночь закончилось его страшное царство. Крестьяне с топорами, вилами и косами пошли на приступ замка. Перебили всех его обитателей, а самого Ульриха Лангера сбросили в этот водопад с башни. Лишь одному его сыну удалось скрыться. Место это так и осталось проклятым. Наши деды рассказывали, что тени Ульриха и его сподвижников очень долгое время бродили по замку и появлялись они всегда перед бедой...

Старик и Большинин настолько увлеклись беседой, что даже не заметили подошедшего к ним старшину.

— ...А вчера, когда я пошел в лес за хворостом, — продолжал сторож, — снова появился этот призрак. Это было вечером, светила луна. Призрак появился на стене башни и мгновенно исчез, как бы провалился сквозь землю. Не к добру это, Иоганн. Сегодня к нам на мель-

ницу приезжает новый хозяин, и к его приезду это плохое предзнаменование.

— А где же старый хозяин? — вдруг спросил присевший позади них старшина.

Сторож и шофер быстро оглянулись и только сейчас увидели своего нового собеседника. Это был высокий молодой парень. На его широких плечах красовались новенькие погоны старшины. Но больше всего привлекало его загорелое лицо. Уверенно и внимательно смотрели его спокойные, светлые глаза, в которых лишь изредка вспыхивала легкая усмешка. Резко очерченные губы говорили о твердом характере этого человека, а крепко сложенное тело — о большой энергии и силе.

— Уже год, как старый Гейнц продал эту мельницу. А нового мельника мы еще до сих пор не видели. Он через поверенного купил ее, и этот поверенный весь год правил его делами. И вот только вчера получили известие, что едет новый хозяин...

Не dokonчив фразы, старик замолчал и внимательно посмотрел на дорогу, по которой к мельнице приближался всадник. Он осадил коня возле мельницы и легко соскочил на землю.

Старшина окинул его быстрым взглядом. Это был уже немолодой, высокий человек в штатском. Ни с кем не разговаривая, он, привязав коня, четкой походкой вошел во двор. Сторож шепнул Большинину и старшине:

— Это, наверное, хозяин...

И старик заковылял на своей деревяшке вслед за приезжим.

Вскоре со двора раздался громкий голос нового хозяина.

— Видал, выправка? — обратился старшина к Большинину, через ворота разглядывая нового мельника.

— А ты кто будешь? — спросил шофер старшину.

— Как видишь, старшина. А по фамилии — Аниканов. Понятно?..

Шофер с удивлением посмотрел на старшину. Так вот он какой, этот знаменитый разведчик, слава о котором гремела по всему фронту!..

— Сегодня ты уедешь. Приготовься, — не обращая внимания на удивление шофера, добавил Аниканов.

Капитан Закиров встал из-за стола, еще раз посмотрел на документы, лежавшие в папке, и подошел к двери. В коридоре раздались легкие торопливые шаги. Затем кто-то осторожно постучал.

— Разрешите? — послышался девичий голос.

Капитан улыбнулся и открыл дверь. В комнату вошла молодая девушка. Она посмотрела на капитана ласковыми глазами, улыбнулась ему в ответ и подошла к окну, выходящему во двор. Вслед за ней туда подошел Закиров. Он слегка наклонился к девушке и спросил:

— Как Эльфи провела вчерашний вечер?

Девушка, мешая русский и немецкий языки, начала рассказывать о том, как она с подругами танцевала в варьете.

— Но мне не было весело, — сказала Эльфи и, смущенно улыбаясь, прильнула к груди капитана. — Ведь вас вчера там не было. Капитан стесняется танцевать с австрийкой...

Закиров не ответил. В эту минуту он внимательно смотрел во двор. Там стоял его ординарец Петров и о чем-то оживленно беседовал с молодым австрийцем. Капитан знал этого австрийца — электромонтера и слесаря при гостинице «Золотая цепь», где он снимал номер. Слесарь чинил замки, исправлял водопровод, следил за исправностью электроосвещения.

— Капитан не желает говорить со мной, — обиделась девушка и, отойдя от Закирова, начала протирать тряпкой другое окно.

— Не буду тебе мешать, — рассеянно проговорил Закиров и вышел из комнаты.

Как только девушка осталась одна, лицо ее сразу стало напряженно-серьезным. Она подбежала к столу и, волнуясь, начала перелистывать документы и карты, лежавшие в папке Закирова. Затем она выглянула в окно и кивнула слесарю, который пристально глядел на нее.

Через некоторое время он торопливо вошел в номер. Поставив у двери ящик с инструментами, австриец вытащил из кармана узкоплечный фотоаппарат. Девушка подошла к двери и повернула ключ. Слесарь, вынимая из папки документы один за другим, раскла-

дывал их на полу, освещенном утренним солнцем, и фотографировал.

Когда Закиров возвратился в свою комнату, Эльфи была уже одна. Девушка, как и прежде, старательно вытирала пыль со стола, начищала кран умывальника, расстановлиwała по местам стулья.

Окончив уборку, девушка собрала тряпки и пошла к выходу.

— Эльфи, — окликнул ее капитан и, взяв за руку, нежно посмотрел в лицо. — Не сердись. Сегодня мы будем вместе.

— До вечера, мрачный капитан! — весело сказала Эльфи и вышла.

Закиров что-то написал на четвертушке бумаги, вложил записку в папку с бумагами и позвал Петрова.

— Отнесите документы, — приказал он, когда ординарец вошел в комнату.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. АНИКАНОВ ИДЕТ ПО СЛЕДУ

Новый мельник и одноногий сторож ходили по двору. Старик рассказывал приехавшему хозяину о делах, показывал постройки. Пока они ходили, словоохотливый сторож успел сообщить мельнику о появившемся вчера привидении. Тот бросил быстрый взгляд на старика.

— Не болтай чепухи! Вижу, ты уже из ума вышел! — грубо оборвал он его и вошел в дом.

Сторож подошел к полуторке, возле которой уже хлопотал Ваня Большинин.

— Ну, старик, сейчас уезжаю. Как-нибудь доберусь на трех цилиндрах...

Через час Большинин на полном газу гнал свою машину на восток, в сторону Венгрии. Мотор «газика» ворчал ровно, без всяких перебоев и хлопков. Километрах в пяти от мельницы, на глухой лесной дороге, Большинин остановился и дал протяжный гудок. Через несколько минут из чащи леса появился Саша Аниканов и подошел к шоферу.

— Давай связи! — приказал старшина Большинину, взглянув на часы.

Шофер вышел из кабины, снял сиденье, под которым оказалась портативная радиостанция. Пока Большинин

натягивал антенну, Аниканов приготовил рацию к передаче.

— «Ястреб», «Ястреб»! «Ястреб»! — начал передавать Аниканов. — Я — «Орел», я — «Орел»!.. Ответьте! — и старшина перешел на прием.

В наушниках раздался голос капитана Закирова:

— Где вы?

— У «Осиного гнезда»... Полный порядок!

— Проверьте время. Завтра к 15.00, на линии, точка «78». Как поняли?

— Вас понял: завтра в 15.00, на линии, точка «78». — Аниканов выключил рацию, вынул из полевой сумки карту и разложил ее перед Большинным. Он показал ему на проходившую неподалеку от их стоянки австро-венгерскую границу, обозначенную на карте.

— Здесь 78-й пограничный столб на дороге. Отсюда до него шесть километров. Поезжай и жди меня там до завтра. Наблюдай за движением на дороге. — И, попрощавшись, Аниканов пошел назад, в сторону замка.

В сумерки Аниканов через густые заросли вышел на опушку леса. Отсюда хорошо были видны мрачные развалины древнего замка.

Это была груда камней, среди которых возвышалась уцелевшая башня. Она стояла у гранитной скалы, справа башню омывала горная речушка, которая низвергалась со скалы широким водопадом. От подножия скалы по каменистому руслу она катилась вниз, к старой водяной мельнице. На восток от замка находилась высокая гора, по вершине которой проходила тропка от мельницы к древним развалинам.

Аниканов зашел в кусты и, разместившись там удобнее, сквозь ветви стал наблюдать за замком. Быстро спускалась южная ночь. Мрак воцарился над землей. Вокруг было тихо. Только глухой шум водопада нарушал эту тишину.

Аниканов вынул из кармана кисет и закурил. Он анализировал все виденное за сегодняшний день и вспоминал дорогу и события, которые привели его сюда. На память пришел майский день, последний день войны. Отправившись на выполнение очередного задания, далеко за позициями противника старшина обнаружил штаб разбитого немецкого корпуса. Под вечер из одного уцелевшего от бомбежки блиндажа показались трое немцев: полковник, майор и солдат. Крадучись

они углубились в лес. Все это было понятно: в эти дни разбегалась вся гитлеровская армия. Удивило разведчика одно обстоятельство: когда он незаметно следил за немцами, около одной поляны увидел, как полковник застрелил солдата, а потом он и майор переоделись в штатское платье. Свой мундир полковник надел на убитого солдата.

Старшина подобрался к убитому и вытащил из кармана мундира документы, принадлежавшие полковнику Ланге... С того дня Аниканов по пятам преследовал двух фашистов. Он прошел за ними через Чехословакию сюда, к границе Австрии и Венгрии.

В дороге Аниканову удалось связаться с начальником разведки майором Орловым и обо всем сообщить ему. От майора пришло приказание — идти по следам гитлеровцев. Почти у самой цели он получил еще одну записку от Орлова, в которой было лаконично написано: «На старой мельнице в Н. Вас ожидает помощник — шофер Большинин».

...За воспоминаниями время прошло быстро. Постепенно мрак стал рассеиваться. Где-то за горой, слева, поднималась невидимая разведчику луна. Она осветила башню, водопад, который заискрился в лунном свете. Высунувшись из кустов, Аниканов еще напряженнее стал следить за развалинами. Вдруг на стене башни, как бы вырастая из земли, появилась тень. Она призрачно колебалась. В первую минуту разведчик оторопел. Но потом, быстро сообразив, в чем тут дело, выскочил вперед и, прячась за камнями, посмотрел на гору, возвышавшуюся против башни. Там, на вершине, он увидел силуэт человека. Восходящая луна освещала его, и огромная тень человека падала на стену башни.

«Так вот оно, привидение!» — мелькнуло в голове разведчика.

Человек сошел с горы и приблизился к водопаду. Разведчик находился от него настолько близко, что без особого труда узнал в этой долговязой фигуре нового «мельника» — полковника Ланге...

Небольшая тучка закрыла диск луны, и несколько мгновений было совершенно темно.

Тучка проплыла дальше. Луна вновь осветила водопад. Изумленный разведчик протер глаза, как бы не веря себе.

— Что за чертовщина? — прошептал он.

В самом деле, произошло что-то непонятное. Ланге, только что стоявший у водопада, исчез, будто провалился сквозь землю...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. У ПОГРАНИЧНОГО СТОЛБА

Всю ночь, притаившись, просидел Аниканов у замка. Луна давно уже скрылась за горами, время близилось к рассвету. Разведчик напряженно всматривался в темноту, прислушивался к каждому малейшему шороху. Ланге не появлялся. Новый «мельник» исчез, будто привидение.

На рассвете Аниканов решил было спуститься вниз и осмотреть мельницу: может быть, немец возвратился туда другим путем. Старшина еще раз поглядел на замок, водопад — и чуть не вскрикнул от изумления: из-за водопада показалась голова в капюшоне. Борясь с падающим водяным потоком, появилась человеческая фигура. Это был полковник Ланге. Разведчик выхватил пистолет и хотел броситься на гитлеровца, но в это время из-за водяной завесы появился второй человек в прорезиненном плаще. Откинув капюшоны, полковник и его спутник пошли по направлению к разведчику, притаившемуся за кустами. Стиснув рукоятку пистолета, Аниканов ждал. Сердце отчаянно заколотилось в его груди.

В нескольких шагах от Аниканова немцы остановились и стали продолжать, очевидно, давно начатый разговор.

— Он придет на закате, — вполголоса говорил Ланге. — Его пароль: «Привет от Эльзы». Пленку, которую принесет этот «слесарь» из «Золотой цепи», немедленно обработайте...

Оба немца, свернув в сторону и продолжая тихо разговаривать, пошли к мельнице.

Ночь, проведенная без сна, и пережитые волнения давали себя знать. Аниканов старался идти быстрее, но уставшие ноги плохо слушались его. Приходилось часто останавливаться и отдыхать. Было уже почти три часа дня. Вдруг где-то совсем недалеко от границы раздалось несколько выстрелов. Послышались крики, топот ног. Кто-то бежал в сторону Аниканова.

Через минуту замелькал человек с пистолетом в руке.

— Стой! — крикнул Аниканов.

Увидев разведчика, незнакомец мгновенно выстрелил. Пуля прожужжала над самым ухом Аниканова.

Ответный выстрел старшины был точным: незнакомец упал.

Разведчик подбежал к убитому. Если бы Аниканову случилось бывать в маленьком городке, где размещался штаб Н-ской гвардейской части, то он узнал бы в убитом слесаря из гостиницы «Золотая цепь»...

В карманах убитого ничего не оказалось, кроме небольшой герметически закупоренной коробочки. Старшина осторожно раскрыл ее и вынул оттуда проявленную фотопленку. Он посмотрел кадры на свет. Там были снимки каких-то документов и схем с надписями на русском языке.

Торопливо сунув пленку в свой карман, Аниканов побежал туда, откуда вначале были слышны выстрелы.

Почти у самой дороги, где стоял пограничный столб «78», раскинув руки, лежал Большинин. Из пробитого пулей виска стекала струйка крови. Аниканов наклонился над товарищем и приложил ухо к его сердцу. Шофер был мертв.

Разведчик посмотрел вокруг и увидел замаскированную в кустах автомашину Большинина.

...Закиров быстро откликнулся на позывные Аниканова. Видно, у штабной радиостанции давно ждали, когда голос разведчика появится в эфире. После того как старшина доложил обо всем случившемся за эти сутки, он спросил у капитана:

— Как вам доставить пленку?

— Доставьте ее не нам, а «новому мельнику», — приказал Закиров, немало удивив и озадачив этим разведчика. — Сегодня к «Осиному гнезду» выезжает Петров со своими.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. «ПРИВЕТ ОТ ЭЛЬЗЫ»

В сумерки к водопаду у замка подошел человек в штатском костюме, явно стеснявшем его движения. Оглянувшись по сторонам, он снял шляпу, нагнулся, решительно нырнул за водяную завесу и очутился в темном сыром гроте. Почти у самой воды он нащупал ногой ступеньки, уходящие вверх. Осторожно передвигаясь, человек стал подниматься по мокрой каменной лестнице. Вдруг яркий пучок света заскользил по сырм

стенам и своду узкой пещеры и остановился на нем. Теперь человек увидел, где он находится. Это был вход в подземелье. От водопада к каменной площадке, на которой он сейчас стоял, шло пять ступенек. Эта площадка была как бы плотиной, ограждавшей от потока уходящее вниз подземелье.

Свет погас, и из темноты раздался голос.

— Что принесли? — спросил кто-то по-немецки.

— Привет от Эльзы! — быстро ответил пришедший

Чья-то рука взяла его за мокрый рукав пиджака, и они стали по ступенькам спускаться вниз. Проводник долго водил своего спутника по сложным лабиринтам многочисленных подземных коридоров. Вход в подземелье остался где-то далеко. Уже не слышно было шума водопада. Кругом царила могильная тишина.

Наконец проводник остановился и постучал. Послышался скрип отодвигаемых засовов, тяжелая, кованная железом дверь медленно открылась перед пришедшими.

Проводник остался на месте, а его спутник вошел в ярко освещенное помещение. Это была роскошно обставленная комната. Его встретил невысокий человек в роговых очках. Некоторое время они внимательными взглядами изучали друг друга. И один из них узнал другого. Он видел его далеко отсюда, в последний день войны и позже, когда этот человек вместе с высоким полковником пробирались сюда.

Если бы человек в очках и видел тогда вошедшего, то он сейчас все равно не узнал бы его: костюм, снятый с убитого днем шпиона, совершенно преобразил Аниканова...

— Как дела у Эльзы? — обратился немец к разведчику.

— Все в порядке.

Аниканов вынул коробочку с фотопленкой и передал ее майору Шредеру. Тот достал из жилетного кармана лупу и стал рассматривать негативы.

— Это то, что нам нужно. Вы с Эльзой отлично поработали! — проговорил довольный Шредер. — Сейчас отправляйтесь и переоденьтесь в сухую одежду.

Опять пришлось долго идти.

Наконец Аниканова привели еще в одно подземное помещение. Оно уже не отличалось такой роскошью убранства, как комната Шредера. В полутьме за столом сидели несколько человек, азартно метавших кар-

ты. Они обернулись, чтобы посмотреть на вошедшего, и снова принялись за игру.

Переодевшись в сухую одежду, Аниканов подсел к столу и стал разглядывать игроков. Откуда они собрались сюда? Здесь сидел старик, которого в другой обстановке можно было принять за добродушного дедушку большой семьи; его партнером по игре была молодая девушка, которая могла сойти за продавщицу галантерейного магазина или секретаршу какого-нибудь учреждения. Были здесь и аккуратно одетый юноша в зеленом тирольском костюмчике, и бродяга в лохмотьях. Внешне эти люди ничем не отличались от обыкновенных мирных жителей, которых встречал Аниканов.

...Несколько дней разведчик жил в подземелье. За это время он успел хорошо познакомиться с обитателями комнаты. Но их имен Аниканов не знал, как не знали и они его имени. Тут никто никого ни о чем расспрашивать не мог. Видно было, что все эти люди собраны сюда из разных мест для какого-то дела. Для какого же?..

Об этом Аниканов узнал лишь на третий день, когда дверь подземной комнаты распахнулась и вошел «новый мельник» в сопровождении двух человек. С его появлением все быстро поднялись со своих мест.

— Мы начинаем действовать, господа! — обратился Ланге на немецком языке к присутствующим. — Это будет наш первый удар.

«Новый мельник» вынул карту и указал на помеченное на ней красным карандашом место.

— Здесь склад русских. Сегодня ночью вы отправитесь туда. Тол, бикфордовы шнуры и все остальное получите перед уходом. Вас проводит Альберт, — и Ланге указал на Аниканова.

«Значит, я продырявил какого-то Альберта», — подумал разведчик и вслух произнес:

— Слушаюсь!

— Пойдемте со мной! — приказал ему полковник

При свете электрического фонарика они стали пробираться по подземным коридорам

Ланге привел Аниканова в какое-то помещение, похожее на штаб. Там стояло несколько столов, заваленных бумагами и картами. Слева была дверь, ведущая в следующую комнату. Ланге прошел туда, оставив разведчика в первой комнате. Через открытую дверь

Аниканов услышал женский голос и голос полковника. Потом Ланге сказал:

— Вас ждет приятная встреча! — и он вместе с девушкой появился в дверях. Это была Эльфи из гостиницы «Золотая цепь»...

— Вот и ваш партнер, — указал на Аниканова полковник.

На лице девушки улыбку сменило недоумение. Она побледнела.

— Что с вами, Эльза? — испуганно спросил Ланге.

— Это не Альберт! — ответила девушка, в упор разглядывая Аниканова.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ПРОСЧЕТ ПОЛКОВНИКА ЛАНГЕ

Несколько мгновений в подземной комнате царила напряженная тишина. Полковник Ланге понял все. Перед ним был враг, разгадавший все его планы. Ненавидящими глазами смотрели они друг на друга. Девушка стояла в стороне. Растерянность и испуг так и застыли на ее лице.

Рука Ланге медленно потянулась к кобуре пистолета. Но он не успел вынуть оружия. Дверь с шумом распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся человек.

— У водопада русские! — крикнул он.

Полковник рванулся к вбежавшему и схватил его за грудь.

— Что ты сказал?! — тормозил он перепуганного человека.

— Русские!..

Ланге, не дослушав, с силой отшвырнул от себя вбежавшего и метнулся во вторую комнату, совершенно забыв о разведчике. Но Аниканов все время следил за ним. Через открытую дверь он видел, как полковник подбежал к стене и включил какой-то рубильник. Страшный взрыв потряс подземелье. Свет погас.

Полковник Ланге с фонариком в одной руке и с пистолетом в другой выскочил в первую комнату. Он осветил все углы. Но разведчик исчез.

— Вход в подземелье завален! — крикнул Ланге трясущейся Эльзе и выскочил в коридор. И здесь он понял, что просчитался. Где-то позади слышались крики людей, топот ног. Но не это ошеломило полковника: до него донесся рокот приближающегося водяного пото-

ка. Взрыв не завалил вход в подземелье, на что рассчитывал Ланге, а лишь разрушил площадку, служившую преградой водопаду. И теперь вода устремилась в подземные коридоры, затопляя их.

Был, однако, выход, о котором знал только один Ланге. Он хорошо изучил этот замок, построенный его предками более четырех столетий назад.

Вода уже плескалась у ног полковника. Ее уровень быстро поднимался. Ланге побежал в глубь подземелья по запутанным коридорам, освещая себе путь фонариком. Но бежал он туда не один. Прижимаясь к стенам, за ним осторожно крался Аниканов. Фонарик полковника служил разведчику маяком. Аниканов понимал, что Ланге пробирается куда-то не случайно.

Но вот след фонарика пропал. Аниканов побежал быстрее и в темноте чуть не наткнулся на полковника, стоявшего в глубокой нише. Немец отодвигал ржавые засовы какой-то двери. Ему с трудом удалось это...

Озираясь, Ланге побежал вверх по узкой лестнице. Когда он уже поднялся на десяток метров, Аниканов бесшумно последовал за ним.

Полковник снова остановился, опять слышался скрип засовов. Распахнулась еще одна дверь, и яркий дневной свет ударил в глаза разведчику. Аниканов ускорил шаги и выскочил на каменную площадку. Разведчик увидел немца. Раздалось несколько автоматных очередей, и пули засвистели над башней.

Полковник обернулся и хотел было снова броситься в подземелье. Но, не сделав и шага, застыл на месте от неожиданности: советский разведчик, которого Ланге считал погребенным заживо в подземелье вместе с остальными, стоял перед ним с пистолетом в руке. Ланге покорно поднял руки.

Через несколько минут по разрушенной стене на башню взобрался Петров со своими автоматчиками. Они хотели вместе с Аникановым снова сойти в подземелье. Но вода уже совершенно залила все подземные ходы. Там, внизу, многочисленные коридоры и комнаты стали могилой для помощников Ланге.

* * *

— Теперь вы поняли, полковник Ланге, что такое наступательный характер советской разведки? — спросил немца полковник Ефремов. — Ваш план мы разга-

дали с самого начала. Наши люди шли за вами по пятам от линии фронта до замка... Да, кстати, у вас в кармане мы нашли фотокопии со многих наших документов, которые сделала Эльза, она же Эльфи, она же Эржебет... Но ведь это была всего лишь приманка, на которую попались ваши агенты в гостинице «Золотая цепь»!..

Вошли Аниканов и Петров.

Полковник Ефремов приказал отвести гитлеровца, и после того, как Ланге в сопровождении конвоира скрылся за дверью, он приветливо поздоровался с разведчиками и пригласил их сесть.

— Поздравляю вас, товарищи, еще с одной большой победой. Командующий просил поздравить вас также с высокой наградой. А завтра... — полковник улыбнулся. — А завтра, друзья, вы получите новое задание. Сами знаете — служба!

1945. Балатон-Фюред. Венгрия.

КОРИЧНЕВЫЕ ТЕНИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Ну вот и хорошо... Хорошо. И я снова увижу тебя, моя маленькая Эльфи. Увижу!.. Я совершенно здоров... И тебя, старик, кажется, поцарапали? Так-то! Но мы поправимся, мы обязательно поправимся. Теперь нам жить — не им!.. Вот только немножко присядем, подышим... пять минут, всего пять... всего. Плачу? Неужели плачу? Нет, нет, нет! Я весел, я совсем весел. Я просто стар, нет, даже не стар, — я ужасно счастлив. Да, вот теперь я понимаю — очень счастлив! Я увижу ее, мою крошку Эльфи... Только посижу, совсем немного посижу... так... Как хорошо! А Вена сегодня бесподобна, нет — она прекрасна! А эти русские — просто люди! Как я долго не видел людей!..

Так бормотал, усаживаясь в маленьком сквере на Карлсплатц¹, против памятника Брамсу, совершенно седой старик. Одет он был в безобразные лохмотья. Дряблое лицо его носило следы голодного отека. Толь-

¹ Карлсплатц — центральная площадь Вены.

ко маленькие черные глаза смотрели необычайно живо и молодо.

Заметив на земле лист бумаги, он вдруг нагнулся, взял его дрожащей тонкой рукой, извлек откуда-то из лохмотьев карандаш и стал быстро набрасывать штрихи. Стайка нахальных воробьев, перепрыгивая с ветки на ветку, осмелев, уже копошилась возле самых ног старика. Наиболее шустрые вспархивали ему на плечи и, смешно кося маленькие головки, зорко следили через плечо старика за движением его длинных пальцев. Он не замечал пичужек и продолжал быстро набрасывать штрихи на бумагу.

— Нет, нет, ты еще, старый Альфред, не разучился владеть карандашом и кистью. Ты еще напишешь большое полотно! — говорил он сам с собою, глядя, как из-под карандаша встает великий музыкант.

— Спасибо, Иоганнес Брамс, — торжественно произнес художник и, торопливо сунув лист за пазуху, с трудом приподнялся и посмотрел на дорогу. Затем, тяжело опираясь на палку, направился к трамвайной остановке. Он долго глядел на ржавые рельсы, будто что-то соображая. Потом тяжело вздохнул и пошел по направлению к Фаворитенштрассе. У кинотеатра «Скала» он остановился и долго смотрел на проходившие колонны советских войск.

— И такую силу сломить захотели! — сердито проворчал старик, обращаясь к толстому маленькому господину в широкополой шляпе, проходившему мимо него. Господин в широкополой шляпе остановился, испуганно посмотрел на старого чудака и, недовольно фыркнув, быстро юркнул в толпу.

— Гм... — неопределенно промычал старик. Ему показалось знакомым лицо толстяка. Он шагнул было вслед за ним, но широкополая шляпа скрылась из виду.

Старик почувствовал, что силы покидают его, и он быстро присел у какой-то наглухо забитой двери. Ему вдруг показалось, что он никогда не дойдет до своей квартиры и не увидит своей дочери. Голова старика бессильно упала на грудь. С нее свалилась шляпа. Художник впал в забытие. Так продолжалось полчаса, а может быть, и больше. Разбудил его звон мелкой монеты, которую бросали в его шляпу прохожие.

Старый художник с удивлением поднял голову и быстро надел шляпу. Мелкие гроши посыпались на тро-

туар. Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул, один, по-видимому рабочий, в замасленном пальто, поддерживал его под руки.

* * *

Эльфи, семнадцатилетняя белокурая девушка с большими, как у покойной матери, голубыми глазами, только что вернулась с подругой в свою квартиру — крохотную полуподвальную комнатку с хроническим недостатком света. Эльфи удалось раздобыть где-то котелок картошки и килограмма два ячменных круп.

— Ты обожди, Трауде, я сейчас приготовлю обед, — говорила она подруге, миловидной девушке с капризно выпяченной нижней губкой. — Это у меня займет всего пять минут. Я второй день ничего не ела. Все жду папу. Есть мне не хотелось, да и нечего было.

— Хорошо, Эльфи, я обожду. А что, про отца так ничего и не слышно?

— Ничего. Его, наверное, давно нет в живых, и я совсем сирота. Твоя мама снова будет искать мне кровителей.

Круглое личико подруги зарделось ярким румянцем.

— Перестань, Эльфи! — закричала она. — Я не позволю говорить так о моей маме!

— Я вовсе не хотела тебя обидеть, Трауде, но твоя мама... Она и тебя продаст, если будет выгода, — вдруг не сдержалась Эльфи.

— Ну, это уже слишком! Ты, ты... негодная, злая, и я с тобой говорить не хочу!

— А разве ты не видишь, какими глазами они смотрят на тебя? Твоя мама слишком жадная женщина, чтобы пощадить свою дочь. К тому же она сейчас зла, как пантера. Разве я не знаю, что приход русских расстроил все ее планы? Ведь консервная фабрика Веленбраха ускользает из ее рук. Племянник больше не может ей помочь. Ему самому хотя бы унести ноги. А ваша вилла на берегу Дуная так и останется недостроенной...

— Перестань, умоляю тебя, Эльфи! Перестань и не говори так об этой женщине. Она все-таки моя мать!

— И все-таки это не помешает ей погубить тебя, Трауде. Мне жаль тебя!

— Но мама меня любит. Ты же сама видишь, что она одевает меня, как куклу...

— ...для того, чтобы дорожке продать. За нарядную куклу больше дадут, — перебила Эльфи подругу.

— Замолчи же! Замолчи, жестокая! — закричала Трауде, и слезы брызнули из ее глаз.

— Успокойся, Трауде, дорогая моя!.. Прости меня. Я просто несчастная, бедная девчонка, и мне хочется говорить людям только дерзости. — Эльфи обняла подругу.

Они расцеловались и присели на маленький диванчик. Разговорившись о своих девичьих делах, они даже не слышали, как кто-то вошел в коридор и раскрыл дверь комнаты.

Поддерживаемый двумя соседскими ребятишками, на пороге стоял седой старик. Эльфи долго, не приподнимаясь с дивана, глядела на него, не в силах встать на ослабевшие вдруг ноги: в беспомощном, седом старце она узнала своего отца.

— Папа! — вырвалось наконец из груди девушки, и она бросилась на шею отцу. Осыпая бесчисленными поцелуями его измученное, запыленное лицо, она твердила: — Папочка, родной мой, милый мой... Хороший папка!..

Трауде растерянно глядела то на вошедшего старика, то на его портрет, написанный когда-то им самим. «Неужели этот глубокий седой старик был тем, кто так молодо смотрит с портрета?» — думала она.

Да, это был он — сорокашестилетний художник Альфред Раунд, тот самый дядюшка Альфред, который так часто возил маленьких Эльфи и Трауде в Шонбрун¹. Ничего не осталось от того Альфреда. Только глаза — по-прежнему живые, быстрые, умные...

Эльфи и Трауде помогли художнику сесть на диван. Он еще долго не мог ничего сказать. Не отрываясь, жадно смотрел на дочь, держа ее за худенькие плечи.

— Ты меня ждала, дочь? — вдруг спросил он, утирая слабыми пальцами прозрачные капли на ее щеках. — Ждала?

— А как же, отец? Я тебя очень ждала. Я не верила Курту...

При упоминании этого имени старик вздрогнул, пальцы его затряслись, лицо сморщилось, как от невы-

¹ Ш о н б р у н — королевский парк в Вене, где находится летний дворец Франца-Иосифа.

носимой боли. Придерживая рукою грудь, он повалился на диван.

— Папочка, что с тобой? Милый, хороший мой папка!.. Трауде, дорогая, подай скорее воды. Боже мой!..

Художник выпил два глотка, и глаза его вновь оживились. Он приподнялся на руках.

— Так что говорил тебе Курт, Эльфи? Ты что-то хотела мне сказать? Я слушаю, голубка моя.

Альфред взял дочь за плечи, глядя в ее огромные, открытые, немного диковатые в минуты возбуждения глаза.

— Курт все время говорил мне, что тебя уже давно нет в живых, что ему об этом сказал какой-то гестаповец... А ее мама, — Эльфи показала на подругу, — предлагала мне выйти за него замуж... Ты бледен, отец? Тебе тяжело слушать это?..

— Нет, нет... Говори, Эльфи, говори, дочь моя. Так что же предлагала тебе фрау Раап?

— Выйти замуж за Курта...

— За Курта Зельвитца?!

— Да, отец.

— Чудовищно!

Старик снова задрожал и схватился за грудь, но Эльфи не дала ему упасть.

— Не волнуйся, отец... Ведь я не вышла за него замуж. И потом я не понимаю, почему он так неприятен тебе? Ведь Курт все-таки наш сосед.

— Он нацист...

— Но, отец, их пол-Вены.

— Курт был комендантом лагеря, в котором томился твой отец, Эльфи... Курт виновен вот в этом, — художник поднял руку к седой голове, потом долго и мучительно закашлялся, старательно выплевывая на пол свои догнивающие легкие. — И в этом виновен твой жених, Эльфи, — добавил наконец он, вытирая бледные, бескровные губы какой-то серой тряпкой. — Ты напрасно плачешь, дочь моя, твой отец живуч и скоро совсем будет здоров. Ведь их теперь нет! — почти закричал он, глядя почему-то на испуганную Трауде. — Не будет их больше никогда! — угрожающе, с расстановкой проговорил он и опять надолго закашлялся.

— Вот что наделал со мною твой жених, Эльфи! — снова прохрипел он, поднося ко рту мокрую тряпку.

— Но, отец, Курт никогда не был моим женихом.

— Он стал бы твоим мужем, если бы не они! — и старик указал на открытое маленькое оконце, в которое врывались звуки марша и голоса советских солдат, с песнями проходивших по улице. — Вот кому ты обязана жизнью своего отца, а эти... — Альфред снова посмотрел на Трауде, — эти — наши враги, Эльфи, и я прошу тебя больше не ходить к ним...

— Отец, что ты говоришь? Трауде — моя лучшая подруга. Она не может отвечать за свою мать. Ты видишь, отец, она плачет... Она даже после того, как ты ее обидел, не покидает нас. Трауде — наша, и я прошу тебя, отец, извиниться перед ней.

— Нет, нет, — Трауде подбежала к художнику. — Нет, ты прав, дядюшка Альфред, и тебе нечего извиняться. Я сейчас уйду от вас, мне не место в вашем доме... Я — гадкая, негодная тварь, я могу испоганить ваше светлое имя!.. Ты не останавливай, Эльфи, меня! Я знаю, что говорю...

Старик беспомощно и виновато разводил руками, глядя то на одну, то на другую девушку.

— Я действительно наговорил тебе лишнего, моя девочка, так ты уж прости старика. Он слаб, немощен и зол...

— Нет, нет, вы все сказали правильно — и Эльфи, и ты, дядюшка Альфред... Но только я несчастна.

— И этого не заметил я, старый дурак, — Альфред попытался встать с дивана и подойти к девушке, но не смог. — Слаб стал Альфред Раунд, — он как-то виновато улыбнулся и тяжело опустился на диван.

Эльфи все время молча следила за отцом. Она заметила в нем новую привычку говорить о себе в третьем лице. Это уже было признаком несомненной старости. Эльфи почему-то вдруг стало страшно, и она вплотную подошла к отцу. Художник поднял на нее взгляд и впервые за всю жизнь не узнал своей дочери: большими, диковатыми глазами она пристально смотрела ему в лицо и в эту минуту показалась немного чужой.

— Что с тобой, моя дочь? — испугался старик. — Почему ты так глядишь на своего отца?

— Ничего, папа, я так, — тихо ответила она и обняла шею отца. Старик крепко прижал ее к своей груди. Так, в обнимку, они сидели долго-долго, каждый со своими думами. Они не слышали, как вышла Трауде, как захлопнулась за нею дверь. В комнате стало как

будто еще тягостнее. На стене, равнодушные ко всему, по-прежнему хрипели часы, голодные мухи бились о стекла единственного, засиженного ими оконца, словно и им стало душно в этой темной, мрачной комнатухе.

— А где сейчас Курт? — вдруг спросил художник у дочери, которая встала, спохватившись, что надо готовить обед.

— Сбежал куда-то.

— Жаль.

— Что жаль, отец?

— Жаль, что сбежал, не ухлопали мерзавца... Ну ничего, моя милая, вот поправлюсь, схожу к магистру, и мы получим с тобою квартиру Курта. Мы будем жить в большой, светлой комнате. Солнце станет светить нам, Эльфи! Слышишь, нам!..

— Отец! Какой ты у меня умный, хороший! — и Эльфи поцеловала его в потный от возбуждения лоб. — Отныне солнце светит нам! — весело повторила она и, распахнув настежь крохотное оконце, закурилась по комнате, как ребенок.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Звонок не работал, и фрау Раап прислушивалась к каждому стуку. Ее беспокоило долгое отсутствие дочери. Трауде еще с утра ушла из дома и до сих пор не возвращалась. «Где бы ей быть?» — спрашивала она себя и не находила ответа.

На улице бушевал весенний ветер, срывая с крыш черепицу и камни со стен разрушенных бомбардировкой домов. То и дело слышались глухие удары — это падали на мостовую каменные и кирпичные стены. Люди, робко озираясь, быстро пробегали по тротуарам и площадям, стараясь поскорее добраться до своих квартир. Только рискуя жизнью, можно было проходить мимо зияющих провалами, ощеренных безобразными обломками строений. Ветер жутко свистел в пустых глазницах окон, кровоточащих струйками кирпичной пыли.

Осторожный стук в дверь заставил фрау Раап вздрогнуть. Первые минуты она молчала, не решаясь открыть. Полные ее руки дрожали. Лицо с большими влажными мешками под глазами вытянулось. За дверью постукали настойчивее.

«Русские!» — мелькнуло в голове женщины, и это

повергло ее в еще большее смятение. Только, осторожно подойдя к двери, она догадалась спросить:

— Кто там?

— Это я, матушка Мария, Рудольф.

— Боже мой, Руди, как ты меня напугал! Я думала, что это русские.

В комнату вошел маленький толстый господин в черной широкополой шляпе, с тщательно выбритым лицом, по которому трудно было определить, смеется ли господин или он не в духе. По тому, как он быстро разделся и прошел, не спрашивая разрешения, в спальню хозяйки, можно было судить, что в этом доме он свой человек.

— Ах, а у вас здесь еще не убрано, матушка Мария, — говорил он удивительно тонким, совершенно не вязавшимся с его грузным телом голосом. — Вы простите меня, что я прошел прямо в ваши покои. Инстинкт самозащиты. С некоторых пор мне стали больше нравиться темные, уединенные местечки...

Он говорил это торопливо, немного сбивчиво, с явным оттенком раздражения, что никак не могло остаться не замеченным хозяйкой.

— Ты чем-то обеспокоен, Руди? Опять что-нибудь случилось неприятное?

— А что еще более неприятное может случиться после всего случившегося? — в свою очередь спросил он ее, но тут же добавил: — Впрочем, есть еще одна неприятность...

— Какая же, Руди?

— Вернулся Раунд.

— Что?! — Это неожиданное сообщение заставило хозяйку вздрогнуть. Рудольф и сам не ожидал, что его новость произведет столь тягостное впечатление на его приятельницу.

— Ты шутишь, Рудольф. Тебе всегда доставляет удовольствие посмеяться над бедной женщиной. Раунд не может вернуться. Племянник говорил мне, что художника нет в живых. И ты знаешь, что Курт никогда не лжет.

— А на этот раз солгал... солгал для того, чтобы поскорее заполучить Эльфи и ваше приданое, матушка Мария.

Рудольф замолчал, глядя на испуганное лицо фрау Раап.

— Почему вас так напугало появление этого господина, матушка Мария? — спросил он ее. — У меня хоть есть основания быть недовольным его приходом. 15 февраля 1934 года на Хейлигенштедтерштрассе¹ в художника стрелял я. А теперь он может стрелять в меня и... не промахнуться не в пример мне.

— А я должна рассчитывать на то же самое по той простой причине, что имею несчастье быть твоей приятельницей, Руди, и тетушкой Курта. — Фрау Раап быстро заходила по неубранной комнате, нервно перебирая пухлыми, как сосиски, пальцами. — Но ты все же шутишь, Руди. Скажи правду, кто тебе сообщил о приходе художника? — Фрау Раап и в самом деле надеялась, что Рудольф шутит. Но он заговорил серьезно, с еще большим раздражением:

— События последних дней разучили меня шутить, моя дорогая. К сожалению, все, что я сообщил вам, является правдой. Раунда я встретил час тому назад на Фаворитенштрассе. И он кажется, узнал меня. Хорошо, что на улице было много народу, и я успел скрыться.

— Щенок! Гадкий, сопливый щенок! — Фрау Раап душила бессильная ярость. — Негодный, противный щенок! — повторяла она, стараясь вложить в эти слова свое крайнее возмущение. Даже толстому, маленькому Рудольфу, привыкшему ко всяким причудам своей капризной приятельницы, стало вдруг неловко, и он поспешил успокоить ее.

— Вы напрасно беспокоитесь, — обратился он к хозяйке, — ваш «щенок» — надеюсь, вы имели в виду своего племянника, а не меня, — сделал свое дело неплохо, я бы сказал — мастерски... Раунд выглядит так, что едва ли долго протянет.

Фрау Раап действительно быстро успокоилась. На ее помятом лице появилось даже подобие улыбки.

— Где же запропала Трауде? — спросила она, желая этим показать, что художник ее больше не интересует.

«Старая шельма», — подумал Рудольф и усмехнулся, но по его лицу нельзя было заметить этой усмешки.

— Ты ее не видел, Руди?

¹ Хейлигенштедтерштрассе — маленькая улица в Вене, на которой в феврале 1934 года была расстреляна рабочая демонстрация. В этой расправе активное участие приняли хеймверовцы — австрийские фашисты.

— Вы спрашиваете о дочери? Нет, не видел. Должно быть, гуляет с русским офицером.

— Перестань, Рудольф, как тебе не стыдно мучить меня? — расслабленным голосом возразила она. — Русские нравятся моей дочери столько же, сколько и нам с тобой. Так что не будем говорить об этом.

— Хорошо, матушка Мария, я согласен — не будем говорить. Может быть, вы скажете, как ваши дела с фабрикой? Переговоры ведете? — вдруг спросил Рудольф, и в его голосе фрау Раап уловила насмешку, но виду не подавала.

— Какие могут быть сейчас переговоры, — с внешним спокойствием ответила она, делая вид, что не замечает иронии в его словах. — Веленбрах удрал в Зальцбург еще до прихода русских.

— Дела плохи, матушка Мария.

— Плохи, Руди.

— На всех улицах коммунисты устраивают митинги. Социалисты стараются перекрычить их. «Фолькс-партай»¹ делает все, чтобы перекрычить и тех и других... Что только из этого получится — неизвестно. Доктора Реннера поддерживают пока что все. Старик, оказывается, сохранил еще в себе властолюбие. Из концлагеря, говорят, возвратился инженер Фигль — лидер «народной партии»...

— Для чего ты все мне это сообщаем, Рудольф? — перебила его Раап. — Меня вовсе не интересуют ни коммунисты, ни социалисты, ни «Фолькспартай»...

— ...и не социал-националисты? — Рудольф громко захохотал. — Врете, матушка Раап, нас с вами интересуют все эти группировки. Разве для вас безразлично, кто из них придет к власти?

— По-моему, власть возьмут коммунисты. У них поддержка могущественной Красной Армии.

— Нет, вы ошибаетесь, дорогая моя! К нашему счастью, русские придерживаются иной политики — они вряд ли будут ввязываться в нашу партийную борьбу.

— Ты говоришь это, Рудольф, словно сам давно состоишь в одной из этих партий.

— В том-то и беда, что еще не состою, а состоять надо! — Рудольф встал с кресла и, приподняв занавеску, взглянул на улицу. — Выбираю, какая из них

¹ Фолькспартай — так называемая «народная партия».

наиболее подходит для меня... Коммунисты, разумеется, не в счет.

— А кто же?

— Еще не знаю. Пока что мне больше нравится «народная партия» — хотя бы своим происхождением...

— Понятно.

— Я всегда считал вас умной женщиной, матушка Мария. Иначе я бы не был вашим другом.

— Не думаете ли вы — я имею в виду не только тебя, — не думаете ли вы начинать все сначала, ну, с Хейлигеншtedтерштрассе, скажем?

— Зачем же с Хейлигеншtedтерштрассе. Можно и с другого места. Разве дело в названии?

— Я тебя понимаю, Руди.

— Вот и хорошо, моя дорогая. Скажите, я могу, как и раньше, рассчитывать на вашу поддержку?

— Вполне, Руди.

— В таком случае, разрешите мне от всей души поблагодарить вас, — растроганный толстяк приложился к пухлой, надушенной ручке хозяйки. Фрау Раап поцеловала его в горячий лоб.

— Рудольф, когда тебе будут нужны деньги, ты их всегда можешь получить у меня... с последующим возвращением, конечно, — и она бросила на стол большую пачку марок. — Эти штуки говорят убедительнее всяких ораторов, Руди. Возьми их. Здесь сто тысяч.

— Вы — ангел, матушка Мария. Я не нахожусь слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Надеюсь, уже эта наша с вами встреча послужит началом важных, больших событий!

Спрятав деньги в карман, Рудольф собрался было уходить, но она остановила его.

— Знаешь, Руди, дружба дружбой, а деньги деньгами...

— Понимаю, понимаю, матушка Мария. Я сейчас. — И он сел писать расписку.

— У меня к вам есть еще одна просьба, дорогая моя, — вдруг вспомнил он, передавая ей расписку. — Вы ведь знаете, что я старый холостяк, и эта девчонка Эльфи... ну, вы меня понимаете!

— Ах ты греховодник! — фрау Раап затряслась в припадке буйного смеха. — Я об этом только догадывалась... Что ж, теперь, пожалуй, можно. Я должна наказать племянника за его обман. Но только Эльфи

никогда не полюбит тебя, друг мой. Об этом ты подумал?

— Подумал. Мне и не нужно ее любви, матушка Мария. Я уже давно вышел из того возраста, когда влюбляются в косички. Меня интересует в Эльфи другое... Вы же знаете, я обожаю молоденьких девиц.

— Цинично, но откровенно.

— Пожалуй, так.

— Толстый негодник! События последних дней, видно, не так уж губительно подействовали на тебя!

— Закон природы сильнее всяких событий, дорогая моя! Ну, до свиданья! — Приложившись еще раз к руке хозяйки, Рудольф вышел. Затем снова вернулся и передал фрау Раап какой-то сверток. — Это для Эльфи, — сказал он.

На улице темнело. Ветер стих, и кругом стояла мрачная, зловещая тишина. Только в одном кабаре робко гремел маленький джазик, да слышался голос певицы. Над городом смутно возвышались строгие зубчатые башни Святого Стефана, распоров своими острыми шпилями темную ткань неба.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Утром следующего дня Вена узнала о капитуляции Германии. Город кипел. Люди шпалерами стояли вдоль широких улиц и в тесных, зажатых в серые коробки домов переулках. Солнце нестерпимо жгло, и в его горячих лучах красной тучей вилась кирпичная пыль.

Советские танки шли мимо парламента. На них сидели в больших черных шлемах молодые чумазые танкисты, загорелые, в выцветших гимнастерках автоматчики. Они улыбались широкими добродушными улыбками, утирая пот шлемами и пилотками. Из толпы что-то кричали, чего понять не могли русские солдаты. Венцы — тут были в основном рабочие семьи — глядели вверх. Там, над зданием парламента, возле мчавшейся чугунной колесницы, в майской нетронутой голубизне трепетал двухцветный флаг Австрийской республики. Над Веной плыли широкие мелодии штраусовских вальсов.

Высокая худая женщина упорно протискивалась сквозь толпу, поближе к шедшим красноармейцам.

— Дайте мне посмотреть на них, — обратилась

она к двум молодым людям, загородившим ей дорогу. — Пропустите меня! Они спасли моего ребенка...

Она вдруг замолчала, встретившись с холодным, откровенно злым взглядом одного из стоявших — худощавого, с темными кругами под глазами. Женщине стало страшно под этим взглядом, и она шарахнулась от него, как от черта. Тонкие губы худощавого дрогнули, и маленький — в одну линию — рот скривился в недоброй улыбке. «Боишься, сука», — мелькнуло в его голове, и от этого ему стало почему-то легче.

— Эта чернь и вправду думает, что она пришла к власти, — заговорил он, обращаясь к своему спутнику, когда они вышли в узкий и пустой переулок. — Нет, они еще не знают, что мы живы!..

Молодые люди долго бродили по лабиринтам кварталов, пока не зашли в темный, прохладный ресторанчик. Хозяин, толстый господин с оплывшим красным лицом, приветливо улыбнулся им. Эти молодые люди были завсегдатаями его маленького заведения. Они сели за крохотный столик, отгороженный каменной стеной так, что его не было видно людям, входившим в ресторан.

— Бир? Вайн? — спросил толстяк, почтительно склонившись перед молодыми людьми.

— Шнапс! — коротко отрубил сухощавый. — Шнапс и музыку!

— Битте, герр.

Толстяк засуетился. Через минуту джаз — одна скрипка, аккордеон, гитара и пианино — заиграл, вернее, захрипел, потому что музыканты еще раньше все перепились от радости — им больше не угрожал фольксштурм.

— Как тебе нравится эта музыка? — спросил собеседник сухощавого, маленькими глотками отхлебывавшего шнапс из рюмки.

— Во всяком случае, она меньше режет мой слух, Пауль, чем та, на Ринге¹... А главное — мы можем поговорить, не рискуя быть подслушанными...

— Понимаю тебя, Курт. Однако мы должны благодарить всевышнего, что остались живы, выпутались из всей этой истории...

— Да, за это, пожалуй, следует поблагодарить ста-

¹ Ринг — центральная улица Вены.

рика. Но это не все. Нам еще надо подумать над тем, как сохранить свои шкуры... Впрочем, тебе опасаться нечего. Рядовой член национал-социалистской партии, которых миллионы. К тому же вовремя покинул Восточный фронт... Попросишь хорошенько,пустишь слезу, расскаешься — и тебя помилуют, отпустят душу на покаяние.

Сухощавый говорил это, стараясь задеть своего приятеля за живое.

— А если я не расскаюсь? — говорил Пауль, круглолицый, с большими навывкате голубыми глазами. Он и в самом деле был задет за живое словами друга. — Если не расскаюсь?!

— Осторожней, ты, мальчик! — жестко оборвал его Курт. — Ты не на митинге гитлерюгенда! Раскаяться тебе все равно придется.

— Кто этого требует?

— Я! — Тяжелая сухая рука Курта легла на плечо приятеля. — Ты отречешься от фюрера, от его идей. Назовешь их бредовыми. Так нужно. Я бы и сам это сделал, да мне не поверят. Комендант лагеря, старый эсэсовец и прочее...

— А что же будет дальше? — Пауль чувствовал, что его держат крепкие руки и что он не может возразить этому человеку хотя бы одним словом.

— Дальше? — Курт выглянул из-за стенки: в ресторане никого не было. — Дальше? — повторил он и вдруг — мечтательно: — А помнишь, Пауль, мы с тобой носили тогда коротенькие штанишки. Мы пели вот это... — Он продекламировал вполголоса: — «Если весь мир будет лежать в развалинах, к черту — нам на это наплевать! Мы все равно будем маршировать, потому что сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир!» Мы пели эту песню задолго до аншлюса...

— Так что же, Курт, все сначала?

— Ты мне нравишься, мой друг, — Курт крепко тряхнул Пауля за плечо. — Придется начинать... «Смеется тот, кто смеется последним», — говорили русские пленные в моем лагере. Они были правы, эти животные, и платились за свои слова шкурой... Но почему бы нам теперь не сказать то же самое русским? Жаль, что пройдет слишком много времени и мы будем уже немолодыми, когда вернется прежнее. Впрочем, это не так важно. Фюреру тоже пришлось долго скитаться,

пока он стал фюрером. Он начинал вот так же, как и мы с тобой, Пауль, с ресторана, с тухлого тирольского кабачка.

— А кончил? — невольно вырвалось у Пауля.

— Не всем до конца сопутствует удача, — спокойно ответил Курт, выпив последний глоток. — Чего не смог сделать Адольф Гитлер, сделаем мы, его питомцы.

Курт едва удержался, чтобы не крикнуть «Хайль Гитлер!».

— А как у тебя обстоят дела с Эльфи? — неожиданно спросил Пауль, которому давно хотелось перевести разговор на другую тему.

— Скверно. Вернулся ее отец. Как я теперь жалею, что не прикончил его в лагере. А ведь думал. Теперь я виноват вдвойне перед своей тетушкой. Во-первых, обещал ей уладить дела с Веленбрахом о консервной фабрике и не успел этого сделать; во-вторых, не убил художника, с которым у нее старые счеты и которого она, кажется, очень боится. Мои потери — Эльфи и тетушкино приданое.

— Ты упомянул, Курт, Веленбраха. Где сейчас этот старик?

— О, эта хитрая лиса заблаговременно убралась в Зальцбург... точно так же, как ты вовремя смылся с Восточного фронта, Пауль.

— Почему ты мне все время говоришь об этом, Курт? — Пауль был красный и от стыда и от злобы.

— Не обижайся. Я всегда люблю шутить, — поспешил успокоить его Курт.

— Что-то не нравятся мне твои шутки.

— Ничего. Когда-нибудь понравятся, — в голосе Курта прозвенели нотки, которых Пауль всегда побаивался.

— Ну, нам пора. Пойдем, Курт, — и Пауль встал, желая поскорее закончить не совсем приятную для него беседу.

На углу они распрощались.

— В Вене меня пока не будет, — коротко сообщил Курт. — Мне необходимо побывать в Линце и Зальцбурге.

Ночевал он у своего старого товарища, который когда-то работал его помощником в лагере и с которым они одновременно вступали в национал-социалистскую партию. Курт бросил на стол шляпу, сорвал с тон-

кой шей галстук и подошел к зеркалу. На него глянуло сухощавое, продолговатое лицо с впалыми бледными щеками, с лихорадочно поблескивающими утомленными глазами. Острый, как киль, кадык шевелился на шее. Курт задумался. Его память, точно вспышка магния, высветила и выхватила из минувшего тот вечер, когда он впервые вот перед этим зеркалом примерял немецкую форму, готовясь к первому гитлеровскому параду в Вене. Мундир только что принесли ему из штаба. Он плотно обтягивал его тонкую, стройную фигуру. Две ломаные линии, словно молнии, поблескивали на правой стороне воротника. Это знак принадлежности к войскам СС. А потом... потом стремительным потоком потекла его жизнь. Дела его быстро пошли в гору. Полтора года жег деревни в Югославии, насиловал тонких, черномазых девушек. Веселое было время!.. Затем пустяковое ранение на каком-то горном перевале. Снова Вена. Кресты на мундире, слава, чины... Назначение комендантом концлагеря, упоительное зрелище убийств, казней, человеческих мучений. «У тебя нет нервов. Солдату они не нужны. Убивай!» И он убивал. Верой и правдой служил фюреру. Холодная, как сталь, воля...

А сейчас? Разве все потеряно? Нет, врешь! Голова осталась на плечах у группенштурмфюрера Курта Зельвитца. Он еще снова заставит трепетать людей. Недаром он стоит сейчас, как в тот памятный вечер, перед тем же зеркалом!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Мама, ты требуешь от меня невозможного. Эльфи ни за что не пойдет к нам. Отец ее взбешен. Ты знаешь, что он может наделать, если только узнает, что она была у нас...

— Меня вовсе не интересует, что может наделать ее отец, — резко оборвала дочь фрау Раап. — Мне нужна Эльфи, и ты ее приведешь!

— Мама!..

— Трауде, ты начинаешь мне не нравиться. — Но, видимо, решив, что говорит с дочерью слишком прямо и грубо, фрау Раап быстро смягчила тон. — Отец ее страшно болен, Трауде, и его надо поддержать. Ты отнесешь ему вот это, — фрау Раап указала на сверток, оставленный когда-то Рудольфом, и посмотрела на дочь.

Та еще колебалась, хотя ей самой давно хотелось побывать у подруги.

— Что в этом свертке, мама? — спросила она, и по ее голосу мать поняла, что дочь согласна.

— Масло и яйца — как раз то, что нужно легочным больным, — ответила она кротким, меланхоличным голосом, обнимая дочь. — Капризная ты моя, странная девочка. Что ты все дичишься, словно чужая в этом доме? Как мне быть с тобой дальше? Ведь пора и о жеманности подумать.

Эта неожиданная материнская нежность передалась и девушке. Она обхватила мать за шею, целуя ее глаза своими румяными, припухлыми губками.

— Мама, ты у меня хорошая! Хорошая, да? — в ясных, серых глазах Трауде дрожали прозрачные капельки.

Мать заметила их.

— Что с тобой, дочь моя? Тебя не узнать. Зачем ты спрашиваешь меня об этом?

— Мамочка, милая, ты меня... не...

Припухлые губки девушки дрогнули. Она не могла говорить.

— Я очень люблю тебя.

Стук в дверь прервал их разговор. Трауде открыла и ахнула от неожиданности: перед ней стояла Эльфи. Лицо подруги осунулось, отчего стало еще лучше (Трауде сразу отметила это). Голубые глаза девушки были непомерно большими. Сама Эльфи казалась теперь какой-то маленькой, похожей на взрослого ребенка с его наивной серьезностью. Обрадованная Трауде тянула ее к себе в комнату, взвизгивая от счастья. Она чувствовала, что и рука подруги была также очень тонкой и хрупкой. Трауде испытывала огромный прилив нежности, и ей хотелось поскорее чем-нибудь помочь Эльфи.

— Эльфи, родная, что с тобой случилось? Ты так изменилась за эти две недели, — говорила она, усаживая подругу на диван.

— С отцом плохо... Я еще ни одной ночи не спала с того дня, как он вернулся... Мне кажется, он умрет.

Плечи девушки затряслись, она быстро закрыла лицо руками.

В комнату вбежала фрау Раап.

— Успокойся, милая! — наклонилась она над Эль-

фи. — Разве можно так отчаиваться? Отец твой будет жив. Ему необходимо только хорошее питание.

— А где его взять, тетушка Мария? — не отрывая лица от валика дивана, сквозь слезы проговорила Эльфи.

— Я буду счастлива, крошка моя, если ты позволишь позаботиться об этом мне, — с нежной покровительственностью заворковала фрау Раап, приподняв голову девушки и утирая пухлыми, пахнущими одеколоном пальцами ее глаза. — С твоим отцом мы враги. И, наверное, останемся ими навсегда. Но тебе не надо знать всех подробностей. Я забуду обо всем, чтобы только помочь тебе, моя милая девочка. Отцу не будет известно, откуда ты берешь эти продукты. И ты спасешь его и будешь счастлива. Я хочу помочь тебе еще и потому, что этого хочет и моя дочь... Не так ли, Трауде?

— Так, мама, — Трауде вся сияла, счастливейшими глазами посматривая на подругу (так радуются только дети, когда родители угощают их сверстников, эта радость перемешивается у них с величайшей гордостью за себя, за простую, хорошую маму, за польщенного приятеля или приятельницу).

— Ну вот, видишь, Эльфи, в нашем доме ты всегда найдешь любую помощь. А в случае чего ты можешь найти в нем, девочка, свой кров и ласку.

Эльфи молчала. Она слушала фрау Раап с каким-то смешанным чувством тревоги и радости. В ней боролись два чувства. Эльфи отлично понимала, что тетушка Раап раздобрилась вовсе не случайно, что она расставляет для нее какие-то новые сети (Эльфи не могла забыть, что подобными ласками фрау Раап пыталась сосватать ее за своего племянника. Тогда она вот точно так же показывала свои щедрости, обещая Эльфи богатое приданое). Это и тревожило девушку. Но ей очень хотелось помочь больному отцу. И это второе чувство было сильнее первого, потому что требовало немедленных действий. Фрау Раап могла дать ей эту помощь, и это радовало Эльфи, потому что последнее время она совершенно отвыкла думать о себе.

— Я вам очень благодарна, тетушка Мария. Я никогда не забуду вашей помощи... Но мне пора идти. Без меня ему еще тяжелее. Трауде, милая, ты проводишь меня?

— Конечно, Эльфи, провожу! — Трауде стала торопливо одеваться.

— Возьми вот это, Эльфи! — фрау Раап передала сверток в руки девушки. — От Рудольфа, — тихо добавила она, отчего Эльфи вздрогнула.

«Так вот оно что!» — мелькнуло в ее голове, и она чуть было не выронила сверток.

Раап заметила это и поспешила исправить дело.

— Ты напрасно боишься этого человека, моя девочка, — проговорила она как можно ласковее. — Руди очень добр и ничего не хочет от тебя. Он так же, как и мы, желает помочь тебе.

Отступать было уже поздно.

— Спасибо, — ответила девушка и, наскоро распрощавшись, вышла на улицу. Трауде пошла вместе с нею.

Обеспокоенная судьбой отца, Эльфи быстро забыла и о Рудольфе, и о фрау Раап, и обо всем, что ее ожидало. В ее руках находился увесистый сверток, и она думала, как обрадуется отец, когда она развернет его, как он будет хвалить свою умницу...

Довольная своими успехами, фрау Раап в отличнейшем настроении возвратилась в свою комнату. Но тут ей довелось пережить нечто совершенно непредвиденное: в комнате ее ожидал Рудольф. Вытянув вперед руки, толстяк шел ей навстречу все с тем же непонятым выражением лица, по которому не узнаешь, в каком настроении его владелец — весел он или зол.

— Как ты сюда попал, Руди?

Но перед тем, как ответить, он приложился к ее толстой надушенной ручке.

— Ваша дверь, матушка Мария, была почему-то незапертой...

— Ах, эта негодная девчонка Трауде! Сколько раз я ей говорила, чтобы она запирала дверь!..

— ...Я вошел и услышал ваш разговор с Эльфи. Я не стал мешать вам. Мое появление там было бы по меньшей мере неуместным. Не правда ли? И я положился во всем на вас, матушка Мария.

— Ты поступил благоразумно, Руди.

— Я тоже так думаю.

— И ты почти добился своего.

— Знаю. Мне был хорошо слышен ваш разговор. И я имел прекрасный случай еще раз убедиться в тон-

кости вашего ума, матушка Мария. Чем только я смогу отблагодарить вас!

— Хотя бы хорошей новостью, мой друг. А то с твоим приходом я всегда жду неприятных сообщений.

— Вы правы. Веселого было мало. Не слишком много его и сейчас. Однако сегодня я действительно могу кое-чем обрадовать вас, дорогая моя. Вчера у меня был инженер Рапфель. Вы его должны знать еще по хеймверу. Так вот он недавно виделся в Линце с доктором Гансом Эдлем. С его помощью инженер затевает большие дела и просил нас не остаться в стороне.

— Чего он хочет? — спросила фрау Раап, подавшись женской слабости знать обо всем немедленно.

— Предстоят парламентские выборы. Партийная борьба сейчас достигает своего апогея. Все шансы на победу у «народной партии». Однако мы сможем еще более упрочить ее положение. Тут уж не надо скупиться на средства. Речь идет о нашей жизни и смерти, моя дорогая. В «народной партии» много бывших хеймверовцев, в том числе и господин Рааб. Не думаю, чтобы они применяли решительные санкции против своих духовных братьев...

— Я тоже так думаю, мой друг... А что думает об этом Вальтер?

— Вы спрашиваете об инженере? Он думает то, что думаем мы с вами, матушка Мария. И он очень просил поддержать эту партию. Ваши деньги пришлись господам из «Фолькспартай» по вкусу и, конечно, сделали свое дело. И меня просили передать вам, матушка Мария, их глубокую благодарность.

— Очень тронута, Руди... А что еще сообщил инженер Рапфель?

Рудольф набил трубку ароматным табаком, зажег и, попыхивая ею, ответил:

— Сообщил он мне, матушка Мария, еще нечто более значительное. Под строгим секретом, разумеется. Но от вас он просил не скрывать ничего. Он также рассчитывает на вашу помощь, матушка Мария.

— Так что же он рассказал? — торопила фрау Раап.

— Инженер намеревается создать организацию.

— Название?

— Точно не помню. Но кажется — «Союз демократических борцов за свободу». Это не так важно. Важно то, кто будет в этом союзе и какую он ставит пе-

ред собой цель. Войдут в этот союз, конечно, в первую очередь члены национал-социалистской партии, в основном бывшие офицеры гитлеровской армии.

— Представляю себе этих «демократических борцов», — не выдержала фрау Раап.

— Этих молодчиков надо будет кормить, обувать и одевать, матушка Мария. Добрая половина из них будет бездельничать. Вальтер просил меня передать вам, не соблаговолите ли вы взять на себя одно его поручение...

— Какое еще черное дело поручает мне этот господин?

— Вы, как всегда, правы, моя дорогая. Речь идет о черном рынке, который вы должны использовать для финансирования организации. У вас в этом деле есть немалый опыт, и Вальтер не видит более подходящей кандидатуры. Ваши старые связи с богатыми бауэрами Тироля и промышленниками Верхней Австрии помогут вам быстро наладить дело...

— Еще что-нибудь просил инженер? — перебила она своего собеседника все по той же женской слабости.

— Да, просил.

— А что именно?

— Взять под вашу благотворительную опеку студентов.

— Это еще почему? — с напускным раздражением удивилась фрау Раап, которой, однако, все более льстили сообщения Рудольфа.

— Большинство из них должны стать членами новой организации... Кстати, вы можете поздравить своего племянника: Курт принят студентом юридического факультета Венского государственного университета. — Последние слова он произнес торжественно. — Как видите, наши дела не так уж плохи... Что же прикажете передать господину Рапфелю?

— Я подумаю, Руди. А сейчас нам надо отдохнуть. Выпьем кофе и поговорим о твоей невесте.

— С удовольствием!

Они вышли из спальни. Рудольф понял, что хозяйка на все согласна, более того — она с радостью на все согласна и медлит с ответом ради простого приличия. На столе быстро появились бутылка вермута и графин сухого вина.

— Это у вас называется кофе, матушка Мария?

Она рассмеялась.

— Неужели ты думаешь, Руди, что за хорошие новости я буду угощать своего гостя кофе?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Над Веной нависла долгая, серая осень. Тысячи зонтов, словно черные грибы-мухоморы, плыли над тротуарами. Они вырастали к шести часам утра и совершенно пропадали к трем ночи. После трех Вена пустыня и скучна. Только слышно, как с крыш падает вода, дробно стучит об асфальт, собираясь в ручейки и мчась к Дунайскому каналу, куда стекается вся нечисть огромного города. Желтые, вонючие потоки, закованные в гранит и бетон, медленно ползут меж обломков, рухнувших скелетов чугунных мостов и через не поднятые никем из воды мраморные памятники...

Одинокая голодная чайка кружится, как ночная летучая мышь, над каналом, у Шведенплатц, и ее жалобный, призывный писк вызывает невыразимую тоску в сердце. Днем не так. Днем чайка не одна. Их многие сотни выются над теплой, густой жижей, гоняясь за добычей, за крошками хлеба, бросаемых толпой зевак. А сейчас глухая ночь, и чайка одна. Может быть, чайке негде ночевать, как слепому старику шарманщику, который прижался к газетному киоску и дрожит, ожидая утра? Он знает: утром мимо заснут равнодушные, занятые своими делами люди, и, подобная одинокой чайке, заплачет шарманка — эта вековая спутница обездоленных. Из невидящих глаз шарманщика, устремленных в одну точку, будут падать на мостовую редкие, мутноватые капли, как падают в его изодранную шляпу мелкие гроши.

Изредка тут проходят полисмены — им не нужен шарманщик, им нет до него никакого дела. Пусть себе дремлет под холодным осенним дождем, вымачивает свое дряхлое тело. Скоро зима. Землю скуют морозы. И может, в одну туманную ночь тем же полисменам случится подобрать труп слепого старика...

Медленно и бесшумно течет желтая вода, словно слезы израненного города. Мечется, плачет, касаясь острым крылом воды, осиротевшая голодная чайка. Ее глаза и ночью видят хлебные крошки в вонючей, испаряющейся жиже, падающей из водосточных труб. Вот бы шарман-

щику такие глаза! Не сидел бы он денно и ночью под открытым небом и не слушал звяканья редких монет в своей шляпе... Но вот и чайка куда-то скрылась. Видно, и чайке стало тоскливо. Где ты, чайка, будешь ночевать?..

Утро. Открывает незрячие глаза шарманщик. Снова выросли живые черные грибы-мухоморы. Запевай, шарманка, плачь, старая!..

Один остановился, быстро роется в карманах промасленной тужурки, отыскивая монету. Это высокий пожилой рабочий с глубоким шрамом на левой щеке, отчего лицо рабочего кажется однобоким. Он бросил монету в шляпу шарманщика, постоял с минуту, словно не зная, что ему делать, зачем-то снял с головы шляпу. Скомкал ее в большой жилистой руке и, махнув неопределенно, зашагал большими саженками по направлению Фляйшмарктгассе.

В полдень рабочий шел по узкому переулку на западной окраине Вены, изредка посматривая на щегольски разодетых американских солдат. Их красные шарфы мелькали всюду, а больше всего — у кинотеатров, в которых демонстрировалась очередная голливудская дребедень. Напудренные девицы с копнами кипенно-белых, а то и оранжевых волос на маленьких, почти птичьих головках ожидающе посматривали на образцовых «милитери», стараясь обратить их внимание на свои, с таким трудом созданные прелести. Девицы даже пытались говорить по-английски. Но у них получалось страшно коряво. То там, то здесь слышалось: «Ол райт!», «Гуд бай!», «О'кэй!»...

Рабочий сплюнул и быстро свернул в подъезд серого трехэтажного здания. Он прошел через маленький двор и по трем ступенькам спустился вниз. Долго стоял в темноте, не решаясь постучать. Но за дверью услышали.

— Кто там? — раздался приглушенный голос. — Войдите.

Рабочий открыл дверь, ступил вперед, но ничего не увидел. В комнате было так темно, что ему пришлось некоторое время постоять, пока глаза освоятся. Кто-то рядом тяжело и хрипло дышал, силился сказать, но, видимо, от волнения не мог. Наконец вошедший увидел этого человека. Он лежал на кровати, которая стояла почти у самой двери, по-видимому, потому, что ей негде

было больше стоять. Комнатка была так мала, что человек казался в ней великаном.

Они долго вглядывались друг в друга — лежавший на кровати седой старик и вошедший рабочий.

— Что, не узнаешь, Игнац? — спросил старик и тут же забился в припадке сильного кашля.

Рабочий и впрямь не узнал художника. В последний раз они виделись с ним в феврале 1934 года на Хейлигенштедтерштрассе, во время рабочей демонстрации. Тогда это был высокий, статный мужчина с черными как смоль волосами и вечно улыбающимися, живыми, проникновенными глазами. Наверное, Альфреду и сейчас было не больше сорока шести лет, но теперь на Игнаца смотрел совершенно дряхлый старик с темными, запавшими щеками.

— Не узнаю, Альфред, — признался Игнац, дождавшись, когда художник откашлялся. — Что же с тобой наделали, друг мой?..

Раунд молчал, боясь нового приступа кашля. Игнац подошел к столу и положил булку и немного сала. Затем, взяв стул, сел у изголовья художника.

— А я тебе подарок принес, Альфред, — сказал он, вынимая из-за пазухи толстую, пожелтевшую бумагу, свернутую в трубку. — Сохранила жена моя, посмотри...

Игнац развернул лист и показал художнику. Тот вдруг весь затрясся, глаза засверкали, длинные дрожащие пальцы потянулись к листу. Рабочий помог сесть Альфреду и подал ему бумагу. Это был старый плакат: десяток огромных рук сплелись в единый мощный узловатый кулак, ниже — надпись: «Смерть хеймверовцам — фашистам! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Плакат был нарисован Альфредом Раундом, и его несли рабочие 15 февраля 1934 года по Хейлигенштедтерштрассе.

Память художника быстро воскресила минувшее. Перед его затуманенным взором побежали события того памятного дня. В тот день Альфред вышел с Игнацем из ворот Дома имени Карла Маркса¹. Было ясное, безоблачное небо. На улице толпами собирались рабочие и мелкие служащие. Трамвайное движение приостановилось. Возле кинотеатра «Нуссдорфе лихте» сто-

¹ Дом Карла Маркса — построен на средства Коммунистической партии Австрии для рабочих. Он занимает целый квартал на улице Хейлигенштедтерштрассе. Это самое большое здание в Вене.

ял большой грузовик с откинутыми бортами. На этой импровизированной трибуне находилось несколько рабочих и какой-то оратор произносил взволнованную речь. Альфред вскоре узнал в нем токаря металлического цеха — коммуниста Арнольда Лигвица. Альфред с Игнацем подошли к грузовику и тоже стали слушать токаря. А когда тот кончил говорить, они подняли свой плакат. Возбуждение возросло. Толпа двинулась по улице. Игнац передал плакат Арнольду, который поднял его высоко над головою... А потом со всех сторон показались вооруженные отряды. Началось страшное избиение демонстрантов... Упал на трамвайную линию токарь. Плакат вновь очутился в руках Игнаца... Грянул второй ружейный залп. Выстрелы точно горох рассыпались по улице. Стоны, крики, страшные ругательства... Третий залп. Раздавленной брусникой брызнула кровь из левой щеки Игнаца. Его неистовый крик: «Сволочи! Вы нам за все ответите!..» Затем к Альфреду подбежали трое с винтовками. Удар, второй... Злые глаза склонившихся над ним... Опять избиения. А дальше в памяти провал, сплошная пустота...

Воспоминания эти так разволновали художника, что он даже почувствовал в себе прилив сил. Поддерживаемый рабочим, он сидел на кровати и, не отрываясь, целовал плакат. Его губы будто чувствовали соленый привкус крови, пролитой братьями более десятка лет тому назад на одной маленькой улице Вены.

— Сволочи! — прохрипел художник и вдруг опять долго и мучительно закашлялся, с нечеловеческим усилием выплевывая жалкие остатки своих легких.

Откашлявшись, он вдруг спросил:

— А что, Игнац... останусь я жив? А?

— Конечно, Альфред, зачем ты об этом спрашиваешь? Успокойся, приляг... Вот так...

Игнац положил седую тяжелую голову художника на подушку.

— А то и спрашиваю, друг мой, что жить хочу, — тихо проговорил художник и закрыл глаза. — Жить хочу, — повторил он еще тише. — Ведь мне бы только жить сейчас... Ты видел, Игнац, какая у меня дочь? То-то, видел... Красавица! А я и портрета ее не нарисовал. Она, бедная, ждет, когда я встану и мы перейдем в новую квартиру, большую, светлую... И там я должен написать свою голубку...

Игнац слушал, опустив голову, не зная, чем помочь товарищу.

— А где она сейчас? — спросил он.

— Это ты о дочери? — художник оживился, открыл глаза. — Она теперь меня кормит. Круглые сутки хлопочет... И сейчас, наверное, ушла добывать для своего отца продукты... голубка моя... Ну, ты, Игнац, иди, а то тяжело мне говорить с тобой, а не говорить не могу... Спасибо, друг, что проведал, и за это спасибо. — Сухие длинные пальцы старика нащупали плакат. Он снова взял его и прижал к груди. Усталый и успокоенный, быстро заснул, не дождавшись, когда уйдет рабочий.

Чтобы не потревожить его, Игнац осторожно открыл дверь и на цыпочках вышел из комнаты.

На улице было темно, хоть глаз выколи. В одном из многочисленных баров повизгивала музыка. Это начинала свою жизнь подвальная Вена.

Дождь шел и шел. Нудный, холодный, липкий...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Фрау Раап вернулась в свою комнату расстроенная и злая. В ее круглых кошачьих глазах мигали зеленые огоньки. Она дышала шумно, прерывисто, как загнанная лошадь.

— Что с вами, матушка Мария? — испугался Рудольф, с нетерпением ожидавший ее возвращения из комнатки дочери. — Вы чем-то огорчены? Может быть, мне лучше уйти?..

Она метнула на него взгляд, полный негодования.

— Не говори хоть ты глупостей, Рудольф!.. А еще в министры метишь... Не кажется ли тебе, что пора уже самому заняться этой противной девчонкой. Ты знаешь, как она сейчас назвала тебя, мой друг?

— Любопытно?

— Слизняк!.. Ты бы только послушал, с каким презрением она произнесла это слово! Нет, я окончательно отказываюсь говорить с ней. Она тебе нужна. Ты и говори...

Рудольф неподвижно сидел в кресле, казалось, по-прежнему невозмутимый. Можно было подумать, что слова приятельницы совершенно не тревожили его. Выслушав до конца хозяйку, он заговорил своим тонким, немного кричающим голосом:

— Министр!.. Это вы, матушка Мария, здорово придумали — министр .. Хотя ошибаетесь: я не буду министром. Это мне не подходит. Гораздо выгоднее быть вашим агентом... Но... об этом потом. А теперь о деле. Значит, слизняк?..

Он вдруг вскочил на толстые короткие ноги и, маленький, подвижный, засуетился по комнате.

— Слизняк... слизняк, — повторял он. — А знаете, дорогая моя, Эльфи, пожалуй, права. Ведь мы с вами действительно напоминаем слизняков. Липкие... противненькие. Но тем хуже для нее! От слизняка не скоро отвяжешься!..

— Успокойся, друг мой! — заворковала фрау Раап своим мягким, подкупающим голосом (она обладала удивительной способностью сохранять равновесие даже в минуты самые отчаянные, если для нее это было выгодно). — Эта скверная девчонка не стоит того, чтобы из-за нее волноваться... Однако тебе не мешает самому поговорить с ней Она сейчас одна. Дочь я услала на Карлсplatц с кое-каким поручением. Вам никто не помешает. Ну, бог с тобой! Поди, поди...

Ласковая, мурлыкающая кошка, она привлекла его к себе и поцеловала в красный прыщеватый лоб, коснувшись его своей пышной, могучей грудью. На одно мгновение у него появилось желание. Судорожно прижав ее к себе, он хотел было поцеловать хозяйку. Она уже разжала губы, чтобы ответить... Но синие, вечно влажные мешки под ее мутно-зелеными глазами заставили его содрогнуться. «Развалина. Старая калоша», — с отвращением подумал он и быстро отстранил ее от себя. Фрау Раап смерила его уничтожающим взглядом и отвернулась. Рудольф тут же вышел из ее комнаты. Подойдя к столу, залпом опрокинул две рюмки шнапса. Но в горле было сухо. Он добавил вина. И вдруг отчаянная, какая-то злобная решимость овладела всем его существом. Маленький и красный, он без разрешения вошел к Эльфи и встал у двери, повернув за собой ключ.

Эльфи следила за ним своими огромными голубыми глазами, как всегда, чуть диковатыми в минуты крайнего возбуждения. Стоя у противоположной стены, она напоминала сейчас затравленного зверька, загнанного в хитро расставленные сети. Они оба молчали, упершись друг в друга глазами.

— Что вы хотели? — наконец проговорила она, не спуская с него своего взгляда.

Ее слова были словно сигналом для его атаки. Он подошел к девушке и сразу же обнял ее.

— Эльфи, любимая моя девочка... жизнь моя! Я больше не могу без вас... Забудем все... Вы будете счастливы, богаты... Послушайте, Эльфи! — Его жадные, забрызганные слюною губы упорно тянулись к ее ярким, как свежая рана, губам. Она отталкивала его, упираясь руками в бритый жирный подбородок. Рудольф прижимал ее к себе все сильнее и сильнее.

Девушка била его по щекам своими маленькими, слабыми руками, вырывалась.

— Пошел прочь! Пошел... прочь, — повторяла она одни и те же слова, задыхаясь от ярости.

Но Рудольф подхватил ее на руки и понес к дивану.

Она рвала на нем рыжие волосы, плевала в лицо, била по щекам, кусалась, но он не чувствовал этого, сжигаемый безумной животной страстью.

— Я буду кричать!.. Я сейчас позову полицию! — наконец вывалось у нее. Он испугался. Желание сменилось страшным гневом, и он закричал визгливым голосом:

— Так вот ты какая!.. Пусть же поддыхает ваш отец и вы с ним вместе! — он готов был разорвать ее на части.

Эльфи, воспользовавшись его замешательством, выскочила из комнаты. На лестнице она упала, сильно ушибла ногу, но боли не почувствовала. Голову сверлила единственная мысль: «Скорее, скорее уйти подальше от этого дома!» В эти минуты она даже забыла, что где-то там, на самой окраине города, в душной подвальной комнатухе лежит ее больной, голодный отец и ждет, когда его маленькая голубка принесет ему что-нибудь поесть... Она бежала по оглушаемым кабацкой музыкой улицам и переулкам как безумная, наталкивалась на проходящие пары, не извиняясь... «Дерзкая, глупая девчонка!»...

В эту ночь бедный художник так и не дождался своей дочери. И никто не знал, где она ночевала, как никто из людей не знает и не хочет знать, где ночует голодная сиротка-чайка, чей жалобный писк слышит по ночам слепой шарманщик.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Надежды Рудольфа и его приятельницы оправдались. На парламентских выборах победила «народная партия». Фигль стал канцлером II Австрийской республики. Вскоре после объявления результатов выборов и состава нового правительства один член парламента, бывший видный хеймверовец, нанес визит фрау Раап и лично передал ей благодарность «народной партии» за оказанную денежную поддержку в период предвыборной кампании.

— Ваша энергичная помощь нашей партии никогда не будет забыта австрийским народом и его нынешним правительством. Австрия спасена от большевизма. В этом есть и ваш посильный вклад, уважаемая фрау Раап! Надеюсь, вы и впредь не откажетесь от нашего сотрудничества, — закончил министр.

— Я счастлива служить моей Австрии! — торжественно произнесла польщенная столь высоким к ней обращением хозяйка.

Но на этом аудиенция не закончилась. Фрау Раап не замедлила воспользоваться визитом высокопоставленного господина для достижения своих целей. Она человек дела. И не в ее привычках отказываться от возможности урвать лакомый кусочек. Всякими тонкими, хитроумными намеками она дала понять новоявленному министру, что вовсе не хотела дарить деньги его партии, что она желала бы в качестве компенсации получить от него некоторые гарантии для своих операций на черном рынке. Эти операции, подчеркнула фрау Раап, ей крайне необходимы для возмещения убытков, вызванных финансированием «народной партии» в период предвыборной борьбы.

— Как видите, господин министр, все, что я делала, я делала для вашей уважаемой партии, рассчитывая, что и она не забудет моих усилий.

— Правительство II Австрийской республики не станет ограничивать вашей инициативы, многоуважаемая фрау Раап, — заверил он, прикладываясь к ручке хозяйки.

После этого фрау Раап поняла, что теперь ей ничто не угрожает. На другой день количество спекулянтов на черном рынке увеличилось по меньшей мере вдвое. Они кишели на Карлсплатц, юркие и увертливые. С дело-

вым, независимым видом прохаживались они по скверу, там, где стоял заброшенный окурками и оберточной бумагой памятник великому композитору. Старый Иоганнес Брамс, певец красоты и человеческой мудрости, был теперь свидетелем самого отвратительного явления современной Вены. Дельцы, жулики, темные люди, сбежавшие сюда со всех концов планеты, в большинстве своем продавшие свою родину и свой народ, для которых не было ничего святого, — торговали из-под полы всевозможной дребеденью: ручными и карманными часами, поношенными костюмами, дамскими сорочками, сигаретами различных марок, кольцами, золотыми коронками от зубов. Среди разной рвани сновали солидные господа с почтенными физиономиями, одетые поджентльменски. И было до слез смешно видеть, как такой важный господин, озираясь, показывает из-под полы дамские панталоны.

Нередко здесь можно видеть черномазых и длинноволосых верзил, торгующих порнографическими открытками. В них нетрудно узнать бежавших от народного суда четников Драже Михайловича.

Фрау Раап изредка навещала это место. Она садилась где-нибудь на лавочке так, чтобы можно было хорошо наблюдать за ходом «операций». К вечеру у нее составлялось полное представление о том, как далеко идут в своем мошенничестве ее агенты.

Полиция иногда разгоняет этот сброд, но делает это нерешительно, и спекулянты снова, как воронье, слетаются сюда. И кажется, ниже опускает свою голову композитор — юрким людишкам со стреляющими глазками нет никакого дела до памятника великому музыканту, им вообще нет никакого дела до израненного города, задыхающегося в обломках...

Пожалуй, раньше всех появляются на Карлсплатц продавцы газет.словно пробудившиеся петухи, на разные голоса выкрикивают они названия бесчисленных изданий: «Дас клейне Фольксблатт»¹, «Арбайтер Цайтунг»², «Винер Кюрир»³, «Вельтпрессе»⁴.

Нередко вместе с такой газетой продавец вынимает из своей сумки плитки шоколада, шерстяные отрезы

¹ Орган «народной партии».

² Орган социалистической партии.

³ Газета американских оккупационных войск.

⁴ Английская вечерняя газета.

с американским или английским клеймом. При этом он орет истощенным голосом: «Винер Кюрир!», «Вельт-прессе!»

Только стопки коммунистической «Фолькштимме», заваленные другими, более кричащими изданиями, скромно лежат в киосках. Но и там их находят. К ним тянутся большие, грубые руки людей в промасленных тужурках, с изъеденными металлом лицами. Это те, что получают по 150 шиллингов в месяц — деньги, которых не хватает на неделю...

Однако дела фрау Раап быстро шли в гору. Ее подвальные помещения ломились от продуктов. Каждую ночь в ее обширный двор приезжали машины, нагруженные свинными тушами и мешками с белой мукой, на которых до сих пор еще сохранились фашистские знаки: черный орел над паучьей свастикой. Широкоплечие бауэры в коротких овчинных штанах и в черных шляпах с конскими хвостами сгружали бочки с долголетним вином, муку, мясо, ящики с яйцами...

Организация Вальтера Рапфеля ни в чем не испытывала недостатка: ни в деньгах, ни в продовольствии, ни в одежде. Дела инженера складывались так, что он имел все основания оставаться довольным собой. Теперь он все чаще навещал Вену и привозил новые инструкции от духовного отца союза доктора Ганса Эдль. Особенно радовали инженера дела в университете. Курт развил там энергичную деятельность. Вальтер не раз благодарил себя за то, что назначил этого гитлеровского офицера организатором среди студентов. Он только немного побаивался, как бы Курт в своей работе не пренебрег опасностью и не зашел слишком далеко. «Осторожность, осторожность и еще раз осторожность, друзья мои, — всякий раз говорил инженеру престарелый доктор, когда Вальтер отправлялся в очередную поездку в Вену. — Вы должны беречь организацию, собирать ее по круплицам, укреплять», — напутствовал Эдль.

От открытых выступлений он советовал воздержаться до ухода оккупационных войск, в особенности советских, подчеркнул доктор. Он назвал этот период «нашим духовным возрождением».

— Нам необходимо во что бы то ни стало гальванизировать наш дух, дух национал-социалистов, в австрийском народе, пока он еще не умер. Иначе мы по-

гибнем при первой же попытке поднять голову, — горячо говорил он Вальтеру. — Это сейчас главное в вашей работе, господин инженер. Нужно почаще и по возможности в самых людных местах распространять наши листовки. Пусть знают все, что дух национал-социалистов жив в Австрии!.. За студентами посматривайте 'больше всего. Там нам удалось сохранить немало офицеров. Они впоследствии могут создать нам вроде генерального штаба... Пройдет несколько лет, и эти господа наденут на себя чиновничьи фраки. Они займут государственные должности во всех учреждениях: в судах, в магистратуре, банке, на телефонных и телеграфных станциях, в школах... Чего же нам еще нужно? Это адская машина, заложенная под Австрийской республикой!.. Республика взлетит на воздух, и мы снова встанем под знамя великой германской империи. Мы будем дураками, если не воспользуемся благосклонностью к нам верхушки нынешнего правительства. Надо полагать, оно — я имею в виду правительство — совершенно оставит нас в покое, когда получит полный суверенитет от союзников. Поэтому было бы безумием с нашей стороны выступать сейчас... Пожалуй, будет лучше, если ваши студенты постараются как можно дольше оставаться в стенах университета. Я говорю о студентах первого набора. Они составят вам ядро и подготовят немало себе подобных. Тогда мы будем иметь в государственных учреждениях не сотни наших людей, а тысячи...

От доктора Вальтер вышел окрыленный. Он немедленно отправился в Вену. С Куртом они встретились у фрау Раап. Прежде всего инженер передал студенту пачку поддельных документов, которые он изготавливал теперь в собственной мастерской.

Они проговорили почти всю ночь и расстались самым радушным образом, дав обоюдную клятву до конца отдать себя делу новой германской империи.

В самом начале фрау Раап предложила пригласить на беседу и Рудольфа. Инженер поддержал ее. Но Курт решительно запротестовал. Фрау Раап заметила, как продолговатое, бледное лицо племянника передернулось, и поняла, что он до сих пор не оставил своих вожделений насчет Эльфи и поэтому терпеть не может этого, как он однажды выразился, «противного толстяка Рудольфа».

Вальтер с большим беспокойством думал о возмож-

ной ссоре двух влиятельных членов его организации, потому что это могло кончиться нежелательными для него последствиями. Уходя, он настойчиво просил хозяйку во что бы то ни стало помирить их. Та, в свою очередь, заверила инженера, что выполнит его желание, и просила не беспокоиться.

— Можете не волноваться, господин Рапфель, я все улажу, — проворковала она, целуя его в лысеющую голову. — Буду бесконечно счастлива, если вы еще удостоите меня своим визитом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прошел год... Отцвела сирень в Штадтпарке. Много воды утекло в голубом Дунае. Но по-прежнему носит злой, примчавшийся с Альпийских гор, ветер по улицам Вены едкую кирпичную пыль. Гудит по ночам, как огромный улей, австрийская столица Медленно тащат свои дряхлые побитые туловища трамваи. Знойно дышат винным перегаром, захлебываясь бешенством джазов, многочисленные кабаре и варьете. Пучат заплывшие глаза на сверкающие ляжки дешевых танцовщиц пресыщенные буржуа. Летят под грохочущие каблучки увесистые пачки шиллингов. Купля, без слов, без сговора...

В парламенте, на трибуне, маленький человек в очках, с короткой щетинкой над верхней губой, горячо говорит о грозящей стране инфляции и продовольственной катастрофе. Едва сдерживая улыбки на жирных, тщательно выбритых физиономиях, переглядывается между собой аристократия. С видом, исполненным неподдельной скорби, слушает оратора бывший руководитель «хеймвера», ныне член парламента, господин Рааб...

Медленно, точно огромные пестрые гусеницы, расползаются трамваи по рабочим кварталам. Из них высыпают на неподметенную мостовую хмурые люди в комбинезонах, в промасленных тужурках, в железнодорожных форменках. Злые расходятся они по своим темным норам. Бросают молчаливым женам жалкий заработок и, не ужиная, заваливаются на постель... до утра, до следующей смены...

В этой части города — тишина. Улицы не оглушаются музыкой. В маленьких рабочих пивнушках нет джазов — музыкантам надо платить.

...Альфред до утра не мог заснуть. Наконец-то он закончил свою картину. Еще месяц назад художник встал на ноги. Старый товарищ Игнац помог ему подняться. С того дня, как он впервые навестил больного Раунда, рабочий приходил к нему каждый день, принося продукты и лекарства.

— Ну вот, голубка моя, теперь я отправляюсь к магистру! — торжественно объявил он своей дочери, едва солнце глянуло в их крохотное оконце. — Эту картину я покажу ему. Он поймет, что имеет дело с большим художником, которому нужна хорошая светлая комната... И мы получим с тобой, крошка моя, квартиру Курта. Чего же ты плачешь, дочь моя? А, понимаю! Ты от счастья плачешь!.. Это хорошие слезы. Их не надо стыдиться.. — говорил он, глядя голову дочери. — Ну, мне пора... А ты, Эльфи, понемножку складывай наши вещи...

Тщательно завернув картину, художник вышел. Он долго жмурился от ослепительного света, прикрываясь ладонью. Потом, освоившись, торопливо зашагал неровной старческой походкой. Эльфи следила за ним, выйдя на улицу. Он шел все увереннее. Его сухонькая фигура быстро уменьшалась. Дождавшись, когда он совершенно скрылся из виду, Эльфи вдруг сорвалась с места, вбежала в ворота и вихрем закружилась по двору, как в тот памятный день возвращения отца.

— Светлая, большая комната!.. Огромные окна! Какое счастье!.. — с этими словами она влетела в свою комнатку и со всего размаха упала на диван вниз лицом. Плечи ее задрожали в беспричинном, необъяснимом рыдании.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Пауль откинулся от бумажки на спинку кресла и, потянувшись, сладко зевнул. В раскрытые окна кабинета врывался уличный шум. Причесав мягкие, волнистые волосы, магистр поднялся с кресла. Его потянуло к окну. Руки Пауля мягко перебирали узорные занавески. Глаза помимо его воли уставились в одну точку — какую-то глупую каменную фигуру на крыше противоположного здания.

«Как все это могло получиться? — думал он, вспоминая события последних дней. — Кто бы мог поду-

мать, что Пауль Гейнц, ярый фашист, тот, который только еще год тому назад дрожал за свою шкуру, вдруг станет районным магистром в Вене, во II Австрийской республике?.. Чертовская карьера! Удивительная судьба!.. А все дело рук Курта. Умница, дьявол! Из любой истории выйдет сухим. Попробуй возьми его. Черта лысого!..»

Пауль усмехнулся: значит, еще не все потеряно, если и Курт стал студентом университета.

«Фюрер начал с вонючего тирольского кабачка», — вспомнил он слова Курта и подумал: — Ну, что ж. А мы начнем с магистратуры. Так даже лучше...»

В кабинет бесшумно вошла секретарша.

— К вам пришел какой-то молодой господин, — сказала она. — Просит встречи.

— Пожалуйста, зовите, — Пауль быстро сел за свой стол.

В дверях появился Курт. Он небрежно бросил на диван шляпу и сел напротив магистра.

— Жара невыносимая. Сдохнуть можно. У тебя прохладней, — развязно начал он, улыбаясь своими тонкими губами. Глаза же его были, как всегда, холодные, непроницаемые.

— Ты, старина, легок на помине. Только сейчас о тебе думал, — Пауль раскрыл перед приятелем портсигар. — Закуривай!..

— Да и мне вот пришлось вспомнить о тебе, Пауль. Хотя ты сейчас и большой начальник, но все же тебе придется выслушать меня, — тонкие бледные губы Курта скривились в обычную для него ироническую усмешку, на что Пауль перестал уже обращать внимание. Он видел, что глаза Курта не улыбались вовсе, лицо его было жестким. Крепкие скулы тянули сухую бледную кожу на щеках. Пауль понимал, что его ожидает неприятная беседа, и от этого ему было неловко.

— Предстоят важные события в университете, — начал Курт. — Ты, мой друг, должен устроить нам помещение, где бы мы могли собраться. Желательно, чтобы оно было подальше от шумных улиц.

Курт замолчал, не спеша налил себе стакан газировки. Отпив несколько глотков, добавил:

— Вот и все, господин магистр. Полагаю, вы не забыли нашей клятвы, — неожиданно перешел он на «вы». — Просьба, как видите, ничтожная.

— О чем может быть разговор! Конечно, подберем помещение. Это же сущая ерунда, — быстро согласился Пауль. — Мне кажется, Курт, лучше своей собственной квартиры найти нельзя. Она находится на глухой улице, во внутреннем дворе... до сих пор свободна...

— Не годится, — коротко объяснил Курт, — внизу живет отец Эльфи. Ты разве забыл, что он находился в моем лагере?..

В дверь снова постучала секретарша.

— Что еще там? — раздраженно спросил Пауль.

— К вам, господин магистр, какой-то старик.

— Черт их носит!.. Целый день не дают покоя... Курт, я попрошу тебя переждать вон в той комнате, я быстро освобожусь, — Пауль указал приятелю на дверь, покрашенную под один цвет со стенами и потому почти незаметную.

Курт легкой, пружинистой походкой прошел в маленькую комнатку, повернув за собой ключ.

— Просите, Эльза, — приказал Пауль.

Альфред Раунд вошел в кабинет, держа в одной руке шляпу, а в другой — свернутую картину.

— Гутен таг, герр магистр...

— Здравствуйте, — поздоровался Пауль. — Прошу садиться, — и он указал на стул, на котором только что сидел Курт Зельвиц.

Альфред сел и большим серым платком вытер крупные капли пота с высокого морщинистого лба. Художник был несколько удивлен. Он ожидал встретить солидного, пожилого господина, а перед ним сидел почти юноша. Однако по тону, с каким ему предложили сесть, художник понял, что все же перед ним самый настоящий магистр.

— Я художник, — сказал он. — Моя фамилия Раунд.

— Да, да, слышал о вас, — вежливо проговорил магистр. — Что вы хотели?

— Я написал картину, — продолжал Альфред, — в ней вся моя душа. Мне хотелось показать человека, возвращающегося в освобожденную Вену после долгих лет мучений в концентрационном лагере. — Он торопливо развязывал шнурки. Пауль видел, как тонкие, длинные пальцы художника слегка дрожали. — Прошу посмотреть, господин магистр...

Солнечные блики заиграли на ярких красках.

— Вы видите, — взволнованно пояснял художник, — это памятник Брамсу. А вот сидит тот самый человек. Он изможден, беспомощен. Но посмотрите на его лицо, на его глаза. Каким счастьем горят они!..

Пауль внимательно посмотрел на картину.

— Вы замечательный художник, господин Раунд, — сказал он счастливому старику. — Ваше имя узнает вся демократическая Австрия. Я уверен в этом.

Он крепко пожал руку художника.

— Сегодня же покажу ее экспертам. Это несомненный вклад в наше искусство, — магистр принял картину из дрожащих рук Альфреда. — Вы не волнуйтесь, господин Раунд, ваша картина будет сохранена.

— Благодарю вас, господин магистр...

— Чем еще могу служить вам? — спросил Пауль, заметив, что старик мнется.

— Видите ли, господин магистр, — начал, волнуясь, художник. — Я человек больной. Кроме того, для моей работы нужно светлое помещение. А живу я в маленькой полуподвальной комнатушке, в то время как наверху пустует большая квартира нациста Курта Зельвитца, бывшего коменданта лагеря, в котором я сидел...

— Так что же вы хотели? — нетерпеливо перебил Пауль.

— Я хотел бы, чтобы вы передали эту квартиру мне с дочерью, господин магистр. Ведь это же можно? — И художник с трепетной надеждой посмотрел на молодого отлично одетого господина.

Лицо Пауля изобразило глубокую задумчивость.

— К сожалению, это не так легко сделать, как вам кажется, господин Раунд, — ответил магистр. — По существующему закону, мы не можем передать чью бы то ни было квартиру другому лицу. Нарушать этот закон я не стану при всем моем искреннем желании помочь вам... Но я думаю, — быстро добавил он, видя, как бесильно склонилась голова художника, — я думаю, господин Раунд, — повторил он, помогая Альфреду встать, — что мы все-таки найдем выход. Только мне необходимо собрать некоторые справки. Не волнуйтесь, как-нибудь устроим...

Раскланявшись, художник вышел. Тотчас же открыл дверь Курт. Он был бледнее обычного.

— Кажется, ты охвачен приливом жалости, Пауль, — жестко заговорил он, с остервенением комкая

картину. — Этой мазне — вот такая цена! — И он швырнул картину в угол.

— Перестань беситься, Курт, этот старый идиот так же приятен мне, как и тебе. Но только, действительно, он очень жалок.

— На войне не нужны нервы, Пауль. Этому учил нас с тобою фюрер. А война еще не кончена, друг мой!..

— Потихе же, Курт, нас могут подслушать...

Художник уже вышел на улицу, когда вдруг вспомнил, что не оставил магистру своего адреса.

«Надо вернуться», — подумал старик.

Он снова поднялся по лестнице и, не стучась, открыл дверь кабинета. И тут он увидел сидящего рядом с магистром Курта Зельвитца и брошенную в угол свою картину. Если бы в этот жаркий августовский день на голову художника вдруг посыпался снег, он не был бы так удивлен, как при этой страшной, неожиданной встрече. Альфред плохо помнил, как нашел в себе силы, чтобы не упасть, как поднял картину и вышел из магистратуры...

Он шагал по улицам, потрясенный до глубины души. Альфред и сам не знал, куда несли теперь его ноги.

— Что же это?.. Что? — беззвучно шептали сухие губы. — Что это, друзья мои? Что случилось с тобой, моя красавица Вена?.. Что?!

Художник не заметил, как вышел на Шварцербергерплац. Ослепительный свет брызнул ему в лицо, и он невольно поднял голову. Величественное зрелище представилось взору Альфреда. В самом центре площади, у большого фонтана, на гранитном постаменте возвышалась огромная фигура русского солдата, поднявшего к самому небу победное знамя. Солнечный поток лился на золотом отливающую каску воина, излучая ослепительные брызги. Глазам было больно смотреть на этот памятник в ясный день, но не хватало сил оторвать их от монументальной фигуры русского богатыря.

Художник не мог сойти с места. Словно прикованный к асфальту, стоял он против памятника, очарованный неповторимой его красотой. Альфред не слышал, как к нему подошел маленький старичок. Только слова старика заставили художника оглянуться.

— Мое имя — Рудольф Шварц, — начал старик. Палка, на которую он опирался, слегка дрожала. — Я часто прихожу на эту площадь. А знаете, как она те-

перь называется? Сталинплатц! — последнее слово он произнес торжественно, так что его старческий голос зазвенел. — Вы, наверное, не понимаете меня, но я все расскажу... Это случилось в апреле. В город вступили русские. Бои были страшные. Они докатились и до нашей улицы — сейчас она Толбухинштрассе называется... Я не прятался в подвал. Я не мог оторваться от окна, как вы не можете теперь отвести своего взгляда от этого памятника. И я видел одного русского солдата. В него стреляли немцы. Но пули пролетали мимо. Они не трогали русского... Только путь ему преградили три гитлеровца. Двоих он убил, третий ранил русского. Со всех сторон его стали окружать немецкие солдаты, выскочившие из дворов. К нему подступали, хотели взять живым... Тогда русский солдат снял что-то с ремня и бросил себе под ноги. Раздался взрыв. Я отшатнулся от окна. А когда посмотрел снова, то увидел мертвого русского... Около него — полдюжины убитых немцев...

Старик немного помолчал, затем добавил:

— А умирать ему, наверное, очень не хотелось. Он был так молод!.. Когда я подхожу к этому памятнику, то мне всегда кажется, что это он, тот солдат, стоит здесь. Этот юноша был большим человеком!..

Художник слушал, не отрывая глаз от фигуры солдата, глядя, как солнечные блики играют на государственном гербе, который находился в левой руке воина, и на золотой каске. Слова старика вызывали какую-то неизъяснимую боль в сердце Альфреда, словно он был виноват перед русским солдатом. Когда старик закончил свой рассказ, художник вдруг упал на колени, рука его медленно стянула с головы шляпу. Протянув длинные, сухие руки к памятнику, он взволнованно прошептал:

— Прости меня, русский солдат!.. Мне стыдно за мою красавицу Вену и за мою родину... Здесь не помогли тебе во время сражений с коричневой чумой... А сейчас забыли о твоей крови! Все забыли...

Голос художника оборвался. Огненный комок подкатил к горлу, и Альфред закашлялся, выплевывая на расплавленный асфальт больные легкие. Вокруг него шумела непонятная ему теперь Вена.

Он с трудом добрался до своей квартиры. Вошел в нее, словно провалившись в темный, удушливый погреб. Где-то рядом была дочь — он это чувствовал по дыханию и едва уловимому родному запаху ее тела. Вот

она уже помогает ему снять старые туфли... ведет к кровати. Потом, будто сквозь сон, он услышал ее слова: «Умер Игнац... Раздавило прессом на заводе. Вчера хоронили».

Он хотел спросить Эльфи, как это случилось, но не смог произнести ни единого слова — его душили спазмы. «Так вот почему его не было у меня в эти дни», — мелькнуло в голове художника, и это была последняя мысль, связывающая его с телом.

Наутро художник подняться уже не смог.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Эльфи подошла к двери и в тусклом свете маленькой электрической лампочки прочла небольшую надпись: «Доктор Кунш — терапевт венской поликлиники». Она подняла было руку, чтобы нажать на кнопку звонка, как вдруг вспомнила, что у нее нет ни одного шиллинга.

«Доктор Кунш не пойдет без денег, — с ужасом подумала она, чувствуя себя не в состоянии отойти от заветного подъезда. — Бедный, бедный мой отец!.. Пойти к ним и попросить денег», — пришла вдруг в голову мысль, от которой она сама содрогнулась. Нет, нет... Она не пойдет ни за что!.. Какой ужас — пойти к ним!.. К ним, пойти к ним!.. «Боже мой!» — думала она, понимая, что уже не может отделаться от этой ужасной мысли. Она еще пыталась отогнать ее от себя, боролась, но мысль пойти к ним и попросить денег овладевала ею все сильнее и сильнее. Она продолжала сопротивляться, но ноги помимо воли девушки сами несли ее по направлению «их» дома. Она даже не заметила, как очутилась во дворе тетушки Раап. Запах свежего мяса вторгся в ноздри девушки, от него на мгновение у нее помутилось в глазах. Она облизала сухие, потрескавшиеся губы, чувствуя, как невыносимо сосет под ложечкой. Огромные блестящие глаза Эльфи не могли оторваться от людей, сносивших в подвал свежие туши. Грузчики не замечали девушку, и она продолжала стоять, загипнотизированная невиданным богатством. Ах, если бы они увидели ее и дали хотя бы один килограмм мяса из этих четырех тысяч, привезенных ими для одной фрау Раап!.. Но люди с толстыми ногами, в коротких овчинных штанах и в черных с конскими

хвостами шляпах были равнодушны или слишком недогадливы. Может быть, они думают, что она любопытствует?.. Девушки всегда любопытны... Вот один, самый толстый, даже подмигнул ей. Он тихо напевал тирольские напевы и, видимо, был чертовски доволен собой. Что ему... Он изредка покрикивал на грузчиков, и Эльфи решила, что этот господин и есть самый старший. Она подошла к нему.

— Мой дорогой господин, — тихо проговорила девушка, с мольбою глядя в жирное лицо повернувшегося к ней человека своими огромными сверкающими глазами. — У меня умирает отец... Он большой художник, — Эльфи снова облизала сухие губы. — У меня нет денег, чтобы кормить его... Я прошу вас дать мне один килограмм мяса... Ведь для вас это ничего не составляет... Видите, сколько хороших кусков падает на землю. Вы их топчете. А эти куски могли бы спасти жизнь моего бедного отца...

Слезы душили девушку, и она замолчала. Ответ толстого господина показался ей несерьезным, каким-то чудовищно неправдоподобным:

— Не могу, любезная фройлен. Обратитесь к хозяйке.

* * *

...Фрау Раап сидела с Рудольфом за столом и слушала последние новости, которые он привез ей вместе с очередным грузом из Верхней Австрии. Она была в отличном настроении. Мягкая, умиленная улыбка не сходила с ее физиономии. Наконец-то этот старый упрямец Веленбрах согласился продать ей консервную фабрику. Дела ее складывались так, что лучшего и желать нечего.

Фрау Раап восхищалась пронырливостью своего приятеля: ведь только он один смог уломать хитрого дельца Веленбраха дать согласие поставлять ей некоторые товары и продукты.

— Ты далеко пойдешь, мой друг, — говорила она Рудольфу, маленькими глотками отхлебывавшему вино из стакана.

— Дальше вашего дома — вряд ли, матушка Мария. Вы скрываете в себе некую неотразимость, какую-то притягательную силу, что, где бы я ни шлялся, я все равно приду к вам.

Она засмеялась, кокетливо закатывая глаза.

— Так ли, мой друг? Может быть, в этом доме есть нечто более привлекательное, чем старая матушка Мария? — и она бросила многозначительный взгляд на дверь, ведущую в комнату дочери.

— Не смею возражать вам, дорогая моя. — Рудольф слегка наклонил голову, изображая смущение. — С некоторых пор ваша дочь прочно заняла местечко вот здесь, — и он приложил ладонь к своей груди.

— Это случилось после неудачного дебюта с Эльфи?

— Что вы, что вы, матушка Мария!..

— Не валяй дурака, Руди. Выкладывай начистоту. Тебе нужна девушка. Я знаю твою слабость. И тебе не мешало бы, в конце концов, подыскать подходящую партию...

— Я желал бы ее найти в лице вашей дочери, матушка Мария!

— Так почему же ты, друг мой, до сих пор не сказал ей об этом? Или ты хочешь, чтобы я сама поговорила с дочерью?..

— Я был бы бесконечно благодарен вам.

— Не стоит благодарности.

— Вы необыкновенная женщина, матушка Мария!

— Ты много сделал для меня, Руди. И я еще рассчитываю на твою помощь. — И фрау Раап по своему обыкновению покровительственно поцеловала его большую круглую голову. — Я только боюсь, что моя дочь будет упрямиться. Но, мне кажется, и дочь художника для вас еще не совсем потеряна... Не возражай, Руди. Ведь я отлично понимаю, что тебе нужно.

Короткий звонок прервал их беседу. Фрау Раап пошла к двери и отодвинула щеколду. Ее глаза удивленно смотрели на стоявшую у входа девушку.

— Эльфи?!

— Здравствуйте, тетушка Мария. Я к вам с большой просьбой. — Эльфи прошла в приемную и тотчас же увидела Рудольфа, который от изумления не мог произнести ни одного слова. — Мне нужно немного денег, чтобы позвать к отцу доктора...

Теперь девушка наверняка знала, что попала в ловушку, и хотела только, чтобы поскорее все кончилось. Поэтому она охотно делала все, что ей сейчас предлагали.

— Ты в отчаянии, дитя мое. Выпей вина. Это облегчает, — говорила фрау Раап, ведя Эльфи к столу.

Рудольф уже успел оправиться после первого замешательства и быстро наполнил третий стакан. Она взглянула на него тем странным, отрешенным взглядом, каким глядят решившиеся на большое преступление люди. «Ну что ж, приказывай. Я готова», — говорил этот взгляд. Она в два приема выпила весь стакан. Изголодавшееся слабое тело сразу же наполнилось пьяной тяжестью. Глаза ее отуманились, и все в комнате стало двоиться, непонятно переворачиваясь. Она потянулась вилкой за куском жареного мяса и свалила стакан. Он со звоном разлетелся.

— Ах, простите, матушка Мария, — Эльфи виновато посмотрела на хозяйку.

— Ничего, мой дружок. Невелика беда... Ну, вы тут посидите, а я спущусь вниз к своим агентам да поищу Трауде. Где-то пропадает негодная девчонка! — И, незаметно подмигнув Рудольфу, фрау Раап вышла из комнаты.

Как только шаги хозяйки стали удаляться на лестнице, Рудольф обнял девушку и стал жадно целовать ее в расслабленные, мягкие губы. Эльфи не сопротивлялась. «Только бы поскорее все это кончилось...»

* * *

Только бы поскорее все это кончилось...

А Вена гудела, кружилась в вихре кабацких танцев. Что ей до маленькой драмы, разыгравшейся в одном из ее темных кварталов?..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В руке узелок, а на душе пустота, провал, слякоть... Так вот оно это, чего она так боялась! Оно случилось... Руки девушки никак не могли открыть дверь своей комнаты.

«Что же делать? Что же будет со мною дальше? Уж не пойти ли на Картнерштрассе?.. Первый шаг сделан», — отвратительное омерзение передернуло девушку. В эту минуту ей хотелось упасть на каменные плиты лестницы и разбиться... Но отец? Что будет делать он без нее? Он ждет ее... Бедный ее отец! Вот она сей-

час его покормит и побежит за доктором. Под кофточкой, у самой груди, похрустывали две новенькие сотенки... Это он положил ей, когда она вставала...

Мысли беспорядочно носились в ее голове. Их нельзя было поймать и оформить, сложить в единую цепь. «А что мне осталось делать?» — пронеслось в ее мозгу, и она судорожно схватилась за эту мысль, словно видела в ней свое единственное спасение. Это и дало ей силы открыть дверь. Она заговорила сразу, едва переступив порог:

— Вот, папочка, я принесла тебе покушать. Тут есть яички... Я сейчас сбегаю за доктором...

Она вдруг замолчала, пораженная необычайной, какой-то особенно давящей тишиной. Неужели?.. Она боялась обернуться, казалось, каменные стены сходились вокруг нее, грозя раздавить.

— Папка? Папочка!.. Чего же ты молчишь?! — она обернулась, и страшный крик вырвался из ее груди. Сухими, потрескавшимися губами она принялась целовать неподвижное и спокойное лицо отца. — Умер! Умер! Умер! — повторяла она, глядя на него своими дикими, огромными глазами. «А вдруг заснул?» — она снова ухватилась за эту спасительную мысль и стала тормозить отца.

— Ну, папочка, открой глаза!.. Ты слышишь меня, отец?.. Если трудно говорить, не надо... Но дыхни на меня, хоть один раз дыхни!.. Ты же всегда был так добр к своей голубке!.. Отец, отец, отец!..

Эльфи чувствовала, что пол уходит из-под ее ног, что вот-вот упадет, и она опустилась на колени у изголовья бездыханного отца. Слезы, словно прорвавший плотину ручей, стремительно побежали из глаз девушки по ее бледным щекам. Плачь, Эльфи, плачь, девочка! Плачь о потерянной юности, о потерянной надежде... Плачь. К тебе никто не придет и никто не увидит слез твоих...

* * *

На станции выключили свет, и маленькая комнатка погрузилась в еще более невыносимый мрак и разрывающую душу тишину. Мухи, грязными пятнами застывшие на стенах и низком потолке, сейчас ожили, загудели, слетаясь к бледному, мутнеющему где-то в глубине,

как бельмо, оконцу. Они бились слабыми крылышками о стекло, еще более заслоняя свет.

Художника хоронили 10 августа. Понурые лошади тащили черный катафалк по шоссе к центральному кладбищу — Фридрихсгоф. За гробом, поддерживаемая подругами, шла Эльфи да еще несколько рабочих, знавших художника. Была тут и фрау Раап. Она плавно несла свою тушу рядом с Эльфи и, не переставая, говорила:

— Ну, деточка, успокойся, помни мое обещание... ты найдешь, моя дорогая, свой кров и ласку под одной с нами крышей. Ты будешь жить вместе с Трауде. Девушка ты взрослая — пора и о себе подумать...

Эльфи казалось, что голос тетушки Раап доносится откуда-то издалека, она едва слышала ее слова, смысл которых и вовсе не доходил до нее.

По дороге, обгоняя скромную процессию, мчались сверкающие черным лаком и большими фарами комфортабельные лимузины. Это ехали на кладбище члены австрийского парламента — министр иностранных дел доктор Грубер, вице-канцлер Шерф, бургомистр города Вены Кернер и другие. В этот день открывалось кладбище советских воинов, погибших в боях за Вену.

На окраине города, справа от Будапештского шоссе, раскинулось центральное кладбище австрийской столицы. На нем похоронены миллионы людей. Здесь, под могучими каштановыми деревьями, лежат великие музыканты: Иоганн Штраус, Людвиг ван Бетховен, Моцарт... Тут нашли свой вечный покой тысяча триста десять советских воинов, отдавших свои жизни вдали от Родины. Теперь лежат эти чудо-богатыри под гранитными плитами на чужой земле. Рожденные на волжских берегах, на просторах Украины, в лесах Севера и сибирской тайге, на Урале и Кавказе, в знойном Узбекистане и Туркмении, они сложили свои молодые, буйные головы, чтобы дать жизнь миллионам себе подобных. Воля вождя поднимала их с исходного рубежа в атаку.

У всех могильных плит по две монументальные фигуры русских солдат. У входа на кладбище склонились товарищи, боевые друзья, побратимы, отдавая последний салют братьям по оружию. Двенадцатиметровый обелиск, увенчанный золотой пятиконечной звездой, стоит в центре. На нем — надпись: «В память советских

героев, отдавших свои жизни за освобождение Европы от фашистской чумы».

По бокам обелиска — постаменты. На них горят бессмертные слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины».

Рядом с кладбищем русских солдат приютился небольшой холмик. Под ним лежит теперь художник Альфред Раунд. Эльфи стояла на коленях, положив тяжелую от слез голову на прохладную землю свежего курганчика...

На русском кладбище шел митинг. Людей собралось много — военные, рабочие и служащие, духовные лица с белыми бородами и большими крестами на шеях, старики, женщины, дети. Эльфи тоже подошла к ним. Она тут же увидела плачущую женщину. Заметив устремленные на нее большие диковатые глаза худой, бледной девушки, женщина заговорила, обращаясь к Эльфи:

— Вы, конечно, удивляетесь, почему я плачу. Я расскажу вам.

И она поведала о том, как в апреле 1945 года, когда русские вошли в город, один советский солдат спас жизнь ее маленькой дочурке Ирме. Она была тогда завалена в подвале кирпичами, и русский солдат откопал ее, услышав ее слабый крик. Через час этот солдат сам был убит на улице немецким снайпером...

— Может быть, он лежит под одной из этих плит, — закончила женщина свой рассказ.

Ее дочурка стояла здесь же, держась за подол матери и глядя на Эльфи своими черными сверкающими глазками. Девочка, видимо, уже не в первый раз слышала этот рассказ и все время дополняла слова матери все новыми подробностями.

Уставшая от слез и рыданий, Эльфи смотрела в одну точку. «Сколько крови пролито за спасение Австрии, — думала она. — Не даром ли все это?»

А на трибуне произносил горячую речь вице-канцлер Шерф, один из лидеров социалистической партии.

— Социалистическую партию обвиняют в нелояльности к Красной Армии, — говорил он. — Неправда это! Социалистическая партия готова зарыдать над могилами русских солдат! — воскликнул он и сделал паузу.

По рядам социалистов, стоявших в отдельной колонне, и вправду прокатилось: «У-у-у! У-у-у! У-у-у!..»

Советские солдаты, стоявшие в почетном карауле, насупились: было что-то отвратительно кошунственное в этом подготовленном заранее, вымуштрованном, точно для парада, троекратном рыдании людей с сухими глазами, спокойными, невозмутимыми лицами. Когда этот вопль смолк, Шерф победным взглядом обвел присутствующих и увидел двух по-настоящему плачущих женщин. Это, по-видимому, не входило в расчеты оратора, и он, недовольно поморщившись, быстро слез с трибуны. Шерфа сменил доктор Грубер — высокий блондин с молодежавым красивым лицом. Он говорил более получаса, говорил так, словно любовался своей речью.

Возле самого обелиска, не слушая ораторов, стоял коренастый, уже немолодой боец. Он в пятый раз читал одну и ту же надпись:

«Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне!
От стен Сталинграда вы к Вене пришли,
Для счастья народа вы отдали жизни
Вдали от родимой Советской земли.
Слава вам, храбрые русские воины!
Ваше бессмертье над нами встает!
Доблестно павшие, спите спокойно,
Вас никогда не забудет народ!»

Солдат оглянулся, словно стыдясь своего волнения. Стянул с головы пилотку. Потом прошептал:

— Спите, друзья мои дорогие!..

И быстро вытер глаза ладонью.

Эльфи снова вернулась к могиле отца. Троекратный оглушительный орудийный гром заставил качнуться могучие деревья. Вздвогнув, Эльфи подняла голову и долго смотрела на золотую звезду, пылавшую в жарких лучах солнца.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В середине ноября инженер Рапфель вновь встретился с Куртом. Встреча эта, как и в первый раз, состоялась на квартире фрау Раап.

Они сидели друг против друга за небольшим столиком — Вальтер, с глубоко запавшими темными глазами и лысеющей головой, плотный, подвижный, и Курт — со своими тонкими — в одну линию — бледными губами и крепким, немного выдававшимся вперед подбородком. Инженер держал в своих руках газету. Стуча ею по

краю стола, он говорил негромким, немного глуховатым голосом, обращаясь к своему собеседнику:

— Читали? Союзнички все-таки заставили этого беднягу Фигля принять закон о денацификации. Теперь берегитесь, господин капитан!.. Если не ошибаюсь, это было ваше последнее звание?

— Нет, нет, господин Рапфель, у вас преотличная память, — поспешил уверить Курт, не спуская с инженера своего спокойного взгляда. — Только мне бояться нечего. Вы же сами знаете, что Курта Зельвитца больше не существует. Есть Курт Лебернс. Вот документы...

— Знаю, Курт, не показывайте. Эти документы в моей мастерской готовились... Вы правы. Бояться нам особенно нечего. В этом «законе» столько лазеек, что можно всегда ускользнуть. Хотя бы вот этот пункт, — и он развернул газету, отыскивая нужное место. — Вот полюбуйтесь. Аресту не подлежат те бывшие члены национал-социалистской партии, которые не извлекли для себя из этого большой пользы...

Они оба расхохотались.

— Черт в нас разберется, кто извлек пользу, а кто нет... Хорошая бумага, ей-богу!.. Надо отдать должное «Фолькспартай». Право, она нас выручает! — Инженер снова свернул газету и вдруг спросил: — Сколько времени еще вам учиться, Курт?

— Два года.

— Много. Не годится, — Вальтер почесал себя по голому темени. — Не годится! — повторил он. — Юридический факультет наши люди должны закончить как можно быстрее и с отличием. Вот вы, например, Курт, обязаны будете получить диплом через полгода, самое большее — через год...

— Почему такая спешка? — перебил инженера Курт. — Помнится, вы придерживались другой политики. Вы считали — и я в этом был вполне с вами согласен, — что наши люди должны по возможности дольше удержаться в стенах университета, стать «вечными студентами», как вы изволили метко выразиться...

— Я изменил свою политику только в отношении студентов юридического факультета. Что касается остальных, то я придерживаюсь прежнего мнения. Я допускаю даже их оставление на повторные курсы, чтобы они только оставались под крышами храма науки. Пусть себе проводят работу среди молодежи... Но в свя-

зи вот с этим законом, — инженер потряс газетой, — нам нужны свои юристы. И чем скорее мы будем их иметь, тем лучше для нас... Кстати, как профессора, могут они что-нибудь сделать в этом отношении?

— Добрая половина из них наша, — ответил Курт, — насколько я вас понимаю, господин Рапфель, вы хотите иметь в судах по денацификации своих людей?

— Совершенно верно... для того, чтобы сохранить видных деятелей национал-социалистской партии от тюрьмы или от еще более неприятных вещей... Вы слышали, затевается судебный процесс по делу Гвидо Шмидта¹. Этот господин может выдать многих нужных нам людей. Хотя для членов «народной партии» этот процесс крайне неприятен, правительство все же будет вынуждено пойти на него под натиском союзников, конечно. Так что нам надо ухо держать востро. Вот почему так важно, чтобы вы поскорее стали юристом... Делать, конечно, мы будем весьма осторожно. Оправдывать всех без исключения вы не будете. Могут заподозрить. Поэтому придется изредка приносить в жертву какую-нибудь мелкую сошку, пришив ей большие дела... Впрочем, об этом более подробно мы поговорим несколько позже.

Они замолчали, увидев в дверях хозяйку с графином вина.

— Наверное, заждались, господа! Прошу извинить. Дела...

— Пожалуйста, пожалуйста, — закивал лысеющей головой инженер, любезно улыбаясь хозяйке.

— Чтобы вам не было скучно, господа, выпейте вина. Прекрасное вино! А я на часок спущусь вниз. Прибыл груз, которого я так ждала! Старый хитрец Веленбрах все же сдержал свое слово, — говорила фрау Рапф, ставя графин и стаканы на столик, за которым сидели гости. Она быстро ушла, и беседа возобновилась.

— Завтра в вашем университете будет проходить подготовка в органы самоуправления. Нам чрезвычайно важно, чтобы в них сидело побольше наших ребят. Так что вам придется подать свой голос, и на этот раз громче обычного.

¹ Министр иностранных дел Австрии при кабинете Шушнига, один из тех, кто подготовил фашистский аншлюс

— Все уже подготовлено, господин Рапфель.

— В таком случае я предлагаю выпить за ваш успех.

Они подняли стаканы и с чувством чокнулись. Многолетнее вино пьяной кровью разлилось по жилам. Курт слушал инженера, чувствуя, как руки наливаются свинцовой тяжестью, пальцы сами сплетаются в стальные кулаки. Он их то сжимал, то разжимал — так хищник, завидевший жертву, перебирает когтями перед отчаянным прыжком.

— К нашему счастью, — продолжал Вальтер, — Австрия признана союзниками освобожденной страной, которой должен быть дан суверенитет. «Народная» и социалистическая партии из кожи лезут, чтобы доказать русским существование австрийского Сопротивления гитлеризму. Хоть это и сущая ерунда, — никакого сопротивления нам здесь никто не оказывал и не думал оказывать, за исключением разве жалкой группы коммунистов, но мы должны поддержать эту кампанию всем, чем только можем. Это ускорит получение Австрией мирного договора, а значит, и вывод из нее оккупационных войск, что нам только на руку... В самом райхе тоже кое-что делается, особенно в западных его районах. Но в Германии положение сложнее, ее не скоро покинут союзники. Отсюда весьма возможно, что фашистский центр переместится из Германии в Австрию и на долю нашего народа выпадет счастье дать миру второго величайшего фюрера национал-социалистов. Так что мужайтесь, друзья мои! Выше головы! — И инженер протянул Курту свою горячую ладонь. Его глаза блестели. Он снова предложил Курту выпить.

— За возрождение нашего духа! — Рапфель легко, двумя жадными глотками, опорожнил стакан. Курт же, напротив, тянул мучительно долго, по-птичьи запрокинув голову, и инженер нетерпеливо ждал, когда перестанет шевелиться острый кадык на его тонкой шее.

Вошла фрау Раап, держа в руках второй графин с красным вином.

— Господа, теперь мы выпьем все вместе, — проговорила она, усаживаясь рядом с племянником так, чтобы быть против Рапфеля. Тот улыбался ей, подавляя отвращение, вызываемое ее огромным рыхлым подбородком и синими, вечно влажными подглазниками.

— А у меня и к вам есть дело, глубокоуважаемая

фрау Раап, — обратился инженер к хозяйке, но та перебила его.

— Все ко мне да ко мне, — начала она притворно-шутливым тоном. — Когда же я смогу обратиться к вам, господа?

— Хоть сейчас, — инженер внимательно посмотрел на хозяйку и слегка наклонил голову, показывая этим, что он слушает ее.

— Я хотела бы знать, господа, не будут ли мои расходы напрасными. И не кажется ли вам, что мне пора уже получить от вас некоторые гарантии...

— Я прекрасно вас понял, уважаемая фрау Раап. Ваши расходы на мою организацию не будут напрасными. А что касается некоторых гарантий, то вы их уже получили. Они выражаются, в частности, в приобретенной вами консервной фабрике Веленбраха. Теперь я вам могу сообщить, что без наших документов Веленбрах не смог бы продать ее вам. Это одно. Самое же главное заключается в том, уважаемая фрау Раап, что в случае успеха нашего общего дела вы сможете достроить свою виллу и на берегу Дуная и заполучить несколько имений в Верхней Австрии. Затраченные же вами суммы будут полностью оплачены нами в свое время... с процентами, разумеется. Вас это устраивает?

— Вполне, господин Рапфель! Благодарю. Я сочла бы за счастье продолжать и впредь оказание посильной помощи вашей организации, — и фрау Раап с преданной готовностью посмотрела на инженера.

— В таком случае я прошу вас, уважаемая фрау Раап, выслушать еще одну мою просьбу, — сказал Рапфель, взглянув на молча сидевшего Курта. — Не смогут ли ваши агенты укрыть часть моих людей, если в этом явится необходимость?

— К сожалению, они не смогут этого сделать, господин Рапфель. Моих агентов в Вене часто навещает полиция и нередко арестовывает. Мне приходится тратить немало средств, чтобы их потом выручать... Но дело, разумеется, не в средствах, — поспешила объяснить хозяйка, — а в том, что полиция заодно с моими агентами может прихватить и ваших людей, что, надеюсь, не в интересах организации.

— Вы меня не поняли, фрау Раап. Речь идет о ваших агентах в деревнях, там, среди бауэров Верхней Австрии. Могли бы они...

— Хорошо. Это можно, — быстро согласилась хозяйка и вышла в другую комнату.

Через минуту она вернулась с большой картой. Инженер вынул из кармана коричневый карандаш и стал кружочками обводить пункты, на которые ему указывала фрау Раап. Курт записывал в блокнот фамилии бауэров. Когда все было закончено, инженер сказал, обращаясь к студенту:

— Эти адреса вы раздадите своим ребятам на случай, если ваши завтрашние выступления вызовут неожиданные осложнения.

— Понимаю.

— Вот и хорошо.

Они расстались далеко за полночь. Курт отправился к себе на квартиру, а инженер остался у фрау Раап. Вино подавило в нем прежнее отвращение к хозяйке, и он решительно отправился в ее комнату.

Улицы Вены, как всегда в такой поздний час, были пустыньны. Только кое-где парами прохаживались полицейские да изредка проносился «виллис» с четырьмя флагами — это союзный патруль разъезжал по городу, просматривая за порядком.

Курт быстро пересек несколько улиц и по узкому Фляйшмарктгассе вышел на Шведенплатц. Миновав прикорнувшего у газетного киоска слепого шарманщика, он вышел на широкий, с двумя трамвайными колесами, зеленый мост, построенный советскими саперами, и направился прямо на Таборштрассе. Еще издали он увидел одинокую девичью фигуру против варьете «Континенталь». Курт знал, зачем стоят тут девушки в такое позднее время, и подумал, что можно хорошо провести остаток ночи.

— Все идет так успешно, почему бы и в самом деле не позабавить себя? — тихо пробурчал он и повернул к девушке. Та, услышав его шаги, быстро оглянулась и... Курт узнал ее. Это была Эльфи. Пораженный этой встречей, Курт первую минуту не смог вымолвить ни слова.

Она стояла без пальто, с открытой головой, поеживаясь от холода. Осенний яростный ветер трепал на ней старенькое платьице, в котором Курт видел ее в последний раз. Тогда оно было еще новым и хорошо обтягивало ее стройную фигурку. Это неожиданное воспоминание сладкой занозой кольнуло его сердце. Ему

захотелось обнять девушку, но он почему-то не мог стронуться с места, словно был прикован к тротуару.

Эльфи молча глядела ему в лицо своими диковатыми огромными глазами, которые теперь были обведены темными полукружьями. Углы рта ее опустились книзу, и это придавало ее лицу бесстыдное выражение, которое так свойственно уличным девицам.

— Чего же ты смотришь? Веди! — сказала она резким, развязным голосом, от которого он весь содрогнулся. — Веди! — повторила она еще решительнее, и Курт взял ее за тонкие руки. Его губы коснулись ее холодных, не отвечающих губ.

— Пойдем, Эльфи...

Они шли вдоль канала, над которым по-прежнему вилась одинокая чайка. Ее жалобный писк далеко разносился над сонным городом.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Огромное темно-коричневое здание Венского государственного университета с многочисленными скульптурными изображениями на крыше протянулось на целый квартал. Главным своим фасадом оно обращено на Ринг — центральную улицу города. От парламента и городской ратуши здание университета отделялось только небольшим сквериком, где отдыхают венские старушки. Изредка сюда доносятся возбужденные голоса, крики. Сидящие в сквере не удивлялись им — они привыкли к студенческим спорам на внутреннем дворе университета.

Та часть здания, которая обращена окнами к скверу и ратуше, была разрушена американскими бомбами, и никто не думал ее восстанавливать. В разбитых окнах виднеются поломанные учебные пособия — различные колбы, электрические приборы, лейденские банки, микроскопы... Все это покрылось толстым слоем серой пыли.

В этот день университет гудел сильнее обычного. На всех факультетах проходили собрания по подготовке выборов в органы студенческого самоуправления. Это, в сущности, небольшое событие неожиданно приняло характер острой политической борьбы между различными группами студентов и профессоров. То, что до сих пор тщательно скрывалось или высказывалось в слабой

форме во дворе, во время споров, теперь вырвалось наружу.

Началось с того, что один студент медицинского факультета стал произносить горячую речь о задачах австрийской молодежи в борьбе с остатками фашизма и пангерманистской пропагандой в стране. В середине его речи раздался чей-то резкий, злобный выкрик:

— Долой коммунистическую сволочь! Мы не хотим бело-красное¹. Мы хотим черно-красно-белое!..²

Это была искра, воспламенившая страсти. Повсюду стихийно возникли митинги. На юридическом факультете первым выступил студент Рапповский — высокий худой юноша с черными глазами.

— Господа! — начал он. — Пришло время сказать во весь голос: довольно! Мы восемь лет терпели от наци. И теперь эта коричневая сволочь пробралась в стены нашего университета и терроризирует наших лучших товарищей. Я сам был заточен в концентрационный лагерь, где задохнулись тысячи невинных жертв, — бросал студент страстные гневные слова. — За отказ служить в гитлеровской армии моего брата расстреляли гестаповцы.

Рапповскому тоже не дали договорить. Откровенно ненавистный голос прервал его:

— Так и надо твоему брату. Жаль, что ты остался жив, собака!..

На смену Рапповскому на трибуну поднялся студент Ганс Пфеффер — Курт хорошо знал его. Пфеффер воевал в Испании против фалангистов Франко. Поэтому он сейчас следил за ним ненавидящим взглядом, заранее заложив два пальца в рот. Едва студент произнес три слова, как дикий, оглушительный посвист прокатился по залу.

— Вон из университета красную гадину! — заорал Курт, не в силах сдержать kloкотавшей в груди ярости. На его бледных тонких губах вскипела белая пена. Курт быстро вбежал на сцену и оттолкнул оратора в сторону. Но и самому ему говорить не пришлось.

— Молодой человек! — услышал он за спиной гневный старческий голос. — Молодой человек!.. Вы забываетесь!.. Это вам не гитлеровская сходка. Я прошу вас

¹ Государственный флаг Австрийской республики.

² Фашистский флаг.

прекратить издевательств!.. Вы находитесь в университете молодой демократической республики, а не на митинге фашистов!..

Курт резко обернулся и увидел профессора этнографии Штайнера. Глаза старика блеснули из-под густых мохнатых бровей. Коротенькая седая бородка его тряслась. Профессор все время поправлял на носу очки длинными дрожащими пальцами. Вид старика не предвещал Курту ничего хорошего, и он проворно ретировался со сцены. Однако Курт не принадлежал к числу людей, останавливающихся на полпути в своих замыслах. Вечером, перед самым концом занятий, он предстал перед удивленным взором профессора в его кабинете.

— Профессор! — начал Курт напрямик. — Не кажется ли вам, господин профессор, что вы играете с огнем? Ваша карьера никогда не отличалась большими успехами, — Курт явно намекал на то, как однажды Штайнер уже был изгнан из университета за отказ составить словарь кавказских языков для нужд гитлеровской армии. — Не думайте, что вы сейчас делаете здесь погоду.

Профессор был потрясен чудовишной наглостью студента и долго не мог ничего сказать. Его глаза растерянно моргали за стеклами очков. Седенькая бородка дрожала. Он все время то открывал, то закрывал рот, силясь, видимо, что-то сказать. Так длилось несколько секунд.

— Уйдите прочь!.. Негодяй! — наконец крикнул он звенящим голосом. — Уйдите, или я наплюю вам в лицо!..

Профессор встал из-за стола, за которым работал, и, маленький, взъерошенный, пошел на студента. Курт попятился.

— Хорошо, профессор. Я уйду. Но предупреждаю: вы можете разделить судьбу Пауля Камерера, — с этими словами Курт вышел из кабинета, оставив ошеломленного старого профессора.

— Нет, это чудовишно! Как он смел? Господа, что же это такое? — твердил старик, направляясь в комнату историка профессора Хана. Штайнер быстро рассказал своему коллеге о случившемся.

— Этого нельзя так оставить! — горячился он. — Надо сейчас же звонить министру просвещения!..

— Не стоило вам, господин Штайнер, путаться в эту историю. Молодые люди обсуждают свои дела. И пусть себе обсуждают. Вам-то какое дело до всего этого? — Сказавший эти слова профессор Хан не смог скрыть усмешки, скривившей его губы.

— Позвольте... Я вас не понимаю, профессор. Как это «не стоило путаться»?.. Да вы понимаете, господин Хан, что эти молодые люди могут явиться новыми могильщиками нашей молодой республики!

— Даже в этом случае я не имею оснований слишком расстраиваться, господин Штайнер!

— Благодарю вас, коллега... Вижу, я не туда попал, — тихо проговорил Штайнер и вышел из кабинета. У профессора подгибались ноги, и он с трудом добрался до своей комнаты. Бессильно опустился в кресло, устремив взгляд в одну точку.

— Неужели все начинается сызнова? — седая голова профессора упала на стол, придавив листы незаконченной работы по исследованию славянских языков.

...Курт направился прямо к тетушке Раап, надеясь встретить там инженера. По дороге он вспомнил о вчерашней неожиданной встрече с Эльфи и проведенной с нею ночи. Курт подумал, что она может прийти сейчас к его тетушке, и от этого на душе у него стало скверно.

— Черт меня дернул подойти к ней вчера, — вслух проговорил он и злобно сплюнул на тротуар. — Теперь привяжется...

Он зашагал быстрее, часто задевая прохожих. Мысль о том, что Вальтер останется довольным его действиями в университете, постепенно развеяла неприятный осадок в его груди, и к фрау Раап Курт поднялся в отличном расположении духа, довольно насвистывая.

На улице быстро темнело. Огромная туча, подсвеченная снизу лучами заходящего солнца, коричневой тенью ползла над Веной, окрашивая дома в какой-то странный, раздражающий свет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Инженер с нетерпением ожидал возвращения Курта и на каждые шаги по лестнице подходил к двери. Но Курт почему-то задерживался, и это наводило Вальтера

на недобрые мысли. «Если только его арестовали, то все пропало, все к чертовой матери! — думал он, как маятник похаживая взад и вперед по комнате. — Уж не рано ли затеял я эту штуку?»

Прочитанная им только что статья в газете «Арбайтер Цайтунг» совершенно испортила ему настроение: в статье сообщалось о настойчивом требовании коммунистов новых выборов в парламент, и это не предвещало ничего хорошего организации инженера. Теперь Курт нужен был ему еще и для того, чтобы совместно с ним обсудить их позиции в этом вопросе.

Он встретил Курта в дверях, стараясь по лицу студента определить, как все кончилось в университете. Но это лицо было непроницаемым — по нему нельзя было ровно ничего узнать, и Вальтер поспешил спросить:

— Ну как, господин Зель... извиняюсь, Лебернс? Надеюсь, все в порядке?

Но Курт не сразу ответил. Он сначала разделся, повесил шляпу, тщательно вычистил ботинки. Инженеру казалось, что студент нарочно делает все это очень долго, и в душе ненавидел его в эту минуту.

— Рассказывайте же скорее, прошу вас! — не выдержал он, видя, что Курт собирается в ванную.

— О таких вещах сразу не говорят, господин Рапфель. Надо подумать, прежде чем сказать, хорошо или плохо все кончилось. Вот я и думаю. — Курт набросил на плечо полотенце и исчез в маленькой комнатке. Инженер слышал, как он открыл кран, и тот загудел, заверещал, захлебываясь хлынувшим через него потоком. Курт долго обливал себя холодной водой, сопя и фыркающая от удовольствия, и это приводило Вальтера в настоящее бешенство. «Мерзавец! Уж не думает ли он издеваться надо мной?» — думал он про студента как раз в тот момент, когда Курт принимался за чистку зубов. Чтобы скоротать время, инженер зашел в комнату хозяйки, но и ее там не оказалось. «Чертова шлюха! Уползла куда-то!» — раздраженно прошептал он и вновь вернулся в гостиную.

Курта все не было.

— Господин Лебернс! Вы мне бросьте эти дамские штучки и поскорее оставьте эту глупую комнату! — не выдержал Рапфель, откусывая сигарету, которая не находила места в его губах — он швырял ее языком то в правый, то в левый угол рта...

— Сейчас иду, господин Рапфель. Только чуточку побреюсь, — услышал инженер, и это переполнило чашу его терпения.

— Ну, это уж слишком, молодой человек! Для приведения в порядок своего туалета вы, кажется, могли бы найти и другое время! — почти закричал он.

Однако и это не подействовало. На его крик студент только слегка приподнял правую бровь и лезвие бритвы, чтобы не порезать лицо. «Шалите, господин Рапфель! Я вам не мальчишка, на которого можно кричать! Я вас заставлю уважать меня!» — Два тугих желвака шевельнулись под тонкой кожей крепких скул студента. Он не спеша добрился и только потом вышел в приемную.

Инженер оторвал взгляд от газеты, которую он взял, чтобы хоть чем-нибудь занять себя, и посмотрел на чисто выбритого и приглаженного Курта. Их глаза встретились. И только теперь инженер понял, с кем он имеет дело: темные, в глубоких впадинах глаза студента давили своей холодной, стальной тяжестью, и Вальтер поймал себя на том, что ему страшно под этим чертовым взглядом. «Каким, должно быть, образцовым зверем был он там, у себя в лагере, — подумал он, отводя глаза в сторону. — Нет, с этим надо быть поосторожней».

— Ну рассказывайте, господин Лсбернс, — обратился он неожиданно для Курта дружелюбным тоном. — Рассказывайте, я вас слушаю.

— Сейчас — это уже другое дело! — усмехнулся Курт. — Теперь я вам могу сообщить, господин инженер, что все обошлось так, как мы с вами думали и как нам было желательно.

— Недурно. Но... не слишком ли рискованно? Как вы находите? — Инженер ожидающе посмотрел на Курта.

— Рискованно, конечно, — согласился Курт. — А разве что-нибудь в нашем деле есть нерискованное? Разве сам факт существования нашей организации не является предприятием в высшей степени рискованным?..

— Я вас понимаю, Курт. Но не следует забывать и того обстоятельства, что мы уже однажды рисковали овладеть миром...

— Ну и что же? — запальчиво перебил его Курт. — Вы хотите сказать, что не следует рисковать второй раз? Так я вас понял? Если да, то за каким чертом вы

затяли всю эту штуку? — Курт побледнел. Его тонкие бледные губы слегка дрожали.

— Нет, господин Лебернс, вы меня плохо поняли. Вернее сказать, вы совсем меня не поняли. Дело в том, дорогой мой, что из первого рискованного предприятия многие члены нашей организации, в том числе и мы с вами, вышли невредимыми и поэтому решили рискнуть еще раз. Но хватит ли сил и мужества у этих людей, в том числе и у нас с вами, рискнуть в третий раз, если мы своими необдуманными действиями погубим организацию прежде, чем она будет в состоянии заявить о себе открыто. Вот о чем нам следует подумать. Я этим вовсе не хотел сказать, что ваши сегодняшние выступления в университете являются именно такими действиями. Но оценить их должным образом надо. Поэтому я и задал вам этот вопрос.

Некоторое время они молчали, обдумывая каждый свое. Первым заговорил Курт.

— Не думаю, господин Рапфель, чтобы события в университете погубили нас. Во-первых, потому, что правительство не придаст им большого значения, и, во-вторых, потому, что администрация университета постарается как-нибудь замазать их — не в ее интересах иметь дело с полицией... Самое большее, что может случиться, — это исключение двух-трех зачинщиков. Остальные же отделаются легким испугом. На такие «жертвы» можно пойти смело, учитывая огромное мобилизующее значение этих событий для дальнейшего существования нашей организации. Так думаю я, господин Рапфель. Такова моя точка зрения.

— Я думаю приблизительно то же самое, — сказал инженер. — Будем надеяться, что так оно и произойдет... Меня сейчас беспокоит другое. — Рапфель раскрыл газету. — Коммунисты все настойчивее требуют новых выборов. Если им это удастся, то нам несдобровать.

— Мне кажется, господин Рапфель, вы слишком преувеличиваете коммунистическое влияние. Я не думаю, чтобы коммунистам удалось добиться новых выборов в парламент, хотя недооценивать их силы в стране было бы с нашей стороны позорным легкомыслием. Но дело в том, что социалистическая партия несколько не поддерживает коммунистическую. Между их лидерами идет настоящая грызня. Руководители социалистов ско-

рее пойдут на союз с Фиглем, чем с Копленигом. Это разъединяет рабочих, на которых опираются и коммунисты, и социалисты. Если поэтому даже допустить возможность новых выборов, то опять-таки «народная партия» окажется победительницей, хотя ее авторитет сильно пошатнулся в народе за последнее время.

— В наших интересах поэтому предотвратить эти новые выборы. Коль скоро не удастся это сделать, то надо будет всеми силами помочь «Фолькспартай», чтобы она наверняка победила. И нам необходимо сейчас же подумать, что мы можем предпринять в этом направлении. — Инженер замолчал, дав время себе и своему собеседнику собраться с мыслями.

Курт закурил и, любуясь колечками дыма, уходящими к потолку, заговорил:

— Я думаю, господин инженер, мы должны делать то же самое, что делали до сих пор, то есть под видом русских солдат грабить и убивать местное население, вызывая у нашего народа ненависть к Красной Армии, а заодно с ней и к коммунистам, которых давно и довольно открыто обвиняют обе правительственные партии (я имею в виду народную и социалистическую) в измене интересам австрийского народа в пользу иностранного государства, то есть русских... Только делать мы это должны более решительно и в более широких размерах, чем это имело место до сих пор.

— Я с вами согласен, Курт. Нам только не хватает формы русских солдат.

— Ну, это пустяки. Кое-что я могу достать у крестьян близлежащих к моему лагерю деревень... Они много припрятали обмундирования с русских пленных.

...Как и при первых встречах, беседа затянулась надолго. Когда Курт вышел на улицу, на востоке уже мутнел рассвет. Поеживаясь от холода и утренней свежести, он быстро зашагал домой. Идти пришлось пешком, так как ни метро, ни трамвайные линии уже не работали. На мосту, ведущем к Таборштрассе, Курт вдруг резко остановился и повернул обратно: в слабом свесе электроламп он увидел девичью фигуру и сразу узнал в ней Эльфи. Она стояла на том же месте, против варьете «Континенталь», где он встретил ее вчера. Эльфи не заметила его, и Курт скрылся за газетной будкой, возле которой дремал, закутавшись в лохмотья, слепой шарманщик. Курт прошел вдоль канала метров четы-

реста до второго моста, что против Ринга, и остановился, чтобы передохнуть.

— Во... черт, — неопределенно проворчал он и, перейдя мост, был тут же проглочен черной щербатой пастью искалеченного переулка.

А Эльфи продолжала стоять, поминутно вздрагивая от стука срываемых ветром с крыш камней, от холода и жалобного писка одинокой чайки, мечущейся над зловонной жижей канала.

1946. Вена

СОДЕРЖАНИЕ

РОССИЯ

Россия	7
Слово о советском солдате	25
Истоки Победы	42
Гордость Отчизны	44
Спасибо тебе, память!	50
Годы идут	52
Мы вышли из войны	55
Владыка мира	61

СКАЗКИ БРЯНСКОГО ЛЕСА

Сказки Брянского леса	69
Опять — дорога	140

ХЛЕБ. ЗЕМЛЯ. КОСМОС. ЧЕЛОВЕК

Хлеб	163
Проездом	212
Коренное понятие	218
Монолит	224

ЗА МОРЯМИ, ЗА ДОЛАМИ

Слатино	231
«Отгони от себя боль и сострадание...»	240
Мы желаем вам одного — счастья!	247
За три моря...	249
Возвысьте свой голос, люди!	261
Американский дневник	265

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

«Привидения» древнего замка	369
Коричневые тени	402

Алексеев М. Н.
А47 Собрание сочинений в 6-ти т. Т. 5. Оформление
Л. Чернышева. М., «Молодая гвардия», 1977.

464 с.

•В этот том вошли публицистические размышления о Советской России, о Хлебе, о Земле, о Космосе, главное же — о Советском Человеке, творце и созидателе всех материальных и духовных ценностей. Автор много путешествовал, и это нашло отражение в помещенном здесь «Американском дневнике» и других зарубежных очерках. В результате многочисленных поездок по родной стране родилась документальная лирическая «Повесть о моих друзьях-непоседах», которая названа сейчас «Сказками Брянского леса». В конце пятого тома, как бы в виде приложения к нему, помещены две приключенческие повести — «Привидения» древнего замка» и «Коричневые тени», те самые, о которых подробно, с беспощадным самобичеванием рассказывается в документальной повести «Дивизионка» (т. 2) и в автобиографических заметках, которые будут помещены в 6-м томе настоящего собрания

А 70302—019
078(02)—77 Подписное

Р2

ИБ № 406

Михаил Николаевич Алексеев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ в 6-ти т. Т. 5.

Редактор **И. Гнездилова**
Художественный редактор **Н. Печникова**
Технический редактор **И. Соленов**

Сдано в набор 21/VII 1976 г. Подписано к печати 6/I 1977 г.
А05003. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 14,5 (усл. 24,36).
Уч.-изд. л. 24,6. Тираж 150 000 экз. Цена 1 р. 91 к. Заказ 1278.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

